

ДЖОЗЕФ КОНРАД

ИЗГНАННИК. КАПРИЗ ОЛМЕЙЕРА

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Изгнанник. Каприз Олмейера
Джозеф Конрад

Аннотация
Джозеф Конрад. Изгнанник. Каприз Олмейера
Изгнанник
- Часть I
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
- Часть II
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
- Часть III
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3

Глава 4
Часть IV
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Часть V
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Каприз Олмейера
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12

Аннотация

Питер Виллемс, изгнанный со службы за воровство и влюбившийся в красавицу мусульманку, совершает нечто немыслимое для белого европейца в Малайзии – порывает с колониальным обществом и принимает туземный образ жизни.

Однако когда хитрый арабский авантюрист затевает заговор с целью разрушить торговую монополию друга Виллемса капитана Лингарда, перед Питером встает вопрос: чью сторону он примет – отвергнувших его белых или поддержавших мусульман?

Также в данный сборник вошел роман «Каприз Олмейера», продолжение книги «Изгнанник».

Джозеф Конрад
Изгнанник
Каприз Олмейера

Joseph Conrad
AN OUTCAST OF THE ISLANDS. ALMAYER'S FOLLY
Школа перевода В. Баканова, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024

Изгнанник

Часть I
Глава 1

Свернув однажды с прямой и узкой тропы исключительной честности, он твердо вознамерился в душе: как только короткая прогулка по придорожным топям принесет желаемый результат, тут же вернуться к однообразной, но надежной поступи добродетели. Этому промежутку в быстром потоке его жизни, подобно фразе, заключенной в скобки, было суждено остаться коротким, почти мгновенным актом, вынужденным, но искусно совершенным — и поскорее забытым. Он воображал, что потом будет смотреть на солнечный свет, нежиться в тени, вдыхать аромат цветов в маленьком саду перед домом; питал иллюзии, что все останется по-прежнему: что, как и прежде, он будет беззлобно третировать свою жену полукровку, с ласковым снисхождением наблюдать за своим желтокожим ребенком, свысока потакать смуглому шурину, который любил розовые шейные платки, носил лакированные ботинки на маленьких ножках и боялся раскрыть рот в при-

сутствии белого мужа своей удачливой сестры. Вот какими он видел радости жизни и не мог себе представить ни одного собственного нравственно весомого поступка, который бы нарушил природу вещей, затмил бы свет солнца, развеял бы ароматы цветов, отключил покорность жены, улыбку его ребенка, преисполненное благоговения уважение Леонарда Да Соузы и всего семейного клана Да Соуза. Почтение этого семейства придавало жизни особую роскошь. Постоянным напоминанием о его превосходстве оно дополняло, доводило до совершенства его бытие. Ему нравилось вдыхать грубый фимиам, курившийся перед храмом успешного белого человека — мужчины, оказавшего им честь, взяв в жены их дочь и сестру, доверенного агента «Хедига и К°», которому прочили звездное будущее. Родственники, многочисленная немытая орава, обитали в полуразвалившихся бамбуковых хижинах среди запущенных огороженных угодий на окраине Макасара. Он не подпускал их и на метр, если не больше, потому как не питал иллюзий насчет их достоинств. Эти люди были полукровки, лежебоки, и он видел их такими, как есть: это были оборванные, тощие, грязные мужчины-недомерки разного возраста, бесцельно слоняющиеся в

надвинутых на босу ногу шлепках, бабы, похожие на гигантские мешки из розового ситца, набитые бесформенными сгустками жира, кривобоко сидящие в полусгнивших ротанговых шезлонгах по темным углам пыльных веранд, молодые женщины, стройные, желтокожие, с большими глазами, длинными волосами, гуляющие среди грязи и мусора своего поселка с таким томным выражением, будто любой их шаг мог стать последним. Он слушал крикливые ссоры, детский визг, хрюканье свиней, вдыхал запахи мусорных куч во дворах и не мог побороть отвращение. В то же время он кормил и одевал эту толпу оборванцев, измельчавших потомков португальских завоевателей. Он был их Провидением: среди лени, грязи, бескрайней и безнадежной нищеты они продолжали петь ему осанну, и это ему страшно нравилось. Они многого от него хотели, но и он был способен дать многое без особого для себя урона. За это ему платили дань безмолвным страхом, словоохотливыми изъявлениями любви, шумливым поклонением. Одно дело считать себя Провидением, и другое — каждый день слышать это признание из чужих уст. Такое состояние рождает ощущение бесконечного превосходства. Виллемс буквально купался в нем.

Он не забирался слишком глубоко в собственные мысли, однако величайшую усладу давало не высказанное вслух, тайное убеждение — стоит ему убрать длань дающую, как весь этот честной народ околеет с голоду. Щедрость Виллемса окончательно их развратила. Дело нехитрое. С тех пор как он появился в здешних местах и женился на Джоанне, местные растеряли остатки склонности к труду и энергию, которые их прежде заставляла проявлять крайняя нужда. Теперь жизнь «родни» зависела от его милости. Это давало реальную власть. А власть Виллемс любил. На другом и, возможно, более низменном плане своей жизни он не испытывал нехватки нетривиальных и куда более осязаемых удовольствий. Виллемс любил простые игры, требующие навыка, например бильярд, а также игру посложнее, где приходилось проявлять умение иного толка, — покер. Он многое перенял у любившего поучать американца с неподвижным взглядом, которого непонятно каким образом занесло в Макасар с просторов Тихого океана. Покрутившись в водоворотах городского быта, американец так же загадочно пропал в солнечной пустоте Индийского океана. В память о чужестранце из Калифорнии остались покер — игра приобрела популярность в столице

Сулавеси — и мощный коктейль, рецепт которого китайские юнги по сей день передают друг другу на квантунском диалекте в кабаках Зондских островов. Виллемс разбирался в напитках и умел играть, чем сдержанно гордился. Зато доверием, оказываемым Хедигом, хозяином компании, гордился назойливо и хвастливо. Доверие было следствием великодушия Виллемса, его заостренного чувства ответственности за себя и мир в целом. Он ощущал неудержимый зуд постоянно об этом говорить, но совершенно не вникая в суть сказанного. У невежд всегда находится что-то такое, понимание чего заменяет им знание всего остального. Этот предмет заполняет вселенную невежды до краев. Для Виллемса предметом понимания был он сам. Изучение себя, своих повадок, задатков и умения направлять свою судьбу началось с того дня, когда он, почуяв недоброе, сбежал от голландского приказчика Вест-Индской компании на улице Семаранга, и привело его к доходной должности, которую он теперь занимал. Скромного и застенчивого от природы юношу успех удивлял, почти пугал, и в итоге — после череды радостных потрясений — сделал жутко самонадеянным. Он уверовал в собственную гениальность и знание мира. Так

почему бы не рассказать о себе другим для их же блага и пущей славы? Почему не дать всем этим мужчинам, хлопающим его по спине и шумно приветствующим, достойный подражания пример? А как его дашь, если помалкивать? Поэтому он говорил без умолку. После обеда развивал свою теорию успеха за маленькими столиками, периодически окуная усы в молотый лед коктейля. По вечерам нередко продолжал с кием в руке поучать юного слушателя за партией в бильярд. Шары на столе замирали, как будто тоже слушая, под ярким светом масляных ламп с абажурами, висящими низко над сукном. В темном углу большой комнаты тем временем сидел, прислонив натруженную спину к стене, китаец-маркер, чье неподвижное лицо-маска казалось бледным рядом с доской красного дерева для подсчета очков, а веки сами собой закрывались от вызванной поздним часом и усталостью дремоты и монотонного журчания неразличимых слов белого человека. В разговоре вдруг наступала остановка, партия возобновлялась резким щелчком и некоторое время продолжалась мягким жужжанием и глухим стуком шаров, зигзагами катящихся навстречу неизбежно успешному карамболю. Через большие окна и открытые двери внутрь прони-

кала соленая сырость моря; слабый запах гнили и аромат цветов из сада гостиницы смешивались с вонью лампового масла, становившейся с наступлением ночи все сильнее. Головы игроков, когда они наклонялись для удара, окунались в свет ламп и тут же резко уходили назад в зеленоватый полумрак, создаваемый широкими абажурами. Методично тикали часы. Неподвижный китаец апатично, словно большая говорящая кукла, объявлял счет. Виллемс выигрывал партию. Заметив, что час уже поздний, а он человек женатый, победитель снисходительно прощался и выходил на длинную, безлюдную улицу. Белая дорожная пыль, словно яркая полоса лунного света на воде, ласкала глаз после подслеповатого света масляных ламп. Виллемс шел домой вдоль стен, с которых свешивалась пышная растительность палисадников. Дома по обе стороны скрывались за черной массой цветущих кустарников. Улица была в полном распоряжении Виллемса. Он шагал посредине, тень раболепно бежала впереди. Виллемс благодушно смотрел на нее. Тень успешного человека! От выпитых коктейлей и собственной славы слегка кружилась голова. Люди не раз слышали, что он приехал на восток четырнадцать лет назад юнгой, мальчишкой. В то

время отбрасываемая им тень, должно быть, была совсем короткой. Виллемс с улыбкой подумал, что тогда у него вообще не было ничего своего, даже тени. Зато сейчас он видел перед собой тень уважаемого служащего компании «Хедиг и К°», следующего домой. Как славно! Как вольготно живется тем, кто выбрал правильную сторону! Он победил в игре под названием «жизнь». И в игре под названием «бильярд» тоже победил. Виллемс ускорил шаг, позвякивая выигранными монетами и вспоминая счастливые дни, ставшие вехами его жизненного пути: свою первую поездку в Ломбок для покупки пони, первую важную сделку, доверенную ему Хедигом, за которой последовали более важные события: тайная торговля опиумом, незаконная продажа пороха, контрабанда оружия, трудная сделка с гоакским раджой, которую удалось провернуть на одном кураже. Виллемс ухватил старого царька-дикаря за бороду прямо в его совете, подмазал, подарив позолоченную остекленную карету, в которой, по слухам, теперь держали кур, наговорил с три короба, перехитрил во всех отношениях. Вот лучший путь к успеху! Виллемс не одобрял банальный обман вроде воровства денег из кассы, однако закон можно было обойти, а правила тор-

говли до предела растянуть. Иным такой подход мог показаться надувательством. Так думают только дураки, слабаки, ничтожества. Умные, сильные, уважаемые люди не испытывают угрызений совести. Совесть и власть несовместимы. Эту веру он часто проповедовал молодым, являя собой яркий пример ее правоты.

Каждый вечер Виллемс возвращался домой после дня, наполненного трудом и развлечениями, опьяненный звуком собственных речей о личном процветании. День тридцатилетия не был исключением. Виллемс провел приятный шумный вечер в доброй компании и шел домой по пустой улице, чувствуя, как ощущение собственного величия нарастает в груди, приподнимает его над белой дорожной пылью, наполняет душу торжеством и грустью. Надо было лучше показать себя в гостинице, больше рассказать о себе, произвести на слушателей еще более сильное впечатление. Ну, ничего. Как-нибудь в другой раз. А сейчас он вернется домой, разбудит и заставит слушать жену. Почему бы ей не встать, не смешать для мужа коктейль, не послушать, как он говорит? Просто так. Это ее долг. Он мог бы разбудить всю семейку Да Соуза, если только пожелает. Достаточно сказать одно слово, и они

явятся и будут сидеть в своих ночных рубашках на жесткой холодной земле его двора и молча внимать, пока он будет говорить с крыльца о собственном величии и доброте столько, сколько захочет. Придут как миленькие. Хотя сегодня вечером хватит и одной жены.

Жена! Он мысленно поморщился. Понурая женщина с испуганными глазами и скорбно поджатыми губами слушала его со страдальческим удивлением и немым оцепенением. Она привыкла к ночным лекциям мужа. Сначала, правда, пыталась противиться — всего один раз. Но теперь, когда Виллемс, развалившись, сидел в шезлонге, пил и разглагольствовал, жена стояла у дальнего края стола, опершись на него ладонями, и следила пугливыми глазами за его губами — без звука, без движения, едва дыша, — пока он не отпускал ее со словами: «Ступай спать, кукла». Жена издавала протяжный вздох и тихонько выходила из комнаты — облегченно и равнодушно. Ничто не могло заставить ее вздрогнуть, огрызнуться или заплакать. Она никогда не жаловалась и не перечила. Разница между ними была слишком огромна. Непреодолима. Она, по-видимому, пугала жену до дрожи. Смурная баба! Черт бы побрал всю эту затею! Какого дьявола

он посадил ее себе на шею. Эх, ну да ладно! Он сам хотел обзавестись домашним очагом. Выбор работника, похоже, устроил Хедига, и хозяин подарил ему бунгало — окруженный цветами дом, к которому Виллемс, петляя, теперь шел прохладной лунной ночью. Этим он вдобавок снискал поклонение клана Да Соуза. Человек его чеканки все выдержит, справится с любым делом, добьется чего угодно. Пройдет еще пять лет, и белые люди, что играют по воскресеньям у губернатора в карты, примут его в свой круг, а на жену-полукровку даже не посмотрят! Ура! Тень перед ним дернулась и взмахнула шляпой размером с бочку из-под рома, зажатой в руке длиной несколько метров. Кто здесь крикнул «ура!»? Виллемс стыдливо улыбнулся и, засунув руки в глубокие карманы, напустив на себя серьезный вид, ускорил шаг. У него за спиной с левой стороны улицы перед входом во двор мистера Винка мигнул огонек. Мистер Винк, кассир «Хедиг и К°», прислонившись к кирпичной стойке ворот, курил последнюю сигару на сон грядущий. Невидимая в тени подстриженных кустов миссис Винк медленно, размеренным шагом вышла, хрустя галькой, по круговой дорожке со двора на улицу.

— Виллемс топает домой. Пьяный, поди, — не

оборачиваясь, сообщил жене мистер Винк. — Я видел, как он прыгал и махал шляпой.

Хруст гальки прекратился.

— Ужасный человек, — равнодушно ответила мисс Винк. — Я слышала, что он колотит жену.

— О нет, дорогая, — рассеянно пробормотал мистер Винк, делая неопределенный жест.

Его не интересовало, был ли Виллемс домашним тираном. Вечно эти бабы попадают пальцем в небо! Реши Виллемс помучить жену, он придумал бы более изощренный способ. Кассир хорошо знал Виллемса как очень способного и очень хитрого работника, даже чересчур хитрого. Сделав напоследок пару затяжек, мистер Винк про себя решил, что доверие, оказываемое Виллемсу Хедигом, не исключало осторожной критики со стороны кассира.

— Он становится опасен — слишком много знает. От него придется скоро избавляться, — сказал мистер Винк, однако миссис Винк уже ушла в дом. Покачав головой, кассир выбросил окурок и медленно поплелся за супругой.

Виллемс шагал домой, сплетая в уме блестящую паутину будущей жизни. Взору открывалась столбовая дорога, ведущая к величию, прямая и яркая, без единого видимого препятствия. Он вре-

менно свернул с честного пути, и понимал это, но скоро вернется на него и уже больше никогда с него не сойдет. Дело-то пустячное. Он скоро все поправит. А пока что главное — не попадаться. Виллемс полагался на свою ловкость, удачу, прочную репутацию — они нейтрализуют любое подозрение, даже если кто-то отважится в чем-то его заподозрить. Да никто и не отважится! Сам он, конечно, знал о недостаче. Виллемс на время позаимствовал у Хедига кое-какие деньжата — по досадной необходимости, — однако судил себя со снисхождением, относя свой проступок к слабостям гения. Он скоро вернет деньги, и все станет как раньше. Ни у кого ничего не убудет, и он без помех продолжит движение к блестящей цели своих вожделений.

Войти в долю с Хедигом!

Прежде чем подняться на крыльцо своего дома, Виллемс постоял немного, широко расставив ноги, держась за подбородок, и воочию представил себя в роли партнера Хедига. Какое славное положение. Надежное, как скала. Манящее глубиной, как бездна. Хранящее тайну, как могила.

Глава 2

Море — возможно, из-за растворенной в нем соли — дубит шкуры своих слуг, но предохраняет от порчи начинку — их душу. В древние времена слуги моря, подобно верным рабам, обитали в нем с юных лет до самой старости или внезапной гибели, не ища ответа в книге бытия, ибо имели возможность смотреть в лицо вечности — стихии, дарующей жизнь и приносящей смерть. Под стать молодой неразборчивой женщине морская стихия прошлого славно улыбалась, неудержимо гневалась, капризничала, манила, вела себя непоследовательно и легкомысленно, ее любили и боялись. Море могло околдовать, подарить радость, убаюкать, внушив безоглядную веру, и вдруг в мгновенной, беспричинной вспышке гнева убить. Однако жестокость моря смягчалась очарованием непостижимой тайны, безмерностью обещаний, волшебством его случайного благоволения. Сильные люди с сердцем ребенка хранили морю верность, смиренно принимали жизнь по его милости и смерть по его воле. Все это было еще до того, как французские умники наняли египетских рабочих и выкопали

жалкую, но прибыльную канаву. Затем вечно неспокойное зерцало бесконечности заслонили клубы дыма от бесчисленных пароходов. Руки инженеров разорвали вуаль на лике грозной красавицы, с тем чтобы ни во что не верящие сухопутные крысы смогли набить свои карманы. Тайну уничтожили. Как и все подобные тайны, эта жила лишь в сердцах тех, кто в нее верил. Изменились сердца, изменились люди. Бывшие любящие, преданные слуги вооружились огнем и железом и победили живущий в сердце страх, превратившись в расчетливую орду черствых, привередливых старателей. Море прежних времен было беспримерно прекрасной хозяйкой с таинственным ликом и суровым, но многообещающим взглядом. Море наших дней — загнанная рабочая скотина, исполосованная и обезображенная поднятыми грубыми винтами волнами, лишенная пленяющей прелести своего простора, своей красоты, загадочности и посула.

Том Лингард был умельцем, поклонником и слугой моря. Море приняло его молодым, вылепило его душу и тело, наделило свирепым видом, громким голосом, бесстрашным взором и глупым, бесхитростным сердцем. Море щедро одарило Тома неоправданной самоуверенностью, всеобъ-

емлющей любовью ко всему живому, широтой души, пренебрежительной резкостью, прямолинейностью побуждений и чистотой помыслов. Сотворив Лингарда, море по-женски смиренно ему служило, позволяя нежиться в солнечных лучах своего ужасно непостоянного характера. Том Лингард разбогател — на море и благодаря морю. Он горячо и нежно, как невесту, любил море, усмирял его за счет отличной выучки, побаивался его с разумной осторожностью храбреца и подчас заигрывал с ним, как избалованный ребенок с добродушным родителем — великаном-людоедом. В своем честном сердце Лингард носил глубокую благодарность морю. Он больше всего гордился своей твердой убежденностью в верности моря, при этом безошибочно ощущая душой его вероломную природу.

Орудием удачи Лингарда служил маленький бриг «Вспышка». Бриг и его капитан вместе прибыли на север — оба еще молодые — из одного австралийского порта, и через несколько лет на островах от Палембанга до Тернате и от Омбавы до Палавана не осталось ни одного белого, кто не слышал бы о капитане Томе и его удачливом судне. Его любили за безоглядную щедрость, неизменную честность и поначалу побаивались

из-за вспыльчивого нрава. Однако очень скоро Лингарда раскусили, прошел слух, что улыбки иного человека следует опасаться больше, чем гнева капитана Тома. Дело шло в гору. Авторитет Лингарда начал расти после первой успешной стычки с пиратами в Кариматском проливе, когда он по слухам отбил атаку на яхту одной важной шишки из родных краев. С годами авторитет капитана рос все больше. Том регулярно наведывался в отдаленные уголки этой части света, постоянно искал новые рынки для своих грузов — не столько ради выгоды, сколько ради удовольствия от новых открытий — и вскоре приобрел широкую известность среди малайцев, а на пиратов наводил страх своей удалью и отвагой в стычках. Те белые, с кем Лингард водил дело и кому, естественно, хотелось найти в нем какую-нибудь слабину, быстро сообразили, что капитану можно легко польстить, если называть его прозвищем, которое ему дали малайцы. Поэтому, когда им что-то было нужно, а иногда по чисто бескорыстной доброте, они отбрасывали церемонное «капитан Лингард» и с серьезным видом называли его Раджа Лаут — Повелитель Моря.

Широкоплечий Том с гордостью носил это имя.

К тому дню, когда он прибыл в Семаранг, где по палубе «Космополита IV» бегал босоногий мальчишка Виллемс, прошло немало лет, и прозвище Раджа Лаут прочно прилипло к Лингарду. Невинно поглядывая на чужой берег и понося окрестности последними словами, мальчишка тем не менее лихорадочно строил в своем детском уме героический план побега. Лингард, ранним утром стоя на юте «Вспышки», наблюдал, как оседает под тяжестью груза готовящийся отплыть на восток голландский корабль. В тот же день поздно вечером Том стоял на причале грузового канала, собираясь подняться на борт своего судна. Ночь выдалась ясная и звездная. Маленькая таможня была заперта. Наемный экипаж, доставивший его в порт, скрылся в аллее с пыльными деревьями, ведущей в город, и Лингард полагал, что на пристани, кроме него, никого нет. Он вызвал шлюпочную команду и ожидал их прибытия, как вдруг кто-то дернул его за полу и тихо, но отчетливо позвал:

— Инглиш кэптен.

Лингард быстро обернулся. Худющий мальчишка с завидной прытью отскочил в сторону.

— Ты кто такой? Откуда ты взялся? — спросил оторопевший Лингард.

Мальчишка, соблюдая безопасную дистанцию, указал на пришвартованный к пристани грузовой лихтер.

— Прятался там, что ли? — спросил Лингард. — Чего тебе нужно? Говори, будь ты неладен. Ты же сюда не шутки шутить со мной пришел?

Мальчик попытался объясниться на ломаном английском, но Лингард перебил его:

— Ясно. Сбежал с большого корабля, который отчалил сегодня утром. Почему бы тебе не пойти к своим здешним землякам?

— Корабль ходить недалеко — в Сурабаю. Меня вернуть на корабль, — объяснил беглец.

— Для тебя так было бы лучше всего, — уверенно заключил Лингард.

— Нет, — возразил мальчишка. — Я хотеть оставаться здесь, я не хотеть домой. Здесь деньги, дома — плохо.

— Ишь ты, — поразился Лингард. — Деньги, говоришь? Ну и ну! И удрать не побоялся — даром что кожа да кости!

Мальчик объяснил, что больше всего боится возвращения на корабль. Лингард смотрел на него в молчании и задумчивости.

— Подойди ближе, — наконец произнес он. Капитан взял мальчишку за подбородок и пытливо

заглянул ему в лицо. — Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Для семнадцати ты маловат будешь. Проголодался?

— Немного.

— Пойдешь ко мне? На этот бриг?

Мальчишка молча двинулся к лодке и взобрался на нос.

— Знает свое место, — буркнул Лингард, тяжело ступив на крышку решетчатого люка на корме и взявшись за румпель-штерт. — Иди сюда.

Малайские гребцы дружно налегли на весла, гичка оторвалась от причала и поплыла навстречу якорному огню корабля.

Так началась карьера Виллемса.

За полчаса Лингард узнал всю незатейливую биографию мальчишки. Отец — портовый агент судового маклера в Роттердаме, мать умерла. Мальчик все схватывал на лету, но ленился в школе. В семье — стесненные условия, куча маленьких братьев и сестер, с грехом пополам одетых и накормленных, но бегавших безо всякого присмотра, в то время как безутешный вдовец в поношенном пальто и дрянных сапогах весь день топтал грязь причалов, а по вечерам, уставший, таскал на буксире по дешевым злачным

местам подвыпивших шкиперов-иностранцев, поздно возвращаясь домой осоловевшим от выпитого и выкуренного за компанию с людьми, считавшими подобные знаки внимания частью правил по заключению сделок. Потом капитан «Космополита IV» сжалился и, желая хоть чем-то помочь терпеливому исполнительному собрату, предложил отцу Виллемса взять отпрыска в свою команду. Мальчишка сначала обрадовался, но море, столь очаровательно выглядевшее с берега, при ближайшем знакомстве оказалось жестоким и взыскательным, и юный Виллемс, подчинившись наитию, решил бежать. Мальчишка был совершенно не в ладах с духом моря. Он безотчетно презирал искреннюю простоту морского труда, не сулившего ничего из того, что он жаждал получить. Лингард быстро это понял. Он предложил отправить беглеца домой на английском судне, но мальчишка взмолился, упрашивая, чтобы его оставили. У него был красивый почерк, он живо научился говорить по-английски без ошибок, быстро считал, и Лингард стал поручать ему задания по способностям. Когда малец подрос, у него открылось удивительное чутье на торговые сделки, и Лингард стал позволять ему торговать то на одном острове, то на другом, пока сам про-

падал где-нибудь вдали от проторенных путей. По просьбе Виллемса Лингард разрешил юноше поступить на службу к Хедигу. Ему было немного жаль отпускать юнца, потому что он по-своему привык оказывать ему покровительство. И все же Лингард гордился Виллемсом и всегда брал его под защиту. Поначалу он говорил: «Шустрый мальчуган. Жаль только, что моряк из него никудышный». А когда Виллемс начал заниматься торговыми делами, стал называть его смышленым юношей. Еще через некоторое время, когда Виллемс стал доверенным агентом Хедига и начал участвовать в разного рода деликатных сделках, бесхитростный морской волк, указывая пальцем на спину молодого человека, шептал тому, кто случался рядом: «Этот малый далеко пойдет, чертовски далеко. Посмотри на него. Доверенное лицо Хедига. А ведь я подобрал его в канаве. Можно сказать, как голодного котенка. Кожа да кости. Клянусь, так все и было. А теперь, поди ж ты, знает о торговле на островах больше моего. Точно-точно. Я не шучу. Больше моего». Так с серьезным видом повторял Лингард, и в его честных глазах светилась беспорочная гордость.

Виллемс с вершины своего коммерческого успеха поглядывал на Лингарда со снисхожде-

нием. Он питал к своему благодетелю симпатию с легкой примесью презрения к неотесанной прямоте, с которой себя вел старый моряк. В то же время некоторые стороны в характере Лингарда вызывали у юноши неподдельное уважение. Разговорчивый капитан умел, когда надо, держать язык за зубами, что в глазах Виллемса выглядело крайне интересной чертой. Кроме того, Лингард был богат, что само по себе вызывало у Виллемса невольное почтение. В доверительных беседах с Хедигом Виллемс обычно называл добряка англичанина везучим старым дураком, причем с плохо скрываемой завистью. Хедиг неопределенно хмыкал, и оба смотрели друг на друга внезапно застывшим от невысказанной мысли взглядом.

— Эй, Виллемс, ты не мог бы узнать, откуда он возит каучук? — спрашивал, помолчав, Хедиг, отворачивая голову и склоняясь над лежащими на столе бумагами.

— Нет, мистер Хедиг. Пока не могу. Но я попытаюсь, — неизменно отвечал Виллемс тоном неодобрительного сожаления.

— «Попытаюсь»! Вечно ты пытаешься! Пытается он! Ты, наверно, мнишь себя хитрецом, — не унимался Хедиг, не поднимая глаз. — Я веду торговлю с этой старой лисой уже лет двадцать-

тридцать. Я ли не пытался? Хэх!

Хедиг вытягивал короткую толстенькую ногу и рассматривал голый подъем ступни со свисающим с пальцев соломенным шлепанцем.

— Напоить его сумеешь? — преодолев одышку, спрашивал он.

— Нет, мистер Хедиг, вряд ли, — с серьезным видом возражал Виллемс.

— Можешь даже не пытаться. Я-то его знаю. Даже не пробуй, — советовал хозяин, снова наклоняясь над столом и приближая налитые кровью глаза к бумаге, на которой старательно выводил толстыми пальцами худые неровные буквы письма, в то время как Виллемс уважительно ждал возвращения хорошего настроения босса, чтобы подобострастно спросить:

— Будут ли какие указания, мистер Хедиг?

— Гм! Будут. Ступай к Бун Хину и проследи, чтобы платеж подсчитали и деньги упаковали как надо, а потом передай их на борт почтового парохода, что идет в Тернате. Он должен прибыть сюда после обеда.

— Да, мистер Хедиг.

— И слушай сюда. Если пароход опоздает, оставь ящик с деньгами до утра на складе Бун Хина. Запечатай его. Восемь печатей — как обычно. И

больше не трогай, пока пароход не зайдет в порт.

— Хорошо, мистер Хедиг.

— Да еще не забудь о ящиках с опием. Груз надо доставить сегодня ночью. Возьми моих лодочников. Перевези с «Каролины» на арабский барк, — хриплым полушепотом продолжал хозяин. — И смотри у меня, чтобы без новых выдумок об упавшем в воду ящике, как в прошлый раз, — добавил он, с неожиданной свирепостью зыркнув на доверенного агента.

— Хорошо, мистер Хедиг. Я позабочусь.

— На этом все. На выходе скажи этой свинье: если опахало не будет работать как следует, я переломаю ему все кости, — закончил Хедиг, вытирая багровое лицо красным шелковым носовым платком размером со стеганое одеяло.

Виллемс бесшумно уходил, тщательно прикрывая за собой ведущую на склад маленькую зеленую дверь. Хедиг с пером в руках прислушивался, как тот осыпает мальчишку за приводом опахала грязными проклятиями, продиктованными безграничной заботой об удобстве хозяина, после чего возвращался к письму среди шороха бумаг, шевелившихся от ветерка, нагоняемого широкими взмахами опахала над головой.

Виллемс приветливо кивал мистеру Винку, чей

стол стоял у маленькой двери в личный кабинет хозяина, и с важным видом проходил через склад. Мистер Винк с крайним неодобрением, притаившимся в каждой морщинке благообразного лица, провожал взглядом фигуру в белом, мелькавшую в полумраке между грудами тюков и ящиков, пока та не пропадала в арочных воротах, растворившись в пятне яркого уличного света.

Глава 3

Доступность денег и жажда обладания ими оказались слишком большим искушением для Виллемса. Под давлением внезапной нужды он нарушил доверие, служившее предметом его гордости и показателем ума, но в итоге оказавшееся слишком тяжелой ношей для его плеч. Полоса невезения за картежным столом, неудачный исход мелкой спекуляции, затеянной без ведома хозяина, внеурочная просьба о деньгах со стороны очередного члена клана Да Соуза — не успел он оглянуться, как уже свернул с тропы исключительной честности. Путь этот был таким нечетким и плохо размеченным, что Виллемс не сразу понял, как далеко забрел в колючие кусты опасных дебрей, которые много лет обходил сто-

роной, не имея иных ориентиров, кроме личного интереса и доктрины успеха, обнаруженной в Бытии, в тех занимательных главах, где дьяволу позволили прибавить пару строк от себя, дабы испытать остроту зрения и твердость сердца человека. На одно короткое мгновение Виллемс пришел в ужас. И все же он обладал отвагой — не той, что покоряет вершины, но той, что за отсутствием удобной дороги бесстрашно преодолевает болота. Он налег на возмещение убытка и задался целью не попадаться. Ко дню тридцатилетия Виллемса цель была хитро и с умом достигнута. Он считал, что угроза миновала. Теперь он мог снова смотреть в будущее, где его ждала заслуженная награда. Его никто не осмелится заподозрить, а через пару дней отпадет и сам повод для подозрений. Виллемс повеселел. Он не ведал, что прилив удачи достиг высшей точки и пошел на спад.

Об этом он узнал через два дня. Мистер Винк, услышав скрип дверной ручки, выскочил из-за стола, откуда, трепеща, прислушивался к громким голосам в кабинете шефа, и с нервной торопливостью сунул голову в большущий сейф, ибо с тех пор, как Виллемс полчаса назад вошел в святую святых Хедига через маленькую зеленую дверь, кабинет шефа, судя по адскому шуму внут-

ри, напоминал пещеру дикого зверя. Мятущийся взгляд Виллемса мельком остановился на людях и предметах обстановки, когда он покидал сцену своего позора: на испуганном лице мальчишки с опахалом, на повернутых к нему бесстрастных физиономиях китайцев-счетоводов, сидевших на корточках с застывшими в воздухе над кучками блестящих гульденов на полу руками, на лопатках и торчавших из-за плеч мясистых ободках розовых ушей мистера Винка. Виллемс видел перед собой длинную вереницу ящиков с джином, тянувшуюся до самого выхода с аркой, за которой можно будет наконец перевести дух. На дороге валялся обрезок тонкого каната, и Виллемс хотя прекрасно его видел, неуклюже зацепился за него ногой, словно это был железный лом. Он вышел на улицу, но все еще не мог отдышаться и поплелся к дому, хватая воздух ртом.

Со временем проклятия Хедига, звеневшие в ушах, потеряли силу, и ощущение стыда постепенно сменила острая досада — на себя самого, но еще больше на глупое стечение обстоятельств, подтолкнувшее его к идиотской промашке. «Идиотская промашка» — именно так определил для себя свой поступок Виллемс. Что могло быть хуже с точки зрения его несомненной проницатель-

ности? Какое роковое помрачение острого ума! Он сам себя не узнавал. Не иначе помутился рассудком. Точно. Внезапный приступ слабоумия. Столько лет труда, и все псу под хвост. Что с ним теперь будет?

Не успев найти ответ на этот вопрос, Виллемс обнаружил, что стоит в саду перед своим домом, подаренным на свадьбу Хедигом. Виллемс слегка удивился, увидев перед собой дом. Прошлая жизнь успела уйти от него так далеко, что поселок, вернее, его часть, невредимая, опрятная и веселая в жарких лучах полуденного солнца, выглядела в его глазах совершенно чужеродным телом. Дом представлял собой приятное на вид маленькое сооружение, сплошь состоявшее из окон и дверей, со всех сторон окруженное широкой верандой с навесом на тонких подпорках, увитых зеленью ползучих растений, бахромой свисавших с края крутой крыши. Виллемс медленно, останавливаясь на каждом шагу, поднялся по дюжине ступеней на веранду. Придется все рассказать жене. Предстоящий разговор страшил его, и эта тревога раздражала еще больше. Испугался встречи с собственной женой! Лучшего показателя огромности изменений, происшедших вокруг него и в нем самом, не найти. Другой

он, другая жизнь с верой в себя — все это теперь в прошлом. Он мало чего стоит, если трусит посмотреть в глаза даже собственной жене.

Виллемс не отважился войти в дом через открытую дверь столовой и нерешительно остановился у маленького рабочего столика с куском белого ситца и воткнутой в него иголкой, словно швею кто-то внезапно оторвал от работы. Какаду с розовой грудкой при виде хозяина развил бурную неуклюжую деятельность, лазая по клетке вверх и вниз, негромко выговаривая «Джоанна» и пронзительно крича в конце последнего слога. Крик птицы напоминал хохот сумасшедшего. Занавеску в дверном проеме один-два раза колыхнул сквозняк. Виллемс всякий раз едва заметно вздрагивал, ожидая появления жены, но глаза не поднимал и только прислушивался, не послышатся ли ее шаги. Постепенно он погрузился в собственные думы, бесконечные рассуждения, как лучше сообщить ей новость и отдать указания. Увлекшись, он почти забыл о собственном страхе перед ней. Жена, конечно, заплачет, запричитает, как обычно, будет беспомощна, пуглива и покорна. А ему придется тащить эту обузу на своей шее через мрак погубленной жизни. Какой ужас! Он, разумеется, не бросит ее одну с ребен-

ком в нищете и даже голоде. Ведь это жена и ребенок Виллемса-победителя, Виллемса-умницы, Виллемса, на которого можно поло… Тьфу! Кто такой сейчас этот Виллемс? Виллемс… Он удушил в зачатке зарождавшуюся мысль и кашлянул, подавляя стон. Ах! Какие разговоры пойдут сегодня вечером в бильярдной, в мире, где он был первым, среди всех этих людей, до чьего уровня он опускался с таким снисхождением. С каким удивлением, деланым сожалением, серьезными минами и многозначительными кивками они будут о нем говорить! Некоторые из них задолжали ему, но он никогда никого не торопил. Это было не в его характере. Виллемс, самый славный малый — вот как его звали. Теперь небось будут злорадствовать. Сборище придурков. Даже в своем унижении он сознавал превосходство над этими ничтожествами — честными или пока еще не пойманными за руку. Сборище придурков! Виллемс погрозил кулаком воображаемым приятелям, и попугай захлопал крыльями и заверещал от испуга.

Быстро подняв глаза, Виллемс увидел выходившую из-за угла дома жену. Он тут же опустил веки и молча дождался, когда она подойдет и остановится по другую сторону столика. Виллемс

не смотрел ей в лицо, но прекрасно видел, что она одета в красный пеньюар, который он видел на ней много раз. Жена, казалось, никогда в жизни не снимала этот красный пеньюар с грязными голубыми бантами спереди, засаленный и застегнутый не на те пуговицы, с обрывком тесьмы, змеей волочившейся сзади, когда она лениво расхаживала вокруг с небрежно подоткнутыми волосами и неряшливо свисавшей на спину спутанной прядью. Взгляд Виллемса поднялся — от одного банта к другому, отмечая те, что болтались на живой нитке, и остановился ниже подбородка жены. Он смотрел на худую шею, выпирающие ключицы, заметные даже среди беспорядка верхней части туалета, на тонкую руку и костлявую кисть, прижимающую к груди ребенка, и не мог избавиться от отвращения к этой обременительной стороне своей жизни. Виллемс ждал, когда жена что-нибудь скажет, но в затянувшемся молчании лишь чувствовал на себе ее взгляд, поэтому, вздохнув, заговорил первым.

Сделать это было нелегко. Он говорил медленно, задерживаясь на воспоминаниях о прежней жизни, не желая признаться, что ее уже не вернешь и пора привыкать к менее блестящей участи. В убеждении, что он осчастливил жену и

удовлетворил все ее материальные потребности, Виллемс ни на минуту не сомневался, что она не покинет его, как бы ни был труден и каменист будущий путь. Эта уверенность ничуть его не радовала. Он женился, чтобы угодить Хедигу, жена должна быть счастлива уже потому, что он принес великую жертву, и не требовать дальнейших усилий с его стороны. Джоанна прожила несколько лет в почетном звании законной супруги Виллемса, в уюте, преданной заботе и ласке, которые получала в положенной ей мере. Виллемс тщательно оберегал жену от физических страданий — о том, что страдания бывают иного характера, он даже не задумывался. Он считал, что играет роль главы семьи для ее же пользы. Все было понятно и так, однако Виллемс повторил эту мысль вслух, чтобы жена живее представила себе, как много потеряла. Она так туго соображает — иначе до нее не дойдет. И вот наступил конец. Им придется уехать. Покинуть этот дом, покинуть этот остров, перебраться в места, где его никто не знает. Может быть, в колонию на Шетландских островах. Там найдется и применение его способностям, и люди порядочнее Хедига. Виллемс горько рассмеялся.

— Деньги, что я оставил дома утром, у тебя,

Джоанна? — спросил он. — Они нам понадобятся. Все без остатка.

Произнося эти слова, он выглядел в своих глазах молодцом. Ну, тут нечего удивляться. Он по-прежнему превосходил собственные ожидания. К черту! В конце концов, в жизни бывают священные обязательства. Например, брачные узы, и он не из тех, кто их нарушит. Твердость принципов наполняла его великим удовлетворением, однако Виллемс по-прежнему не решался посмотреть жене в глаза. Пусть сама что-нибудь скажет. Потом придется ее утешать, говорить, чтобы глупышка перестала хныкать и начала собираться к отъезду. Отъезду куда? На чем? Когда? Виллемс покачал головой. Ясно одно: уезжать надо не откладывая. Ему вдруг страшно захотелось собраться побыстрее.

— Ну что ты, Джоанна, — произнес он с оттенком нетерпения, — не стой как истукан. Слышишь? Мы должны…

Он поднял глаза на жену, и слова застряли у него в горле. Джоанна сверлила его большими раскосыми глазами, казавшимися ему в два раза больше, чем обычно. Ребенок, уткнув грязное личико в плечо матери, мирно спал. Тихое бормотание внезапно притихшего какаду только

еще больше подчеркивало наступившее гробовое молчание. На глазах у Виллемса верхняя губа Джоанны приподнялась с одной стороны, придав меланхоличному лицу злобное выражение, какого раньше ему не доводилось видеть. Он в изумлении отшатнулся.

— А-а! Великая личность! — сказала Джоанна отчетливо, но почти шепотом.

Эти слова и особенно тон, которым они были произнесены, оглушили Виллемса, как если бы рядом бабахнули из пушки. Он тупо уставился на жену.

— А-а! Великая личность! — повторила она уже медленнее, посмотрев направо и налево, словно в поисках пути для отступления. — Ты решил, что я буду помирать с голоду вместе с тобой? Ты теперь никто. Думаешь, моя мама и Леонард меня отпустят? С тобой? С тобой! — с издевкой повторила она, повысив голос, отчего ребенок проснулся и тихо захныкал.

— Джоанна! — воскликнул Виллемс.

— Молчи. Я услышала то, что ожидала услышать все эти годы. Ты хуже дорожной грязи, ты, вытиравший об меня ноги! Я ждала этого момента. Я больше не боюсь. Ты мне не нужен, не подходи ко мне. А-а-а! — пронзительно

вскрикнула она, вытянув в заклинающем жесте руку. — Оставь меня! Оставь! Оставь!

Джоанна отступила назад, гладя на мужа с гневом, перемешанным со страхом. Виллемс стоял окаменев, в тупом изумлении от необъяснимой вспышки злости и бунта со стороны жены. Но почему? Что он ей такого сделал? Воистину сегодня день несправедливости. Сначала Хедиг, теперь жена. Ему стало страшно от сознания, что рядом с ним все эти годы таилось столько ненависти. Он попытался что-то сказать, но Джоанна издала новый пронзительный крик, словно иглой проткнувший его сердце. Он опять поднял руку.

— Помогите! — завопила Джоанна. — На помощь!

— Тихо ты, дура! — рявкнул Виллемс, пытаясь утопить крики жены и ребенка в собственном гневе, и в отчаянии с силой тряхнул маленький цинковый столик.

Из-под дома, где находились туалеты и кладовка с инструментами, появился Леонард со ржавым ломом в руках и грозно крикнул, остановившись у подножия крыльца:

— Не обижайте ее, мистер Виллемс. Вы настоящий дикарь. Не то что мы, белые люди.

— И ты туда же! — поразился Виллемс. — Я ее

и пальцем не тронул. Здесь что, сумасшедший дом?

Он шагнул к ступеням, и Леонард, выронив лом, так что тот звякнул, отбежал к воротам участка. Виллемс обернулся к жене:

— Ждала, говоришь? Заговор, значит. Кто это там хнычет и стонет в комнате? Еще кто-нибудь из твоей бесценной семейки?

Джоанна немного успокоилась и, торопливо положив плачущее дитя в большое кресло, с внезапным бесстрашием подошла к мужу:

— Это моя мать: пришла защитить меня от человека без роду без племени, от бродяги!

— Ты не называла меня бродягой, когда висла у меня на шее перед свадьбой, — возмутился Виллемс.

— А ты позаботился, чтобы я больше не висла после того, как мы поженились, — возразила она, сжав кулаки и придвинув свое лицо вплотную к его лицу. — Ты похвалялся, а я страдала и помалкивала. Во что превратилось твое хваленое величие? Теперь я буду жить на содержании твоего хозяина. Да-да, это правда. Он сам сообщил через Леонарда. А ты проваливай, хвастайся в другом месте, подыхай с голоду. Вот! Ах, я снова могу дышать! Этот дом — мой.

— Хватит! — остановил ее жестом Виллемс.

Джоанна отскочила, в ее глазах опять мелькнул страх, схватила ребенка, прижала к груди, плюхнулась в кресло и, как сумасшедшая, гулко забарабанила каблуками по полу веранды.

— Я ухожу, — твердо сказал Виллемс. — Благодарю тебя. Ты впервые за всю свою жизнь сделала меня счастливым. Ты жернов на моей шее, понимаешь? Я не собирался тебе это говорить до самой смерти, но ты меня вынудила. Я выброшу тебя из головы еще до того, как выйду из этих ворот. Ты очень облегчила мне задачу. Спасибо.

Виллемс развернулся и, не оборачиваясь, начал спускаться по ступеням. Джоанна молча сидела, выпрямив спину и широко раскрыв глаза, с жалобно плачущим ребенком на руках. У ворот Виллемс чуть не столкнулся с Леонардом, который не успел вовремя отскочить.

— Давайте без жестокости, мистер Виллемс, — торопливо проговорил Леонард. — Белым людям негоже так себя вести на глазах у туземцев. — Ноги Леонарда сильно дрожали, голос неудержимо срывался с баса на писк и снова переходил на бас. — Умерьте ваше неуместное буйство, — быстро пробормотал он. — Я уважаемый член порядочной семьи, а вы… сожалею… так все го-

ворят…

— Что-о? — громыхнул Виллемс.

Его охватил внезапный припадок бешеной злости, и, прежде чем он успел сообразить, что происходит, Леонард Да Соуза уже катался в пыли у него под ногами. Виллемс переступил через растянувшегося на дороге шурина и бросился бежать по улице куда глаза глядят. Прохожие уступали дорогу взбешенному белому господину.

Он пришел в себя только за околицей города на жесткой, растрескавшейся земле рисовых полей, с которых уже сняли урожай. Как он здесь очутился? Стемнело. Надо возвращаться. Виллемс поплелся обратно в город, в уме сменяли одна другую картины событий дня, оставляя горький привкус одиночества. Жена выгнала его из его же дома. Он сбил с ног шурина, члена семейного клана Да Соуза, оравы его поклонников. Он? Нет, это был не он! Это был кто-то другой. И возвращался в город тоже другой. Человек без прошлого, человек без будущего, но по-прежнему полный боли, стыда и гнева. Виллемс остановился и посмотрел по сторонам. Мимо по пустой улице с грозным рыком пробежала пара собак. Он стоял посреди малайского квартала, где в зелени маленьких дворов прятались темные молчаливые бамбуко-

вые хижины. В них спали мужчины, женщины, дети. Они тоже люди. А сможет ли теперь уснуть он? И где? Виллемсу казалось, что его отторгло все человечество. Потерянно осмотревшись, прежде чем уныло возобновить свой путь, он подумал, что мир стал больше, а ночь безбрежнее и чернее, но упрямо наклонив голову, двинулся вперед, словно продираясь сквозь густой колючий кустарник. Неожиданно Виллемс почувствовал под ногами дощатый настил, а подняв глаза, увидел красный огонек в конце пристани. Он молча подошел туда и прислонился к столбу с лампой. На рейде стояли два судна на якоре, ажурный такелаж мерно покачивался на фоне звезд. Конец причала. Еще один шаг — и жизни конец, конец всему. Так даже лучше. Что еще можно сделать? Ничего больше не вернешь. Виллемс ясно это видел. Всеобщие респект и восхищение, старые привычки, старые привязанности закончились в один миг, сменившись четким пониманием причины его позора. Он все увидел одним разом и на минуту отодвинул в сторону собственное «я», свой эгоизм, постоянную озабоченность своими интересами и желаниями, покинул храм самопоклонения и зацикленность на мыслях о себе самом.

Освобожденные мысли устремились на родину. Окруженный теплой неподвижностью звездной тропической ночи, Виллемс почувствовал дыхание колючего восточного ветра, увидел узкие фасады высоких домов под хмурым облачным небом, а на пристани — обтрепанную сутулую фигуру, терпеливое блеклое лицо человека, зарабатывающего хлеб насущный для детей, ждущих его возвращения в грязном жилище. Какое убожество! Нет, он туда ни за что не вернется. Что общего между такой жизнью и умницей Виллемсом, счастливчиком Виллемсом? Он разорвал связь с домом много лет назад. Так было лучше для него. Так было лучше для родных. Прежняя жизнь канула в прошлое и уже не возвратится. Виллемс невольно задрожал, поняв, что остался один на один с неведомым грозным будущим. Он впервые в жизни боялся будущего, потому что потерял веру в себя, в собственный успех. Уничтожил ее своими же руками, как последний дурак!

Глава 4

Размышления Виллемса, постепенно склонявшиеся к самоубийству, прервал Лингард. С громким «вот ты где!» капитан опустил на плечо

Виллемса тяжелую руку. На этот раз не Виллемс, а Лингард из кожи лез, чтобы найти неприметного бродягу — последний обломок внезапного, постыдного кораблекрушения. Виллемсу грубый приветливый голос принес быстрое, мимолетное облегчение, за которым немедленно последовал острый укол гнева и бесполезного раскаяния. Голос капитана вернул Виллемса в самое начало многообещающей карьеры, финал которой теперь был отчетливо виден с края пристани, на котором они оба стояли. Виллемс сбросил с плеча дружескую руку и с горечью сказал:

— Это вы во всем виноваты. Толкните меня, помогите спрыгнуть. Я стою здесь и жду, когда кто-нибудь поможет. Лучше вас не найти. Вы помогли мне вначале, помогите же и в конце.

— Ты мне пригодишься для лучшего дела, чем бросать тебя на корм рыбам, — без тени шутки объявил Лингард, взял Виллемса за руку и осторожно отвел от края пристани. — Мечусь по городу, как навозная муха, где тебя только не искал. О тебе всякое говорят. А я вот тебе что скажу: ты, конечно, не святой. И вдобавок повел себя не очень умно. Я не собираюсь бросаться камнями, — поспешно добавил он, когда Виллемс попытался высвободиться, — но и церемониться

не стану. Никогда не умел! Помолчи, пока я буду говорить. Стерпишь?

Обреченно махнув рукой, подавив стон, Виллемс сдался на милость более сильного волей. Расхаживая туда-сюда по скрипучим доскам рядом с Виллемсом, Лингард открыл ему все подробности его краха. Когда первый шок прошел, Виллемс потерял способность удивляться из-за переполнявшего его возмущения. Оказывается, все это подстроили Винк и Леонард. Это они шпионили за ним, фиксировали его проступки и доносили Хедигу. Это они подкупили двуличных китайцев, выведали секреты у подвыпивших шкиперов, разыскали гребцов и таким способом по кусочкам восстановили полную историю прегрешений Виллемса. Коварство столь подлого замысла привело его в ужас. Ладно еще Винк: они друг друга на дух не переносили, но Леонард! Леонард!

— Как же так, капитан Лингард, — не выдержал Виллемс, — ведь он мне сапоги лизал.

— Да-да-да, — проворчал Лингард, — мы это знаем. А ты при этом старался поглубже засунуть сапог ему в глотку. Такое, братец, никому не понравится.

— Я никогда не жалел денег для этой прожор-

ливой своры, — кипятился Виллемс. — Всегда держал карман открытым. Не заставлял просить дважды.

— То-то и оно. Твоя щедрость их насторожила. Они принялись гадать, откуда все это берется, и решили, что будет надежнее выбросить тебя за борт. В конце концов, ты не ровня Хедигу, дружок, а к нему у них есть свои счеты.

— О чем вы, капитан Лингард?

— О чем? — медленно повторил Лингард. — Неужели ты не знал, что твоя жена дочь Хедига? Да ладно!

Виллемс резко остановился, чуть не упав.

— Ах! Понятно… — выдохнул Виллемс. — Я не знал. Последнее время мне казалось, что… Нет-нет, мне и в голову не приходило.

— Ой, какой же ты дурачина! — с жалостью произнес Лингард. — Клянусь, — пробормотал он себе под нос, — я готов поверить, что этот парень ничего не знал. Ну и ну! Спокойно, не раскисай. Не все так плохо. Жена-то она хорошая.

— Превосходная, — уныло согласился Виллемс, глядя на черную, поблескивающую воду вдали.

— Вот и хорошо, — продолжал Лингард еще более дружелюбно. — Ничего страшного. А ты думал, что Хедиг женил тебя, подарил дом и бог

знает что еще из любви к твоей персоне?

— Я хорошо ему служил. Вы и сами знаете, насколько хорошо: шел за него в огонь и в воду. Что бы он ни поручил, любое рискованное дело — я все брал на себя, никогда не отлынивал.

Виллемс отчетливее, чем прежде, увидел, как велик был его труд и какой черной неблагодарностью ему отплатили. Джоанна — дочь хозяина!

Известие открыло ему глаза на все события последних пяти лет совместной жизни. Он впервые заговорил с Джоанной у ворот их усадьбы, когда одним сверкающим алмазным светом утром шел на работу. В такой ранний час женщины и цветы прекрасны даже для самых равнодушных глаз. По соседству жила уважаемая семья — две женщины и молодой мужчина. В их дом изредка наведывался один лишь священник, уроженец испанских островов. Леонарда, молодого соседа, Виллемс встретил в городе: ему льстило безмерное уважение, которое тот проявлял к его талантам. Виллемс позволял новому знакомому приносить стулья, вызывать официанта, натирать мелом бильярдный кий и угодливо льстить. Он даже снизошел и терпеливо выслушал туманные рассуждения Леонарда «о нашем славном отце», человеке, занимавшем важную

должность государственного агента в Коти, где он — увы! — умер от холеры как истинный католик и добрый человек, до конца выполнивший свой долг. Все это звучало очень достойно, и Виллемс благосклонно принимал излияния чувств. Кроме того, он гордился отсутствием у себя расовой антипатии и предвзятости против цветных. Однажды он принял приглашение выпить стаканчик кюрасо на веранде госпожи Да Соуза. В тот день он впервые увидел лежащую в гамаке Джоанну. Он запомнил, что девушка уже тогда была неряшлива, других подробностей визита в памяти не отложилось. В те славные дни у него не было времени, чтобы влюбляться, не было времени даже для мимолетного увлечения, однако мало-помалу он завел привычку почти каждый день заглядывать в маленький дом, где его встречал визгливый голос госпожи Да Соуза, звавший Джоанну, чтобы та вышла и составила компанию господину из «Хедиг и К°». Потом как гром среди ясного неба к нему с визитом явился священник. Виллемс помнил плоское желтое лицо этого человека, худые ноги, миролюбивую улыбку, яркие черные глаза, вкрадчивые манеры, скрытые намеки, смысла которых он в то время не уловил. Помнил, как он удивился, не поняв

цели визита, и бесцеремонно выставил гостя за дверь. В памяти Виллемса ожило утро, когда он опять встретил священника, на этот раз на пороге кабинета Хедига, и подивился неуместности его появления в таком месте. А то памятное утро у Хедига? Разве такое можно забыть? Сможет ли он изгнать из памяти свое удивление, когда хозяин, вместо того чтобы сразу перейти к делу, смерил его задумчивым взглядом и, едва заметно улыбнувшись, занялся лежащими на столе бумагами? В ушах Виллемса до сих пор звучали поразительные слова, которые хозяин ронял, уткнув нос в бумаги, в промежутках между сиплыми вдохами и выдохами: «Ходят слухи… ты часто туда ходишь… весьма уважаемые дамы… хорошо знал их отца… достойно похвалы… что еще нужно молодому человеку… пустить корни… я лично… очень рад слышать… все устроено… достойная награда за верную службу… лучше не придумать».

И он поверил! Какой простофиля! Какой осел! Хедиг знал ее отца! Еще бы не знал. Да и все всё, похоже, знали — все, кроме Виллемса. Как он гордился тем, что Хедиг проявил участие к его судьбе! Тем, что хозяин пригласил его к себе в маленький сельский дом, где его допустили в дружеский круг

достойных людей, людей с положением. Винк позеленел от зависти. О да! Виллемс поверил в удачу, принял девушку как подарок судьбы. А как он хвастался Хедигу, что свободен от предрассудков! Старый прохвост, должно быть, посмеивался в кулачок над своим глупым агентом. Виллемс женился без задней мысли. Да и как иначе? Все вокруг твердили, что у нее есть отец. Люди его знали, говорили о нем. Хилое порождение безнадежно перемешавшихся рас, но в остальном, очевидно, с безукоризненной репутацией. Мутные родственники обнаружились после, однако Виллемс, дорожа свободой от предрассудков, не возражал; в смиренной покорности он относился к ним как к декорациям собственного преуспевания. Его обвели вокруг пальца! Хедиг нашел легкий способ прокормить целую толпу нищей родни: переложил ответственность за эскапады молодости на плечи агента и, пока агент вкалывал на хозяина, обманом лишил его свободы распоряжаться собой. Виллемс, вступив в брак, был привязан к жене, что бы она теперь ни делала! Принес клятву: «…пока смерть не разлучит нас!» Добровольно поступил в рабство. И этот человек посмел называть его вором! Проклятье!

— Отпустите меня, Лингард! — воскликнул

Виллемс, пытаясь рывком освободиться от хватки бдительного моряка. — Я пойду и убью этого…

— Нет, не пойдешь! — пыхтя, мужественно сдерживал его Лингард. — Убивать он собрался. Сумасшедший. Ага! Стой, не дергайся. Успокойся уже!

Завязалась беззвучная борьба, Лингард оттеснил Виллемса к поручням. От тяжелого топота доски пристани гудели, как барабанный бой в тихую ночь. На берегу портовый сторож из местных наблюдал за схваткой из надежного укрытия позади груды больших ящиков. На следующий день он с неторопливым удовольствием расскажет приятелям, как на пристани подрались два пьяных белых господина.

Драка получилась что надо. Сцепились без оружия, что твои дикие звери, как обычно бывает у белых. Нет, никто никого не убил, мне неприятности ни к чему, объяснительные всякие писать. Откуда мне знать, из-за чего они подрались? Белым, когда напьются, причина не нужна.

Лингард уже забеспокоился, что молодой соперник вот-вот возьмет верх, как вдруг почувствовал, что Виллемс расслабил мускулы, и, воспользовавшись этим, последним усилием прижал его к поручням. Оба тяжело дышали, вплотную сдви-

нув лица и не в силах сказать ни слова.

— Ладно, — наконец пробормотал Виллемс. — Вы мне хребет сломаете об эти чертовы поручни. Я буду вести себя тихо.

— Вот теперь ты говоришь дело, — с облегчением ответил Лингард. — Чего ты как с цепи сорвался? — спросил он, подводя Виллемса к концу пристани и для надежности придерживая одной рукой. Второй нащупал свисток и подал резкий, продолжительный сигнал.

С одного из кораблей на гладкой поверхности рейда послышался ответный свист.

— Сейчас шлюпка придет, — сообщил Лингард. — Подумай, как быть дальше. Я отплываю сегодня ночью.

— У меня остался единственный выход, — мрачно ответил Виллемс.

— Слушай, я подобрал тебя мальчишкой и как-никак за тебя в ответе. Ты сам хозяин своей жизни уже много лет, но все-таки…

Лингард замолчал, дожидаясь, пока не услышит мерный скрип весел в уключинах, и только тогда продолжил:

— Я все уладил с Хедигом. Ты ему больше ничего не должен. Возвращайся к жене. Джоанна хорошая баба. Вернись к ней.

— Как же так, капитан Лингард? — воскликнул Виллемс. — Ведь она…

— Меня эта история взяла за душу, — продолжал, не обращая внимания, Лингард. — Я пошел тебя искать, заглянул к тебе домой и застал ее в полном отчаянии. Сердце обливается кровью. Джоанна звала тебя, умоляла, чтобы я тебя нашел. Бедняжка повторяла как в бреду, что сама во всем виновата.

Виллемс изумился. Старый слепой дурак! Он все перепутал! Но даже если это правда, сама мысль, чтобы снова увидеть Джоанну, наполняла душу стойким неприятием. Брачную клятву он не нарушил, но о возвращении не могло быть и речи. Пусть расторжение священных уз будет целиком на ее совести. Виллемс упивался кристальной чистотой своего сердца — нет, он не вернется. Пусть сама первая возвращается. Он почувствовал спокойную уверенность, что больше не увидит жену, и виновата в этом она сама. С высоты этой спокойной уверенности он торжественно обещал самому себе, что, если Джоанна когда-либо вернется, он не прогонит ее и великодушно простит — вот как твердо он держался своих похвальных принципов. Виллемс все еще колебался, раскрыть ли капитану всю бездонную

мерзость своего унижения. Собственная жена, женщина, которая еще вчера едва смела дышать в его присутствии, изгнала его из дома. Виллемс растерянно молчал. Нет. Ему не хватало духа рассказать о своем позоре.

Шлюпка неожиданно появилась на черной поверхности воды у самого причала. Лингард нарушил мучительную паузу:

— Я всегда считал тебя немного бессердечным, отталкивающим от себя тех, кто желает тебе добра, — сказал он грустно. — Я призываю ко всему, что есть хорошего в твоей душе: не бросай эту женщину.

— Я ее не бросал, — быстро ответил Виллемс с полным сознанием своей правоты. — С какой стати? Как вы справедливо заметили, она была хорошей женой: очень доброй, тихой, послушной, любящей, и я люблю ее не меньше, чем она любит меня. Ничуть не меньше. Но возвращаться в то место, где я… Снова находиться среди людей, которые еще вчера были готовы ползать передо мной на брюхе, и чувствовать спиной их жалостливые или довольные улыбки — нет! Я не смогу. Лучше уж спрятаться от них на дне морском. — Виллемс почувствовал прилив решительности. — Мне кажется, вы не понимаете,

капитан Лингард, — немного успокоившись, сказал он, — что мне пришлось там вытерпеть.

Виллемс широким жестом обвел сонный берег с севера до юга, будто горделиво и грозно говорил ему «прощай». На мгновение память о блестящих свершениях заставила его забыть о крахе. Среди людей его сословия и рода занятий, спавших в темных домах на берегу, он воистину был первым.

— Да, тебе пришлось несладко, — задумчиво пробормотал Лингард. — Однако кого ты еще можешь винить? Кого?

— Капитан Лингард! — вскричал Виллемс, внезапно поймав удачную мысль. — Оставить меня на этом причале — все равно что убить. Я ни за что не вернусь в это место живым, женатый или неженатый. С таким же успехом вы можете прямо здесь перерезать мне горло.

Старый моряк опешил.

— Не надо меня пугать, Виллемс, — нахмурившись, сказал он и умолк.

Поверх безудержного отчаяния Виллемса накладывалось его собственное беспокойство, шепоток глупой совести. Капитан некоторое время молча стоял с растерянным видом.

— Я бы мог сказать: «Если хочешь утопиться,

черт с тобой», — возобновил разговор Лингард, безуспешно пытаясь принять свирепый вид, — но не буду. Мы в ответе друг за друга, так уж вышло. Мне почти стыдно в этом признаться, но я понимаю твою нечистую гордость. Правда! Кстати…

Лингард с тяжелым вздохом замолчал и поспешил к ступеням, у которых легкая зыбь тихо качала шлюпку.

— Эй, там! В шлюпке есть фонарь? Пусть кто-нибудь зажжет его и поднимется наверх. Да поживее!

Лингард вырвал лист из записной книжки, энергично послюнявил карандаш и, нетерпеливо притопывая ногой, стал ждать.

— Я это так не оставлю, — пробормотал он себе под нос. — Все будет на мази, вот увидишь! Ты принесешь чертов фонарь, сын грязной хромой черепахи? Сколько мне еще ждать?

Свет фонаря на бумаге умерил напускной гнев капитана, и он принялся так быстро что-то писать, что резкая роспись прорвала в бумажном листе треугольную дырку.

— Отнеси записку в дом этого белого туана. Я пришлю за тобой шлюпку через полчаса.

Рулевой осторожно посветил фонарем Виллемса в лицо.

— Этого туана? Тау — я его знаю!

— Ну так поторопись! — прикрикнул Лингард, забирая фонарь.

Матрос побежал исполнять указание.

— Касси мэм — госпоже в руки! — крикнул ему вслед Лингард.

Когда матрос скрылся из виду, капитан повернулся к Виллемсу.

— Я написал записку твоей жене. Возвращаться домой — ходить туда, чтобы потом опять уйти, — нет смысла. Но ты должен вернуться насовсем несмотря ни на что. Не мучай бедную женщину. А я позабочусь, чтобы ваша разлука закончилась побыстрее. Можешь на меня положиться!

Виллемс поежился и улыбнулся в темноте.

— Можете не бояться, — уклончиво ответил он и громче добавил: — Я вам безоговорочно верю, капитан Лингард.

Старый моряк повел его вниз по лестнице, размахивая фонарем и обращаясь к спутнику через плечо:

— Я во второй раз беру тебя под крыло, Виллемс. Третьего раза не будет. Вся разница между первым и вторым случаями лишь в том, что тогда ты был босой, а сейчас носишь сапоги. Четырнадцать лет прошло. Что дал тебе твой хваленый

ум? Мало чего. Очень мало.

Лингард немного постоял на нижней площадке лестницы, освещая лицо гребца, прижимавшего шлюпку к пристани привальным брусом, чтобы капитану легче было в нее спуститься.

— Видишь ли, — продолжал он, возясь с фонарем, — эти конторские крысы так тебя испортили, что ты забыл, где право, где лево. Вот откуда берутся такие разговоры и взгляды на жизнь, как у тебя. Вокруг столько вранья, что человек начинает лгать самому себе. Тьфу! — брезгливо сплюнул капитан. — Для честного человека существует только одно место. Море, мальчик мой, море! Но ты воротил нос, считал, что на море денег не заработаешь. А теперь посмотри на себя!

Капитан задул фонарь и, шагнув в лодку, быстро протянул руку Виллемсу, приглашая за собой. Юноша молча опустился рядом, шлюпка отплыла от пристани и, описав широкий круг, направилась к бригу.

— Вы переживаете только о моей жене, капитан Лингард, — недовольно пробурчал Виллемс. — Думаете, мне так уж повезло?

— Нет-нет! — с жаром возразил Лингард. — Я ни слова больше не скажу. Я однажды уже раскрыл душу, потому как, можно сказать, знал тебя еще

ребенком. А теперь надо забыть. Но ты еще молод, а жизнь длинна, — продолжал Лингард с невольной грустью. — Пусть это послужит тебе уроком.

Он по-дружески положил руку Виллемсу на плечо. Оба сидели молча, пока шлюпка не поравнялась с судовым трапом.

На борту Лингард отдал распоряжения старпому, после чего отвел Виллемса на корму и присел на казенник одной из шестифунтовых пушек, которыми был вооружен корабль. Шлюпка отправилась к берегу за посыльным. Как только она снова показалась, на реях замелькали темные фигуры, паруса провисли, как фестоны, развернулись, свистя тяжелыми складками, и замерли без движения из-за полного безветрия ясной, влажной от росы ночи. На баке звякнул брашпиль, и вскоре крик старпома возвестил, что якорный канат выбран до панера.

— Стоп шпиль! — крикнул в ответ Лингард. — Прежде чем сниматься, дождемся ветра с берега.

Он подошел к Виллемсу, сгорбившемуся на световом люке, понурившему голову, апатично свесившему кисти рук между коленями.

— Я возьму тебя с собой в Самбир, — сказал капитан. — Ты об этом месте, поди, не слыхал? Оно выше по течению моей реки, о которой много

говорят, да мало знают, где она. Такой корабль, как «Вспышка», проходит в ее русло. Правда, не без труда… Сам увидишь. Я покажу. Ты провел в море достаточно времени, тебе будет интересно. Жаль только, что не остался насовсем. Короче, я сейчас иду туда. У меня там своя фактория. Моего напарника зовут Олмейер. Ты его знаешь, он работал у Хедига. Живет там как принц. Я их всех держу в кулаке. Раджа — мой давнишний друг. Мое слово — закон, других торговцев там нет. Ни одного белого, кроме Олмейера, в поселке отродясь не бывало. Спокойно поживешь там, пока я не вернусь из вояжа на запад. А потом посмотрим, куда тебя пристроить. Не дрейфь. Я уверен, что ты никому не выдашь мой секрет. Когда снова будешь среди торговцев, не разболтай о реке. Многие с готовностью подставят уши. Я именно оттуда беру всю гуттаперчу и ротанг. Их в том месте навалом, мой мальчик.

Виллемс мельком взглянул на произносившего речь Лингарда и снова опустил голову на грудь, разочарованный тем, что сведения, за которыми он с Хедигом охотился, пришли к нему с таким опозданием. Он не изменил безучастной позы.

— Будет желание, поможешь Олмейеру вести торговлю, — продолжал Лингард. — Скоротаешь

время до моего возвращения — шесть недель или около того.

Над головой влажные паруса шумно затрепыхались от первого легкого дуновения ветра. Когда утренний бриз набрал силу, бриг повернулся против ветра, и притихшие паруса легли на стеньгу. С квартердека из темноты послышался четкий негромкий голос старпома:

— А вот и бриз. Какой курс держим, капитан?

Устремленный вверх взгляд Лингарда опустился на понурую фигуру на световом люке. Он как будто все еще колебался.

— Норд, норд, — раздраженно бросил Лингард, словно сердясь на непрошеные мысли в голове. — И поживее. В этих широтах любой ветерок стоит денег.

Он стоял неподвижно, прислушиваясь к скрежету блоков и скрипу бейфутов при повороте реев на фок-мачте. Паруса поставили, к брашпилю опять послали людей, а Лингард все стоял, погруженный в раздумья. Он пришел в себя, только заметив, как мимо него к штурвалу прошмыгнул босоногий матрос.

— Лево руля! На борт! — хриплым просоленным голосом крикнул Лингард человеку, чье лицо внезапно возникло в кругу света, отбрасываемого

наверх фонарями нактоуза.

Якорь закрепили по-походному, реи обрасопили, бриг начал выдвижение с рейда. Море очнулось от спячки под острым форштевнем и стало сладко нашептывать скользящему судну ласковым журчащим шепотом, которым оно иногда разговаривает с теми, кого любит и холит. Лингард стоял с довольной улыбкой у поручней на юте, пока «Вспышка» не подошла к единственному, кроме нее, кораблю, стоявшему на рейде.

— Смотри, Виллемс, — поманил его к себе капитан, — видишь этот барк? Это арабы. Белые давно махнули рукой, а эти канальи частенько пристраиваются мне в кильватер — все надеются выкурить из этого поселка. Через мой труп! Знаешь ли, Виллемс, я принес этому краю процветание, помирил их, они стали буквально на глазах подниматься. Теперь там царят мир и счастье. Я для них большой господин, каким их превосходительству голландскому наместнику в Батавии, если в устье реки случайно занесет военный корабль, в жизни не стать. Арабам, этим интриганам и лжецам, туда заказана дорога. Я не пущу на реку ядовитое отродье, даже если это будет стоить мне моего состояния.

«Вспышка» прошла мимо барка, держась на

траверзе, и почти оставила арабское судно за кормой, как вдруг оттуда крикнули:

— Раджа Лаут, приветствуем тебя!

— И вам привет! — откликнулся Лингард, замешкавшись от неожиданности, после чего обернулся с мрачной улыбкой к Виллемсу. — Это голос Абдуллы, — заметил капитан. — Что-то он сегодня не в меру вежлив. Что бы это значило? Наглец, каких поискать! Ну да черт с ним. Мне нет дела ни до его вежливости, ни до его наглости. Я знаю, что этот субчик сейчас же снимется с якоря и мигом пристроится мне в кильватер. Плевать! В здешних водах меня никто не обгонит, — добавил он, с гордостью и любовью оглядывая высокий изящный рангоут брига.

Глава 5

— У него был знак на лбу, — произнес Бабалачи, сидя на корточках и подбрасывая тростинки в жидкий костер, даже не глядя на Лакамбу, лежащего, опираясь на локоть, по другую сторону огня. — Младенец родился с отметиной, предсказывающей, что жизнь его закончится во мраке, и сейчас он подобен человеку, идущему на ощупь темной ночью: глаза открыты, но ничего

не видят. Я знал его еще тогда, когда у него было много рабов, жен, товара, много торговых проа и боевых проа тоже. Хайя! Он был великим воином на тот момент, когда Милосердный своим дыханием погасил свет в его очах, паломничал и обладал многими достоинствами: был храбр, щедр и удачлив в пиратском деле, много лет вел за собой людей, пьющих кровь на морских просторах, — первый в молитве, первый в бою! Я ли не стоял подле него, когда он оборачивал свой лик на запад? Я ли не наблюдал, стоя рядом с ним в мертвый штиль, как пламя столбом поднимается выше мачт подожженных кораблей? Я ли не крался вслед за ним темными ночами меж спящих людей, которые просыпались лишь для того, чтобы погибнуть? Его сабля была быстрее небесного огня, разила раньше, чем успевала блеснуть. Хай, туан! Вот это были деньки, вот это был вождь, я и сам был моложе, а кораблей с пушками, плюющими смертью с большого расстояния, было меньше. Смерть прилетала из-за холмов, из-за леса… О, туан Лакамба! Они швыряли свистящие огненные шары прямо в ручей, где прятались наши проа, не решаясь встретиться лицом к лицу с вооруженными мужчинами.

Бабалачи со скорбным сожалением покачал

головой и подбросил в огонь новую порцию хвороста. Вспыхнувшее яркое пламя осветило широкое смуглое лицо в щербинах, на котором большие, измазанные соком бетеля губы казались свежей кровоточащей раной. Отсвет костра сверкнул в единственном глазе, придав ему на мгновение свирепую живость, погасшую вместе с сиюминутной вспышкой пламени. Быстрыми движениями Бабалачи одними голыми руками сгреб угли в кучку, вытер испачканные пеплом ладони о набедренную повязку — единственный предмет гардероба, обхватил тощие ноги и, сцепив пальцы, уткнул подбородок в колени. Лакамба слегка пошевелился, не меняя позы и в мечтательном трансе не отрывая глаз от тлеющих углей.

— Да, — продолжал Бабалачи низким монотонным голосом, словно догоняя мысль, зародившуюся в ходе молчаливого созерцания изменчивой природы земного величия. — Да. Он был богат и силен, а теперь живет подачками, старый, немощный, ослепший, всеми брошенный, кроме родной дочери. Раджа Паталоло дает ему рис, а эта женщина со светлой кожей, его дочь, стряпает, потому что у него нет рабыни.

— Я видел ее издали, — пренебрежительно про-

бормотал Лакамба. — Сучка белозубая, похожа на женщину оранг-путих.

— Ага-ага, — поддержал его Бабалачи. — Но ты не видел ее вблизи. Ее мать, багдадскую женщину, привезли с запада, она закрывала лицо. Теперь уж не закрывает, стала делать как наши женщины, потому как обнищала, муж ослеп, к ним никто больше не ходит, разве что попросить амулет или молитву на счастье, и тут же бегом назад: боятся разозлить мужа или подвернуться под горячую руку радже. Ты давно не был на том берегу реки?

— Давно. Если я туда сунусь…

— Что верно, то верно! — мягко прервал его Бабалачи. — А вот я часто один там бываю — для твоего же блага. Смотрю, слушаю. Придет время, и мы оба явимся в кампонг раджи, чтобы уже никогда не уходить.

Лакамба сел и бросил на спутника мрачный взгляд:

— Такой разговор хорош один раз, ну два раза. Если его часто повторять, он превращается в глупость, детский лепет.

— Мне не впервой видеть небо в тучах и слышать, как воет ветер в дождливый сезон, — с вызовом произнес Бабалачи.

— И где же твой ум? Видать, унесло ветром вместе с облаками, потому что в твоих речах его не слышно.

— Слова неблагодарного человека! — воскликнул Бабалачи в порыве гнева. — Истинно говорю: наше единственное упование — на Аллаха единого, всемогущего, искупителя наших…

— Ладно, ладно! — спасовав, пробурчал Лакамба. — У нас тут свойский разговор.

Бабалачи успокоился и что-то пробормотал под нос, а через несколько минут продолжил окрепшим голосом:

— После того как Раджа Лаут привез к нам в Самбир еще одного белого мужчину, речам дочери Омара аль-Бадави внимали не только мои уши.

— Станет ли белый слушать дочь нищего? — усомнился Лакамба.

— Хай! Я сам видел.

— Что ты мог видеть одним-то глазом? — пренебрежительно воскликнул Лакамба.

— Я видел чужого белого мужчину, который шел по узкой тропе в ранний час, еще до того, как солнце осушило капли росы на кустах. Я слышал, как он шептался в дыму утреннего очага с этой лупоглазой бабой с бледной кожей. Она только на

вид женщина, а сердцем — мужчина! Не ведает ни стыда, ни страха. А слышал бы ты ее голос!

Бабалачи дважды глубокомысленно кивнул собеседнику и погрузился в безмолвное созерцание, остановив взгляд единственного глаза на ровной полосе леса на другом берегу. Лакамба тоже молчал, глядя в пространство. Внизу вода в реке Лингарда тихо журчала, обтекая сваи под бамбуковым настилом и маленькой сторожкой, возле которой расположились два приятеля. За домиком начинался и заканчивался низким холмом пологий склон, очищенный от леса, но густо поросший травой и кустарником, пожухшими и выгоревшими на жгучем солнце засушливого сезона. Старое рисовое поле, несколько лет пролежавшее под паром, с трех сторон окаймляла непроходимая чащоба девственного леса. С четвертой стороны к полю примыкал илистый речной берег. Ни на берегу, ни на реке ни единого дуновения ветерка, но высоко над головой в прозрачном небе маленькие облака пробегали мимо луны, то сверкая серебром в ее водянистом свете, то заслоняя ее лик эбеновой тенью. Далеко-далеко, на середине реки, порой раздавался короткий всплеск выскочившей рыбы, громкость которого сама по себе подчеркивала глубину всепогло-

щающей тишины, мгновенно проглатывавшей любой резкий звук.

Лакамба вполглаза дремал, бодрствующий Бабалачи сидел погруженный в мысли, время от времени вздыхая и периодически хлопая себя по голому торсу в тщетной попытке отогнать одинокого приблудного комара, который, оторвавшись от тучи собратьев на речном берегу, с торжествующим писком атаковал неожиданно подвернувшуюся жертву. Луна, продолжая молчаливый многотрудный путь, стерла с лица Лакамбы тень от нависающей крыши, а когда достигла высшей точки подъема, казалось, неподвижно застыла у них над головой. Бабалачи подложил веток в костер, чем разбудил напарника. Тот сел, зевая и недовольно ежась.

Бабалачи снова заговорил, его голос журчал как ручей, бегущий по камням, — негромко, монотонно, настойчиво, неудержимый в своей решимости источить и разрушить любое, даже самое твердое, препятствие на своем пути. Лакамба слушал молча, но с интересом. Оба были малайскими авантюристами, честолюбивыми детьми своего края и эпохи, богемой своего племени. В первые годы после основания поселка, еще до того, как правитель Паталоло вышел из

подчинения султану Коти, Лакамба появился на реке с двумя торговыми суденышками. Он расстроился, обнаружив, что в поселке между поселенцами различных рас уже сложилось некое подобие порядка и что те признавали ненавязчивое правление Паталоло, однако ему не хватило такта скрыть разочарование. Он объявил, что прибыл с востока, из тех краев, где нет белых хозяев, и, хотя принадлежал к угнетенному племени, якобы имел благородное происхождение. И действительно: Лакамбу отличали все свойства царского наследника в изгнании. Он был капризен, неблагодарен, вспыльчив. Вечно завидовал другим и плел интриги, говорил смелые речи и раздавал пустые обещания. Он был упрям, но его волевые порывы быстро угасали, их не хватало, чтобы привести к вожделенной цели. Встретив у недоверчивого Паталоло прохладный прием, Лакамба, не дожидаясь разрешения, настоял на том, чтобы расчистить хороший участок в четырнадцати милях вниз по реке от Самбира и построить там дом, который он обнес высоким палисадом. Так как у новичка было много поклонников и он, похоже, отличался дерзким нравом, старый раджа счел вмешательство с применением силы недальновидным шагом.

Обосновавшись, Лакамба принялся плести козни. Это он раздул ссору между Паталоло и султаном Коти, однако распря не принесла желаемого результата, потому что султан был далеко и не мог как следует поддержать своего союзника. Разочарованный неудачей Лакамба немедленно организовал мятеж бугийских поселенцев, он с шумной похвальбой и неплохими шансами на успех осадил укрепленную частоколом резиденцию старого раджи. Но тут появился Лингард со своим бригом и пушками, старый моряк погрозил мятежнику волосатым пальцем, и этого хватило, чтобы умерить его воинственный пыл. С Раджой Лаутом никто не хотел связываться, Лакамба быстро пошел на попятный и занял положение полуторговца, полуплантатора, вынашивая в своем доме-крепости планы мести и надеясь осуществить их, когда предоставится более удобный случай. Не выходя из образа наследного принца в изгнании, он по-прежнему не признавал законную власть и, когда раджа прислал гонца собрать налог за пользование землей, передал, чтобы правитель, если он желал получить деньги, явился за ними лично. По совету Лингарда Лакамбу, невзирая на его склонность к бунтарству, оставили в покое. Он много дней безмятежно

жил, окруженный женами и челядью, пестуя в груди неизбывную, беспочвенную надежду на лучшие времена, которая, как известно, является исключительной привилегией благородных изгнанников.

Шел день за днем, но ничего не менялось. Надежда потеряла силу, горячие страсти перегорели, оставив после себя лишь слабую, затухающую искру, тлеющую под кучей серого, остывающего пепла вялой покорности велениям судьбы, но тут явился Бабалачи и снова раздул искру в яркое пламя. Бабалачи забрел на реку в поисках надежного убежища для своей неприкаянной головы.

Он был морским бродягой, настоящим оранглаут — человеком моря, жившим в периоды процветания грабежами и набегами на побережье и корабли, а в те дни, когда удача поворачивалась к нему спиной, пробивавшимся честным скучным трудом. Хотя иногда ему приходилось командовать пиратами из Сулу, он также служил на боевых кораблях, что позволило ему побывать в дальних краях, своими глазами увидеть красоты Бомбея и могущество султана Маската, и, протолкнувшись через толпу набожных паломников, прикоснуться губами к Священному камню в Мекке. Бабалачи набрался опыта

и ума в разных странах и, примкнув к Омару аль-Бадави, притворялся благочестивым (как и подобает паломнику), хотя читать вдохновенные писания пророка не умел. Он был храбр и кровожаден — тут ему не приходилось притворяться — и люто ненавидел белых, мешавших резать глотки, брать заложников, торговать рабами и устраивать поджоги, — короче, всем тем занятиям, которые единственно достойны истинного человека моря. Он заслужил благосклонность своего предводителя, бесстрашного Омара эль-Бадави, главаря брунейских пиратов, доказав за долгие годы успешного разбоя свою несомненную преданность. А когда длинная карьера убийцы, грабителя и насильника впервые получила серьезный отпор от белых людей, Бабалачи сохранил верность предводителю, не моргнув, смотрел на рвущиеся ядра, не пал духом, наблюдая, как горит крепость, гибнут товарищи, и, слыша крики женщин и плач детей, невозмутимо принял внезапный разгром и разрушение всего того, что считал необходимым условием счастливой, блистательной жизни. Утоптанная земля между домами стала скользкой от крови, в черных мангровых зарослях на илистых берегах притоков охали умирающие, которых смерть

настигла прежде, чем они успели увидеть противника. Они погибали безо всякой надежды, потому что лесные дебри были непроходимы, а быстрые проа, на которых они бороздили прибрежные воды и открытое море, стояли кучей в узком ручье и горели ярким пламенем. Бабалачи в отчетливом предчувствии конца пустил все силы на то, чтобы спасти хотя бы одну лодку. Он успел вовремя. Когда рванул пороховой склад, Бабалачи уже был готов забрать своего командира. Он нашел Омара полумертвым и полностью ослепшим, рядом не было никого, кроме его дочери Аиссы: сыновья пирата погибли раньше в тот же день, как подобало мужчинам. С помощью храброй девушки Бабалачи отнес Омара на борт легкой проа и сумел спастись, захватив лишь горстку товарищей. Спрятав лодку в путанице темных спокойных притоков, они прислушивались к ликующим крикам команды военного корабля, атакующей пиратский поселок. Аисса, сидя на кормовой палубе и держа на коленях почерневшую, кровоточащую голову отца, смотрела на Бабалачи без страха в глазах.

— Они не найдут там ничего, кроме дыма, крови, мертвых мужчин и обезумевших от страха женщин, — сокрушенно произнесла Аисса.

Бабалачи, зажимая рукой глубокую рану на плече, грустно ответил:

— Белые люди очень сильны. Если с ними воевать, нам не на что рассчитывать, кроме смерти. И все-таки, — добавил он с угрозой, — кое-кто из нас еще жив! Кое-кто еще жив!

Некоторое время Бабалачи мечтал о мести, но мечту быстро развеял холодный прием у султана Сулу, поначалу предоставившего им приют и надменное, сдержанное гостеприимство. Пока Омар под надзором Аиссы залечивал раны, Бабалачи обхаживал его величество, соизволившее протянуть руку помощи. Тем не менее, когда Бабалачи нашептал на ухо правителю кое-какие соображения насчет большого прибыльного рейда на острова от Тернате до Аче, султан не на шутку разозлился.

— Знаю я вас, людей с запада, — воскликнул он гневно. — Ваши слова — яд в ушах Царя Царей. Вам бы только жечь, убивать да грабить. А месть за выпитую вами кровь падет на наши головы. Вон отсюда!

Деваться было некуда. Времена переменились, причем настолько, что, когда у берегов острова появился испанский фрегат и от султана потребовали выдачи Омара и его приспешников,

Бабалачи вовсе не удивился, услышав, что их готовы принести в жертву политической целесообразности. Однако от трезвой оценки опасности до покорной капитуляции было еще очень далеко. Омар решил бежать во второй раз. Побег начался с вооруженной схватки маленькая группа с боем ночью прорвалась на берег и завладела небольшими каноэ, на которых немногочисленные уцелевшие беглецы наконец смогли уйти от погони. История этого побега по сей день живет в сердцах храбрецов. В ней говорится о Бабалачи и сильной девушке, которая на себе перенесла слепого отца через прибой под огнем пришедшего с севера корабля. Спутники этого Энея в облике пирата, не оставившего мужского потомства, давно умерли, но их души все еще бродят по ночам в проливах и на островах наподобие призраков и, как положено бесстрашным воинам, погибшим в бою, заглядывают на огонь костра, если увидят возле него вооруженных мужчин. Там, если посчастливится, они могут услышать от живых легенду о своих подвигах, храбрости, страданиях и смерти. Это предание рассказывают во многих местах. Флегматичные государственные мужи, возлежащие на прохладных циновках в хорошо проветриваемом доме раджи, отзы-

ваются о героях этой истории с презрением, но среди боевого люда, толпящегося во дворе, при звуке их имен замолкает рокот голосов и звон кандалов на ногах, останавливается пущенный по кругу кубок, а взгляд задумчиво устремляется в пространство. Легенда рассказывает о борьбе, бесстрашной девушке, мудром воине, о долгих мучениях в пропускающих воду каноэ, о тех, кто умер. Многие умерли. Уцелели только предводитель, его дочь и еще один человек, которого ждала великая слава.

В будничном появлении Бабалачи в Самбире не было, однако, и намека на будущее величие. Он явился с Омаром и Аиссой на небольшой проа, груженной зелеными кокосами, объявив себя хозяином судна и груза. Каким образом Бабалачи, бежавший на маленьком каноэ, закончил опасное путешествие хозяином судна с ценным товаром, есть один их секретов моря, сбивающих с толку самых дотошных любопытных. Честно говоря, ими никто и не интересовался. Ходили слухи о пропаже торговой проа, принадлежавшей Менадо, однако они были слишком туманны и причудливы. Бабалачи рассказал свою историю, которой Паталоло — надо отдать должное его знанию жизни — не поверил. Когда раджа высказал

свои сомнения вслух, Бабалачи спокойно возразил, спросив, где это видано, чтобы два почти старика с одним глазом на двоих и юная девушка могли что-то у кого-то отнять силой? Пророк советовал людям делиться. Мир не без щедрых людей, готовых жертвовать тому, кто этого заслуживает. Патололо с сомнением покачал седой головой, и Бабалачи ушел от него с оскорбленным видом, после чего решил заручиться покровительством Лакамбы. Двое матросов, из которых состоял экипаж проа, ушли вместе с хозяином в кампонг плантатора. Слепой Омар с Аиссой остался на попечении Патололо, груз раджа конфисковал. Проа была вытащена на грязный берег у слияния двух рукавов Пантая, гнила под дождем, коробилась на солнце, развалилась на части и, в конце концов, превратилась в дым костров, на которых в поселке готовили еду. От корабля осталась лишь одна доска обшивки да пара шпангоутов, еще долго неприкаянно торчавших из блестящей на солнце грязи, напоминая Бабалачи, что он чужой в этом краю.

В остальном он прекрасно себя чувствовал в заведении Лакамбы, где его странное положение и влияние быстро приметили и приняли даже женщины. Бабалачи, как истинный скиталец, легко

приспосабливался к обстоятельствам и смене обстановки. Своей готовностью пересматривать принципы, не подтвержденные опытом, что так важно для любого государственного деятеля, он мог сравниться с самыми успешными политиками любой эпохи. Ему достало убедительности и твердости намерений, чтобы полностью завладеть нестойким разумом Лакамбы, в котором не было ничего постоянного, кроме всепроникающего недовольства. Бабалачи не позволял недовольству затухнуть, подкармливал слабеющие амбиции, сдерживал естественное нетерпеливое рвение бедного изгнанника побыстрее захватить высокое, прибыльное положение. Привычный к насилию Бабалачи осуждал применение силы, ибо хорошо понимал сложность положения. По той же причине, ненавидя белых, он частично признавал выгоду голландского протектората. Всему свое время. Вопреки фантазиям своего покровителя Лакамбы, Бабалачи считал, что подбрасывать яд старику Паталоло не стоило. Это, конечно, можно было устроить, но что потом? Пока влияние Лингарда велико, пока наместник Лингарда Олмейер остается единственным крупным торговцем в поселке, Лакамбе не следовало — даже в случае реальной возможности

— захватывать власть над новорожденной вотчиной. Попытка убить Олмейера и Лингарда была настолько сложна и рискованна, что ее не следовало рассматривать всерьез. Нужен был какой-то союз с кем-нибудь, кто противостоял бы авторитету белых людей и, хорошо относясь к Лакамбе, в то же время пользовался бы уважением у голландских властей. Требовалось найти какого-нибудь богатого уважаемого торговца. Такой человек, пустив корни в Самбире, помог бы им свергнуть старого раджу, отнять у него власть, а если до этого дойдет, то и жизнь. А уж тогда можно просить оранг-бланда, голландца, позволить им в знак признания заслуг учредить свой флаг. С такими покровителями они могли бы ничего не бояться! Слово богатого преданного торговца не пустой звук для наместника в Батавии. Но сначала нужно найти такого союзника и уговорить его поселиться в Самбире. Белый торговец для этой роли не годился. Белый не разделит их мыслей, на него нельзя положиться. Им был нужен человек богатый, беспринципный, с кучей прихлебал, хорошо известный на островах. Такого можно было поискать среди арабских торговцев. Лингард, говорил Бабалачи, ревностно охранял реку от чужих. Одни боялись сунуться,

другие не знали, как ее найти, третьи вообще не слыхали о Самбире, а иные не желали рисковать дружбой с Лингардом ради сомнительной выгоды поторговать с относительно малоизвестным поселком. Большинство кандидатур были либо нежелательны, либо ненадежны. Бабалачи с сожалением вспоминал героев своей молодости — богатых, решительных, смелых, дерзких мужчин, готовых идти на любые приключения. Но к чему горевать о прошлом и поминать не к месту мертвых, когда такой человек есть, вполне живой и великий? Причем не так далеко.

Вот какой порядок действий предлагал Бабалачи своему честолюбивому покровителю. Лакамба согласился, заметив только, что он потребует очень уж много времени. В своем горячем желании денег и власти недалекий изгой был готов броситься на шею любому проходимцу-головорезу, пообещавшему помощь, и Бабалачи пришлось немало потрудиться, чтобы удержать своего покровителя от необдуманного насилия. Нельзя допустить, чтобы другие заметили их причастность к появлению новой фигуры в политических кругах Самбира. В случае неудачи, а ее никогда нельзя исключать, месть Лингарда настигнет их быстро и неотвратимо. Нет, риск им ни к чему.

Надо ждать.

Тем временем Бабалачи не вылезал из поселка, целыми днями сидел на корточках у домашних костров и прощупывал глубину общественного недовольства и мнений, неизменно заводя речь о своем скором отъезде.

Вечером он часто брал самое маленькое каноэ Лакамбы и потихоньку наносил загадочный визит своему старому командиру, поселившемуся на другом берегу реки. Омар жил под крылом Паталоло в ореоле неприкосновенности. Между бамбуковой оградой вокруг дома раджи и джунглями находилась банановая плантация, а на ее дальнем краю стояли два домика на низких сваях под сенью ценных фруктовых деревьев, растущих на берегу чистого ручья, который, бурля, совершал свой короткий стремительный путь к большой реке. К банановой плантации и расположенным на ней домам, где раджа поселил Омара с дочерью, через молодую поросль на запущенной просеке вдоль ручья вела узкая тропинка. Демонстративное благочестие Омара, его мудрые предсказания, прошлые невзгоды и мрачная стойкость, с которой он принимал свой недуг, произвели на раджу глубокое впечатление. Старый правитель Самбира нередко

накоротке заглядывал к слепому арабу после жаркого полудня и степенно выслушивал его рассказы. По вечерам покой Омара нарушало появление Бабалачи, на что слепой старик никогда не обижался. Стоя у входа в одну из хижин, Аисса наблюдала, как старые друзья тихо сидят у огня посреди утоптанной площадки между двумя домами и до поздней ночи о чем-то шепчутся. Слов она не могла разобрать и только с любопытством поглядывала на две бесформенные тени. Наконец Бабалачи вставал, брал ее отца за руку, отводил в дом, поправлял циновки и потихоньку выходил наружу. Вместо того чтобы сразу уйти, Бабалачи, не зная, что Аисса за ним наблюдает, нередко опять подсаживался к огню и погружался в долгие глубокие раздумья. Аисса смотрела на этого отважного мудрого человека с почтением, потому что с детства привыкла видеть его рядом с отцом: он задумчиво, не шевелясь, сидел один у гаснущего костра тихими ночами, отпустив свой ум бродить по просторам памяти или — кто знает? — возможно, нащупывая путь в бескрайнем пространстве неведомого будущего.

Появление Виллемса встревожило Бабалачи: оно говорило, что белые люди стали еще сильнее, однако позже он изменил свое мнение. Как-то

раз вечером он встретил Виллемса на тропинке, ведущей к дому Омара, и впоследствии с некоторым удивлением заметил, что слепой араб, похоже, ничего не знал о том, что белый человек наведывается в эту часть поселка. Однажды явившемуся в неурочное дневное время Бабалачи почудилось, что в кустах на противоположном берегу ручья мелькнула белая куртка. В тот вечер он задумчиво поглядывал на Аиссу, пока та готовила рис для ужина, однако поспешил уйти, несмотря на гостеприимное приглашение Омара во имя Аллаха разделить с ними трапезу. Тем же вечером Бабалачи озадачил Лакамбу, объявив о наступлении подходящего времени для первого хода в так долго откладываемой игре. Лакамба, возбудившись, требовал подробностей. Бабалачи качал головой и лишь указывал на мелькавшие тени юрких женщин и неотчетливые фигуры мужчин, сидевших у костров во дворе. Здесь, объявил Бабалачи, он не проронит ни слова. Когда в доме все стихло, Бабалачи и Лакамба бесшумно прошли мимо спящих к берегу реки и на каноэ незаметно приплыли к заброшенной сторожке возле старого рисового поля. Здесь можно было не опасаться чужих глаз и ушей, а если бы их кто-то увидел, объяснить вылазку намерением подстре-

лить оленя: сюда часто приходила на водопой всякая дичь. В уединении безлюдного места Бабалачи раскрыл свой замысел внимательно слушавшему Лакамбе. Он предлагал подорвать влияние Лингарда руками Виллемса.

— Я знаю белых людей, туан, — сказал он напоследок. — Я видел их в разных странах. Они всегда рабы своих желаний, всегда готовы отдать свою силу и рассудок в руки какой-нибудь бабы. Судьба правоверных начертана дланью Всемогущего, а те, кто поклоняется множеству богов, попадают в этот мир с чистым лбом, так что любая женщина способна оставить на нем гибельное клеймо. Пусть один белый погубит другого. Волей Всевышнего они останутся в дураках. Белые с честью относятся к своим врагам, но промеж себя полагаются лишь на обман. Хай! Я видел! Я видел!

Бабалачи вытянулся у костра во весь рост и, то ли уснув, то ли притворяясь, что спит, закрыл единственный глаз. Лакамба, все еще сомневаясь, долго сидел, вперив взгляд в затухающие угли. Густела ночь, над рекой поднялся легкий белый туман, луна спустилась к макушкам деревьев в лесу, словно в поисках покоя на земле подобно неприкаянному влюбленному скитальцу, нако-

нец решившему вернуться к своей суженой и молча опустить усталую голову на ее грудь.

Глава 6

— Одолжи мне свое ружье, Олмейер, — попросил Виллемс, сидя по другую сторону стола с неубранными остатками трапезы, освещаемого чадящей лампой. — Я решил, когда сегодня ночью взойдет луна, сделать засаду на оленя.

Олмейер, сидевший за столом боком, отодвинув локтем грязные тарелки, уткнув подбородок в грудь и вытянув вперед ноги, внимательно посмотрел на носки своих соломенных шлепок и отрывисто рассмеялся.

— Можно обойтись без гадких усмешек и попросту сказать «да» или «нет», — с легким раздражением заметил Виллемс.

— Поверь я хоть одному твоему слову, так бы и сделал, — произнес Олмейер ровным тоном — медленно, с расстановкой, словно роняя слова на пол одно за другим. — А так… что толку? Ты ведь знаешь, где ружье. Мог бы сам решить, брать его или нет. Ружье. Олень. Вздор! Засада. Ну да! Ты на газель хочешь засаду устроить, милый мой гостенек. Такую дичь ловят на золотые браслеты

и шелковые саронги, мой великий охотник. А их за спасибо не купишь, это я тебе обещаю. Целыми днями пропадаешь у туземцев. Хороший помощничек выискался.

— Тебе следовало бы поменьше пить, Олмейер, — сказал Виллемс, пряча бешенство под наигранным спокойствием. — Ты сразу голову теряешь. Никогда не умел пить, насколько я помню по Макасару. А выпить любишь.

— Хочу и пью, — огрызнулся Олмейер, быстро подняв голову и метнув на Виллемса злобный взгляд.

Два представителя высшей расы еще минуту буравили друг друга взглядом, потом — как по заранее условленной команде — одновременно отвернулись и поднялись. Олмейер сбросил шлепанцы и завалился в гамак, подвешенный между двумя столбами веранды для того, чтобы ловить в разгар засушливого сезона хотя бы слабый ветерок. Виллемс нерешительно постоял у стола, молча спустился по ступеням и пересек двор в направлении небольшого деревянного причала, где на приколе, дергая за короткую привязь и стукаясь бортами на речной стремнине, качались несколько маленьких каноэ и больших вельботов. Виллемс спрыгнул в самое маленькое каноэ,

неуклюже поймал равновесие, отцепил ротанговый фалинь и с излишней силой оттолкнулся от пристани, отчего сам чуть не опрокинулся в воду. К тому времени когда он снова обрел равновесие, лодку отнесло вниз на добрых пятьдесят ярдов. Виллемс встал на колено и мощными гребками весла повел каноэ против течения. Олмейер сел в гамаке, взявшись руками за ступни ног, и, приоткрыв рот, шарил взглядом по реке, пока не увидел смутные очертания человека в лодке, с трудом гребущего мимо пристани.

— Я так и знал, что ты не усидишь, — крикнул Олмейер. — Что, и ружье не взял? Эй!

Опустившись после такого усилия в гамак, Олмейер лежал и посмеивался, пока его не сморил сон. На реке Виллемс, устремив взгляд прямо перед собой, махал веслом налево и направо, не отреагировав на едва слышный окрик.

С тех пор как Лингард высадил Виллемса в Самбире и поспешно отбыл, оставив его на попечение Олмейера, прошло три месяца.

Двое белых мужчин не поладили с самого начала. Олмейер, помня то время, когда они оба служили у Хедига и занимавший более высокое положение Виллемс относился к нему с оскорбительным пренебрежением, испытывал к гостю

сильную неприязнь. Олмейер также ревновал к знакам внимания, оказываемым Виллемсу Лингардом. Олмейер женился на малайской девушке, которую старый моряк удочерил в характерном порыве безрассудной доброты. Семейная жизнь пары не клеилась, поэтому Олмейер рассчитывал получить компенсацию за несчастливый брак из глубоких карманов Лингарда. Появление новенького, похоже, пользовавшегося у капитана чем-то вроде протекции, вызвало у Олмейера немалое беспокойство, только усилившееся от того, что старый моряк не соизволил познакомить мужа приемной дочери с биографией Виллемса или хотя бы поделиться с ним соображениями о будущей судьбе новоприбывшего. Проникшись с первой же минуты недоверием к Виллемсу, Олмейер осаживал попытки юноши помогать ему в торговых сделках, а когда тот умыл руки, вопреки логике стал попрекать его равнодушным отношением к делу. От холодной сдержанности их отношения перешли к молчаливому недружелюбию, а потом и к откровенной вражде. Оба страстно желали возвращения Лингарда и прекращения положения, становившегося несноснее день ото дня. Время текло медленно. Виллемс каждое утро встречал

рассвет с унылой мыслью, наступят ли сегодня хоть какие-то изменения в смертельной скуке его существования. Он тосковал по деятельной жизни, торговым сделкам; теперь они казались далеким, безвозвратно утерянным прошлым, погребенным под руинами прежнего успеха без единого шанса на возвращение. Он потерянно слонялся по двору Олмейера, наблюдая за ним издали равнодушным взглядом. Каноэ из глубинных районов разгружали у маленького причала «Лингард и К°» гуттаперчу или ротанг, брали на борт рис или европейские товары. Несмотря на приличную величину принадлежавшего Олмейеру участка, Виллемсу было тесно среди аккуратных изгородей. Привыкший за долгие годы считать себя незаменимым, он, видя холодную враждебность в глазах единственного белого человека в здешнем варварском краю, теперь ощущал горечь и лютую злость от безжалостного осознания собственной ненужности. Виллемс скрипел зубами от мыслей о потерянных днях и о жизни, бесполезно пропадающей в вынужденной компании с этим желчным, мнительным тупицей. Он слышал упрек своему бездействию в журчании реки, в никогда не утихающем шепоте великой лесной чащи. Все вокруг шевелилось,

двигалось, куда-то спешило — земля под ногами, небо над головой. Дикари и те старались, пыжились, упирались, работали, чтобы продлить свое жалкое существование. Но они жили! Жили! И только он один, казалось, застыл вне круговорота мироздания в безнадежном ступоре, терзающем душу негодованием и жгучим сожалением.

Виллемс завел привычку бродить по поселку. До своего расцвета Самбир зародился и влачил младое существование в болоте и вонючей грязи. Дома толпились у реки и, словно желая покинуть нездоровый берег, нахально лезли в воду, выбрасывая вперед узкий ряд бамбуковых мостков на высоких сваях, между которыми никогда не смолкало тихое бормотание водоворотов. Через весь поселок была проложена одна-единственная тропа, идущая за домами вдоль цепочки круглых черных пятен, указывающих местоположение семейных костров. С противоположной стороны к тропе подступал девственный лес, словно предлагая прохожему разгадать мрачную загадку своих дебрей. Коварный вызов никто не спешил принять. Вялые попытки расчистить лес случались редко, берег был низкий, река, отступая после ежегодного паводка, оставляла постепенно высыхавшие лужи грязи, в которых

в дневную жару с наслаждением ворочались завезенные бугийскими поселенцами буйволы. Когда Виллемс проходил по тропе, праздные мужчины, лежа в тени домов, смотрели на него с ленивым любопытством, женщины, хлопотавшие у костров, бросали удивленные робкие взгляды, а дети, мельком глянув, с криками убегали, напуганные появлением белого человека с покрасневшим лицом. Проявления детского отвращения и страха вызывали у Виллемса острое чувство нелепой уязвленности. Во время своих прогулок по жалким просекам он стремился обрести какое-никакое одиночество, но даже буйволы, завидев его, встревоженно фыркали и шумно выбирались из прохладной жидкой грязи. Сбившись в кучу, они провожали дикими глазами незнакомца, пытавшегося бочком пройти мимо них к лесу. Однажды из-за какого-то неосторожного резкого движения Виллемса все стадо буйволов бросилось через тропу, растоптало костры, разогнало визжащих женщин, оставив после себя черепки разбитых горшков и затоптанный в грязь рис, разбросало в стороны детей и побудило устремиться в погоню горластых, разгневанных, вооруженных палками мужчин. Простодушный виновник переполоха, сгорая от стыда, поспешно

бежал от злых взглядов и недовольных восклицаний под защиту кампонга Олмейера. После этого он больше не заглядывал в поселок.

Некоторое время спустя, не в силах более выносить вынужденное заточение, Виллемс взял одно из многих принадлежавших Олмейеру каноэ и переправился через главный рукав Пантая в поисках уединенного места, где можно было бы скоротать уныние и скуку. Он проплыл в утлом суденышке мимо стены непролазной зелени, удерживая лодку в стоячей воде рядом с берегом, где разлапистые пальмы нипа, будто в презрительном снисхождении к неприкаянному изгнаннику, покачивали у него над головой широкими листьями. Тут и сям он замечал признаки прорубленных в чащобе троп и, не желая, чтобы его увидели посреди оживленной реки, приставал к берегу и шел по узкой извилистой тропинке с тем лишь, чтобы обнаружить, что она никуда не ведет и внезапно упирается в колючие заросли. Виллемс, испытывая беспочвенное чувство разочарования и досады, медленно возвращался к лодке придавленный горячим запахом земли, сырости и разложения — казалось, что лес старается безжалостно отогнать его назад, к сверкающей солнечными блестками реке. Он

снова греб уставшими руками и находил новую вырубку, заканчивавшуюся новым обманом.

Когда Виллемс доплыл до места, где к реке спускался палисад раджи, нипа с их шуршащими листами расступились, освободив пространство на берегу для крупных деревьев — высоких, крепких, безразличных в абсолютной прочности своего бытия, длящегося веками, к коротенькой, мимолетной жизни человечка, мучительно пытавшегося найти в их тени убежище от нескончаемых мыслей о собственном позоре. Между гладкими стволами, прежде чем окончательно спрыгнуть с крутого обрыва в быструю реку, петлял чистый ручей. Здесь тоже нашлась тропа, на этот раз — хоженая. Виллемс причалил и, следуя ее причудливым изгибам, вскоре вышел на довольно хорошо расчищенную поляну, где, пробиваясь сквозь ветки и листву, на ручей затейливыми кружевами падал солнечный свет. Поверхность воды в извилине ручья сверкала, словно забытая в высокой пушистой траве сабля.

Однако дальше тропа опять сужалась и вела через густой подлесок. Сделав первый поворот, Виллемс заметил, как мелькнуло что-то белое и что-то цветное, золотую вспышку, как будто в тени заблудился луч солнца, и вдобавок нечто

темное — темнее самой непроходимой лесной чащобы. Он в удивлении остановился: ему послышались легкие шаги, которые удалялись, пока окончательно не замерли. Виллемс осмотрелся по сторонам. Трава на берегу ручья подрагивала, дорожка серебристо-серых метелок, ведущая от ручья к началу зарослей, еще колебалась. А ветра-то нет. Значит, здесь кто-то прошел. Виллемс задумчиво наблюдал, как утихает волнение и высокая трава снова застывает в оцепенении, млея в горячем неподвижном воздухе.

Подгоняемый внезапно пробудившимся любопытством, он двинулся по узкой тропинке меж кустов. За очередным поворотом впереди опять мелькнул цветной лоскут и черные женские волосы. Виллемс прибавил шагу и вскоре нагнал предмет своего интереса. Женщина с двумя бамбуковыми сосудами, до краев наполненными водой, услышала шаги за спиной, остановилась, опустила свою ношу на землю и вполоборота взглянула на преследователя. Виллемс тоже на минуту замер, затем уверенно двинулся вперед. Женщина отступила в сторону, освобождая дорогу. Виллемс смотрел прямо перед собой, однако каждая подробность ее высокой стройной фигуры почти бессознательно врезалась в его память.

Когда он поравнялся с ней, женщина слегка откинула назад голову и непринужденным жестом сильной округлой руки перебросила из-за плеча прядь распущенных черных волос, прикрыв ей нижнюю часть лица. Через мгновение Виллемс прошел мимо незнакомки на деревянных ногах, точно в трансе. Он услышал частое дыхание, почувствовал на себе брошенный из-под полуприкрытых век взгляд. Этот взгляд тронул его ум и сердце, подействовал на него как громкий окрик, как безмолвное, пронзительное озарение. По инерции он прошел мимо незнакомки, но потом неведомая сила, порожденная смесью удивления, любопытства и вожделения, заставила его немедленно обернуться.

Женщина уже подхватила сосуды с водой, намереваясь продолжить путь. Резкое движение вынудило ее остановиться после первого же шага. Она стояла прямая, гибкая, настороженная, готовая, как показывала легкая напряженность ее позы, немедленно обратиться в бегство. Ветви деревьев сходились в вышине, в прозрачном мерцании зеленого тумана. Сквозь него проникали и каскадом падали на голову женщины желтые солнечные лучи, сверкали на черных распущенных волосах, переливались, как жидкий металл,

на лице, тонули, превратившись в исчезающие искорки, в строгой глубине ее глаз, теперь широко раскрытых, с увеличенными зрачками, смотревших в упор на преградившего ей путь мужчину. Виллемс смотрел в ответ, завороженный обаянием с примесью невосполнимой утраты и щекоткой предвкушения, что начинается с ласкового прикосновения, а заканчивается ударом, внезапным уколом шевельнувшегося в сердце нового чувства, резким всплеском дремлющих эмоций, вдруг пробуждающим новые надежды, новые страхи, новые желания и — стремление убежать от себя прежнего.

Женщина сделала шаг вперед и снова остановилась. Между стволами деревьев подул слабый ветер: в воображении Виллемса он был вызван движением ее фигуры, — окатил его тело волной горячего воздуха, словно факелом опалил лицо. Виллемс сделал прерывистый вдох, точно готовящийся броситься в атаку солдат или как любовник, заключающий в объятия свою любимую, — вдох, придающий смелости перед лицом смерти или в пучине страсти.

Кто она? Откуда? Виллемс с недоумением оторвал взгляд от женского лица и посмотрел на сомкнутые ряды деревьев, высоких, безмолвных,

прямых, словно с затаенным дыханием наблюдавших за его действиями. Могучая жизненная сила тропиков, требовавшая солнечного света, но предпочитавшая сумрак, сбивала с толку, вызывала отторжение, почти пугала. Внешне — сплошное изящество красок и форм, блеск, улыбка, а в действительности — цветение смерти, загадка, сулящая красоту и радость, но таящая в себе лишь яд и разложение. Прежде его пугало смутное предчувствие опасности, однако теперь, посмотрев на этот мир новыми глазами, он как будто сумел проникнуть сквозь фантастическую завесу листьев и лиан, заглянуть за могучие стволы, преодолеть грозный полумрак, и ему открылась тайна — волшебная, покорная и прекрасная. Виллемс перевел взгляд на женщину. В потоке пестрого света она предстала перед ним с неуловимой отчетливостью сновидения. Перед ним как будто стояла фея этого загадочного лесного края, выступившая из-за прозрачного, сотканного из солнечных лучей и теней занавеса.

Незнакомка подошла чуть ближе. Ее приближение вызывало у Виллемса странную нетерпеливость. В его голове мелькали путаные, корявые, бесформенные, оглушительные мысли. Не узнавая собственного голоса, он произнес:

— Кто ты?

— Я дочь слепого Омара, — отвечала женщина тихим, но твердым голосом. — А вы, — прибавила она чуть громче, — белый торговец, великий человек в здешних краях.

— Да, — ответил Виллемс, с неимоверным усилием выдерживая ее взгляд. — Да, я белый. — И добавил, словно о ком-то другом: — Мои люди прогнали меня.

Женщина слушала с серьезным видом. Прикрытое спутанными волосами лицо казалось ликом золотой статуи с глазами живого человека. Тяжелые веки опустились чуть ниже, из-под длинных ресниц вбок метнулся взгляд — жесткий, острый, узкий, как блеск стального клинка. Губы сжались в твердую изящную дугу, однако расширенные ноздри, гордая осанка и слегка повернутая голова создавали впечатление дикой гневной строптивости.

По лицу Виллемса пробежала тень. Он зажал рот рукой, словно стремясь не выпустить наружу слова, готовые слететь с губ в стремительном порыве как продолжение властной мысли, проникшей из сердца в мозг, которую высказывают перед лицом сомнений, опасности, страха и самой гибели.

— Ты прекрасна, — прошептал он.

Женщина окинула взглядом — одним быстрым взмахом ресниц — загорелое лицо Виллемса, широкие плечи, высокую, прямую, застывшую без движения фигуру, опустила глаза на тропинку у него под ногами и улыбнулась. Улыбка озарила строгую красоту ее лица — так первый хрупкий, слабый луч солнца пробивается ранним пасмурным утром сквозь хмурые облака, объявляя о приближении восхода и грозы.

Глава 7

В нашей жизни бывают короткие промежутки, которые остаются в памяти лишь как чувственное впечатление. Мы не помним жестов, действий, каких-либо внешних проявлений жизни — все это тонет в ослепительном блеске или запредельном мраке таких моментов. Мы полностью погружаемся в созерцание ощущения в нашей душе, радостного или болезненного, в то время как тело продолжает дышать, интуитивно бежать прочь или — не столь интуитивно — вступать в бой, да хоть бы и умирать. Смерть в такой момент — это привилегия счастливцев, редкостное благо, знак высочайшего благоволения.

В памяти Виллемса не отложилось, как и когда он расстался с Аиссой. Он пришел в себя пьющим с ладони грязную воду и сидящим в каноэ посреди реки, увлекаемым течением мимо последних домов Самбира. Вместе с разумом вернулся и страх неизвестного, завладевший сердцем, страх чего-то невыразимого и хитроумного, лишенного голоса, но требующего подчинения себе. Первой пришла в голову мысль о бунте. Он больше туда не вернется. Ни за что! Виллемс завороженно посмотрел на реку и лес, мерцавшие под беспощадным солнечным светом, и схватил весло. Как все изменилось! Река будто стала шире, а небо выше. Как быстро летит каноэ, повинуясь взмахам его весла! Откуда взялась эта сила, которой хватило бы на двоих? Он смерил взглядом стену джунглей на берегу, вообразив мятущимся умом, что мог бы одним движением руки опрокинуть все эти деревья в речной поток. Лицо горело. Виллемс выпил еще воды и передернулся от порочного удовольствия, ощутив на языке привкус слизи.

Виллемс добрался до дома Олмейера лишь поздно вечером. Он пересек темный неровный двор, уверенно ступая в ореоле света, горящего в душе, невидимого для чужих глаз. Угрюмое

приветствие хозяина дома встряхнуло его, как неожиданное падение с высоты. Виллемс сел за стол напротив Олмейера и попытался завязать с мрачным спутником бодрый разговор, но после окончания ужина, когда они молча сидели и курили, ощутил внезапный упадок духа, охватившую все члены апатию, безмерную печаль как от великой, невосполнимой потери. В сердце проникла ночная тьма, с ней пришли сомнения, колебания и глухое раздражение на себя и весь мир. Виллемсу хотелось сыпать грязными ругательствами, устроить с Олмейером свару, выкинуть какую-нибудь жестокость. В голову безо всякого прямого повода лезла мысль, не дать ли в морду этому гнусному, надутому животному. Виллемс бросал яростные взгляды из-под насупленных бровей. Ничего не подозревавший Олмейер курил, вероятно, думая о планах на завтрашний день. Его спокойствие казалось Виллемсу непростительным оскорблением. Почему этот идиот молчит сегодня, когда Виллемсу хочется говорить? Ведь в другие вечера он был готов болтать без умолку, причем обо всяких глупостях. Виллемс, стараясь изо всех сил сдержать собственную беспочвенную ярость, уставился неподвижным взглядом сквозь табачный дым на

покрытую пятнами скатерть.

По обыкновению, они рано легли спать, однако посреди ночи Виллемс со сдавленным проклятием выскочил из гамака и сбежал по ступеням крыльца во двор. Два ночных сторожа, сидевших у маленького костерка и монотонно беседовавшие вполголоса, подняли головы и с удивлением заметили тревогу на лице белого человека, пробежавшего мимо них через отбрасываемый огнем островок света. Он нырнул в темноту, потом вернулся и прошел совсем рядом, ничем не показывая, что заметил их присутствие. Белый человек ходил туда-сюда, что-то бормоча себе под нос. Оба малайца, пошептавшись, потихоньку ушли, решив, что находиться вблизи от белого, который ведет себя таким странным образом, небезопасно. Спрятавшись за углом товарного склада, они с любопытством наблюдали за Виллемсом остаток ночи, пока за коротким рассветом не вспыхнуло яркое солнце и хозяйство Олмейера не пробудилось для дневных забот и труда.

Улучив подходящий момент, чтобы незаметно улизнуть посреди дневной суеты, Виллемс пересек реку на каноэ до того места, где вчера встретил Аиссу. Он лег в траву у ручья и стал прислушиваться, не послышится ли звук ее

шагов. Яркий дневной свет проникал сквозь беспорядочные просветы между ветвями деревьев и, потеряв резкость, лился вниз в окружении теней могучих стволов. Там и сям узкий лучик трогал шероховатую кору, оставляя на ней золотые мазки, сверкал в беспокойных водах ручья или выхватывал отдельный лист, заставляя его сверкать на однообразном темно-зеленом фоне. В чистом голубом небе, проглядывавшем сквозь ветви, порхали, сверкая на солнце крыльями, белые рисовки. С небес лился зной, обволакивал распаренную землю, клубился между деревьями, окутывал Виллемса мягким и пахучим воздушным пологом, пропитанным тонким ароматом цветов и горьким запахом гниения. Атмосфера мастерской матери-природы успокоила и убаюкала Виллемса настолько, что он позабыл о прошлом и перестал размышлять о будущем. Память о победах, неудачах и притязаниях словно растворилась в этой теплоте, изгоняющей из сердца любые сожаления, надежды, недовольство и неуступчивость. Полусонный и довольный Виллемс нежился в теплом душистом убежище, вспоминая глаза Аиссы, звук ее голоса, дрожание ее губ, ее сдвинутые вместе брови и улыбку.

Она, конечно, пришла. Для нее Виллемс

представлял собой что-то новое, неведомое и диковинное. Он был выше и сильнее мужчин, попадавшихся ей прежде на глаза, и полностью отличался ото всех, кого она знала. Незнакомец принадлежал к племени победителей. Аисса живо помнила пережитую великую трагедию, и новый знакомый манил ее стоявшей за ним огромной силой и ощущением опасности, олицетворением преодоленного и с тех пор преуменьшаемого ужаса. Победители говорили таким низким голосом, смотрели на врага такими холодными голубыми глазами, а она сумела лишить этот голос твердости, заставила эти глаза с нежностью смотреть на ее лицо, покорила настоящего мужчину. Аисса не все понимала в рассказах незнакомца о своей жизни, однако из тех разрозненных отрывков, что поняла, сама слепила образ героя, признанного среди своих, доблестного, но невезучего, не падающего духом беглеца, мечтающего отомстить своим врагам. Он привлекал ее своей неопределенностью и загадочностью, непредсказуемостью и стремительностью. И этот сильный, опасный человек из плоти и крови был готов отдать себя в рабство.

Он созрел — она это чувствовала. Аисса ощущала эту готовность безошибочной интуицией

доисторической женщины, столкнувшейся с естественным инстинктом. День ото дня, пока они встречались и она, стоя чуть в стороне, сдерживала нового знакомого взглядом, смутный страх победы слабел и тускнел, словно воспоминание о сновидении, сменяясь уверенностью, четкой и определенной, скорее похожей на осязаемый предмет под яркими лучами солнца. Глубокая радость, великая гордость и сладость предвкушения оставляли на губах вкус меда. Виллемс лежал, вытянувшись, у ее ног без малейшего шевеления, зная по опыту первых встреч, что малейшее движение спугнет Аиссу. Он лежал очень тихо, любовный пыл целиком передавался его голосу, сверкал в его глазах, в то время как тело оставалось недвижным, словно на смертном одре. Он смотрел на нее снизу вверх, на ее голову, что пряталась в тени широких вальяжных листьев, ласкавших ее щеки. Тонкие усики бледно-зеленых орхидей стекали с ветвей, сплетались с черными волосами, обрамлявшими ее лицо, как если бы все растения считали ее своей — живым блестящим цветком бьющей ключом жизни, рожденным в полумраке и стремящимся к солнцу.

С каждым днем Аисса все больше сближалась

с Виллемсом. Он терпеливо наблюдал, как слова любви постепенно укрощают женщину. Неизменный гимн восторга и вожделения, начавшись с сотворения мира, окружал земной шар, словно атмосфера, и мог прекратиться только в конце всего сущего, когда не осталось бы ни поющих уст, ни внимающих этой песне ушей. Виллемс с ходу объявил Аиссе, что она восхитительна и желанна, и не уставал повторять эти слова снова и снова, ибо, однажды высказав их, излил все, что у него было в душе, единственную мысль, единственное чувство. Озадаченное выражение удивления и недоверия мало-помалу стало исчезать с лица Аиссы, взгляд потерял резкость, улыбка все дольше задерживалась на ее губах — улыбка человека, очарованного сладким сновидением, прячущая за пробуждающейся нежностью тихий восторг пьянящей победы.

Когда Аисса была рядом, беспечный Виллемс не видел вокруг ничего, кроме ее взгляда и улыбки, — ни в прошлом, ни в будущем. Для него существовало только настоящее, одна лишь ослепляющая правда ее присутствия. Однако, окунаясь в темноту, мгновенно возникавшую после ухода Аиссы, он ощущал себя слабым и беспомощным, как будто у него отняли все, что он

считал своим. Он, кто всю жизнь заботился лишь о карьере, презирал женское влияние и осуждал мужчин, которые этому влиянию поддавались хотя бы отчасти, он, такой сильный, превосходящий всех остальных даже в своих ошибках, начал наконец осознавать, что рука женщины отнимает у него самого себя. Куда подевались самодостаточность и гордость его ума, вера в успех, раздражение от неудач, жажда вернуть себе богатство и уверенность, что ему хватит сил этого добиться? Все пропало. Исчез тот мужчина, каким он видел себя, осталась лишь тревога в сердце, этом презренном сердце, тающем от взгляда или улыбки, страдающем от одного слова, находящем успокоение в посулах.

Когда долгожданный день наконец наступил и Аисса, опустившись рядом на траву, быстрым движением взяла его за руку, Виллемс встрепенулся как человек, разбуженный треском падающей на голову крыши собственного дома. Вся кровь, все ощущения, сама жизнь, казалось, устремились навстречу этой руке, отнимая последние силы, бросая его в холодную дрожь, оцепенение и предчувствие конца, как от внезапно полученной смертельной огнестрельной раны. Виллемс резко, словно обжегшись, оттолк-

нул от себя женскую руку и замер без движения с опущенной головой, глядя в землю и затравленно дыша. Всплеск страха и нескрываемый ужас ни капли не смутили Аиссу. Ее лицо оставалось строгим, взгляд — серьезным. Пальцы женщины погладили волосы у него на виске, ласково провели по щеке, нежно потрогали кончики длинных усов. Пока он пытался унять дрожь от этого прикосновения, Аисса с поразительным проворством убежала, нырнув со звонким смехом в путаницу травы и кивание молодых веток, оставив после себя лишь исчезающий шлейф движения и звуков.

Виллемс, кряхтя, словно на плечи легла тяжкая ноша, медленно поднялся и пошел к берегу реки. Лелея в груди память о собственном испуге и блаженстве, он в то же время повторял про себя, что его увлечение не могло продолжаться. Выведя каноэ на стремнину, он поднял глаза на берег и долго, неподвижно смотрел на него, словно стараясь запечатлеть в памяти место восхитительных событий. Он вернулся к дому Олмейера сосредоточенным, энергичной поступью человека, принявшего окончательное решение. Лицо его было непреклонно и сурово, жесты скупы и неторопливы. Он твердо держал

себя в руках. Очень твердо. Виллемс с яркостью, достойной реальности, воображал себя в роли стражника, поставленного следить за шустрым узником. За ужином — последним, который они проводили вместе, — он сел напротив Олмейера с совершенно спокойным выражением на лице, но чувствуя в душе нарастающий ужас бегства от самого себя.

Время от времени Виллемс хватался за край стола и сжимал зубы в припадке острого отчаяния; так человек, падающий по гладкому крутому склону навстречу обрыву, цепляется ногтями за рыхлую почву, чувствуя, что его уже ничто не спасет от неизбежной гибели.

И вдруг мышцы расслабились, напряжение воли ослабло. В голове Виллемса как будто что-то щелкнуло: новое желание, новая мысль не покидали разум все оставшееся время, шумя и опаляя мозг, как лесной пожар. Он должен ее увидеть! Немедленно! Сегодня же вечером! Потеря одного часа, каждого мгновения страшно его бесила. Он больше не помышлял о сопротивлении. И все-таки инстинктивная боязнь окончательного исхода, врожденная неискренность человеческой души требовали держать наготове путь к отступлению. Он никогда прежде не отлучался

ночью. Что известно Олмейеру? Что он подумает? Лучше попросить у него ружье. Лунная ночь… Засада на оленя… Как предлог сойдет. Придется обмануть Олмейера. Какая разница! Он сам обманывался каждую минуту своей жизни. И ради чего? Ради женщины. Да еще такой…

Ответ Олмейера показал, что притворяться нет смысла. Ничего не утаить даже в таком месте, как это. Ну и черт с ним. Виллемса сейчас заботили лишь упущенные секунды. А если бы он внезапно умер? Не успев ее увидеть? Не успев…

Все еще слыша в ушах смех Олмейера, Виллемс направил каноэ наискось через участок реки с быстрым течением, пытаясь убедить себя, что сможет вернуться, стоит только захотеть. Он всего лишь одним глазком взглянет на то место, где они обычно встречались, на дерево, под которым он лежал, когда она взяла его за руку, на траву, на которую она присела рядом с ним. Всего лишь на минутку туда и тут же обратно. Однако, когда маленькая лодка ткнулась носом в берег, Виллемс выскочил из нее, позабыв привязать. Каноэ, помедлив немного у кустов, пропало из виду прежде, чем он успел прыгнуть в воду и закрепить его. На мгновение Виллемс застыл как громом пораженный. Теперь он не мог вернуться,

не попросив у людей раджи лодку с гребцами, а путь в кампонг Паталоло пролегал мимо дома Аиссы!

Виллемс шагал нетерпеливо и в то же время с опаской, как человек, преследующий призрака, и, дойдя до развилки, где узкая тропа уходила влево к вырубке Омара, остановился с выражением напряженного ожидания, словно прислушиваясь к далекому голосу — голосу своей судьбы. Голос этот звучал неотчетливо, но с глубоким смыслом, ему отвечали смятение и боль в груди. Он сплел пальцы и выгнул руки до хруста в суставах. На лбу выступили мелкие капли пота. Виллемс потерянно огляделся вокруг. Над бесформенной тьмой подлеска высились кроны больших деревьев, их ветви и листва чернели на фоне бледного неба, словно клочки ночи, плавающие в лунном свете. Из-под ног от земли поднимался теплый пар. Одинокий путник утопал в глухой тишине.

Он осмотрелся в поисках помощи. Безмолвие и неподвижность напоминали холодный упрек, неумолимый отказ, жестокое безразличие. Не осталось ни спасения во внешнем мире, ни надежного пристанища внутри себя — все вытеснил образ этой женщины. Наступил момент внезапного просветления, такого рода жестокие

озарения порой посещают даже самых забитых людей. Виллемс как будто увидел происходящее в душе со стороны и ужаснулся странности картины. Он, европеец, чья вина заключалась лишь в недостатке рассудительности да излишней вере в добродетельность своих земляков, и эта женщина, совершенная дикарка… Виллемс попытался убедить себя, что все это не имеет никакого значения. Не тут-то было. Свежесть ощущений, которых ему прежде не доводилось испытывать даже в малой степени, но которые он заочно презирал с позиции цивилизованного человека, лишила его смелости. Он был недоволен собой. Променял незапятнанную чистоту свой жизни, своей расы, своей культуры на какое-то дикое существо. Ему казалось, что он блуждает между бесформенными, опасными, наводящими ужас тенями. Виллемс противился ощущению неизбежности поражения, терял почву под ногами, падал в черную пропасть. Издав слабый крик и вскинув руки над головой, он признал себя побежденным, как выбившийся из сил пловец, потому что палуба под ногами ушла в пучину, потому что ночь черна, а берег далек, потому что умереть легче, чем продолжать борьбу.

Часть II
Глава 1

Яркий свет и зной, словно брошенные рукой злого великана, обрушились на поселок, вырубки и реку. Земля, искрясь, затихла, примолкла под лавиной обжигающих лучей, уничтожающих все звуки и движения, стирающих все тени, удушающих каждый вздох. Ни одно живое существо не отваживалось бросить вызов спокойному величию безоблачного неба, восстать против гнета блистательного и жестокого солнца. Сила и решимость, душа и тело были одинаково беззащитны и пытались укрыться от натиска небесного огня. И лишь хрупкие бабочки, бесстрашные дети солнца, прихотливые повелители цветов, отважно порхали на виду: их крохотные тени маленькими тучками парили над поникшими цветками, легко скользили по жухлой траве, плавно двигались по сухой, растрескавшейся земле. В жаркий полдень не слышно было ни одного голоса, кроме тихого журчания реки, воды которой, кружась и вихрясь, наперегонки гнали маленькие искристые волны в веселом забеге к

надежным и прохладным морским глубинам.

Олмейер отпустил работников на полуденный перерыв и, посадив маленькую дочь на плечи, быстро пробежал по двору под тень веранды. Он положил спящего ребенка на сиденье большого кресла-качалки, подсунув под голову подушку из своего гамака, и несколько минут стоял и смотрел на дочурку добрым, задумчивым взглядом. Девочка, уставшая, разгоряченная, беспокойно заворочалась, вздохнула и посмотрела на Олмейера сквозь пелену томной сонливости. Олмейер поднял с пола сломанный пальмовый веер и принялся обмахивать покрасневшее личико. Ресницы ребенка трепетали в такт. Олмейер улыбнулся. На мгновение в отяжелевших глазах ребенка зажглась ответная улыбка, обозначив ямочку на мягком изгибе щеки, потом веки разом смежились, губы, разжавшись, выпустили наружу протяжный вздох, и девочка заснула глубоким сном прежде, чем мимолетная улыбка успела покинуть ее лицо.

Олмейер потихоньку отошел в сторону, взял одно из деревянных кресел, поставил у балюстрады и со вздохом облегчения сел. Положив локти на перила и подперев подбородок сцепленными пальцами, он рассеянно остановил взгляд на

солнечных бликах, танцующих на неспокойной речной поверхности. Лес на другом берегу стал медленно уменьшаться в размерах, словно уходил под воду. Очертания колебались, теряли резкость, растворялись в воздухе. Взгляд тонул в колыхании бездонной синевы — пустоте широкого неба, иногда бывавшего темным. Куда пропал солнечный свет? Олмейер ощутил спокойствие и удовлетворенность, как будто ласковая невидимая рука освободила душу от тяжести тела. Прошла секунда, и он поплыл по прохладному морю света, где нет ни боли, ни воспоминаний. Какое блаженство! Его веки приоткрылись и тотчас же снова опустились.

— Олмейер!

Вздрогнув всем телом, управляющий факторией выпрямился, ухватившись за перила обеими руками и глупо моргая.

— Что? Что такое? — пробормотал он, сонно озираясь по сторонам.

— Я здесь! Внизу!

Привстав с кресла, Олмейер заглянул через перила и, удивленно присвистнув, плюхнулся обратно.

— Ба, призрак! — воскликнул он вполголоса.

— Выслушаешь меня? — раздался сиплый голос

со двора. — Можно я поднимусь?

Олмейер встал и перегнулся через перила.

— Даже не думай, — негромко, но отчетливо сказал он. — Даже не думай! Здесь ребенок спит. Слушать я тебя не хочу, да и говорить мне с тобой не о чем.

— Ты должен меня выслушать! Дело серьезное.

— Не для меня.

— Еще как для тебя! Это очень важно.

— Ты всегда был фанфароном, — произнес Олмейер снисходительным тоном после короткого молчания. — Всегда! Я помню старые времена. Некоторые говорили, что тебе нет равных в хитрости, но меня не проведешь. Нет уж. Я в твои таланты никогда не верил, мистер Виллемс.

— Я готов признать твое умственное превосходство, — парировал Виллемс с насмешливой нетерпеливостью. — Если выслушаешь меня, ты еще раз его подтвердишь. А если нет, потом будешь жалеть.

— Ах какой шутник! — беззлобно воскликнул Олмейер. — Ну хорошо, поднимайся. Только не шуми. А то еще схлопочешь солнечный удар и помрешь у меня на пороге. Мне только новых трагедий не хватало. Иди уж!

Не успел Олмейер закончить фразу, как голо-

ва Виллемса уже показалась над полом, затем постепенно появились его плечи и, наконец, он предстал перед Олмейером целиком — карнавальный призрак бывшего доверенного лица самого богатого купца на островах. Куртка испачкана и порвана. Вместо брюк — поношенный вылинявший саронг. Виллемс сбросил шляпу, обнажив длинные, спутанные волосы, клочьями прилипшие к потному лбу и налезавшие на глаза, мерцающие в глубоких глазницах, как последние огоньки в почерневшей золе отгоревшего костра. Из впадин на обожженных солнцем щеках торчала грязная щетина. Протянутая Олмейеру рука дрожала. Некогда плотно сжатые губы выдавали умственные страдания и физическое изнеможение. Ноги босы. Олмейер неспешно осмотрел жалкую фигуру.

— Ну и?.. — сказал он наконец, не обратив внимания на протянутую руку, и Виллемс медленно ее опустил.

— Я вернулся… — начал Виллемс.

— Я вижу, — перебил его Олмейер. — Мог бы вообще не появляться, я бы не стал горевать. Больше месяца пропадал, если не ошибаюсь. Я прекрасно без тебя обходился. И тут заявляешься, да еще в таком виде.

— Дай же мне рассказать! — воскликнул Виллемс.

— Не кричи так. Думаешь, ты в лесу со своей… со своими друзьями? Здесь живут цивилизованные люди. Европейцы. Разумеешь?

— Я вернулся, — повторил Виллемс, — ради твоего и своего блага.

— Судя по твоему виду, тебя пригнал обратно голод, — грубо оборвал его Олмейер, на что Виллемс замахал руками. — Тебя там, видно, плохо кормили, — с легкой насмешкой добавил Олмейер, — эти… как их правильно называть?.. твои новые родственники. Старый слепой пройдоха, должно быть, был рад без ума такому знакомству. Худшего убийцу и грабителя в южных морях не сыскать, ты не знал? Вы там опытом обменивались? Признайся, ты в Макасаре кого-нибудь убил или только ограбил?

— Неправда! — с жаром воскликнул Виллемс. — Я всего лишь взял немного взаймы. Они все врут! Я…

— Тс! — предостерегающе прошипел Олмейер, оглядываясь на спящего ребенка. — Украл, значит, — продолжил он со сдержанным удовлетворением. — Я так и думал, что тут дело не чисто. И здесь опять воруешь.

Виллемс впервые посмотрел Олмейеру в глаза.

— Нет, не у меня. У меня ничего не пропало, — с насмешливой торопливостью добавил Олмейер. — Эту девушку. Ты ведь ее умыкнул, а? Ничего не дав старику отцу. Попортил и бросил, так ведь?

— Перестань!

Что-то в голосе Виллемса заставило Олмейера на время замолчать. Он пристально взглянул на бывшего коллегу и невольно пожалел его.

— Олмейер, — продолжал Виллемс, — выслушай меня. Если ты, конечно, человек. Я страшно страдаю — и ради тебя тоже.

Олмейер вскинул брови.

— Неужели? О чем ты? Да ты умом тронулся, — небрежно отмахнулся он.

— А-а, ты еще ничего не знаешь, — прошептал Виллемс. — Она пропала. Пропала, — повторил он со слезами в голосе, — два дня назад.

— Да ну! — удивился Олмейер. — Пропала! Мне об этом не сообщали. — Он, прикрыв рот ладонью, рассмеялся. — Вот насмешил! Успел ей надоесть? Знаешь ли, дорогой земляк, это тебе не делает чести.

Виллемс, словно не слышал его слов, прислонился к столбу, поддерживавшему крышу,

посмотрел на реку и мечтательно прошептал:

— Сначала жизнь казалась мне раем. Или адом. Я так и не решил, чем больше. Но после того, как она пропала, я познал, что такое погибель и мрак: когда тебя живьем раздирают на куски. Вот что я чувствую.

— Ты можешь вернуться и снова жить у меня, — холодно ответил Олмейер. — В конце концов, Лингард, кого я почитаю за отца и очень уважаю, попросил присмотреть за тобой. Ты погнался за удовольствиями и сбежал. Хорошо. А теперь хочешь вернуться. Ладно. Я тебе не друг. Я всего лишь выполняю просьбу капитана Лингарда.

— Вернуться? — горячо повторил Виллемс. — К тебе, а ее бросить? Ты считаешь меня сумасшедшим? Без нее! Что ты за человек? Думать, что она где-то ходит, живет, дышит. Я ревную к ветру, который ее ласкает, к воздуху, которым она дышит, к земле, которой касаются ее ноги, к солнцу, что на нее сейчас смотрит, в то время как я… не видел ее целых два дня. Два дня!

Глубина чувства Виллемса немного смягчила сердце Олмейера, но он не подал виду и, картинно зевнув, пробормотал:

— Как ты мне надоел! Почему же ты пришел сюда, а не ищешь ее?

— Действительно, почему?

— Ты не знаешь, где ее искать? Вряд ли она где-то далеко. За последние две недели устье реки не покинуло ни одно местное судно.

— Да, она недалеко. И я знаю где. Она в кампонге Лакамбы.

Виллемс твердо посмотрел Олмейеру в глаза.

— Ну и ну! Паталоло мне о ней ничего не говорил. Странно, — задумчиво сказал Олмейер. — Ты что, испугался этой банды? — добавил он после короткой паузы.

— Я? Испугался?!

— Тогда что тебе, мой гордый друг, мешает пойти за ней туда? Переживаешь, как бы не потерять достоинство? — с насмешливой озабоченностью спросил Олмейер. — Какое благородство!

После недолгого молчания Виллемс сказал:

— Дурак ты. Дать бы тебе тумака.

— Ой, напугал, — презрительно бросил Олмейер. — Тебе силенок не хватит. От голода скоро свалишься.

— Я действительно не ел уже дня два, а может, и больше, — точно не помню. Наплевать. У меня в душе словно угли горят, — мрачно признался Виллемс. — Вот, гляди! — Он обнажил руку со свежими ранками. — Я кусал себя за руку, чтобы

забыть, как больно жжет этот огонь! — Виллемс с силой ткнул себя кулаком в грудь, пошатнулся от собственного удара, упал в соседнее кресло и медленно опустил веки.

— Отвратительный фарс, — пренебрежительно сказал Олмейер. — И чего такого нашел в тебе отец? Пользы от тебя как от кучи мусора.

— Кто это говорит? Человек, продавший душу за пару гульденов, — утомленно пробормотал Виллемс, не поднимая век.

— Не за пару, — машинально огрызнулся Олмейер и растерянно запнулся, но тут же снова взял себя в руки. — Зато ты свои деньги пустил на ветер, бросил под ноги чертовой дикарке. Она уже превратила тебя в посмешище, а очень скоро и вовсе убьет — или своей любовью, или своей ненавистью. Ты тут упомянул гульдены. Видимо, имел в виду деньги Лингарда. Что бы и за какую бы цену я ни продал, ты последний человек, кому пристало хаять мою сделку. Мне-то ничего не грозит. Даже отец, капитан Лингард, теперь к тебе близко не подойдет. Ни на пушечный выстрел…

Все это Олмейер выпалил в запальчивости, одним махом, буравя Виллемса взглядом и тяжело пыхтя через нос от обиды. Виллемс твердо посмотрел на него, поднялся и решительно про-

изнес:

— Олмейер, я хочу начать здесь свою торговлю.

Тот лишь пожал плечами.

— Да, и ты должен мне помочь. Мне нужен дом, товары для обмена и немножко денег. Я очень прошу.

— И это все? Может и этот пиджак тоже? — Олмейер расстегнул пуговицы. — А как насчет моего дома или сапог?

— В конце концов, это естественно, — продолжал Виллемс, не обращая на реплику Олмейера ни малейшего внимания, — естественно, что она желает положения, которое… Тогда я смог бы заткнуть рот старому проходимцу и…

Виллемс умолк, его лицо озарилось мягким светом мечтательного воодушевления, глаза закатились. Его исхудалая фигура и оборванное платье напоминали отшельника, узревшего перед собой видение блаженной славы, купленной ценой отказа от мирских соблазнов. Он сбился на пылкий шепот:

— Я забрал бы ее к себе, подальше от ее племени, для себя одного, под собственное влияние… вылепил бы… направил… души бы не чаял… отогрел… О-о, какое блаженство! А потом… потом

мы уехали бы куда-нибудь далеко-далеко, где она никого не знает. Я стал бы там для нее всем миром. Всем миром!

Лицо Виллемса внезапно преобразилось. Рассеянный взгляд вдруг вновь обрел твердость.

— Я, разумеется, верну все до последнего цента, — заявил он деловым тоном, в котором зазвучали прежние уверенные нотки, прежняя вера в себя. — Все до последнего цента. В твои дела я не полезу. Я вытесню местных торговцев. У меня есть соображения, как это сделать, но пока это не важно. Капитан Лингард одобрит мой план — я уверен. Ведь речь идет всего лишь о кредите, и я не убегу. Ты ничем не рискуешь.

— Ах, капитан Лингард одобрит, говоришь? Он одоб… — Олмейер поперхнулся. Мысль, что Лингард мог оказать Виллемсу какую-то услугу, привела его в бешенство, лицо побагровело. Он захлебывался ругательствами.

Виллемс взирал на него с полным спокойствием.

— Уверяю, — мягко произнес он, — у меня есть все основания для такой просьбы.

— Да ты, черт возьми, просто наглец!

— Поверь мне, Олмейер, твое положение здесь не так уж надежно, как ты себе представляешь.

Беспринципный соперник мог бы за год сломать тебе весь бизнес. Это означало бы крах. В отсутствие Лингарда кое-кто осмелел. Знаешь что? Я за последнее время много чего слышал. Мне тут всякое предлагали. Ты здесь совершенно один. Даже Паталоло…

— К черту Паталоло! Хозяин здесь я!

— Но разве ты не видишь…

— Да вижу, вижу. Осла, говорящего загадками, — вот что я вижу, — взорвался Олмейер. — В чем смысл твоих скрытых угроз? Ты не подумал, что я тоже кое-что знаю? Они интригуют не первый год, а воз и ныне там. Арабы ошиваются около этой реки много лет, а я по-прежнему на ней единственный торговец и хозяин. Ты пришел ко мне с объявлением войны? В таком случае тебе придется вести ее в одиночку. Я всех своих врагов знаю наперечет. Дать бы тебе по голове. Порох на выстрел жалко тратить. Тебя палкой мало пришибить — как змею.

Крики отца разбудили девочку, и она с громким плачем села на подушке. Олмейер подскочил к креслу, взял ребенка на руки, не глядя под ноги, повернулся, споткнулся о лежавшую на полу шляпу Виллемса и яростным пинком сбросил ее с крыльца.

— Убирайся! Вон отсюда!

Виллемс попытался что-то возразить, но Олмейер закричал на него:

— Уходи. Не видишь, ребенка напугал. Чучело огородное! Нет-нет, милая, — начал он успокаивать маленькую дочь. Виллемс тем временем медленно спускался по ступеням. — Нет, не плачь. Видишь, плохой дядя сейчас уйдет. Смотри! Он испугался твоего папы. Нехороший дядя, злой. Пусть никогда больше к нам не приходит. Пусть идет в свой лес, чтобы его рядом не было с моей маленькой девочкой. Если еще раз появится, папа его прибьет. Вот так!

Одной рукой прижимая к плечу успокоившегося ребенка, а другой грозя вслед удалявшемуся гостю, он стукнул кулаком по перилам, показывая, как расправится с Виллемсом.

— Видишь, как он драпает, милая? — сюсюкал Олмейер. — Правда, смешной? Крикни ему «свин». Крикни.

Серьезность на лице ребенка улетучилась, появились ямочки. Большие глаза под длинными ресницами с каплями недавних слез засверкали радостью. Девочка ухватилась за волосы Олмейера одной рукой, другой весело помахала и изо всех силенок чисто и отчетливо, как щебечут

птицы, крикнула:

— Свин! Свин! Свин!

Глава 2

Вздохнула пылающая синева, пробежала рябь по спящему морю, из двери, распахнутой в ледяное пространство космоса, повеяло прохладой, и вместе с шевелением листвы, кивками веток, дрожью молодых побегов на берег налетел морской бриз, пронесся вверх по реке, подмел широкие плесы, взъерошил потемневшую воду, зашептал в кронах деревьев, зашуршал листьями проснувшегося леса. В кампонге Лакамбы ветер заставил ярко запылать едва тлеющие угли, поднимавшиеся над каждым костром тонкие прямые струйки дыма под его напором закачались, дрогнули и, клубясь, заполнили полумрак между деревьями ароматом горящих дров. Люди, дремавшие в тени во время послеобеденного зноя, проснулись, тишину большого двора нарушило неуверенное бормотание сонных голосов, кашель, зевки, разрозненный смех, громкие оклики, приветствия и шутки. Небольшие группы обступили маленькие костры, двор наполнился монотонным шумом разговоров. Варвары, настырные и неуступчивые,

вели их на своем мягком, музыкальном наречии, вновь и вновь повторяя бесконечные истории о жителях лесов и морей, готовые день и ночь толковать на эту неисчерпаемую тему, находя все новые грани. Такие разговоры заменяли им поэзию, живопись и музыку, все искусство и всю историю, служили единственным предметом гордости, признаком собственного превосходства и единственным развлечением. У костров говорили о храбрости и хитрости, диковинных явлениях и далеких странах, о том, что было вчера и что будет завтра. О мертвых и живых, о тех, кто сражался и кто любил.

Потный, полусонный и хмурый, Лакамба вышел на помост перед своим домом и уселся в деревянное кресло под тенью нависающей крыши. Из темного дверного проема доносился тихий щебет женщин, хлопотавших у ткацкого станка, на котором изготовляли клетчатую ткань для праздничных саронгов хозяина. Справа и слева на пружинящем бамбуковом полу спали на циновках или сидя протирали глаза соратники Лакамбы, по праву рождения или благодаря верной службе получившие привилегию находиться в доме предводителя. Те, что окончательно проснулись, нашли в себе силы достать шахматные

доски с фигурками из красной глины и теперь молча и сосредоточенно обдумывали очередной ход. Над лежавшими на животе увлеченными игроками, подпиравшими головы руками и болтавшими в воздухе босыми ступнями, тут и сям возвышались фигуры внимательных наблюдателей, следивших за игрой с бесстрастным и одновременно глубоким интересом. На краю помоста ровными рядами выстроились кожаные сандалии с высокими каблуками; у грубых деревянных перил стояли принадлежащие этим господам копья с тонкими древками, матовая сталь широких лезвий которых в красных лучах заката казалась совершенно черной.

Мальчик лет двенадцати, личный служка Лакамбы, сидя на корточках у ног господина, протянул ему серебряную шкатулку с бетелем. Лакамба неторопливо взял шкатулку, открыл, оторвал кусочек листа, положил в него щепоть куриной извести, крупицу гамбира, маленький орех катеху и ловко свернул лист в трубочку. Рука с угощением застыла в воздухе, как если бы он что-то вспомнил. Лакамба поводил головой, словно у него затекла шея, и раздраженным басом рявкнул:

— Бабалачи!

Шахматисты бросили на него быстрый взгляд и снова углубились в игру. Стоявшие беспокойно зашевелились, как если бы голос предводителя толкнул их в бок. Тот, что находился ближе всех от Лакамбы, немного погодя повторил его зов, высунувшись за перила площадки. Сидевшие у костров подняли лица, распевный клич облетел весь двор. Стук деревянных пестиков для очистки риса на минуту прекратился, имя Бабалачи в разных тональностях повторили визгливые голоса женщин. Кто-то что-то издали крикнул, другой человек, поближе, повторил. Перекличка дошла до помоста и резко оборвалась. Соратник Лакамбы, что первым передал его призыв, лениво сообщил:

— Он у слепого Омара.

Лакамба беззвучно пошевелил губами. Передавший ответ вновь углубился в наблюдение за игрой на полу. Предводитель, точно позабыв, чего хотел, флегматично сидел между своими молчаливыми спутниками, откинувшись на спинку кресла, положив руки на подлокотники и раздвинув колени. Большие, налитые кровью глаза важно моргали в царственном отсутствии мысли.

Бабалачи ушел к старому Омару в предвечер-

ний час. Тонкая игра на давних обидах старого пирата, искусное управление стремительными порывами Аиссы настолько увлекли его, что оторвали ото всех других дел и заставили позабыть о ежедневных совещаниях со своим начальником и покровителем, а последние три ночи и вовсе не давали уснуть. В тот день, выходя из своей бамбуковой хижины в кампонге Лакамбы, он чувствовал в душе тяжесть, сомнения и тревогу за удачный исход заговора. Бабалачи шел медленно, с характерным безразличием к своему окружению, словно не замечая множества сонных глаз, следивших со всех сторон за его продвижением к маленькой калитке в верхней части двора. Калитка эта выходила на огороженный участок с довольно большим домом из досок, подготовленным для Омара и Аиссы по приказу Лакамбы. Такое жилище имело наивысший статус, и Лакамба хотел отдать его своему главному советнику, чьи способности, по его мнению, того заслуживали. Однако после разговора на заброшенной вырубке, когда Бабалачи раскрыл свой план, оба решили поселить в новом доме Омара с Аиссой, после того как их уговорят переехать от раджи или уведут силой, — это уж как получится. Бабалачи отнюдь не возражал

подождать с собственным переездом в почетный дом, поскольку для его плана такой шаг имел много преимуществ. Дом стоял в стороне, его маленький двор через калитку на женской половине усадьбы Лакамбы соединялся с личным подворьем предводителя. Путь к реке вел через главный двор, где всегда было полно вооруженных людей и бдительных глаз. За постройками расстилались расчищенные от деревьев рисовые поля, окруженные девственным лесом с таким густым подлеском, что вглубь не могло проникнуть ничего, кроме пули, да и та далеко бы не улетела.

Бабалачи тихо проскользнул в маленькую калитку и плотно ее закрыл, накинув петлю из ротанга. Квадратная площадка перед домом была утрамбована до гладкости асфальта. Гигантское дерево с подпорками, нарочно оставленное во время вырубки леса, раскинуло в чистом небе купол-крону из узловатых сучьев и толстых, солидных листьев. Справа, на небольшом удалении от главного дома, стояла крытая циновками тростниковая хижина, специально построенная для удобства Омара. Слепому ослабевшему старику было трудно взбираться по крутой наклонной доске в настоящий дом на низких сваях

с открытой верандой. У ствола дерева, напротив хижины, посреди широкого круга белого пепла семейного кострища тлела кучка углей. У костра на корточках сидела старуха, дальняя родственница одной из жен Лакамбы, выделенная в помощь Аиссе. Она подняла слезящиеся глаза и безучастно скользнула взглядом по быстро приближающемуся гостю.

Бабалачи окинул двор единственным глазом и, не глядя на старуху, пробурчал вопрос. Женщина молча вытянула чахлую, дрожащую руку и указала на хижину. Сделав несколько шагов в ее направлении, Бабалачи остановился.

— О, туан Омар! Омар бесар! Это я, Бабалачи!

Из хижины послышался слабый стон, натужный кашель и неотчетливое жалобное бормотание. Поощряемый этими слабыми признаками жизни Бабалачи вошел в хижину и вскоре с неуклюжей осторожностью вывел наружу слепого Омара. Старик обеими руками держался за плечи поводыря. Под деревом стояла грубо сколоченная скамья, старый пират со вздохом облегчения тяжело сел и устало прислонил спину к шершавому стволу. Лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь путаницу ветвей, падали на фигуру в белом балахоне, гордо откинутую голову, худые, не

находившие себе места руки и бесстрастное лицо с опущенными на изуродованные зрачки веками — лицо, своей неподвижностью напоминавшее пожелтевшую от времени статую.

— Солнце скоро зайдет? — глухим голосом спросил Омар.

— Очень скоро, — ответил Бабалачи.

— Где я? Почему меня увезли из знакомого места, где я, слепец, мог двигаться без опаски? Для зрячего мое состояние подобно ночной тьме. Солнце вот-вот зайдет, а я не слышал звука ее шагов с самого утра! Меня сегодня дважды кормила чужая рука. Почему? Почему? Где Аисса?

— Недалеко, — ответил Бабалачи.

— А он? — продолжал Омар, угрожающе понизив голос. — Он где? Здесь его нет. Нет! — Старик покрутил головой по сторонам, словно действительно мог что-то видеть.

— Да, сейчас его здесь нет, — примирительно сказал Бабалачи и через мгновение тихо добавил: — Но он скоро вернется.

— Вернется! Каково лукавство! Вернется, говоришь? Я проклял его три раза, — воскликнул, дрожа от напряжения, Омар.

— Он, несомненно, проклят, — согласился Бабалачи, — и все же он скоро сюда явится. Я знаю!

— Неверный хитрец! Я вывел тебя в люди. Ты был грязью под моими ногами, хуже грязи, — выпалил Омар в закипающем гневе.

— Я много раз сражался бок о бок с тобой, — спокойно напомнил Бабалачи.

— Зачем он пришел? — продолжил Омар. — Это ты его подослал? Зачем он явился? Осквернить воздух, которым я дышу, насмеяться над моей участью, отравить разум дочери, похитить ее тело? Ее сердце сделалось каменным: твердым, безжалостным и коварным, как рифы, что губят корабли, скрываясь в спокойной воде. — Старик тяжело вздохнул, сотрясаемый гневом, и вдруг поник. — Я голодал, — заныл он, — не один раз сильно голодал, мерз, бедствовал, когда рядом не было ни души. Она часто обо мне забывала. Сыновья погибли, а тут еще этот негодяй, пес неверный. Зачем он пришел? Это ты показал ему дорогу?

— Дорогу он нашел сам, о вождь отважных, — печально ответил Бабалачи. — Я всего лишь увидел в нем средство, чтобы их уничтожить, а нас сделать великими. И если зрение меня не обмануло, тебе никогда больше не придется голодать. Для нас наступят мир, слава и богатство.

— И на другой день я помру, — горько посето-

вал Омар.

— Откуда нам знать? Такие вещи прописаны с самого начала мира, — задумчиво прошептал Бабалачи.

— Не позволяй ему вернуться! — воскликнул Омар.

— Он тоже не избежит судьбы, — продолжил Бабалачи. — Он вернется, и власть тех, кого ты и я всегда ненавидели, рассыплется в прах у нас в кулаке. — И с энтузиазмом добавил: — Они сцепятся и оба погибнут.

— Ты-то все это увидишь, а я…

— Верно! — сокрушенно пробормотал Бабалачи. — Для тебя жизнь — вечная тьма.

— Нет! Не тьма — пламя! — воскликнул старый араб, приподнявшись и снова рухнув на скамью. — Пламя последнего дня! Оно до сих пор стоит у меня перед глазами, это было последнее, что я увидел! И звук разрываемой земли, когда все они погибли, а я превратился в игрушку хитреца, — добавил он в новом приступе раздражения.

— Ты по-прежнему мой господин, — смиренно произнес Бабалачи. — Ты очень мудр и, как мудрец, должен поговорить с Сеидом Абдуллой, когда он сюда приедет. Поговори с ним, как сове-

тую тебе я, твой слуга, тот, кто многие годы был в битвах твоей правой рукой. Гонец сообщил, что Сеид Абдулла прибудет сегодня вечером или ночью, ибо такие вещи делаются тайно, чтобы белый, этот торговец на реке, ничего не узнал. Сеид приедет. В письме говорится, что Сеид Абдулла покинет свой корабль, стоящий на якоре у выхода из реки, сегодня в полдень. Волей Аллаха он будет здесь еще до рассвета.

Бабалачи говорил, потупив взгляд, и заметил присутствие Аиссы, только когда замолчал и поднял голову. Девушка подошла так тихо, что даже Омар не услышал ее шагов. Она стояла и смотрела на них с тревогой в глазах и приоткрыв рот, словно хотела что-то сказать, но, повинуясь жесту Бабалачи, промолчала. Омар погрузился в раздумья.

— Ай-ва! И все же! — воскликнул он слабым голосом. — Ты хочешь, чтобы я тебя послушал, о Бабалачи! Предложил Абдулле поверить белому! Никак не возьму в толк. Я стар, слеп и слаб. И я не понимаю. Мне очень холодно, — продолжил Омар вполголоса, беспокойно поводя плечами. Помолчав немного, он опять бессвязно забормотал тихим шепотом: — Они ведьмины дети, а их отец — Сатана, побитый камнями. Ведьмины де-

ти. Ведьмины дети. — Замолчав на время, старик окрепшим голосом произнес: — Сколько здесь белых людей, о лукавый?

— Их двое. И они передерутся, — с жаром ответил Бабалачи.

— А сколько останется после них? Сколько? Скажи, премудрый.

— Гибель врага — утешение для несчастных, — напыщенно заявил Бабалачи. — Белые есть на всех морях, лишь разум Всевышнего ведает, каково их число. Тебе же важно знать, что некоторым из них не поздоровится.

— Скажи мне, Бабалачи, они умрут? Оба? — заволновался Омар.

Аисса пошевелилась. Бабалачи предупредительно вскинул руку и уверенно ответил, глядя девушке прямо в глаза:

— Несомненно умрут.

— Ай-ва! Побыстрее бы! Чтобы я успел потрогать их застывшие лица, когда Аллах заберет их души.

— Если так определит их и твоя судьба, — немедленно ответил Бабалачи. — Слава Аллаху!

Омар скорчился в сильнейшем приступе кашля, раскачиваясь, кряхтя и охая. Бабалачи и Аисса молча ждали. Наконец старик в изнеможении

прислонился к дереву.

— Я один, один, — запричитал он, шаря в воздухе дрожащими руками. — Есть кто-нибудь рядом? Есть здесь кто-нибудь? Мне страшно в этом незнакомом месте.

— Я рядом с тобой, о вождь отважных, — трогая его за плечо, произнес Бабалачи. — С тобой, как прежде, когда мы оба были молоды и наши руки еще держали оружие.

— Разве было такое время, Бабалачи? — с напором спросил Омар. — Я уже не помню. Умру, и рядом не будет никого, ни одного бесстрашного человека, кто бы вспомнил отцовскую удаль. Одна женщина осталась! Женщина! И та променяла меня на неверного пса. Как тяжела десница Милосердного на моем темени! О, горе мне! Позор!

Немного успокоившись, он тихо спросил:

— Солнце уже зашло, Бабалачи?

— Оно сейчас не выше самого высокого дерева, которое я отсюда вижу.

— Настал час молитвы. — Омар попытался подняться.

Бабалачи почтительно помог старику встать, и они медленно двинулись к хижине. Омар подождал снаружи, пока Бабалачи вытащит старый арабский молитвенный коврик. Водой из брон-

зового сосуда он совершил омовение рук старика и осторожно помог ему опуститься на колени, потому что многоуважаемый разбойник больше не мог стоять на слабых ногах. Омар пропел начальные строки молитвы, сделал первый поклон в сторону Мекки, Бабалачи тем временем бесшумно подошел к Аиссе, которая так и не сдвинулась с места.

Женщина твердо посмотрела на одноглазого мудреца: тот приближался неспешно, с крайне почтительным видом, — и некоторое время они молча смотрели друг на друга. Бабалачи как будто смутился. Резким, неожиданным движением Аисса взяла его за рукав, а другой рукой указала на низкий красный диск солнца, тускло мерцавший в вечернем тумане.

— Третий закат! Последний! А его как не было, так и нет, — прошептала она. — Что ты натворил, неверный? Что ты натворил?

— Я сдержал свое слово, — угрюмо пробормотал Бабалачи. — Сегодня утром Буланги взял каноэ, чтобы его разыскать. Буланги хоть и чужой, но наш друг, так что присмотрит за ним, не привлекая внимания. В третьем часу дня я отправил еще одно каноэ с четырьмя гребцами. Воистину человек, о котором ты тоскуешь, о, дочь Омара,

способен вернуться, если захочет.

— Но его здесь нет! Я вчера весь день прождала. И сегодня! Завтра сама пойду.

— Живой не пущу! — пробормотал себе под нос Бабалачи и громче добавил: — Ты сомневаешься в своих чарах? Ты, что для него прекраснее гурии на седьмом небе? Он твой раб.

— Рабы иногда тоже убегают, — мрачно заметила Аисса, — и тогда хозяину приходится их разыскивать.

— Чего ты хочешь? Жить и умереть нищей? — нетерпеливо спросил Бабалачи.

— Мне все равно, — воскликнула Аисса, заламывая руки. Черные зрачки широко открытых глаз метались туда-сюда, как ласточки перед грозой.

— Шш! — прошипел Бабалачи, оглядываясь на Омара. — Ты думаешь, дорогая моя, что твой отец готов жить в нищете — хотя бы и с тобой?

— Он велик! — запальчиво воскликнула она. — Он всех вас презирает! Всех! Он настоящий мужчина!

— Тебе лучше знать, — пробормотал Бабалачи, пряча улыбку. — Однако помни, женщина с твердым сердцем: чтобы его удержать, ты должна поступать с ним как океан с измученными жаж-

дой моряками — непрерывно дразнить, доводить до безумия.

Бабалачи замолчал, и они стояли, уставившись в землю; слышно было только, как потрескивают угли в костре да нараспев славит Бога Омар. Это был и его Бог, и его вера. Бабалачи вдруг наклонил голову набок и внимательно прислушался к шуму голосов на большом дворе. Невнятный гул распался на отельные выкрики, затем вновь удалился, потом вернулся нарастая, чтобы резко прерваться. В коротких промежутках, как прилив, ворвавшийся в тихую гавань, пробегала волна пронзительных женских воплей. Аисса и Бабалачи вздрогнули, но он удержал женщину на месте, крепко схватив за руку, и прошептал:

— Подожди.

Калитка в палисаде, отделявшем владения предводителя от участка Омара, быстро распахнулась, и во двор с перекошенным лицом и короткой саблей в руке вбежал Лакамба. Чалма наполовину распустилась: свободный конец волочился по земле, куртка расстегнулась. Лакамба с трудом перевел дыхание, прежде чем заговорить.

— Он приплыл на лодке Буланги и подкрался ко мне совсем близко. Типичная для белых слепая

ярость заставила его броситься на меня. Я мог серьезно пострадать, — выпалил благородный предводитель оскорбленным тоном. — Ты слышишь, Бабалачи? Пожиратель свинины пытался ударить меня в лицо своим нечистым кулаком. Чуть не опозорил перед домашними. Его сейчас держат шестеро человек.

Рассказ Лакамбы прервала новая волна криков. Злые голоса призывали:

— Держи его! Вали его наземь! Бей по голове!

Внезапно шум и гам прекратились, словно оборванные невидимой могущественной рукой. Прошла минута удивленного молчания, и послышался одинокий голос Виллемса, изрыгавшего проклятия на малайском, голландском и английском языках.

— Слышишь? — произнес Лакамба дрожащими губами. — Он возводит хулу на своего Бога. Его речь — лай бешеной собаки. Нам что теперь, все время его охранять? Его нужно прикончить!

— Дурак! — пробормотал Бабалачи, посмотрев на Аиссу, стоявшую рядом, сжимая челюсти, сверкая глазами и раздувая ноздри, но все еще послушную его хватке. — Сегодня третий день, я сдержал свое слово, — очень тихо добавил он. — Не забывай, веди себя с ним как океан с

измученными жаждой! А теперь ступай. Ступай, о бесстрашная дочь!

Бабалачи разжал пальцы. Аисса с быстротой и бесшумностью стрелы метнулась к выходу со двора и пропала за калиткой. Лакамба и Бабалачи проводили ее взглядом. Снова послышалась возня, громкий женский голос приказал: «Отпустите его!» В наступившем промежутке тишины, продолжительностью не больше вздоха, имя Аиссы прозвучало так громко, исступленно и пронзительно, что все невольно вздрогнули. Старый Омар распластался на молельном коврике и слабо застонал. Лакамба глянул в сторону, откуда послышался нечеловеческий крик, с мрачным презрением. Бабалачи, однако, выдавив улыбку, подтолкнул своего заслуженного покровителя к калитке, вышел вслед за ним и быстро ее закрыл.

Старуха, все это время сидевшая у костра, встала, боязливо осмотрелась и спряталась за деревом. Калитка со стороны большого двора с треском распахнулась от удара ногой, вбежал Виллемс с Аиссой на руках и пронесся по участку как ураган, прижимая девушку к своей груди. Она обнимала его за шею, склонив голову на плечо, закрыв глаза и почти касаясь земли длинными

волосами. Пара на мгновение мелькнула в свете костра, после чего Виллемс гигантскими скачками взбежал со своей ношей по сходням и скрылся в главном доме.

Снаружи в обоих дворах наступила полная тишина. Омар лежал, опершись на локоть, с испуганным лицом человека, которому приснился кошмар.

— Что происходит? Помогите! Помогите мне встать! — молил он слабым голосом.

Старая ведьма сидела за деревом и смотрела мутными глазами на вход в дом, не обращая внимания на призывы Омара ни малейшего внимания. Старик немного послушал, уставшая рука не выдержала, и он с тяжким сокрушенным вздохом повалился на коврик.

Легкий непостоянный ветер заставил ветви дерева кланяться и трепетать. Одинокий листок медленно спланировал вниз с самой макушки и неподвижно замер на земле, как если бы нашел вечный покой, однако вскоре зашевелился, неожиданно взлетел, завертелся, закружился, влекомый дыханием ароматного бриза, и беспомощно пропал в темноте спустившейся на землю ночи.

Глава 3

Абдулла шел по начертанному Господом пути уже сорок лет. Сын богатого магометанского купца Сеида Селима ибн-Сали покинул дом в возрасте семнадцати лет, отправившись в первое торговое плавание, замещая отца на борту корабля с набожными малайскими паломниками, снаряженного богатым арабом для путешествия к святым местам. В те дни моря в его краях еще не бороздили пароходы, а если бороздили, то не в таком количестве, как сегодня. Путешествие длилось долго и позволило юноше повидать много заморских чудес. Аллаху было угодно, чтобы он с младых лет странствовал по свету. Это была настоящая Божья милость, и редкий человек заслуживал и мог оправдать ее больше Абдуллы, хранившего в сердце неугасимую веру и скрупулезно исполнявшего все ее предписания. Со временем стало ясно, что книга судьбы уготовила ему жизнь непоседы. Он побывал в Бомбее и Калькутте, заглядывал в Персидский залив, увидел высокие бесплодные берега Суэцкого залива, но дальше на запад не заплывал. Когда Абдулле исполнилось двадцать семь лет, судьба

распорядилась вернуть его в южные проливы, чтобы принять из рук умирающего отца бразды торговли, охватывавшей весь архипелаг от Суматры до Новой Гвинеи, от Батавии до Палавана.

Очень скоро способности, твердая до ослиного упрямства воля, не по годам острый ум снискали ему положение главы семейного клана, родством и связями охватывавшего каждый уголок здешних морей. Дядья, братья, тесть в Батавии, еще один в Палембанге, мужья многочисленных сестер, тьма двоюродных братьев, разбросанных по северу, югу, западу и востоку, — торговля кипела везде и повсюду. Великое семейство опутало архипелаг родственными узами, словно сетью, ссужало деньги местным князькам, влияло на вельмож и советников и со спокойной неустрашимостью отражало натиск, если того требовали обстоятельства, белого начальства, державшего земли в повиновении занесенным над головами острым мечом. Все они с почтением относились к Абдулле, прислушивались к его советам, участвовали в его начинаниях, потому что он был мудр, благочестив и удачлив.

Абдулла держался смиренно, как подобает человеку веры, ни на минуту не забывающему, что он слуга Всевышнего. Он был щедр, ибо щедрый

человек — друг Аллаха, и, когда покидал свой каменный дом на окраине Пенанга и шел в порт к своему складу, нередко был вынужден отдергивать руку, которую стремились облобызать земляки и единоверцы. Ему часто приходилось бормотать слова упрека или даже резко осаждать тех, кто в порыве благодарности или с какой-нибудь челобитной пытался прикоснуться кончиками пальцев к его коленям. Абдулла был очень хорош собой и носил свою изящную голову высоко и со скромным достоинством. Открытый лоб, прямой нос, узкое темное лицо с тонкими чертами придавали ему аристократический вид, говоривший о чистоте происхождения. Бородка была аккуратно подстрижена и заканчивалась скругленным клинышком. Большие карие глаза смотрели твердо и благожелательно, что не вязалось с тонкими, плотно сжатыми губами. Он всегда был невозмутим. Ничто не могло поколебать его веру в удачу.

Непоседливый, как все его соотечественники, Абдулла редко задерживался в своем роскошном доме дольше нескольких дней. Владея многими кораблями, он частенько посещал на одном из них разные уголки обширного ареала своих деловых операций. У него имелось пристанище в

каждом порту: либо свое, либо принадлежавшее родне, принимавшей его с картинным радушием. В каждом порту с ним желали встретиться богатые влиятельные люди, заключались сделки, лежали, дожидаясь его прибытия, письма — множество завернутых в шелк посланий, попадавших к нему окольным и в то же время надежным способом в обход неверных с их колониальными почтовыми конторами. Послания доставляли находы, молчаливые туземные капитаны, либо с глубоким почтением передавали из рук в руки грязные с дороги, усталые люди, которые, уходя, просили Аллаха благословить получателя письма за щедрое вознаграждение. Новости неизменно были хороши, все затеи завершались успехом, в ушах Абдуллы постоянно звучал хор восхищенных голосов, выражений благодарности, униженных просьб.

Чем не счастливчик? На долю Абдуллы выпало столько удачи, что джинны, нужным образом расположившие звезды на момент его рождения, не преминули — какой бы странной ни была утонченная доброта в столь примитивных существах — вложить ему в сердце трудноисполнимое желание и назначить в соперники упорного врага. Зависть к политическим и коммерческим

успехам Лингарда и жажда превзойти его во всех отношениях превратились для Абдуллы в идею фикс, наиглавнейший интерес жизни, соль бытия.

Последние месяцы Абдулла получал из Самбира загадочные сообщения с призывами к решительным действиям. Он обнаружил реку еще несколько лет назад и не раз стоял на якоре напротив ее устья, того места, где быстрый Пантай замедлял ход и растекался по равнине, распадаясь, словно в задумчивости, на два десятка рукавов и устремляясь по лабиринтам литоралей, песчаным отмелям и рифам в раскрытые объятия моря. В саму реку он, однако, не отваживался заходить. Люди его племени хоть и были смелыми и предприимчивыми мореплавателями, не отличались штурманской сметкой. Абдулла боялся потерять корабль. Он не мог допустить, чтобы Раджа Лаут всюду болтал, как Абдулла ибн-Селим опростоволосился, словно обычный простолюдин, при попытке разгадать его тайну, поэтому арабский купец пока что слал неизвестным союзникам в Самбире обнадеживающие ответы и в спокойной уверенности за конечный результат выжидал подходящий момент.

Вот кого ждали в гости Лакамба и Бабалачи

в первую ночь после возвращения Виллемса к Аиссе. Бабалачи три дня мучился сомнениями, не слишком ли далеко зашел, но теперь, почувствовав, что белый поселенец у него в руках, управлял подготовкой к визиту Абдуллы с облегчением и самодовольством. На полдороге между домом Лакамбы и рекой сложили кучу сушняка, чтобы поджечь ее факелом, как только Абдулла сойдет на берег. От этого места и до самого дома полукругом расставили низкие помосты из бамбука, завалив их коврами и подушками, собранными со всего подворья. Прием было решено устроить под открытым небом, чтобы показать, как много у Лакамбы людей. Приспешники предводителя в чистых белых одеждах, подпоясанные красными саронгами, с тесаками на боку и копьями в руках, расхаживали по кампонгу, сбивались в кучки и горячо обсуждали предстоящую церемонию.

По обе стороны от места высадки у самой воды ярко горели костры. Рядом с каждым из них лежала небольшая кучка факелов, обмазанных даммаровой смолой. Бабалачи ходил туда-сюда между кострами, делая частые остановки, и, повернув к реке лицо, прислушивался к звукам, доносившимся из темноты над водой. Луна спряталась, ночное небо над головой было чистым,

однако, после того как вечерний бриз судорожно испустил дух, блестящую поверхность Пантая накрыли густые испарения, и туман цеплялся за берег, скрывая от наблюдателей середину реки.

Из дымки послышался крик, потом еще один, и, прежде чем Бабалачи успел ответить, к месту высадки стрелой подлетели два маленьких каноэ. Из лодок вышли двое постоянных жителей Самбира, Дауд Сахамин и Хамет Бахасун, которых послали тайно встретить Абдуллу. Поздоровавшись с Бабалачи, они направились через темный двор к дому. Небольшой переполох, вызванный их прибытием, вскоре улегся, потянулся еще один долгий час молчаливого ожидания. Бабалачи опять принялся расхаживать между кострами, тревога на его лице росла с каждой минутой.

Наконец со стороны реки послышался громкий оклик. По зову Бабалачи к берегу прибежали люди, схватили факелы, подожгли и замахали ими над головой, чтобы огонь как следует разгорелся. Дым, поднимаясь густыми клочковатыми клубами, повис багровым облаком над пламенем костров, освещавших двор и отражавшихся в реке, по которой приближались три длинные лодки со множеством гребцов. Гребцы дружно и без видимого усилия поднимали и опускали

весла, несмотря на быстрое течение, удерживая маленькую флотилию на месте — точнехонько напротив точки причаливания. В самой длинной из лодок поднялся человек и крикнул:

— Сеид Абдулла ибн-Селим пожаловал!

Бабалачи официальным тоном громко отвечал:

— Аллах наполнил радостью наши сердца! Причаливайте к берегу!

Абдулла сошел первым, опершись на услужливо протянутую руку Бабалачи. В этот короткий момент они успели обменяться острыми взглядами и парой наскоро брошенных слов.

— Кто ты?

— Бабалачи, друг Омара, подопечного Лакамбы.

— Это ты писал?

— Писали с моих слов, о милосердный!

Абдулла с бесстрастной миной проследовал между двумя рядами людей с факелами и встретил Лакамбу у большого, разгорающегося костра. Они постояли с минуту, держась за руки и желая друг другу мира, затем Лакамба, не отпуская руки гостя, провел его вокруг костра к приготовленному для него месту. Абдуллу сопровождали два араба. Он, как и его спутники, был одет в свобод-

ного покроя белую хламиду из накрахмаленного муслина. До пояса она была застегнута на мелкие золотые пуговицы, узкие манжеты украшали золотые галуны. Бритую голову венчала сплетенная из травяных стеблей круглая шапочка, на голых ногах были чувяки из блестящей кожи, с правого запястья свисали тяжелые четки. Гость медленно опустился на почетное место и, сбросив чувяки, чинно поджал под себя ноги.

Импровизированный совет расположился широким полукругом. Наиболее удаленная от костра — примерно на десять ярдов — точка находилась ближе всего к подворью Лакамбы. Как только главные действующие лица расселись, веранда дома бесшумно наполнилась закутанными по самые глаза фигурами женщин. Столпившись у перил, они наблюдали за происходящим сверху и едва слышно шептались. Тем временем внизу между сидевшими бок о бок Лакамбой и Абдуллой некоторое время продолжался формальный обмен любезностями. Бабалачи скромно примостился у ног благодетеля прямо на земле, подстелив лишь тонкую циновку.

После здравиц наступила пауза. Абдулла обвел собравшихся вопросительным взглядом. Бабалачи, до этой поры сидевший очень тихо, по-

груженный в мысли, словно очнулся и заговорил мягким, вкрадчивым голосом. Он красочно описал основание Самбира, конфликт нынешнего правителя Паталоло с султаном Коти, возникшие из-за этого волнения, и восстание бугийских переселенцев под руководством Лакамбы. Время от времени говорящий поворачивался к внимательно слушавшим Сахамину и Бахасуну, словно в поисках поддержки, и те в один голос со сдерживаемой страстью отвечали: «Бетул! Бетул!».

Разгоряченный предметом повествования, Бабалачи перечислил действия Лингарда в критический период внутренних распрей. Малаец произносил свою речь, все еще не повышая голоса, но с растущим негодованием. Кто такой этот человек с буйным нравом, почему встал между ними и всем миром? Разве он здесь власть? Кто назначал его правителем? Он завладел умом Паталоло, ожесточил его сердце, подучил его говорить холодные слова, а теперь водит его рукой, разящей направо и налево. Этот неверный своим тяжелым, бесчувственным притеснением не дает продохнуть людям истинной веры. Они вынуждены торговать только с ним, принимать только те товары, что он позволит, и только на тех условиях, которые он одобрит. И каждый год

устраивает поборы.

— Истинно! — хором воскликнули Сахамин и Бахасун.

Бабалачи бросил на них одобрительный взгляд и вновь повернулся к Абдулле.

— Прислушайтесь к этим людям, о защитник угнетенных! Что нам делать? Не торговать мы не можем, а другого партнера у нас нет.

Сахамин вскочил, сжимая посох, и заговорил, обращаясь к Абдулле, с витиеватой учтивостью, гневно потрясая правой рукой в такт своим словам:

— Все правда. Мы устали платить оброк белому человеку, сыну Раджи Лаута. Этому белому — да будет осквернена могила его матери! — мало того, что он всех нас держит в своем жестоком кулаке. Он толкает нас к верной гибели. Ведет торговлю с даяками, что живут в лесах, как обезьяны. Закупая у них гуттаперчу и ротанг, морит нас голодом. Всего два дня назад я пришел к нему и сказал: «Туан Олмейер (нам даже с этим другом Сатаны приходится быть вежливыми), у меня есть на продажу такие-то и такие-то товары, не хочешь ли их купить?» А он… эти белые понятия не имеют о вежливости… он ответил мне как рабу: «Дауд, тебе повезло (обратите внимание,

о первый среди правоверных! Такими словами он мог меня сглазить) хоть что-то иметь в такое трудное время. Неси сюда побыстрее свой товар, я засчитаю его в уплату долга за прошлый год». И засмеялся, и эдак хлоп меня ладонью по плечу. Чтоб ему гореть в аду!

— Мы выступим против него, — твердо заявил молодой Бахасун. — Мы готовы сражаться, если нам помогут и кто-то нас возглавит. Туан Абдулла, не примкнете ли вы к нам?

Абдулла не торопился с ответом. Его губы шевелились в беззвучном шепоте, в пальцах сухо постукивали четки. Все в почтении замолчали.

— Я пойду с вами, если только мой корабль сможет войти в реку, — наконец торжественно произнес Абдулла.

— Сможет, — воскликнул Бабалачи. — Здесь есть один белый, кто…

— Я хочу сам поговорить с Омаром аль-Бадави и с этим белым, — перебил его Абдулла.

Бабалачи резко вскочил на ноги, все разом зашевелились. Женщины на веранде поспешили в дом, от державшейся на почтительном расстоянии толпы отделились несколько человек и прибежали бросить в костер новые охапки хвороста. Один из них по знаку Бабалачи подо-

шел к нему и, выслушав распоряжение, исчез за маленькой калиткой, ведущей на участок Омара. Ожидая его возвращения, Лакамба, Абдулла и Бабалачи тихо беседовали. Сахамин сидел в стороне и, лениво двигая массивными челюстями, сонно жевал семя бетелевой пальмы. Бахасун, схватившись за рукоять короткой сабли, расхаживал туда-сюда на фоне костра с чрезвычайно воинственным и лихим видом, вызывая зависть и восхищение вассалов Лакамбы, стоявших или бесшумно бродивших в темноте по двору.

Посыльный вернулся и замер поодаль, ожидая, когда на него обратят внимание. Бабалачи поманил его к себе:

— Что он сказал?

— Он сказал, что Сеид Абдулла — желанный гость.

Лакамба что-то вполголоса передал Абдулле, внимавшему с глубоким интересом.

— Он сказал, что мы при необходимости сможем выставить до восьмидесяти человек на четырнадцати каноэ. Вот только пороха у нас нет.

— Хай! В бой вступать не придется, — перебил гонца Бабалачи. — Их напугает один звук вашего имени, а ваше появление и вовсе ввергнет

в ужас.

— Порох тоже будет, — буркнул Абдулла, — если только корабль сможет войти в реку.

— У твердых сердцем и корабль будет цел, — сказал Бабалачи. — Давайте сейчас пойдем к Омару аль-Бадави и белому человеку — они здесь.

Тусклые глаза Лакамбы вдруг оживились.

— Будьте осторожны, туан Абдулла! — воскликнул он. — Будьте осторожны. Поведение этого нечистого белого безумца в высшей степени возмутительно. Он хотел ударить…

— Клянусь головой, вам ничего не грозит, о милосердный! — поспешил вмешаться Бабалачи.

Абдулла посмотрел сначала на одного, потом на другого, и на его серьезном лице впервые за вечер мелькнула тень улыбки. Он повернулся к Бабалачи и решительно потребовал:

— Идем.

— Сюда, о надежда наших сердец! — приговаривал Бабалачи с суетливым подобострастием. — Всего несколько шагов, и вы увидите и храброго Омара, и сильного, хитрого белого человека. Сюда.

Он подал знак Лакамбе остаться, а сам, почтительно поддерживая под локоть, направил

Абдуллу к калитке в дальней части двора. Пока они медленно шли в сопровождении двух арабов, Бабалачи что-то быстро в полголоса говорил именитому гостю, который на него даже ни разу не взглянул, хотя, как видно, слушал с подкупающим вниманием. У самой калитки Бабалачи забежал вперед, положил на нее руку и остановился, обернувшись к Абдулле.

— Я их обоих вам покажу, — заговорил он. — Все, что я говорил о них, чистая правда. Когда заметил, как та, о ком рассказывал, сделала из него раба, сразу понял, что в моих руках он будет мягче мокрой глины. Поначалу, как водится у белых, он обругал меня дурными словами на своем языке. Потом, однако, прислушался к голосу той, кого любит, и заколебался. Он слишком долго колебался, много дней. Зная его повадки, я перевез Омара сюда вместе… с его хозяйством. Краснолицый бесновался три дня, как голодная пантера. Наконец сегодня вечером он пришел. Он угодил в капкан безжалостного сердца и теперь никуда не уйдет. Я держу его здесь. — Бабалачи похлопал по калитке ладонью.

— Это хорошо, — пробормотал Абдулла.

— Он проведет ваш корабль, а если приспичит, и в бой вступит. Пусть берет убийство на себя,

если в этом будет нужда. Дайте ему оружие с коротким стволом, что стреляет много раз.

— Да будет на то воля Аллаха! — немного подумав, согласился Абдулла.

— А еще в таком деле нельзя скупиться, о первый среди щедрейших! — продолжал Бабалачи. — Белый человек жаден до денег, а та, что с ним… жадна до украшений.

— Их не обидят, — сказал Абдулла, — вот только… — Гость замолчал и потупился, поглаживая бородку.

Бабалачи, затаив дыхание и приоткрыв рот, с нетерпением ждал продолжения. Через некоторое время Абдулла заговорил скороговоркой, сбивчивым шепотом, из-за чего Бабалачи пришлось подставить ухо поближе:

— Да. Вот только Омар — сын дяди моего отца… все члены его семьи правоверные… а этот человек — неверный. Непотребно это… очень непотребно. Он не может прятаться в моей тени. Только не этот пес. Каюсь! Да простит меня Аллах! Как он будет жить у меня на глазах с женщиной нашей веры? Позор! Мерзость!

Закончив, Абдулла тяжко вздохнул и с сомнением спросил:

— Когда этот человек выполнит все, что мы от

него хотим, что с ним делать?

Они стояли бок о бок, погруженные в мысли, скользя взглядом по двору. Ярко пылал большой костер, мазки света дрожали на земле у них под ногами, между темными ветками деревьев лениво извивались мерцающие кольца дыма. Лакамба вернулся на свое место и сел на подушки с понурым видом. Сахамин, опять вскочив, со смесью уважения и настойчивости что-то втолковывал предводителю. Люди, переглядываясь и делая скупые жесты, по двое-трое выходили из темноты на свет костра, медленно фланировали перед ним и вновь пропадали в темноте. Бахасун, горделиво откинув голову назад, сверкая украшениями, позументом и эфесом сабли, описывал круги вокруг костра, как планета вокруг Солнца. С невидимой реки потянуло сырой прохладой, отчего Абдулла и Бабалачи поежились и стряхнули с себя оцепенение раздумий.

— Открывай калитку и ступай первым, — сказал Абдулла. — Риска нет, говоришь?

— Клянусь жизнью, никакого! — ответил Бабалачи, снимая петлю из ротанга. — Он был спокоен и доволен, как если бы после многих дней жажды вдоволь напился воды.

Бабалачи настежь распахнул калитку, сделал

несколько шагов в полумраке, но почему-то быстро вернулся обратно и прошептал:

— Он может нам еще пригодиться.

Абдулла, увидев, что тот вернулся, остановился.

— О, грехи тяжкие! О, соблазны! — с тихим вздохом вырвалось у араба. — Уповаю на Всевышнего. Неужели мне вечно придется кормить этого неверного?

— Не-ет, — прошелестел Бабалачи. — Не вечно! Только до тех пор, пока ему есть место в наших планах, о дары Аллаха приносящий! В нужное время вы отдадите приказ и…

Бабалачи придвинулся к Абдулле вплотную и осторожно дотронулся до уныло свисавшей руки с четками.

— Я ваш раб и покорный слуга, — пробормотал он внятным, вежливым тоном на ухо Абдулле. — После того как вы проявите свою мудрость до конца, возможно, найдется немножко яду, который никогда не подводит. Как знать?

Глава 4

Бабалачи проводил взглядом Абдуллу, нырнувшего через низкий узкий проем в темноту

внутри хижины Омара, услышал обмен характерными приветствиями и вопрос почетного гостя: «Значит, слава аллаху, кроме слепоты вы ни на что больше не жалуетесь?» Наткнувшись на неодобрительный взгляд двух арабов-охранников, Бабалачи отошел, последовав их примеру, на достаточное расстояние, чтобы не подслушивать разговор. Он сделал это неохотно, хотя и понимал: то, что сейчас происходит в хижине, совершенно ему неподвластно. Побродив немного и не зная, чем себя занять, он лениво подошел к костру, который перенесли из-под дерева поближе к хижине с наветренной стороны от ее входа. Бабалачи присел на корточки и, как часто делал, в задумчивости стал играть горящими углями, но слишком углубился в мысли, обжег пальцы и, резко отдернув руку, замахал ею в воздухе. С его места был слышен приглушенный шум разговора, он узнавал голоса, но не мог разобрать отдельные слова. Абдулла говорил гулким тоном, поток его речи время от времени прерывали ворчливые восклицания, слабые стоны и жалобное хныканье старого пирата. Какая досада, что невозможно разобрать, о чем они там говорят, подумал Бабалачи, неподвижным взглядом созерцая тлеющие угли. Нет, все будет хорошо. На

араба можно положиться. Он оказался именно таким, каким его себе представлял Бабалачи. С первого же момента, как только увидел Абдуллу, старый воин больше не сомневался, что этот человек, о ком он знал только понаслышке, весьма решителен. Даже чересчур. Потом, чего доброго, потребует слишком большую долю. По лицу Бабалачи пробежала тень. На пороге исполнения заветных желаний к сладости успеха всегда примешивалась горькая капля сомнений.

Заслышав шаги на веранде большого дома, Бабалачи поднял голову, тень задумчивости на его лице улетучилась, и оно приобрело выражение зоркой настороженности. По наклонной доске во двор спускался Виллемс. Свет внутри дома проникал наружу через щели между неплотно пригнанными досками, и в освещенном дверном проеме появился силуэт Аиссы. Она тоже спустилась в ночь за порогом и растворилась в темноте. Бабалачи, гадая, куда она могла пойти, на минуту забыл о Виллемсе. Когда грубый голос европейца раздался прямо у него над головой, Бабалачи подскочил от неожиданности, словно подброшенный кверху мощной пружиной.

— Где Абдулла?

Бабалачи махнул рукой на хижину и внима-

тельно прислушался. Умолкнувшие было голоса возобновили беседу. Он искоса глянул на Виллемса, чьи нечеткие очертания маячили в слабом мерцании затухающих углей.

— Разожги костер, — отрывисто сказал тот. — Я хочу видеть твое лицо.

Бабалачи послушно подкинул на угли сухого хвороста из приготовленной кучи, при этом не спуская глаз с европейца. Выпрямляясь, он невольно тронул рукоять криса, спрятанного на левом боку в складках саронга, стараясь в то же время сохранять беспечный вид под злым взглядом Виллемса.

— Ты в добром здравии, да славится аллах? — пробормотал малаец.

— Да! — неожиданно громко гаркнул Виллемс, отчего Бабалачи нервно вздрогнул. — Да! Здоров! Ты…

Он обошел вокруг костра и обеими руками схватил малайца за плечи. Бабалачи позволил раз-другой встряхнуть себя, сохраняя на лице все то же безмятежное выражение, с которым мечтательно смотрел на угли. Злобно тряхнув его напоследок еще раз, Виллемс неожиданно разжал пальцы и, отвернувшись, вытянул руки над костром. Бабалачи попятился, чтобы не потерять

равновесие, выпрямился и расправил плечи.

— Ай-я-яй, — с упреком поцокал он языком и, немного помолчав, с подчеркнутым восхищением добавил: — Какой мужчина! Какой сильный мужчина! Такой горы свернет! Горы! — закончил он с благоговейным трепетом.

Задержав взгляд на широкой спине Виллемса, он сказал ей, заговорщицки понизив голос:

— За что ты на меня сердишься? На меня, кто желает тебе блага? Разве я не приютил ее в своем доме? Да, туан! Это мой дом. Я отдам его тебе, не требуя какой-либо мзды, потому что ей нужна крыша над головой. Вы оба можете здесь жить. Кому дано угадать, о чем думает женщина? И какая женщина! Если она решила покинуть свое прежнее место, кто я такой, чтобы ей запрещать? Я всего лишь слуга Омара. Вот я и сказал: «Возьми мой дом, наполни радостью мое сердце». Разве я неправильно поступил?

— Я вот тебе что скажу, — ответил Виллемс, не оборачиваясь. — Если ей вздумается покинуть и это место, то ответишь за это ты. Я сверну тебе шею.

— Когда сердце переполняет любовь, в нем не остается места для справедливости, — посетовал Бабалачи с прежним непоколебимым доброду-

шием в голосе. — Зачем меня убивать? Ведь ты знаешь, туан, чего она хочет. Блестящего будущего, чего хотят все женщины. Тебя обидели и прогнали твои люди. Она это знает. Но ты храбр, ты силен, ты мужчина, и — я старше и вижу — она прибрала тебя к рукам. Таков удел сильных. К тому же она из знатной семьи и не может жить как рабыня. Ты познал ее, и теперь у нее в руках, как птица, попавшая в ловушку из-за своей силы. Поверь бывалому человеку: покорись, туан! Покорись! Не то…

Бабалачи многозначительно замолчал. Все еще по очереди грея ладони над огнем, не поворачивая головы, Виллемс грустно усмехнулся и спросил:

— Не то что?

— Она снова уйдет. Как знать? — закончил Бабалачи мягким вкрадчивым тоном.

На этот раз Виллемс резко обернулся. Бабалачи попятился назад.

— Если она уйдет, тебе же будет хуже, — пригрозил Виллемс. — Значит, это ты ее надоумил, и я…

Бабалачи откликнулся, стоя вне освещенной зоны, с нотками спокойного высокомерия:

— Хайя! Я все это уже слышал. Если она уйдет, ты меня убьешь. Хорошо! Разве это вернет ее,

туан? Если я кого надоумлю, то сделаю это как следует, о белый человек! И как знать: возможно, ты ее больше никогда в жизни не увидишь.

Виллемс охнул и отшатнулся, точно опытный путешественник, идущий по тропе, которую полагал надежной, и вдруг чуть не упавший в неожиданно открывшуюся под ногами бездонную пропасть. Бабалачи снова ступил в освещенный круг и зашел слева, откинув и немного наклонив голову набок, чтобы лучше рассмотреть единственным глазом выражение на лице высокого белого человека.

— Ты мне угрожаешь, — пробурчал Виллемс.

— Я, туан? — вскричал Бабалачи с легким налетом иронии и показным удивлением в голосе. — Я, туан?! Кто здесь говорит о смерти? Я? Нет! Я веду речь исключительно о жизни. О долгой жизни одинокого мужчины!

Они стояли по разные стороны костра, молча и хорошо понимая важность настоящего момента. Фатализм Бабалачи мало повлиял на тревогу в его душе, потому как никакой фатализм не мог вытеснить мысли о будущем, жажду успеха и боль ожидания того момента, когда неисповедимые предначертания Неба проявят себя в полной мере. Фатализм есть порождение страха неудачи,

ибо все мы полагаем, что держим удачу в своих руках, вот только руки эти не всегда надежны. Бабалачи смерил Виллемса взглядом и мысленно поздравил себя с победой. Он получил в его лице лоцмана для Абдуллы и жертву, которую можно бросить Лингарду в случае любой осечки. Уж он постарается, чтобы Виллемс у всех был на глазах. В любом случае белые должны передраться между собой. Дурачье. Как он их ненавидел! Они, конечно, глупцы, но за ними стояла сила. Ненавидя, он, однако, не сомневался, что его праведность и мудрость неизбежно одержат верх.

Виллемс же угрюмо пытался измерить глубину своего падения. Он, белый человек, предмет восхищения своих соотечественников, находился в плену у жалких дикарей, чьим орудием согласился стать. Он презирал их с вершины своей расы, моральных устоев, ума и смотрел на себя с жалостью и огорчением. Да, он у нее в руках. Ему доводилось слышать о подобных вещах. О женщинах, которые… Виллемс никогда не верил таким россказням. А оказывается, все это правда. Хуже того, его собственная неволя представлялась ему еще более полной, ужасной и окончательной — без малейшей надежды на освобождение. Виллемса изумляло коварство

Провидения, превратившего его в того, кем он стал, и — что еще прискорбнее — позволявшего жить на свете таким тварям, как Олмейер. Виллемс честно выполнил свой долг, обратившись к напарнику за помощью. Почему Олмейер ничего не понял? Кругом одни дураки. Виллемс дал ему шанс. А этот тупица его профукал. Виллемс был слишком жесток к самому себе. Желая забрать девушку из племени, пошел на унижение перед Олмейером. Закончив ревизию своей души, он с замирающим сердцем понял, что не сможет жить без Аиссы. Какое ужасное и сладкое чувство. Он помнил их первые встречи, ее наряд, лицо, улыбку, ресницы, слова. Женщина-варвар! И все же он не мог думать ни о чем другом, кроме трех дней разлуки и нескольких часов, проведенных вместе после новой встречи. Ну хорошо. Если нельзя забрать ее отсюда, он пойдет к ней и… На миг его охватило порочное удовлетворение от того, что содеянного больше не исправить. Он отрекся от себя и гордился этим. Был готов к чему угодно, пойти на любое дело. Ему было наплевать на всё и на всех. Виллемс принимал это чувство за бесстрашие, но в действительности был просто одурманен — одурманен ядом пылких воспоминаний.

Он поводил руками над огнем, осмотрелся вокруг и позвал:

— Аисса!

Женщина, видимо, стояла где-то рядом, потому что тотчас же появилась в свете костра. Ее торс был закутан в плотный хиджаб, надвинутый до самых бровей, один конец был переброшен через плечо и прикрывал нижнюю часть лица. Виднелись одни лишь глаза — колючие и блестящие, как ночные звезды.

Виллемс при виде причудливой закутанной фигуры ощутил раздражение, смущение и растерянность. Бывшему личному секретарю богатого Хедига подобало руководствоваться проверенными принципами респектабельности. Он попытался укрыться от тоски мангровых зарослей, лесного мрака и языческого духа дикарей, державших его в плену, за собственными представлениями о приличиях. Да ведь она похожа на живой тюк дешевой хлопковой ткани! Эта мысль привела его в неистовство. Аисса напялила на себя этот мешок, потому что рядом находился мужчина из ее племени! Виллемс говорил ей, чтобы она этого не делала, но она не послушалась. Неужели теперь придется перенимать ее представления о приличиях и достоинстве? Его

по-настоящему пугало, что так оно со временем и случится. Какой ужас. Она ни за что не переменится! Эта демонстрация ее собственного понимания приличий в очередной раз обнажила зияющую между ними непреодолимую пропасть, а для Виллемса стала еще одним шагом, ведущим под уклон. Он слишком цивилизован для нее! В голове мелькнуло, что между ними не было ничего общего — ни единой мысли, ни единого чувства, он не мог объяснить ей мотивы ни одного своего поступка и… был не в силах без нее жить.

Храбрый мужчина, стоявший перед Бабалачи, вдруг то ли охнул, то ли застонал. Этот маленький акт непокорности его воле ощущался как предзнаменование грядущей беды. Он еще больше усилил презрение Виллемса к самому себе как заложнику страсти, которых он всегда прежде высмеивал, человеку, не способному навязать свою волю. Сила духа, все реакции органов чувств, вся его личность тонула в бездонной страсти, в обещании несравненной услады, исходившем от этой женщины. Он, конечно, не мог четко уяснить источник подобного наваждения, но сам факт мучений не так-то легко не заметить, не так-то легко избежать борьбы противоречи-

вых побуждений внутри себя. Невежественные люди, возможно, страдают от них не меньше мудрецов, однако первым доставляемые внутренней борьбой мучения и поражения, к которым они приводят, кажутся странным, загадочным, несправедливым, но поправимым явлением. Глядя на Аиссу, Виллемс всматривался в самого себя. Его с макушки до пят сотрясала дрожь ярости, как от удара по лицу. И тут он вдруг расхохотался, но смех его напоминал искаженный отголосок далекого неискреннего веселья.

Бабалачи по другую сторону костра торопливо пробормотал:

— Туан Абдулла идет.

Глава 5

Абдулла приметил Виллемса еще с порога хижины. Он, конечно, ожидал увидеть белого, но не хорошо знакомого ему человека. Любой, кто занимался на островах торговлей и вступал в какие-либо сделки с Хедигом, сталкивался с Виллемсом. Последние два года в Макасаре личный секретарь Хедига заведовал всеми местными операциями фирмы: хозяин очень мало его контролировал, поэтому и Абдулла в числе прочих

знал Виллемса, хотя и не слышал о связанном с ним скандале. Вообще-то эту историю держали в такой строгой тайне, что многие в Макасаре ожидали возвращения Виллемса, полагая, что он на время отлучился по какому-то секретному заданию. Абдулла в изумлении застыл на пороге. Он рассчитывал увидеть какого-нибудь моряка, бывшего члена команды Лингарда, человека простого звания, возможно несговорчивого, но никак не равного ему по статусу. Вместо этого перед ним стоял хорошо известный своей пронырливостью делец. Как он здесь очутился? И почему? Абдулла, поборов удивление, но не отрывая от Виллемса глаз, чинно подошел к костру. Остановившись в двух шагах перед ним, араб поднял руку в сдержанном приветствии. Виллемс слегка поклонился и, немного выждав, с налетом безразличия сказал:

— Мы знакомы, туан Абдулла.

— Нам доводилось заключать сделки, — важно ответил Абдулла, — но это было далеко отсюда.

— Мы и здесь можем заключить сделку.

— Место не имеет значения. В делах важны непредвзятый ум и честное сердце.

— Совершенно верно. Мои ум и сердце открыты. Я объясню, почему я здесь.

— Зачем? Если сидеть дома, много о жизни не узнаешь. Отправляйся в путешествие! Осилившего дорогу ждет победа! И возвратись домой умудренным.

— Я не вернусь, — перебил его Виллемс. — Я порвал со своими. У меня не осталось братьев. Неправедному никто не поверит.

Абдулла дал волю удивлению, вскинув брови, и одновременно он сделал неопределенный жест, который можно было принять за выражение согласия и расположения: мол, ничего не поделаешь.

До этого времени Абдулла не обращал внимания на стоявшую у костра Аиссу, но женщина, воспользовавшись наступившей после заявления Виллемса паузой, сама заговорила. Глухим из-за прикрывавшей рот ткани голосом она многословно приветствовала важного гостя, назвав его соплеменником. Абдулла бросил на нее секундный взгляд и, как подобает воспитанному, благородному человеку, тут же опустил глаза. Аисса протянула обернутую концом хиджаба руку, Абдулла принял ее, дважды пожал и, отпустив, повернулся к Виллемсу. Женщина внимательно посмотрела на мужчин и, отступив назад, буквально растворилась в темноте.

— Я знаю, зачем ты приехал, туан Абдулла, — сказал Виллемс. — Мне этот человек рассказал. — Он кивнул в сторону Бабалачи и продолжал: — Это нелегкая задача.

— Аллах не ведает преград, — держась поодаль, елейно вставил Бабалачи.

Оба быстро повернулись к нему с задумчивым видом, будто мысленно взвешивая истинность заявления. Под их тяжелым взглядом Бабалачи ощутил нехарактерную робость и не отважился подойти ближе. Наконец Виллемс пошевелился, Абдулла быстро отреагировал, оба пошли рядом по двору. Их голоса затихли в темноте, однако вскоре послышались снова, и две фигуры выплыли из мрака. У костра они сделали разворот, Бабалачи успел перехватить только обрывки разговора. Виллемс объяснял:

— Я еще мальчишкой много лет ходил с ним в море, и на этот раз воспользовался своими навыками, чтобы запомнить речной фарватер.

— Богатство знаний дает надежность, — ответил Абдулла, после чего собеседники опять удалились.

Бабалачи отбежал к дереву и занял место в кромешной темноте, прислонившись к стволу. Это место находилось ровно посредине пути между

костром и дальней точкой, где собеседники поворачивали обратно. Они прошли совсем рядом. Худой, прямой как палка Абдулла, высоко подняв голову, держал руки перед собой и машинально перебирал четки. Высокий широкоплечий Виллемс выглядел крупнее и массивнее легкой фигуры в белом, рядом с которой он шел, небрежно отмеряя один шаг вместо двух собеседника. Руки Виллемса находились в непрестанном движении, он горячо жестикулировал и то и дело, наклоняясь, заглядывал в лицо Абдуллы.

Они прошли мимо Бабалачи туда-сюда раз шесть — малаец мог отчетливо наблюдать за ними в свете костра. Иногда они останавливались: Виллемс что-то с жаром доказывал, Абдулла внимательно слушал, а когда говорящий замолкал, слегка наклонял голову, словно принимая вызов или соглашаясь с утверждением. Время от времени до Бабалачи доносились отдельные слова, обрывок фразы, громкое восклицание. Снедаемый любопытством, он подполз к самой границе отбрасываемой деревом черной тени. Они опять приближались. Виллемс говорил:

— Деньги я должен получить сразу, как только поднимусь на борт. Это обязательное условие.

Ответа Абдуллы Бабалачи не расслышал. Про-

ходя мимо очередной раз, Виллемс сказал:

— Моя жизнь и без того в твоих руках. Пусть лодка, доставившая меня на твой корабль, отвезет деньги Омару. Они должны лежать наготове в опечатанной сумке.

Собеседники опять отошли, но на этот раз остановились у костра, повернувшись друг к другу лицом. Виллемс воздел руку вверх, непрерывно что-то говоря, потом резко опустил их и топнул ногой. На мгновение обе фигуры замерли. Губы Абдуллы едва заметно пошевелились. Внезапно Виллемс схватил пассивно свисавшую руку араба и крепко пожал. Бабалачи с облегчением вздохнул. Переговоры закончились. И, очевидно, успешно.

Он отважился покинуть свое укрытие. Пара молча подождала, пока он приблизится. Виллемс успел погрузиться в себя и принять мрачно-безразличный вид. Абдулла отступил от него на пару шагов. Бабалачи вопросительно взглянул на гостя.

— Мне пора, — сказал Абдулла. — Я буду ждать тебя напротив устья реки, туан Виллемс, до второго заката солнца. Следующее слово за тобой.

— Слово за мной, — подтвердил Виллемс.

Абдулла и Бабалачи вместе пересекли участок,

оставив европейца у костра. Двое арабов, сопровождавших гостя, обогнали их и первыми вышли за калитку на освещенный внутренний двор, где тихо рокотали голоса. Абдулла и Бабалачи задержались по эту сторону.

— Все хорошо. Мы поговорили о многих вещах. Он согласен, — сказал араб.

— Когда? — жадно спросил Бабалачи.

— Послезавтра. Я многое пообещал и намерен сдержать слово.

— Ваша щедрость не знает предела, о благороднейший среди правоверных! Вы же не забудете почтенного слугу, пригласившего вас сюда? Разве я говорил неправду? Эта женщина сделала из его сердца люля-кебаб.

Одним движением руки Абдулла, как веером, отмахнулся от его слов и медленно, с нажимом произнес:

— Он должен оставаться в полной безопасности, понял? В полной безопасности, как среди своих, до тех пор, пока…

— Пока что? — шепотом спросил Бабалачи.

— Пока я не скажу. А что касается Омара… — Абдулла немного помедлил и до предела понизил голос: — Он очень стар.

— Хайя! Стар и хвор, — живо переменив тон на

грустный, ответил Бабалачи.

— Омар хочет, чтобы я убил белого человека. Просил меня убить его, не сходя с места, — презрительно процедил Абдулла, делая шаг к калитке.

— Он нетерпелив, как любой, кто чует приближение смерти, — заметил Бабалачи, оправдывая старика.

— Омар будет жить у меня, пока… — продолжал Абдулла. — А-а, ладно. Главное, помни: белого никому не трогать.

— Он живет в тени вашего величия, — торжественно ответил Бабалачи. — Этого достаточно!

Коснувшись пальцами лба, Бабалачи пропустил гостя вперед.

Они возвратились во двор. При их появлении апатия немедленно улетучилась, все вновь ожили. Лакамба выступил навстречу, Бабалачи успокоил его уверенным кивком. Лакамба вымученно улыбнулся и, глядя с привычной неискоренимой угрюмостью из-под насупленных бровей на человека, кому намеревался оказать честь, спросил, не соизволит ли он разделить с ними трапезу или, может, отдохнуть. Дом и все, что в нем есть, в его распоряжении, как и множество людей, стоявших поодаль и наблюдавших за их беседой.

Сеид Абдулла прижал руку хозяина к своей груди и доверительным шепотом сообщил, что придерживается аскетических привычек и что его нрав не расположен к веселью. Не надо еды, не надо отдыха, нет нужды и в хозяйских людях. Сеид Абдулла желает побыстрее уехать. Лакамба опечален, но несмотря на свой неуверенный, унылый вид сохраняет вежливость. Туану Абдулле, чтобы сократить утомительную дорогу в ночной темноте, понадобятся свежие гребцы, и немало.

— Хайя! Ко мне! Готовьте лодки!

На берегу шумно и беспорядочно начинают суетиться неясные силуэты. Сыплются крики, приказы, прибаутки, ругань. Горят факелы, давая больше дыма, чем света, из красного тумана появляется Бабалачи доложить, что лодки готовы.

В своем белом одеянии Сеид Абдулла скользит сквозь розовое марево подобно фантастическому существу, призраку благородного звания, которого сопровождают два духа поменьше рангом. Он на минуту задерживается в месте высадки, чтобы попрощаться с хозяином и союзником, который ему понравился. Абдулла во всеуслышание заявляет это вслух и занимает место в середине лодки под голубым ситцевым балдахином, натянутым

на четыре палки. Гребцы, сидящие вдоль бортов впереди и за спиной Абдуллы, держат весла на весу в готовности погрузить их в воду. Можно ехать? Нет, рано. Минуточку! Сеид Абдулла желает еще что-то сказать. Лакамба и Бабалачи стоят рядом на берегу, ловят каждое слово. Услышанное их обнадеживает. Они увидятся еще до того, как солнце взойдет во второй раз, когда корабль Абдуллы — наконец-то! — войдет в речные воды. Лакамба и Бабалачи уверены, что так и случится (да будет на то воля Аллаха! Все в руках Милосердного). Какие тут могут быть сомнения? Не сомневается Сеид Абдулла, великий купец, кому неведом смысл слова «провал». Не сомневается и белый человек, самый хитрый делец архипелага, который сейчас лежит перед костром Омара, положив голову на колени Аиссы, в то время как лодка с Абдуллой несется по мутной от ила реке между мрачными стенами спящего леса навстречу чистому открытому морю, где в ожидании хозяина под красными скалами Танджонг-Мирры качается на якоре в капризных волнах приливов и отливов «Властелин островов» (некогда числившийся в шотландском Гриноке, но списанный, проданный и вновь зарегистрированный в Пенанге).

Лакамба, Сахамин и Бахасун еще некоторое время молча смотрят в сырую тьму, проглотившую большое каноэ с неизменно везучим Абдуллой. После этого два гостя пускаются в разговоры о радостных ожиданиях. Почтенный Сахамин, как и подобает его преклонному возрасту, находит удовольствие в фантазиях о том, чем займется в далеком будущем. Накупит проа, будет делать вылазки вверх по реке, расширит торговлю и с помощью капиталов Абдуллы за несколько лет разбогатеет. Всего за пару лет — не больше. Тем временем неплохо бы завтра же прощупать Олмейера и, пользуясь последними днями благосостояния ненавистного дельца, выпросить у него кое-какие товары в кредит. Сахамин делает ставку на изощренную лесть. В конце концов, этот сын шайтана глуп, шкура стоит выделки, потому что восстание спишет все долги.

Возвращаясь с берега во двор, Сахамин, старчески хихикая, не преминул поделиться своей мыслью со спутниками. Шедший между ними Лакамба, нагнув голову, как бык, и выпятив губы, молча шаркал ногами и слушал без тени улыбки, без искры в тусклых, налитых кровью глазах. Бахасун со свойственным молодости задором прервал болтовню старика. Торговля, конечно, дело

хорошее. Но разве перемена, которой они так радуются, уже совершилась? У белого нечестивца надо все отобрать силой! Бахасун разгорячился, раскричался, его монолог, подкрепленный хватанием за эфес сабли, сбивчиво вращался вокруг таких героических тем, как перерезание глоток, поджоги и память о доблести предков.

Бабалачи отстал, оставшись наедине с грандиозностью своих замыслов. Проницательный самбирский интриган бросил презрительный взгляд вслед уходящему покровителю и его благородным друзьям и задумался о будущем, в котором были так уверены другие. Бабалачи не разделял их самонадеянность, его ум мстил смутным предчувствием, не дававшим по ночам спать уставшему телу. Решив наконец покинуть берег реки, Бабалачи выбрал путь вдоль изгороди, избегая середины двора, где мерцали и подмигивали огоньки небольших костров, как будто сама земля отражала пронизывавший мрачную темноту свет звезд, падавший с безоблачного неба. Бабалачи прокрался мимо калитки, ведущей на участок Омара, и осторожно дошел вдоль легкой ограды из бамбука до угла, где она упиралась в высокий частокол, окружавший личные владения Лакамбы. С этого места Бабалачи мог наблюдать поверх

ограды за хижиной Омара и костром перед ее порогом. В рдеющем свете костра маячили две человеческие фигуры — мужская и женская. Их вид вызвал у измученного тревогами малайца шальное желание запеть. Песней это было трудно назвать, скорее речитативом безо всякого ритма, который Бабалачи быстро, но отчетливо произносил хриплым непослушным голосом. Свою песню-монолог он запел не для развлечения, так что в художественном плане она оставляла желать лучшего. Ее отличали все характерные пороки неумелой импровизации, а тема и вовсе вызывала содрогание. В ней говорилось о кораблекрушении, жажде, о брате, убивающем брата за глоток воды. Отвратительная история, возможно, вполне реальная, однако лишенная какой-либо морали. И все же песня, по-видимому, чем-то нравилась Бабалачи, потому что он повторил ее дважды, второй раз даже громче первого, вызвав переполох среди белых рисовок и диких голубей, сидевших в ветвях большого дерева на участке Омара. В густой кроне над головой поющего недоуменно захлопали крылья, послышались сонные реплики на птичьем языке, затрепетали листья, силуэты у костра зашевелились. Женская фигура переменила позу, и Бабалачи прервал

пение тихим настойчивым покашливанием. Он не решился возобновить свое выступление и потихоньку ушел, чтобы найти если не сон, то хотя бы покой.

Глава 6

Когда Абдулла со спутниками покинули участок Омара, Аисса подошла к Виллемсу и стала рядом. Он не замечал ее выжидательной позы, пока женщина ласково не прикоснулась к нему, после чего яростно обернулся, сорвал с нее хиджаб и принялся топтать его словно заклятого врага. Аисса смотрела на Виллемса с легкой улыбкой терпеливого любопытства и удивления, с каким несведущий в технике человек наблюдает за работой сложного механизма. Исчерпав свой гнев, Виллемс снова принял угрюмую позу, уставившись на костер; прикосновение ее пальцев к шее немедленно отозвалось появлением жестких складок вокруг его рта. Взгляд Виллемса беспокойно блуждал, губы слегка дрожали. Быстро и послушно сдвинувшись с места, как делают железные стружки под воздействием мощного магнита, он подался вперед, заключил Аиссу в объятия, с силой прижал к своей груди.

Он отпустил ее так же внезапно, как схватил. Аисса немного пошатнулась, отступила на шаг, быстро выдохнула через полуоткрытые губы и с ласковым упреком сказала:

— Ох, дурачок! А если бы ты меня удавил своими сильными руками, что бы ты теперь делал?

— Ты хочешь жить… чтобы снова от меня убежать, — тихо произнес он. — Признайся, хочешь?

Она двинулась к нему, слегка покачиваясь, крохотными шажками, чуть наклонив голову, уперев руки в бока, — скорее дразня, чем уклоняясь. Очарованный Виллемс жадно смотрел. Аисса ответила шутливым тоном:

— Что сказать мужчине, который пропадал невесть где целых три дня? Три! — повторила она, кокетливо помахав у него перед носом тремя пальцами.

Виллемс хотел было схватить ее за руку, но Аисса была начеку и быстро спрятала ее за спину:

— Нет! Меня не поймать! Но я могу прийти сама. Я приду сама, потому что так хочу. Не двигайся. Не трогай меня своими могучими руками, большой ребенок!

Говоря, Аисса шаг за шагом подходила все ближе. Виллемс замер. Прижавшись к нему, Аисса

встала на цыпочки и заглянула ему в глаза, а ее собственные глаза, казалось, сделались еще больше: влажно и ласково сверкали, манили, обещали. Этим своим взглядом она выпила мужскую душу через неподвижные зрачки, под ее твердым взором с лица Виллемса исчез последний проблеск мысли, сменившись выражением физической неги, исступления чувств, проникших в каждую клеточку оцепеневшего тела; этот экстаз гнал прочь сожаление, сомнения и нерешительность, являл свой кошмарный эффект в отвратительной маске глуповатого блаженства. Виллемс не пошевелил даже пальцем, едва дыша, застыл, словно окоченев, каждой порой впитывая сладость ее близости.

— Ближе! Ближе! — шептал он.

Аисса медленно подняла руки, положила на плечи Виллемса, сомкнула пальцы у него на затылке и откинулась назад. Запрокинув голову, чуть прикрыла веки, свесила густые тяжелые волосы — их эбеновую массу лизали красные отблески костра. Виллемс выдерживал давление с твердостью и несгибаемостью гиганта девственного леса, глядя на изящную форму ее подбородка, силуэт шеи, выпуклости грудей с жадным сосредоточенным вниманием голодного

человека, перед которым поставили еду. Аисса прильнула к Виллемсу и медленно, нежно потерлась волосами о его щеку. Виллемс вздохнул. Не снимая рук с его плеч, Аисса посмотрела вверх, на спокойные звезды, и сказала:

— Половина ночи уже прошла. Пусть все закончится прямо здесь, у костра. Ты расскажешь мне, что говорил Сеид Абдулла и что говорил ты. Слушая тебя, я забуду о трех днях разлуки, потому что я добра. Скажи мне, я добра?

Он в полудреме сказал «да», и Аисса убежала в дом.

Когда она вернулась со свернутыми в трубку тонкими циновками, он подбросил дров в огонь и помог ей устроить ложе с той стороны костра, где находилась хижина. Аисса быстро, с расчетливым изяществом легла, Виллемс нетерпеливо упал плашмя, словно стремился кого-то опередить. Женщина положила его голову себе на колени; то, как Аисса касалась его лица, теребила его волосы, вызывало у Виллемса ощущение покорности чужой воле. Он погрузился в состояние покоя, расслабленности, блаженства и упоения. Вытянутыми вверх руками обхватил Аиссу за шею, наклонил к себе, чтобы смотреть глаза в глаза, и прошептал:

— Так бы и умереть — хоть сейчас!

Аисса посмотрела на него своими большущими строгими глазами, в черноте которых не было и проблеска ответного понимания. Его слова были так далеки от ее разумения, что она не придала им значения, как не придают значения легкому дуновению ветерка или одинокому облачку в небе. Даже обладая женским чутьем, она в своей простоте была не в состоянии постигнуть величие такого комплимента, услышать в нем шепот счастья перед лицом смерти, понять его искренность, импульсивность, извечно подкупающую сердечную прямоту. В нем отразились умоисступление, лихорадочный покой, ощущения счастья, настолько постыдное, малодушное и в то же время острое, что разум отказывается допустить даже мысль о том, что оно может когда-то закончиться, ибо для жертв этого счастливого чувства момент его прекращения означает немедленное начало пытки, которая служит расплатой за него.

Слегка насупив брови в целеустремленной поглощенности своими собственными желаниями, Аисса попросила:

— А теперь все мне расскажи. Передай все слова, который говорил ты и Сеид Абдулла.

Что рассказывать? Какие слова передавать? Голос Аиссы пробудил отключенное ее лаской сознание. Виллемс вдруг ярко увидел перед собой, словно немой укор, минуты последних событий, минуты, медленно, упрямо, необратимо уходившие в прошлое и отмечавшие каждый новый шаг к гибели. У него не было убежденности или какого-либо представления, куда его заведет это мучительное путешествие. Ощущение грозящих страданий было неотчетливо, как смутное предчувствие тяжелой болезни, невнятное предостережение о том, что страх и удовольствие, обреченность и протест в сумме дадут зло. Виллемс устыдился своего образа мыслей. В конце концов, чего ему бояться? Что это, угрызения совести? Откуда берется эта боязнь думать и говорить о том, что он намерен сделать? Угрызения совести — участь бестолочей. От него требуется обеспечить собственное счастье. Разве он присягал на верность Лингарду? Нет. А значит, нельзя позволить, чтобы интересы старого дурака помешали счастью Виллемса. Счастью ли? Не ступил ли он, часом, на ложный путь? Для счастья нужны деньги. Много денег. По крайней мере, так он всегда думал, пока не испытал эти новые чувства, которые…

Аисса, нетерпеливо повторив свой вопрос, оторвала его от раздумий. Взглянув на ее сияющее в слабом свете костра лицо, Виллемс с наслаждением потянулся и, подчиняясь ее желанию, тихим медленным шепотом начал рассказывать. Наклонив голову к его губам, она сосредоточенно слушала. Многоголосый шум на большом дворе постепенно умолкал, сон затыкал рты и закрывал глаза. Потом кто-то начал мычать песню, подвывая в конце каждого куплета. Виллемс пошевелился. Аисса неожиданно зажала ему рот ладонью и выпрямилась. Послышалось слабое покашливание, шелест листвы, и на землю спустилась абсолютная тишина — холодная, печальная и глубокая, больше похожая на смерть, чем на покой, невыносимее, чем самый яростный грохот. Стоило ей отнять руку, как Виллемс снова торопливо заговорил — настолько нестерпимым показалось ему это идеальное, совершенное безмолвие, в котором собственные мысли звенели как громкие крики.

— Кто там шумел? — спросил он.

— Не знаю. Он уже ушел, — поспешно ответила Аисса. — Обещай, что ты не вернешься к своим без меня. И со мной тоже. Обещаешь?

— Я уже пообещал. У меня больше нет «своих».

Разве я тебе не говорил, что ты все, что у меня есть?

— О да-а, — протянула она, — но я хочу слышать это снова, каждый день, каждый вечер, стоит мне только спросить, и чтобы ты никогда на меня не сердился за эти просьбы. Я боюсь белых женщин со злыми глазами, не знающих стыда. — Она внимательно посмотрела ему в лицо и добавила: — Они очень красивые? Наверняка красивые.

— Я не знаю, — задумчиво пробормотал он. — А если и знал когда-то, то, глядя на тебя, позабыл.

— Позабыл! И меня ты тоже позабыл на целых три дня и три ночи. Почему? За что ты на меня разозлился, когда я повела речь о туане Абдулле в те дни, когда мы жили у ручья? Ты, должно быть, о ком-то вспомнил. О ком-то в том краю, откуда ты приехал. У тебя змеиный язык. Ты белый, и в твоем сердце много обмана. Я это знаю. И все равно не могу не верить, когда ты говоришь мне о своей любви. Но мне страшно!

Ее горячность ласкала самолюбие и раздражала Виллемса в равной мере. Поэтому он сказал:

— Ну теперь-то я с тобой. Я же вернулся. И, кстати, ты первая сбежала.

— Когда ты поможешь Абдулле победить Раджу Лаута, главного серди белых людей, я перестану

бояться, — прошептала Аисса.

— Если я говорю тебе, что у меня нет другой женщины, что мне не о чем сожалеть и что я вспоминаю только о своих врагах, ты должна мне верить.

— Откуда ты приехал? — порывисто, безо всякой связи спросила она страстным шепотом. — Что это за страна по ту сторону великого моря, откуда ты приехал? Это страна лжи и коварства, она приносит одни невзгоды всем, чья кожа не белого цвета. Разве ты поначалу не просил меня уехать туда с тобой? Вот почему я убежала.

— Я больше никогда тебя об этом не попрошу.

— И тебя там не ждет другая женщина?

— Нет! — твердо ответил Виллемс.

Аисса склонилась над ним, приблизив губы к его лицу, длинные волосы скользнули по его щеке.

— Ты научил меня любить, как это делает твой народ, чей отец шайтан, — пробормотала она, наклоняясь еще ниже. — Так правильно?

— Да, правильно! — отозвался он очень низким, дрожащим от предвкушения голосом.

Аисса резко прижалась губами к его губам, и Виллемс в блаженстве закрыл глаза.

Наступило долгое молчание. Аисса ласково

гладила его по голове, Виллемс лежал в полудреме и был бы совершенно счастлив, если бы не раздражающий вид маячившей вдали хорошо знакомой фигуры — по направлению к фантастически огромным деревьям от него удалялся мужской силуэт. Каждый листик наблюдал за этим человеком, который с расстоянием хоть и сокращался в размерах, но не пропадал из виду совсем, несмотря на то что двигался без остановки. Виллемс желал, чтобы он исчез побыстрее, и с тягостным нетерпением и вниманием ждал этого момента. Фигура ему кого-то напоминала. Ба! Да это же он сам! Виллемс вздрогнул всем телом и открыл глаза, трепеща от резкого возвращения в прежнее состояние, мгновенного, как вспышка молнии. Сцена наполовину приснилась ему — он задремал в руках Аиссы. Это был даже не сон, а прелюдия ко сну. И все же он долго не мог оправиться от потрясения, увидев, как уходит — неспешно, безоговорочно, не таясь. Но куда? Если бы он вовремя не очнулся, то уже никогда не вернулся бы из того места, куда шел. Виллемс был раздосадован, чувствовал себя стражником, от которого сбежал заключенный, улизнувший в тот момент, когда он задремал на посту. Он был не на шутку возмущен и одновременно ошелом-

лен нелепостью собственных переживаний.

Аисса, почувствовав, что ее любимый дрожит, стала бормотать нежные слова, прижала его голову к своей груди. Виллемс вновь ощутил абсолютный покой сродни окружавшей их тишине и прошептал:

— Ты устала, Аисса.

Она ответила тихо, как выдохнула:

— Я берегу твой сон, дитя мое!

Виллемс затих, прислушиваясь к ее сердцебиению. Он щекой ощущал этот легкий, быстрый, настойчивый, равномерный стук — биение самой жизни, которое вселяло в него ощущение хозяина, уверенного в своей власти над этим живым существом, убежденность в счастливом, хотя и неведомом будущем. От сожалений, сомнений и колебаний не осталось и следа. Как будто их и не было вовсе. Все это теперь казалось далеким, давнишним, нереальным и полинявшим, как угасающее воспоминание о кошмарном сне. Все эти душевные терзания, муки, борьба последних дней, унижение и боль падения были частью скверного кошмара, чего-то привидевшегося во сне, чему суждено быть забытым и растаявшим без следа. А реальная жизнь вот она: сладкий покой, когда голова лежит у нее на груди и уши

слышат четкий ритм ее сердца.

Виллемс окончательно пробудился, ощущая в уставшем теле приятное покалывание, которое вызывают несколько секунд непреодолимого освежающего сна, и широко открытыми глазами посмотрел на хижину Омара. Стенки из камыша поблескивали в свете костра, дым тонкими голубыми кольцами и завитками проплывал мимо входа, чернота которого казалась загадочной и непроницаемой, как занавес, скрывающий огромные пространства с подстерегающими в них неприятными сюрпризами. Эта мимолетная фантазия в достаточной мере задержала его внимание, чтобы заметить — как плод праздного воображения, как начало еще одного мимолетного сна и причуду утомленного мозга — внезапное появление из марева чьей-то головы. Лицо с набрякшими веками, худое и желтое, принадлежало старику, растрепанная белая борода доставала до земли. Голова без тела, всего в одном футе от земли, медленно поворачивалась туда-сюда на краю освещенного участка, словно подставляя теплу то одну, то другую щеку. Виллемс в оцепенелом изумлении наблюдал, как черты лица становятся отчетливее, как если бы приближались, как проявляются расплывчатые

очертания фигуры, с молчаливым упорством украдкой на четвереньках ползущей к огню. Он был поражен видом не издававшего ни звука слепца, влачившего за собой покалеченное тело с бесстрастным выражением на незрячем лице. Лицо это то отчетливо проступало, то скрывалось за пламенем костра, к которому ползла фигура с крисом в зубах. Виллемсу она не приснилась. Это был Омар. Но почему? Что ему здесь понадобилось?

Виллемс слишком глубоко погрузился в праздную истому, чтобы задумываться над ответом. Вопрос мелькнул в уме и вышел вон, не помешав Виллемсу слушать стук сердца Аиссы — драгоценный, хрупкий звук, заполняющий собой тихую безбрежность ночи. Посмотрев вверх, он увидел неподвижную женскую головку, Аисса смотрела на него с нежным блеском во влажных глазах из-под длинных ресниц, отбрасывающих мягкую тень на изгиб щеки. Ласка этого взгляда развеяла тревожное изумление и смутный страх от появления ползущего на тепло костра призрака, утопила их в умиротворенности всех органов чувств, когда боль растворяется в потоке сонной безмятежности, как от дозы опиума.

Виллемс слегка изменил положение головы

и опять увидел призрак, который обнаружил минуту назад и почти успел позабыть. Фигура еще больше приблизилась, подползла, бесшумно скользя, как тень из ночного кошмара, совсем близко, и замерла без движения, словно прислушиваясь. Одна рука и одно колено выставлены вперед, шея вытянута, лицо повернуто к костру. Виллемс хорошо видел изможденное лицо, блеск кожи на выпуклых скулах, черные впадины висков и щек и два черных пятна на месте мертвых, незрячих глаз. Что побудило слепого калеку выползти к костру посреди ночи? Виллемс зачарованно смотрел на него, но на лице слепца, помимо игры света и тени, ничего не отражалось, оно оставалось замкнутым и непроницаемым, как глухая стена.

Омар встал на колени и опустился на корточки, свесив руки по бокам. Виллемс в своем мечтательном оцепенении отчетливо видел крис в зубах старика — рукоять с одной стороны, где отполированное дерево ловило красноватые отблески огня, и тонкую линию лезвия с другой, где оно заканчивалось тусклой черной точкой острия. Он ощутил внутренний толчок, оставивший тело бездеятельным в объятиях Аиссы, но наполнивший грудь паникой беспомощного

ужаса. Виллемс вдруг понял, что к нему крадется смерть, что беспомощным калекой, который когда-то был блестящим лихим пиратом, двигала ненависть к нему, Виллемсу, и ненависть к любви Аиссы, что Омар пошел на эту отчаянную попытку ради последнего подвига, чтобы скрасить свою несчастливую старость. Глядя на возобновившего осторожное продвижение отца — слепого как рок, неотвратимого как судьба, — он, парализованный страхом, одновременно жадно прислушивался к легкому, быстрому, ритмичному сердцебиению его дочери.

Его охватил неистовый ужас, холодной рукой отнимающий у жертвы всю волю и все силы, желание бежать, сопротивляться, способность пошевелить даже пальцем, враз уничтожающий и надежду, и отчаяние, тисками сжимающий тело, как бесполезную пустую оболочку, подставляя его под сокрушительный удар. Это был не ужас смерти — Виллемс и раньше сталкивался с опасностью, — и даже не ужас перед определенным видом смерти, не страх конца, ибо он знал, что это еще не конец. Одно движение, прыжок или окрик спасли бы его от немощной руки слепого старика, которая в попытке нащупать Виллемса все еще осторожно шарила по земле. Это был безотчет-

ный ужас от соприкосновения с неизвестным, с побуждениями, душевными порывами, желаниями, на которые он не обращал внимания, но которые продолжали жить в груди презираемых им людей, находящихся рядом с ним, и теперь на мгновение приоткрылись, чтобы тут же вновь спрятаться за черной пеленой подозрений и фальши. Нет, не смерть пугала его, а приводящая в недоумение жизнь, в которой никто и ничто не поддавалось разуму, не позволяющая что-то или кого-то направить, проконтролировать, понять — даже себя самого.

Виллемс почувствовал боком прикосновение. Легчайшее касание, подобное ласке матери, которая гладит по щеке спящего ребенка, оглушило его, как сокрушительный удар. Омар подполз вплотную и, встав на колени, наклонился над Виллемсом, держа крис в одной руке, а другой осторожно ощупывая его куртку, пробираясь к груди. Лицо слепца, все еще повернутое к огню, застыло в неподвижной маске каменного безразличия к тому, чего не могли видеть глаза. Усилием воли Виллемс оторвал взгляд от этой маски смерти и перевел на Аиссу. Она сидела не шевелясь, словно была частью спящей земли. Вдруг ее большие строгие глаза широко раскры-

лись и пронзили его пристальным взглядом. Он почувствовал, что Аисса пытается судорожно прижать его руки к туловищу. Всего одна секунда — тягучая и горькая, как целый день скорби, — секунда, полная огорчения и печали по утраченной вере в Аиссу. Она его держала! И она туда же! Он услышал, как гулко екнуло ее сердце, опустил голову на ее колени и закрыл глаза. И ничего. Ничего! Она как будто умерла, как будто сердце Аиссы выпрыгнуло в ночную темноту, бросив его, одинокого и беззащитного, в опустевшем мире.

Аисса резко отпихнула его, и Виллемс ударился головой о землю. Он лежал навзничь, слегка оглушенный, не отваживаясь пошевелиться, не видя борьбы, и лишь услышал вопль неистового испуга, сердитые слова и еще один крик, закончившийся стоном. Наконец поднявшись, Виллемс увидел Аиссу, прижавшую отца коленями к земле, ее выгнутую спину, узловатые конечности Омара, его руку, занесенную над головой дочери, которую та быстрым движением перехватила у запястья. Виллемс невольно сделал шаг вперед, Аисса повернула к нему искаженное гневом лицо и выкрикнула:

— Стой на месте! Не подходи! Не…

Виллемс застыл, безжизненно опустив руки,

как если бы слова Аиссы обратили его в камень. Она испугалась насилия с его стороны, однако в полном замешательстве Виллемсу пришла в голову страшная мысль, что Аисса решила убить отца без его помощи. Последняя стадия борьбы, за которой он наблюдал сквозь заволакивающий взор алый туман, показалась ему противоестественно жестокой, наделенной угрожающим подтекстом, как если бы нечто чудовищное и порочное пыталось под покровом ужасной ночи заразить его своей простотой. Виллемс одновременно испытывал шок и благодарность, его неодолимо тянуло к ней и в то же время толкало броситься наутек. Сначала он не мог пошевелиться, потом не хотел. Он желал увидеть, чем все закончится. Аисса с огромным усилием взвалила на плечо почти безжизненное тело и потащила его в хижину. Они давно скрылись в ней, а перед глазами Виллемса все еще маячил образ бессильно, покорно, бессмысленно болтавшейся на плече Аиссы головы, похожей на голову трупа.

Через некоторое время из хижины послышались ее голос — резкий, взволнованный — и ответные стоны вперемежку с прерывистым от изнеможения бормотанием. Аисса заговорила громче. Виллемс услышал, как она выкрикивает:

«Нет! Нет! Ни за что!»

И снова жалобный шепот, мольба о последнем снисхождении перед смертью, на что Аисса ответила:

— Ни за что! Я скорее воткну его в собственное сердце.

Она вышла из хижины, на мгновение, тяжело дыша, задержалась на пороге и ступила в свет костра. Ей в спину из темноты посыпались призывы обрушить кары небесные на ее голову, голос поднимался все выше и выше, натужный, визгливый, сыпал проклятиями, пока не треснул и не закончился неистовым воплем, сорвавшимся в хриплое бормотание и приступ тяжелого кашля. Аисса стояла лицом к Виллемсу, призывая жестом вскинутой руки ничего не говорить, и прислушивалась, пока в хижине не наступила полная тишина. После этого она сделала еще один шаг и медленно опустила руку.

— Одни беды, — с отсутствующим видом тихо проговорила она. — Одни беды для тех, чья кожа не белого цвета.

Гнев и возбуждение больше не искажали ее лицо, она смотрела на Виллемса напряженным, скорбным взглядом. Он разом пришел в себя и снова обрел способность говорить.

— Аисса! — воскликнул Виллемс. Слова слетели с его губ с нервной торопливостью. — Аисса! Ну как я смогу здесь жить? Доверься мне. Поверь в меня. Давай уедем отсюда. Далеко-далеко! Очень далеко, где будем только ты и я!

Он ни на секунду не задумался, сможет ли бежать и, если сможет, то как и куда. Его нес поток ненависти, отвращения и презрения белого человека к чужой крови, чужой расе, коричневой коже, к сердцам, обманчивее моря и чернее ночи. Стойкая антипатия заглушала голос разума, убеждала в невозможности жить среди ее народа. Он умолял ее бежать с ним, потому что изо всей ненавистной толпы ему была нужна только эта женщина, но отдельно, без них, без придатка в виде племени рабов и головорезов, в котором она родилась. Он ни с кем не желал ее делить, хотел увезти подальше ото всех, в какое-нибудь глухое, безопасное, уединенное место. Говоря, он еще больше распалялся, в душе закипали гнев и презрение, ненависть почти что сменилась страхом, страсть к Аиссе стала огромной, жгучей, непоследовательной и безжалостной, она взывала к Виллемсу, преодолевая все заслоны органов чувств, громче ненависти, сильнее страха, интенсивнее презрения, неудержимая и неотвратимая,

как смерть.

Стоя в некотором отдалении — в освещенной зоне, на рубеже тьмы, из которой пришла, — Аисса прислушивалась, спрятав одну руку за спину, а другую вытянув и раскрыв ладонь, словно пытаясь поймать летающие в воздухе слова, страстные, угрожающие, заклинающие, сплошь окрашенные душевным страданием Виллемса, выталкиваемые наружу терзающей его грудь нетерпеливостью. Слушая, она чувствовала, как постепенно замирает сердце, по мере того как под нее негодующим взором прояснялся смысл призывов Виллемса, с нарастающей яростью и болью наблюдала, как медленно рассыпается здание ее любви, творение ее рук, разрушенное страхами и двуличием этого человека. Память Аиссы хранила их встречи у ручья, когда она слышала другие слова, другие мысли, обещания и призывы, срывавшиеся с губ этого мужчины под воздействием ее взгляда или улыбки, кивка, тихого шепота. Неужели и тогда его сердце хранило чей-то еще образ, другие желания, помимо желания любить, другие страхи, кроме страха потерять ее? Как такое может быть? Неужели она вмиг подурнела или состарилась? Аиссу охватили ужас, удивление и гнев человека, ко-

торого неожиданно унизили. Твердым, строгим взглядом она пристально смотрела на мужчину, родившегося в стране насилия и коварства, откуда к людям небелой расы приходят одни несчастья. Вместо того чтобы думать о ее ласках, забыть обо всем мире в ее объятиях, он думал о своих людях, о тех, что захватили все земли, хозяйничают на всех морях, не знают, что такое милость и правда, во всем полагаются только на силу. О, мужчина с сильными руками и лживым сердцем! Он просит уехать с ним в далекий край, потеряться среди холодных глаз и лживых сердец и потерять его тоже! Никогда! Он лишился рассудка, сходит с ума от страха. Но он от нее не уйдет! Он будет и рабом, и хозяином здесь, где у него никого, кроме нее, нет, где ему придется жить ради нее или умереть. Она имеет право на его любовь, которую сама же вызвала; эта любовь и сейчас живет в нем, когда он произносит эти бессмысленные слова. Его надо отгородить от других белых людей частоколом ненависти. Он должен не просто остаться, а сдержать слово, которое дал Абдулле, после чего ее положение станет безопасным.

— Аисса, давай уедем! Когда ты со мной, я готов броситься на них с голыми руками. Или нет.

Завтра мы будем на корабле Абдуллы. Если ты поедешь со мной, я мог бы… Если бы корабль вдруг сел на мель, мы могли бы в суматохе взять каноэ и убежать. Ты ведь не боишься моря. В море я буду свободным человеком.

Виллемс, протягивая руки, постепенно приближался к ней, пылко рассыпая бессвязные фразы, которые из-за горячности его речи спотыкались и набегали друг на друга. Аисса отступала назад, сохраняя дистанцию, не отрывая глаз от его лица, следя за игрой сомнений и надежд пронзающим взглядом, который, казалось, доставал до самых сокровенных мыслей в его голове. Аисса будто заворачивалась в складки обступившей их темноты, отчего ее фигура теряла очертания и четкость. Виллемс не отставал ни на шаг; наконец они остановились лицом к лицу под большим деревом. Изгнанник леса, могучий, недвижимый и гордый в своем одиночестве исполин, единственный, кто уцелел на участке, расчищенном пигмеями, копошащимися у него под ногами, высокой башней нависал над их головами. В своем одиноком величии он бесстрастно и горделиво поглядывал на суету внизу, раскинув ветви надменным покровительственным жестом, точно хотел дать этим существам приют под своей

пышной кроной, руководствуясь высокомерным сочувствием племени сильных, насмешливой жалостью состарившегося великана к противоборству двух человеческих душ под холодным взглядом сверкающих звезд.

Последний громкий призыв к милости отозвался дрожью в угрюмой кроне, прокатился по веткам, разбудил белых птичек, дремавших крыло к крылу, и угас в гуще неподвижной листвы, не оставив эха. Виллемс не видел ее лица, но слышал вздохи и разрозненные звуки невнятных слов. Когда он, затаив дыхание, попытался напрячь слух, Аисса неожиданно воскликнула:

— Ты слышал, что он говорил? Он проклинал меня за мою любовь к тебе. Ты принес мне страдания, борьбу и отцовские проклятия. А теперь хочешь увезти меня в далекие края, где я потеряю тебя и свою жизнь, потому что любовь к тебе теперь суть моей жизни. Что есть кроме нее? Не шевелись! — резко вскрикнула она. — Молчи! Вот, держи! Можешь спать спокойно!

Он заметил легкий взмах руки. Что-то со свистом пролетело мимо и ударилось о землю за его спиной рядом с костром. Виллемс непроизвольно оглянулся. Около углей лежал крис без ножен, волнистый черный предмет, похожий на живое

существо, раздавленное, мертвое и безвредное. Черные волнистые очертания кинжала были хорошо заметны в тусклом красноватом свете костра. Виллемс, не задумываясь, подошел и взял его, согнувшись в печальной, покорной позе нищего, подбирающего брошенную в дорожную пыль монету. Неужели это и есть ответ на его мольбы, горячие, живые слова, что шли из глубины сердца? Ответ, брошенный как оскорбление, в виде пустячной, ядовитой, хрупкой и в то же время смертельной поделки из дерева и стали? Виллемс приподнял кинжал за лезвие, тупо посмотрел на рукоять и снова уронил оружие под ноги, а обернувшись, увидел перед собой только ночь, бескрайнюю, глубокую и тихую, океан тьмы, в котором бесследно растворилась Аисса.

Он на нетвердых ногах сделал несколько шагов вперед, судорожно, как внезапно ослепший человек, протягивая перед собой руки. Через некоторое время непроницаемая темнота будто пошла волнами, словно занавес, позволяющий замечать движение, но скрывающий очертания; он услышал легкую торопливую поступь и стук калитки, ведущей на подворье Лакамбы. Виллемс вовремя подскочил к грубой калитке, чтобы услышать слова: «Быстрее! Быстрее!» — и звук

тяжелого засова, закрывавшего воротца с другой стороны. Упершись ладонями в палисад, Виллемс осел на землю.

— Аисса! — позвал он, прижав губы к щели в изгороди. — Аисса, ты меня слышишь? Вернись! Я сделаю все, что ты хочешь, выполню все твои желания, даже если надо будет поджечь весь Самбир и затем потушить собственной кровью. Только вернись. Сейчас же! Сию минуту! Ты там? Ты меня слышишь? Аисса!

С другой стороны ограды встревоженно зашептались женщины. Шепот вдруг прервал робкий смешок. Женский голос восторженно пробормотал:

— Как красиво он говорит!

Чуть погодя Аисса откликнулась:

— Спи спокойно, ибо скоро настанет твое время. Теперь я боюсь тебя. Боюсь твоего страха. Когда вернешься с туаном Абдуллой, ты будешь велик. Я никуда отсюда не уйду. И тогда не останется ничего, кроме любви. Ничего! На все времена! Пока мы живы!

Виллемс прислушался к удаляющимся шагам и тяжело поднялся, потеряв дар речи от избытка горячего возмущения повадками дикой и манящей женщины, от презрения к ней, к себе и ко всему

на свете — земле, небу, воздуху, которого не хватало стесненной груди; он презирал их за то, что они продлевали жизнь, а Аиссу — за страдания, которые она причиняла. Он не мог заставить себя отойти от калитки, через которую она ушла. Виллемс сделал несколько шагов, повернул назад, вернулся обратно и рухнул у палисада на землю, чтобы тут же резко вскочить в еще одной попытке избавиться от парализующего наваждения, заставлявшего его тупо, безвольно, разъяренно возвращаться на то же место. Под неподвижной сенью могучих веток, широко раскинутых над головой, на которых под защитой бесчисленных листьев дремали белые птицы, Виллемс метался туда-сюда, как песчинка на ветру, то падая на землю, то поднимаясь, но не уходя от калитки слишком далеко. Он провел в этой борьбе с неосязаемым противником всю томную тихую ночь. Сражался с тенями, мраком, безмолвием. Сражался, не издавая ни звука, нанося удары в пустоту, с упрямым отчаянием бросаясь то в одну, то в другую сторону, и неизменно отступая под ответными ударами, как человек, обреченный на заточение в невидимом заколдованном круге.

Часть III
Глава 1

— Да-да, собак, кошек, любую тварь, способную кусаться или царапаться; главное, чтобы была вредной и шелудивой. Больной тигр — вообще предел ваших мечтаний! Полумертвый тигр, о котором можно проливать слезы, поручив заботу о нем какому-нибудь горемыке под вашим началом, чтобы тот его кормил и выхаживал. Что будет с горемыкой, неважно. Если тигр его задерет или сожрет, так тому и быть! На жертв вашей адской благотворительности ваша жалость не распространяется. Нет уж! Ваше мягкое сердце жалостливо только к ядовитым и смертельно опасным тварям. Я проклинаю тот день, когда он попался на ваши добрые глаза. Проклинаю…

— Да полно, полно! — пробурчал в усы Лингард. Олмейер, чуть не подавившись гневной тирадой, перевел дух и продолжил:

— Да! И так всегда было. Всегда, насколько хватает моей памяти. Вы забыли полудохлую собаку, которую на руках принесли на борт в Бангкоке? На руках! На следующий день собака взбесилась

и покусала серанга. Неужели не помните? Вашего лучшего серанга! Вы сами так говорили, когда помогали его привязывать к якорной цепи, перед тем как бедняга умер от припадка бешенства. Теперь вспомнили? Он оставил две жены и кучу детишек. Это все ваших рук дело. А когда вы свернули с курса и чуть не угробили корабль, спасая тонувшую джонку с китайцами в Формозском проливе? Еще одна хитроумная затея, верно? Не прошло и двух дней, как чертовы китайцы на вас напали. Бедные рыбаки оказались головорезами. И вы знали, что они головорезы, когда решили пройти вдоль подветренного берега в ураганный ветер ради их спасения. Сумасшедший номер! Я не сомневаюсь, что, не будь они разбойниками, безнадежными бандитами, вы бы не стали рисковать ради них своим кораблем, жизнью команды, которую, как вы говорите, так любите, и своей жизнью. Ну разве это не глупость? К тому же вы не были со мной откровенны. А если бы вы утонули? Я бы попал в жуткий переплет, останься я один с вашей приемной дочерью. Вы должны были в первую очередь подумать обо мне. Я женился на этой женщине, потому что вы посулили мне золотые горы. Не отпирайтесь! А через три месяца берете и выкидываете этот дикий номер

с китайцами. С китайцами! Вам неведомо, что такое порядочность. Я мог разориться из-за этих разбойников, которых все равно пришлось выбросить за борт после того, как они перебили половину вашей команды — вашей любимой команды! Это, по-вашему, честно?

— Ладно, ладно, — пробормотал Лингард, нервно покусывая кончик потухшей манильской сигары и поглядывая на яростно расхаживавшего по веранде Олмейера.

Так пастух смотрит на ручную овцу из послушного стада, вдруг взбунтовавшуюся против хозяина. В его взгляде смешивались смущение, снисходительное раздражение и отчасти веселое удивление, а также толика обиды, как если бы с ним сыграли злую шутку. Олмейер резко остановился, сложил руки на груди, наклонился вперед и снова заговорил:

— Ваше глупое пренебрежение к собственной безопасности могло поставить меня в крайне неудобное положение, и все-таки я не обижался. Я знал о ваших слабых сторонах. Но теперь — подумать только! — теперь мы разорены. Мы банкроты! Моя бедная Нина. Мы разорены!

Олмейер хлопнул себя по ляжкам, сделал несколько шажков в ту и в другую сторону, схва-

тил стул и с треском сел на него перед Лингардом, глядя на старого моряка затравленно. Лингард выдержал этот взгляд, порылся по карманам, выудил коробку спичек и тщательно раскурил сигару, перекатывая ее во рту, ни на секунду не сводя глаз с разволновавшегося Олмейера. Скрывшись за облаком дыма, Лингард сказал:

— Если бы ты попадал в передряги столько раз, сколько я, мальчик мой, ты бы так себя не вел. Я не однажды бывал банкротом. Но теперь я вернулся.

— Да, вы вернулись. А что толку? Если бы вы вернулись месяц назад, была бы хоть какая-то еще польза, но сейчас… С таким же успехом вы могли бы находиться отсюда за тысячу миль.

— Ты скандалишь как пьяная рыбачка, — невозмутимо заметил Лингард.

Он поднялся и медленно подошел к балюстраде веранды. Пол и весь дом сотрясались под его тяжелой поступью. Минуту он стоял спиной к Олмейеру, глядя на реку и лес на восточном берегу, потом обернулся и беззлобно посмотрел на Олмейера сверху вниз.

— Что-то очень уж безлюдно здесь сегодня утром, а?

Олмейер поднял голову:

— А-а, заметили наконец? Еще бы не безлюдно. Да, капитан Лингард, ваши дни в Самбире сочтены. Всего месяц назад на этой веранде невозможно было бы протолкнуться от людей, которые желали бы вас поприветствовать. Местный народец поднимался бы по ступеням, улыбаясь до ушей, выкрикивая «салям» вам и мне. Наша песенка спета. И не по моей оплошности. Вам не в чем меня обвинить. Все это устроил ваш карманный поганец. Ах, красавчик! Вы бы видели его во главе этой адской толпы. Можете гордиться своим старым любимчиком.

— Ловкий парень, — задумчиво пробормотал Лингард.

Олмейер взвился на дыбы:

— И это все, что вы можете сказать? «Ловкий парень»? О господи!

— Не надо здесь устраивать театр. Сядь. Давай поговорим спокойно. Я хочу знать все подробности. Он был у них за главного, говоришь?

— За всем этим стоял он. Провел корабль Абдуллы. Всем и всеми командовал, — сказал Олмейер, опустившись на стул с обреченным видом.

— Когда именно это случилось?

— Шестнадцатого до меня дошли первые слухи, что корабль Абдуллы зашел в реку. Я сначала не

поверил. На следующий день уже не приходилось сомневаться. Лакамба в открытую созвал на своем подворье большой совет, почти все в Самбире на него явились. А восемнадцатого «Властелин островов» бросил якорь в устье напротив моего дома. Сколько получается? Ровно шесть недель назад, день в день.

— И все это случилось просто так? Раз, и все? Ты ничего не слышал? Никаких предупреждений? Ни звука? Даже не заподозрил неладное? Не ври, Олмейер!

— Слышал! Каждый день что-нибудь слышал. Брехню в основном. Что еще можно услышать в Самбире?

— Слышал, да не поверил, — сделал вывод Лингард. — Вообще-то ты и не должен все принимать на веру, как юнга-молокосос во время первого плавания.

Олмейер беспокойно заерзал на стуле.

— Этот прохвост приходил сюда, — признался он. — Пропадал где-то несколько месяцев, жил с этой женщиной. Я лишь время от времени слышал о нем от людей Паталоло. И тут в один прекрасный день в полдень появляется во дворе, как будто его выдернули из преисподней, где ему самое место.

Лингард, внимательно слушая, вынул сигару изо рта и выпустил облако белого дыма. После короткой паузы Олмейер, потупив взгляд, продолжил:

— Должен признаться, вид у него был жалкий. Похоже, он страдал от приступа лихорадки. На левом берегу много всякой заразы. Странно, всего лишь через реку, а…

Олмейер погрузился в глубокие размышления, как будто мысль о нездоровом климате девственного леса на левом берегу вытеснила личную обиду. Лингард воспользовался моментом, чтобы пустить огромный клуб дыма и бросить окурок сигары за плечо.

— Дальше что? — напомнил он. — Приходил, говоришь…

— Жаль, что лихорадка его не прикончила! — продолжал Олмейер, вскочив со стула. — Короче, этот бесстыдный наглец явился сюда. Пытался меня стращать, туманно угрожал. Хотел взять на испуг, шантажировал. Меня! И, видит бог, говорил, что вы на его стороне. Вы! Можете представить себе такую наглость? Я так до конца и не понял, к чему он клонил. Если бы я знал, то дал бы свое согласие. Ага! Или дал ему по башке! Откуда мне было знать, что он сумеет завести корабль в

устье? Вы сами говорили, что там трудно пройти. Ко всему прочему, мне здесь ничто не грозило, я бы с любым здесь разобрался, но когда появился Абдулла… На его барке двенадцать бронзовых шестифунтовых пушек и тридцать человек обслуги — на все готовых бродяг из Суматры, Дели и Аче. Таким подавай драку на обед и войну на ужин.

— Да знаю я, знаю, — нетерпеливо вставил Лингард.

— И конечно, бросив якорь прямо перед нашей пристанью, они совсем распоясались. Виллемс лично привел их корабль на нашу лучшую стоянку. Я с этой самой веранды видел его стовшим рядом со шкипером-метисом. И эта женщина с ним тоже была. Ни шагу в сторону. Я слышал, что ее взяли на борт из кампонга Лакамбы. Виллемс заявил, что без нее не поведет корабль. Рвал и метал. Они, видать, струхнули. Абдулле пришлось вмешаться. Женщина приплыла одна на каноэ и как только поднялась по трапу, рухнула к его ногам на виду у всех матросов, обняла его за колени, зарыдала как сумасшедшая, стала просить прощения. За что, интересно? В Самбире все об этом судачат. Они такого прежде не видели и не слышали. Мне все это рассказал Али: он ходит по поселку и потом приносит мне новости. Ведь

должен я знать, что там происходит. Насколько я могу судить, на Виллемса и эту женщину в поселке смотрят как на какую-то непонятную диковину. Некоторые считают их сумасшедшими. Они живут отдельно ото всех с какой-то старухой в доме за окраиной кампонга Лакамбы, их очень уважают — или, скорее, боятся. По крайней мере, Виллемса. Очень уж он буйный. А она никого в упор не видит, ни с кем не разговаривает — только с ним одним. Не отходит от него ни на шаг. Все об этом говорят. Есть и другие слухи. Судя по тому, что я слышал, Лакамбе и Абдулле он порядком успел надоесть. Поговаривают также, что он уйдет на «Властелине островов», когда корабль отправится на юг, кем-то вроде агента Абдуллы. В любом случае ему еще предстоит вывести судно из устья. Шкипер-метис один не справится.

Внимательно слушавший до этого времени Лингард принялся мерять веранду шагами. Олмейер, замолчав, стал наблюдать, как тот расхаживает с озадаченным задумчивым видом, пошатываясь, как от морской качки, и теребя длинную седую бороду.

— Но сначала он пришел к тебе, так? — не останавливаясь, спросил Лингард.

— Да. Я же сказал. Он приходил вымогать день-

ги, товары — не знаю, что еще. Эта свинья хотела открыть свою торговлю! Я пинком выбросил его шляпу во двор, и больше он здесь не появлялся до тех пор, пока не вернулся с Абдуллой. Откуда мне было знать, что он может напакостить таким образом или другим. Любой местный бунт я мог бы подавить силами своих людей или с помощью Паталоло.

— Ах да, Паталоло. Тот еще прохвост, а? Ты его хоть пытался привлечь?

— Еще бы не пытался! Двенадцатого лично нанес ему визит. То есть за четыре дня до появления на реке Абдуллы. В тот самый день, кстати, когда Виллемс пытался ко мне подъехать. Я немного забеспокоился. Паталоло убеждал меня, что в Самбире нет ни одного человека, кто бы мне желал зла, — с мудрой такой миной, что твоя сова. Просил меня не слушать выдумки дурных людей, живущих в низовьях реки. Он имел в виду Буланги, живущего у самого моря, передавшего мне, что у входа в реку бросил якорь чужой корабль, о чем я, разумеется, рассказал Паталоло. Он не поверил, все шамкал «нет», «нет», «нет», как старый попугай, а у самого голова трясется и слюни красные от бетеля текут. Я сразу заподозрил неладное. Он сидел как на иголках, словно не мог дождаться,

когда меня выпроводит. А на следующий день здесь появился одноглазый лиходей Бабалачи, который жил у Лакамбы! Пришел в полдень, как бы невзначай, и торчал на веранде, болтая обо всяких пустяках. Спрашивал, когда я ожидаю вашего возвращения и все такое. И мимоходом обронил, что он и его хозяин очень озабочены поведением одного необузданного белого человека, моего друга, который не дает прохода одной женщине, дочери Омара. Что я, мол, посоветовал бы? Вежливо так спросил, почтительно. Я ему сказал, что этот белый человек мне не друг и что его надо гнать в шею. После чего он ушел, рассыпаясь в благодарностях и уверениях дружбы с его стороны и со стороны его хозяина. Теперь я, конечно, понимаю, что это адское отродье приходило шпионить и подговаривать моих людей. На вечерней поверке не досчитались восьмерых. Тут я всерьез забеспокоился. Боялся оставлять дом без охраны. Вы ведь знаете мою жену. И ребенка с собой боялся брать, поздно уже было, поэтому передал Паталоло, что надо бы встретиться, поговорить, что в поселке ходят всякие слухи, неспокойно. Знаете, что он ответил?

Лингард остановился перед Олмейером, который, выдержав многозначительную паузу, с

нарастающим оживлением продолжил:

— Али принес следующий ответ: «Раджа передает дружеский привет. Он не понял смысла сообщения». И все. Али не смог вытащить из него ни слова больше. Я заметил, что Али не на шутку перепугался. Он все не уходил: то гамак поправит, то еще что-нибудь сделает. Потом, перед самым уходом, проговорился, что ворота подворья раджи со стороны берега наглухо перегорожены, но во дворе почти никого нет. «В доме раджи темно, — сказал он, — но там не спят. Только темнота, страх да женщины воют». Весело, а? У меня мурашки по спине поползли. Когда Али смотался, я стоял, как сейчас, у этого стола и прислушивался к бою барабанов и крикам в поселке. Такой был шум, что на двадцать свадеб хватило бы. А время уже за полночь.

Олмейер опять замолчал, внезапно поджав губы, словно подавая знак, что ему больше нечего сказать. Лингард остановился и бросил на него задумчивый взгляд. Толстая синяя муха безрассудно влетела в прохладу веранды и с громким жужжанием начала метаться между двумя мужчинами. Лингард попытался смахнуть ее шляпой. Муха бросилась в сторону, заставив Олмейера отпрянуть. Лингард нанес еще один неточный удар.

Олмейер вскочил и замахал руками. Насекомое отчаянно жужжало, в тишине раннего утра колебания крохотных крылышек звучали как игра далекого струнного оркестра, сопровождаемая гулкими решительными литаврами двух пар топающих ног, пока мужчины, закинув головы, яростно подпрыгивая и нагибаясь, пытались уничтожить нарушителя спокойствия. Внезапно жужжание пропало в открытом пространстве двора, оставив Лингарда и Олмейера наедине друг с другом и с тишиной нарождающегося дня, — смущенных, пассивных, с опущенными, ставшими ненужными руками, как у людей, застигнутых врасплох роковой неудачей.

— Смотри-ка! — пробормотал Лингард. — Улизнула.

— Как они надоели, — поддакнул Олмейер. — На реке их полным-полно. Этот дом не в том месте построили… москиты… здоровенные мухи… на прошлой неделе Нину одна укусила… бедняжка страдала несколько дней. И для чего только придуманы эти чертовы твари!

Глава 2

После долгого молчания — Олмейер тем временем сел за стол и, схватившись за голову, уставился прямо перед собой — Лингард, возобновив хождение туда-сюда, откашлялся и сказал:

— На чем ты остановился?

— А-а… Да! Вы бы видели поселок той ночью. Вряд ли в нем кто-то спал. Я спустился и наблюдал за ними. Они развели большой костер в пальмовой роще, разговоры продолжались до самого утра. Когда я вернулся и присел на темной веранде, в доме стояла тишина, и я почувствовал такое ужасное одиночество, что взял ребенка из люльки к себе в гамак. Если бы не дочь, я бы точно сошел с ума — настолько был одинок и беспомощен. Не забывайте, что от вас четыре месяца не приходило никаких известий. Я не знал, живы ли вы или давно погибли. Паталоло отказывался иметь со мной дело. Мои люди разбегались, как крысы с тонущего корабля. Для меня наступила черная ночь, капитан Лингард. Такая черная, что я сидел и не знал, чего еще ожидать. Толпа так возбудилась и разгорячилась, что я боялся, не сожгут ли они мой дом вместе со мной. Я сходил

за револьвером, зарядил его и положил на стол. Время от времени раздавались леденящие кровь вопли. Слава богу, ребенок крепко спал, и вид ее прекрасного умиротворенного личика немного меня успокоил. Глядя на Нину, такую спокойную и отрешенную от происходящего, трудно было поверить, что в мире существует насилие. Однако все обстояло очень скверно, колебалось на грани. Имейте в виду, что в ту ночь Самбиром никто не управлял. Усмирять мятежников было некому. Паталоло самоустранился. Мои люди меня покинули и могли выместить на мне злобу, если бы захотели. Благодарность для них пустой звук. Сколько раз я спасал этот поселок от голодной смерти? От полного вымирания? Всего три месяца назад опять раздал в кредит большое количество риса. В этой адской дыре нечего было жрать. Они умоляли меня, стоя на коленях. В Самбире нет ни одного человека, ни большого, ни маленького, кто не был бы в долгу перед «Лингард и компания». Ни одного. Вы можете быть довольны. Ведь вы всегда говорили, что для нас это самая верная политика. Ну что ж, я ей следовал! Да только такую политику, капитан Лингард, надо подкреплять заряженными винтовками.

— Они у вас были! — воскликнул Лингард, еще

больше ускоряя шаг, словно торопился к месту драки. На полу веранды скопилось много пыли, она поднималась под ногами старого моряка в воздух и лезла в рот Олмейеру, заставляла его то и дело кашлять.

— Да, были! Двадцать штук. К ним бы еще пальцы, чтобы нажимать на спуск. Вам легко говорить, — побагровев, прохрипел он.

Лингард плюхнулся в кресло и откинулся назад, вытянув одну руку и положив на стол, а другую перекинув через спинку. Пыль улеглась, солнце над лесом наполнило веранду ясным светом. Олмейер встал и начал возиться со щелястыми ширмами из ротанга, висящими между столбами веранды.

— Ф-фу! — выдохнул Лингард. — День будет жарким. Правильно, прикрой нас от солнца. Я не хочу изжариться заживо.

Олмейер вернулся на место и, успокоившись, сказал:

— Наутро я пошел к Паталоло. Ребенка, конечно, взял с собой. Ворота со стороны реки были перегорожены, и мне пришлось идти через кусты. Паталоло встретил меня, лежа на полу, в темноте — все ставни были закрыты. Я ничего не смог от него добиться, кроме причитаний и стонов. Он

сказал, что вы, очевидно, погибли. Что Лакамба вот-вот вернется с пушками Абдуллы и всех перебьет. Говорил, что не боится умереть, он уже стар, но хотел бы еще совершить паломничество в святые места. Он устал от людской неблагодарности, наследников у него нет, поехать бы в Мекку, да там и умереть. Собирался просить Абдуллу отпустить его. Потом, всхлипывая, ругал Лакамбу — и вас немного. Вы не позволили ему испросить для себя флаг, который пользовался бы авторитетом, в этом он прав, теперь враги накопили силу, он ослабел, а от вас нет никакой помощи. Когда я попытался возразить: мол, у него есть четыре большие — шестифунтовые — пушки, которые вы ему отдали в прошлом году, и я бы мог доставить порох, и вместе мы, быть может, остановили бы Лакамбу, он на меня наорал. «Каким бы боком я ни повернулся, — визжал он, — белые все равно принесут мне смерть, а мне всего-то хочется стать паломником и жить в мире». По-моему, — добавил Олмейер после короткой паузы, направив на Лингарда тусклый взгляд, — старый дурак давно ожидал таких событий и не только трусил что-то предпринять сам, но боялся даже заикнуться о своих подозрениях вам или мне. Еще один из ваших любимчиков! Что и говорить: удачный

выбор!

Лингард вдруг стукнул по столу кулаком. Хрустнула треснувшая столешница. Олмейер вскочил, опустился обратно на стул и быстро глянул на стол.

— Вот всегда так, — угрюмо бросил он. — Никогда не соизмеряете свою силу. Стол теперь можно выбросить. Это последний стол, который я спас от жены. Теперь придется сидеть и есть на полу, как туземец.

Лингард смачно расхохотался.

— Кончай пилить меня, как баба пьяного мужа! — Потом, посерьезнев, добавил: — Не потеряй я «Вспышку», вернулся бы еще три месяца назад, и все было бы хорошо. Что толку теперь об этом плакаться? Не переживай, Каспар. Очень скоро все будет на мази.

— Что? Уж не собираетесь ли вы изгнать Абдуллу силой? У вас это не получится, я вам точно говорю.

— Не я! С этим, боюсь, покончено. Очень жаль. Они еще свое получат. Он их выжмет досуха. Очень жаль. Черт! Мне их правда жалко. Будь со мной «Вспышка», я бы попробовал применить силу. Эх! Где наша не пропадала? Однако бедная «Вспышка» вся вышла, старая перечница. Слышь,

Олмейер? Ты ведь со мной на ней ходил. Правда, хороший был корабль? Все умел делать, разве только говорить не мог. «Вспышка» была мне дороже жены. Никогда ко мне не цеплялась. Слышь? Какой грустный конец. Пришлось оставить ее старые кости на рифах. Я тебе что, чертов дурак, которому для надежности требуются полмили воды под килем? Ладно. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, — так ведь говорят? Но потеря, конечно, большая.

Старый капитан грустно кивнул и опустил глаза. Олмейер смотрел на него с растущим негодованием.

— Ей-богу, у вас нет сердца, — не выдержал он. — Совершенно нет сердца. Думаете только о себе. До вас, похоже, не доходит, что, потеряв корабль — я более чем уверен, что это произошло из-за вашего головотяпства, — вы пустили по миру меня и маленькую Нину. Что теперь будет со мной и с ней? Вот что я хочу услышать. Вы привезли меня сюда, сделали своим партнером, а теперь, когда все полетело к чертям собачьим — по вашей вине, заметьте! — вы рассуждаете о своем корабле. О корабле! Новое судно вы еще можете раздобыть. А вот торговле нашей здесь кранты — скажите спасибо Виллемсу. Вашему

дорогому Виллемсу!

— Не беспокойся о Виллемсе. Я им еще займусь, — мрачно процедил Лингард. — А что касается торговли… Ты у меня еще разбогатеешь, мальчик мой. Не дрейфь. У тебя найдется груз для шхуны, что привезла меня сюда?

— Сарай забит ротангом. В погребе восемьдесят тонн гуттаперчи. Больше я уж не достану, к гадалке не ходи.

— Значит, грабежей все-таки не было. Ты в общем-то ничего не потерял. Ну тогда… Эй! Какого черта!

— Грабежей? Нет! — вскрикнул Олмейер и взмахнул руками.

Он откинулся на спинку стула, его лицо побагровело. На губах выступила белая пена и потекла по подбородку, глаза закатились, обнажив белки. Когда Олмейер пришел в себя, Лингард стоял над ним с пустым кувшином для воды в руках.

— С тобой приключился какой-то приступ, — озабоченно произнес старый моряк. — Что это было? Ты нагнал на меня страху. Так неожиданно.

Волосы Олмейера намокли и прилипли к голове, как будто он вынырнул из-под воды. Он выпрямился, хватая ртом воздух.

— Позор. Немыслимый позор. Я…

Лингард поставил кувшин на стол и внимательно посмотрел на помощника. Олмейер вытер ладонью лоб и продолжил свой сбивчивый рассказ:

— Как только вспомню, теряю контроль над собой. Я уже сказал, что Виллемс поставил корабль на стоянку прямо напротив нашего причала, но у другого берега, там, где владения раджи. Корабль окружало столько лодок, что казалось, будто его перевозят на плоту. Все до последнего челнока в Самбире туда пожаловали. В бинокль я мог разглядеть лица стоявших на корме: Абдуллы, Виллемса, Лакамбы — всех-всех. Старый холуй Сахамин тоже явился. Мне все было хорошо видно. Между ними шел какой-то спор. Наконец спустили корабельную шлюпку. В нее прыгнул один из арабов и поплыл к пристани Паталоло. Потом прошел слух, что им отказали в приеме. Я же думаю, что ворота просто не успели разгородить достаточно быстро, чтобы впустить торопливого гонца. Как бы то ни было, лодка почти тут же вернулась. Я наблюдал скорее из любопытства, как вдруг заметил, что Виллемс и еще несколько человек вышли вперед и с чем-то возятся. Эта женщина тоже с ними была. Ох уж

эта женщина…

Олмейер поперхнулся. Казалось, приступ опять повторится, но неимоверным усилием он подавил его и взял себя в руки.

— И тут — «бабах!». Они пальнули в ворота Паталоло из пушки, и, прежде чем я успел перевести дух — я от неожиданности вздрогнул, что и говорить, — они делают еще один выстрел и разносят ворота в щепки. После этого, видно, решили, что дело сделано, уселись завтракать на юте. Абдулла сидел среди них как истукан, скрестив ноги и сложив руки. Есть в компании ему, видите ли, не по чести, но быть главным в застолье — всегда пожалуйста. Виллемс, отделившись от толпы, все ходил и смотрел на мой дом в подзорную трубу. Я не утерпел и погрозил ему кулаком.

— Ай, молодчина, — мрачно похвалил Лингард. — Конечно, так все и поступают. Не можешь вступить в драку, так хотя бы позли противника.

Олмейер презрительно отмахнулся и продолжил как ни в чем не бывало:

— Вы можете говорить что угодно. Вам не понять моих чувств. Он меня увидел и, не отрывая глаз от трубы, вскинул руку, будто отвечая на приветствие. Я уже решил, что после Паталоло стану очередной мишенью, и поднял на флагштоке бри-

танский флаг. Другого средства защиты у меня не было. Кроме Али, со мной остались всего три человека, да и те калеки, слишком слабые, чтобы сбежать. Я бы мог вступить в бой и в одиночку: злости бы хватило, но со мной был ребенок. Куда бы я ее дел? С матерью вверх по реке нельзя отправить. Вы же знаете — на мою жену невозможно положиться. Я решил не лезть на рожон, но не мог позволить, чтобы кто-то высадился на берег. Частная собственность, официально купленная у Паталоло, и все такое. Она моя по праву, не так ли? Утро прошло спокойно. Позавтракав на барке в присутствии Абдуллы, большинство разошлись по домам, остались только местные шишки. Часа в три дня ко мне на лодке приплыл Сахамин. Я взял пистолет и вышел на подмостки поговорить, но причалить не разрешил. Старый лицемер сказал, что Абдулла шлет привет и желает обсудить одно дело. Не поднимусь ли я на борт? Я сказал, что не поднимусь, и передал: пусть Абдулла мне напишет, я отвечу, но никаких переговоров ни на корабле, ни на берегу не будет. И еще предупредил: если кто сунется за ограду, буду стрелять, не посмотрю, кто передо мной. На это старый хрыч с оскорбленным видом воздел руки к небу и быстренько погреб обратно

— с докладом, надо думать. Примерно через час шлюпки с Виллемсом и другими пристали перед домом Паталоло. Было очень тихо. Никаких тебе выстрелов или криков. Бронзовые пушки, которые вы в прошлом году подарили радже, они столкнули в реку. Там очень глубоко у самого берега. Вы и сами знаете, что русло в этом месте глубже всего. Часам к пяти Виллемс вернулся на борт и подошел к Абдулле, стоявшему на корме у штурвала. Он долго говорил, размахивал руками, что-то объяснял, указывая то на мой дом, то на плес. Наконец, перед самым закатом они подняли якорь и в дрейфе отошли на полмили к соединению двух речных рукавов, где, как вы сами могли видеть, торчат по сей день.

Лингард кивнул.

— В тот вечер, как мне потом передали, Абдулла впервые за все время посетил Самбир. Его принимали в доме Сахамина. Я отправил Али в поселок за новостями. Он вернулся к девяти и доложил, что Паталоло сидел у костра Сахамина по левую руку от Абдуллы. У них там было важное совещание. Али решил, что Паталоло взяли в плен, но он ошибался. Фокус им удался. Насколько я могу судить, все было готово уже к полуночи. Паталоло в сопровождении дюжины лодок с факелами вер-

нулся к своему разрушенному палисаду. Похоже, уговорил Абдуллу пощадить его и подбросить до Пенанга на «Властелине островов». А оттуда он уж сам отправился бы в Мекку. Стрельбу, скорее всего, списали на недоразумение. Так оно, несомненно, и было. Паталоло не собирался оказывать сопротивление: согласился убраться отсюда, как только корабль будет готов выйти в море, и на следующий день поднялся на борт с тремя женщинами и полудюжиной таких же, как он, стариков. По приказу Абдуллы его встретили салютом из семи пушек. С тех пор Паталоло так и живет на корабле — уже пять недель. Вряд ли он покинет реку живым. В любом случае до прибытия в Пенанг точно не доживет. Лакамба присвоил все его имущество, а в обмен всучил радже вексель на дом в Пенанге, принадлежащий Абдулле. Паталоло ни за что не доберется туда живым. Теперь вам ясно?

Олмейер несколько минут просидел молча, с потерянным видом, потом заговорил:

— Ночью, разумеется, начались всяческие потасовки. Несколько человек воспользовались моментом неопределенности для сведения старых счетов. Я всю ночь продремал в этом кресле. Время от времени до меня доносились

гвалт, крики, из-за чего я просыпался и хватался за револьвер. Никого, правда, не убили. Пара пробитых голов — мелочи. Рано утром Виллемс еще кое-что придумал, чему я совершенно не удивился. Как только рассвело, они принялись устанавливать флагшток в дальнем конце поселка, где для Абдуллы сейчас строят дома. После восхода солнца вокруг флагштока собралась куча народа. Пришли буквально все. Виллемс стоял, прислонившись к шесту, обняв эту женщину за плечи. Для Паталоло принесли кресло, Лакамба стоял по правую руку от старика, пока тот говорил. Собрались все жители Самбира — женщины, рабы, дети, все до единого! Паталоло выступил с речью. Он сказал, что милостью Всевышнего отправляется в паломничество. Скоро сбудется самое заветное желание его сердца. Потом, повернувшись к Лакамбе, попросил справедливо править в его отсутствие. Они разыграли комедию — Лакамба уверял, что не заслужил такой чести, Паталоло настаивал. Бедный старый дурак! Как ему, наверное, было горько. Его принудили унижаться перед мерзавцем, упрашивать разбойника, чтобы тот его ограбил! Старый раджа был до смерти напуган. Как бы то ни было, ритуал он выполнил, и Лакамба наконец согласился.

После этого к толпе с речью обратился Виллемс. Он сказал, что по дороге на запад раджа, то есть Паталоло, встретится в Батавии с великим белым правителем и заручится покровительством для Самбира. А до тех пор я, оранг-бланда, ваш друг, подниму флаг, под которым вам ничего не будет грозить. И поднял голландский флаг. Его шили ночью второпях из обрывков холстины, флаг получился тяжелым и повис на шесте, а толпа стояла и пялилась. Али говорил, что все ахнули от удивления, однако никто даже не вякнул, один Лакамба вышел и громко объявил, что в течение дня каждый житель поселка должен пройти мимо флага с непокрытой головой, поклониться ему и произнести «салям».

— Черт подери! — воскликнул Лингард. — Но ведь Абдулла британский подданный!

— Абдуллы там вообще не было, он в тот день не спускался на берег. Однако Али хватило ума заметить, что на толпу были направлены пушки «Властелина островов». Они зацепились верпом за берег и развернули барк по течению так, чтобы можно было дать по поселку залп всем бортом. Ловко придумали, а? Да только о сопротивлении никто даже не думал. Оправившись, некоторые начали насмешливо ворчать. И только Бахасун

наскакивал на Лакамбу с громкими упреками, пока один из людей Лакамбы не трахнул его по голове палкой. Смачный, говорят, получился треск. После этого насмешки прекратились. Паталоло ушел, Лакамба занял его место в кресле у флагштока, толпа волновалась, словно не могла решить, разойтись по домам или остаться. Вдруг за спиной у Лакамбы поднялся переполох. На Виллемса набросилась его спутница. Али говорил, налетела на него как дикий зверь, но Виллемс скрутил ее и повалил на землю. Никто точно не знал, из-за чего она разъярилась. Одни говорили — из-за флага. Виллемс сгреб ее в охапку, бросил в лодку и отвез на корабль Абдуллы. Первым поклониться флагу подошел Сахамин. За ним потянулись другие. К обеду в поселке все успокоилось, Али пришел и все рассказал.

Олмейер протяжно вздохнул. Лингард вытянул ноги и потребовал:

— Дальше!

Олмейер как будто боролся с самим собой, наконец выдавил:

— Худшее еще впереди. Неслыханные вещи! Позор! Немыслимый позор!

Глава 3

— Ну хорошо! Рассказывай уж до конца. Не могу себе представить, что… — начал Лингард и замолчал на несколько секунд, ожидая продолжения.

— Не можете себе представить? Этого следовало ожидать, — вскинулся Олмейер. — Ну тогда слушайте. После возвращения Али я немного успокоился. Все-таки в Самбире установилось некое подобие порядка. У меня британский флаг был поднят с утра, и я чувствовал себя в большей безопасности, чем раньше. Некоторые из моих людей после обеда вернулись. Вопросы я не стал задавать, отправил их работать, как будто ничего не случилось. Под вечер — было около пяти часов или полшестого — я вышел с ребенком на причал и услышал крики в дальнем конце поселка. Поначалу я не обратил на них внимания, но вскоре прибегает Али и говорит: «Хозяин, давайте я уведу ребенка, в поселке неспокойно». Я отдал ему Нину, а сам взял револьвер и через дом вышел на задний двор. Спускаясь по ступеням, я увидел, как из сарая кухонной прислуги разбегаются девчонки. На другой стороне сухой канавы, определявшей границу наших владений, улюлюкала

большая толпа. Кусты, что росли вдоль канавы, не позволяли их видеть, но было слышно, что толпа разъярена и кого-то преследует. Пока я стоял и гадал, что происходит, этот Джим Энг… китаец, который поселился здесь несколько лет назад, помните его?

— Он был у меня пассажиром, это я его сюда привез, — воскликнул Лингард. — Превосходный китаец.

— Вы привезли? Я уже позабыл. Ну, этот Джим Энг продрался сквозь кусты и, буквально рухнув в мои объятия, задыхаясь, сказал, что за ним гнались, потому что он отказался снять шляпу перед голландским флагом. Джим был не столько напуган, сколько зол и возмущен. Разумеется, ему пришлось убегать, за ним гнались человек пятьдесят, дружки Лакамбы, но драки он не боялся. Говорил, что он английский подданый и не намерен снимать шляпу перед чужим флагом. Я попытался его успокоить, а толпа тем временем орала по другую сторону канавы. Я предложил ему взять одну из моих лодок и переправиться через реку, пересидеть на другом берегу пару дней. Он отказался. Это, мол, ниже его достоинства. Он англичанин и готов биться насмерть. «Там одни черные, — говорил он. — Белые люди, такие,

как вы и я, любого в Самбире одолеют». Кипел от возбуждения. Толпа немного умерила пыл, я подумал, что смогу спрятать Джима без особого риска, как вдруг услышал голос Виллемса. Он крикнул мне по-английски, чтобы я впустил на свой участок четырех человек забрать китайца. Я ничего не ответил. И Джиму тоже приказал помалкивать. Через некоторое время Виллемс опять крикнул: «Не сопротивляйся, Олмейер. Не советую. Я пока что сдерживаю толпу. Не пытайся их остановить!» Звук голоса этого ничтожества привел меня в бешенство. Я не удержался и крикнул: «Ты лжешь!» Тут Джим Энг сбросил куртку, подтянул штаны, чтобы не потерять их в схватке, выхватил у меня револьвер и бросился назад через кусты. Кто-то резко вскрикнул: видимо, он в кого-то попал, поднялся страшный вой, и не успел я глазом моргнуть, как они перескочили через канаву, прорвались сквозь кусты и набросились на нас! Просто нас смяли! Сопротивляться не было никакой возможности. Меня сбили с ног, Джим Энг получил дюжину ссадин, нас мгновенно оттащили в глубь двора. В рот и глаза набилась пыль. Я лежал на спине, на мне сидели трое или четверо этих обормотов. Я слышал, как где-то рядом Джим Энг пытается что-то кричать.

Ему то и дело сдавливали глотку, и он начинал хрипеть. С двумя бугаями, сидевшими у меня на груди, я и сам едва мог дышать. Прибежал Виллемс и распорядился поднять меня с земли, но не отпускать. Меня отвели на веранду. Я посмотрел по сторонам — ни Али, ни ребенка нигде не было видно. Мне немного полегчало. Я попытался вырваться… Боже!

Лицо Олмейера перекосилось от приступа гнева. Лингард пошевелился в кресле. Передохнув, Олмейер продолжил:

— Меня держали, выкрикивая в лицо угрозы. Виллемс снял мой гамак и бросил этой кодле, потом открыл ящик стола, нашел в нем наперсток, иголку и парусные нитки. Мы шили тент для вашего брига, как вы просили во время нашего последнего плавания. Виллемс, конечно, знал, где что лежит. По его приказу они положили меня на пол, завернули в гамак и начали зашивать от ног к голове, точно мертвеца. За работой он гнусно посмеивался. Я ругал его последними словами, которые только мог вспомнить. Виллемс приказал им зажать мне рот и нос, что они и сделали своими грязными лапами! Я чуть не задохнулся. Если пытался пошевелиться, получал тычок под ребра. Продев в иглу очередную нитку, он мето-

дично продолжал работу. Зашив меня по самое горло, он встал и сказал: «Сойдет. Отпустите его». Эта его женщина тоже стояла рядом, видимо, они помирились, и хлопала в ладоши. Я лежал на полу, как тюк с товаром, он смотрел на меня свысока, а женщина повизгивала от удовольствия. Как тюк с товаром! Все улыбались до ушей, на веранде их было полным-полно. Я пожалел, что не умер. Клянусь, капитан Лингард, так и было! Я и теперь хочу умереть, как только вспомню об этом!

На лице капитана проступило сочувствие с примесью негодования. Олмейер уронил голову на руки, лежащие на столе, и продолжил рассказ в этом положении сдавленным глухим голосом.

— Наконец, по указанию Виллемса, меня швырнули в большое кресло-качалку. Меня зашили так плотно, что я застыл в одном положении, как деревянная колода. Он крикливо отдавал распоряжения, а этот мерзавец Бабалачи следил за их исполнением. Все беспрекословно ему подчинялись. Тем временем я лежал в кресле бревно-бревном, а эта баба, сидя на ковре, корчила мне рожи и щелкала пальцами у меня перед носом. Женщины — это зло, не находите? Я ее прежде в глаза не видел, ничего ей не сделал. А

она надо мной издевалась. За что? Время от времени она бросала меня и вешалась ему на шею, а потом возвращалась к моему креслу и снова принималась за свои выходки. Виллемс только смотрел и не мешал ей. У меня со лба лился пот, ел глаза, а руки зашиты. Временами я был как слепой, но иногда еще мог видеть. Она подтащила его за руку к моему креслу. «Я не хуже белой женщины», — говорила, тиская его за шею. Вы бы видели морды этих типов на веранде! Они были в шоке и сгорали от стыда за ее поведение. И тут она его вдруг спрашивает: «Когда ты его убьешь?» Представьте себе, что я в эту минуту пережил. Видимо, упал в обморок, потому что не помню, что он ответил. Кажется, между ними завязался спор. Виллемс рассердился. Когда я снова пришел в себя, он сидел рядом на корточках, а ее уже не было. Наверно, послал ее позвать мою жену, которая все это время сидела в доме. Виллемс сказал мне (я до сих пор слышу его хриплый глухой голос): «Тебя никто пальцем не тронет». Я промолчал. Он дальше: «Прошу обратить внимание, что флаг, который ты поднял — кстати он не твой, — никто не сорвал. Передай это капитану Лингарду, когда его увидишь. Но, — добавил он, — ты первый открыл огонь по толпе». — «Врешь, мерзавец!»

— воскликнул я. Я уверен, что он поморщился. Ему не понравилось, что я не испугался. «Как бы то ни было, — сказал он, — выстрел был сделан с твоего участка, ранен человек. И все-таки твое имущество из уважения к британскому флагу не тронут. Кроме того, у меня нет ничего против капитана Лингарда, старшего совладельца этой компании. А что касается тебя, ты не забудешь этот день, даже если доживешь до ста лет, или я плохо изучил твою породу. Горький вкус унижения будет преследовать тебя до последнего дня жизни — таков мой ответ на твою доброту. Я заберу отсюда весь порох. Этот берег находится под защитой Нидерландов, и ты не имеешь права иметь запас пороха. На этот счет у совета есть указ губернатора, и ты это знаешь. Где ты держишь ключ от малого склада?» Я не проронил ни слова, он немного подождал и поднялся со словами: «Если мы что-то сломаем, ты сам виноват». Он приказал Бабалачи взломать замок конторского помещения, начал рыться в ящиках стола, но ключа не нашел. И тут эта женщина, Аисса, просит мою жену, и та отдает ключ. Они мигом выкатили все бочонки с порохом и побросали в реку. Восемьдесят три штуки! Виллемс лично проследил, чтобы не осталось ни одного бочонка.

Народ недовольно ворчал. Бабалачи злился и пытался его отговорить, но Виллемс резко его осадил. Надо отдать ему должное, он совершенно не боялся эту шоблу. Потом поднялся ко мне на веранду, сел рядом и сказал: «Мы нашли твоего человека Али, он прятался с твоей дочерью в кустах у реки. Мы привели их сюда. Их, разумеется, никто не тронет. Поздравляю, Олмейер, у тебя растет смышленая дочь. Она сразу же меня узнала и крикнула «свин», как ты ее учил. Обстоятельства сильно влияют на чувства. Ты бы видел, до чего перепугался твой человек Али. Зажал ей рот ладонью. Мне кажется, ты ее излишне балуешь, Олмейер. Но я не в обиде. Ты так смешон в этом кресле, что я не могу сердиться». Я сделал отчаянную попытку вырваться из мешка, чтобы вцепиться этой сволочи в горло, но всего лишь упал на пол и опрокинул на себя кресло. Виллемс расхохотался и сказал: «Я оставил в твоем револьвере половину патронов, а половину забрал себе, они одного калибра. Мы оба белые и должны бы держаться вместе». — «Ты вор!» — крикнул я из-под кресла. Он даже не обернулся: ушел, одной рукой обнимая за талию эту женщину, а другой — Бабалачи за плечо, диктуя на ходу, что еще нужно сделать. Через пять минут все они покину-

ли наш огороженный участок. Через некоторое время пришел Али и освободил меня, разрезав стежки. С тех пор Виллемса я больше не видел, да и всех остальных тоже. Меня оставили в покое. Я предложил раненому шестьдесят долларов, он принял деньги. Джима выпустили на следующий день, когда спустили флаг. Он отправил мне на хранение шесть ящиков опиума, но своего дома не покинул. Кажется, ему больше ничто не угрожает. Все очень спокойно.

Под конец своего рассказа Олмейер поднял голову и теперь сидел, откинувшись на спинку стула и глядя вверх, на бамбуковые стропила. Лингард, вытянув ноги, раскачивался в кресле. В мирный полумрак веранды за опущенными ширмами доносились слабые отзвуки внешнего мира, изнывающего под палящим солнцем: приветствия плывущих по реке, ответные оклики с берега, скрип талей, звуки короткие и прерывистые, словно быстро выбивающиеся из сил в полуденный зной. Лингард медленно поднялся, подошел к балюстраде и, отодвинув край ширмы, молча выглянул наружу. Над водой и опустевшим двором отчетливо прозвучал голос с маленькой шхуны, стоящей на якоре у причала:

— Серанг! Подтяни нок топенантом. Гафель

совсем съехал на гик.

Протяжно, с оттягом заверещал боцманский свисток — песнь дергающих за канаты. «Годится!» — крикнул тот же голос. Еще один голос — очевидно, серанга — подхватил: «Икат!» Лингард молча отвернулся, отпустив ширму, словно не увидел за ней ничего, кроме света, ослепительного, жесткого, тяжелого света, накрывшего помертвевшую землю покрывалом, сотканным из огня. Лингард сел напротив Олмейера, положил локти на стол и задумался.

— Хороша шхуна, — пробормотал Олмейер. — Вы ее купили?

— Нет. После потери «Вспышки» мы дошли до Палембанга в шлюпках. Я зафрахтовал ее на полгода у молодого Форда, ты его знаешь. Это его корабль. Он решил посидеть на берегу, поэтому я на шхуне теперь за главного. Команда, конечно, вся от Форда. Я никого из них не знаю. Пришлось идти за страховкой в Сингапур. Потом, естественно, в Макасар. Длинные переходы. Штиль. Меня как будто кто-то проклял. Со старым Хедигом вышел конфликт. Все это очень меня задержало.

— А-а, с Хедигом… Почему с Хедигом? — равнодушно спросил Олмейер.

— Э-э… из-за женщины одной, — пробормотал

Лингард.

Олмейер посмотрел на него с вялым удивлением. Старый моряк, скрутив седую бороду в рожок, теперь яростно накручивал усы. Маленькие красные глазки, привычные к соленым брызгам всех морей, бесстрашно открытые ураганным ветрам всех широт, поглядывали на Олмейера из-под насупленных бровей, как два испуганных зверька, прячущихся в кустах.

— Невероятно! Это так на вас похоже! Зачем вам понадобились женщины Хедига? Старый вы грешник! — пренебрежительно бросил Олмейер.

— Что ты мелешь! Это была жена друга… я хотел сказать, знакомого…

— И все равно не понимаю, — не дал ему договорить Олмейер.

— Жена человека, которого ты тоже знаешь. Очень даже хорошо знаешь.

— У меня было много знакомых, пока вы не похоронили меня в этой дыре! — пробурчал Олмейер. — Если эта женщина как-то связана с Хедигом, значит, грош ей цена. Этого парня остается только пожалеть.

Мина Олмейера просветлела при воспоминании об историях прошлых лет, когда он был молод и жил во второй столице. В то время он

находился в самой гуще событий.

Олмейер рассмеялся, а Лингард нахмурился еще больше.

— Не говори глупости! Речь идет о жене Виллемса.

Олмейер, раскрыв глаза и разинув рот, вцепился в сиденье стула и ошеломленно воскликнул:

— Что-о? Как это?

— О жене Виллемса, — четко повторил Лингард. — Ты ведь не глухой? А насчет «как это?»... я дал слово. К тому же я не знал, что здесь произошло.

— Могу поспорить, что вы предложили ей денег.

— А вот и нет! Хотя, пожалуй, надо было.

Олмейер застонал.

— Дело в том, — медленно, с расстановкой продолжил Лингард, — что я привез ее сюда, в Самбир.

— Господи! Зачем? — воскликнул Олмейер, вскакивая.

Стул накренился и упал. Он всплеснул над головой руками, резко их опустил, с трудом расцепив пальцы, словно схваченные клеем. Лингард быстро закивал.

— Привез вот. Неловко вышло, а? — Старый

капитан озадаченно посмотрел вверх.

— Ей-богу, я вас совершенно не понимаю, — плаксиво сказал Олмейер. — Что вы теперь будете делать? Жену Виллемса!

— И жену, и ребенка. Маленького сына. Они на борту шхуны.

Олмейер посмотрел на капитана с внезапным подозрением, отвернулся, поднял с пола стул, сел к Лингарду спиной, начал что-то насвистывать, но тут же замолчал. Лингард продолжил:

— По правде говоря, этот малый поссорился с Хедигом. Я его пожалел: обещал все уладить. И уладил. Не без труда, конечно. Хедига злило, что Джоанна желает вернуться к мужу. Старый хрыч не слыхал о принципах. Ты ведь знаешь, что она его дочь? Я пообещал, что не брошу ее, помогу Виллемсу все начать сначала. Поговорил с Крейгом в Палембанге. Он уже стар, ему нужен управляющий или партнер по фирме. Я обещал, что Виллемс будет паинькой. На этом мы и порешили. Крейг — мой старый приятель. Вместе ходили в море в сороковых. Он ждет Виллемса. Ну и каша заварилась. А ты что думаешь?

Олмейер пожал плечами.

— Эта женщина ослушалась Хедига, поверив моему обещанию, что все будет хорошо, — про-

должал Лингард с растущей тревогой. — Да-да. Правильно, конечно, сделала. Жена, муж… оба вместе… как и должно быть. Вот хитрец. Мерзавец, каких поискать. Ишь чего удумал! А-а, черт!

Олмейер издевательски засмеялся:

— Вот она обрадуется. Вы устроите счастье двух человек. Сразу двух!

Он опять засмеялся. Лингард озабоченно смотрел на его вздрагивающие плечи.

— Прижало к скалам, как никогда раньше, — пробормотал капитан.

— Отправьте ее назад, и побыстрее, — предложил Олмейер, подавляя новый приступ смеха.

— Что ты гогочешь? — рыкнул Лингард. — Я все улажу, вот увидишь. А тем временем пусть поживет в этом доме.

— В моем доме! — вскричал Олмейер, оборачиваясь.

— Он и мой тоже немного, не так ли? — напомнил Лингард. — Не спорь, — рявкнул он, когда Олмейер открыл рот для ответа. — Выполняй приказ и придержи язык!

— А-а, ну если вы таким тоном… — пробормотал Олмейер, надувшись, и махнул рукой.

— Ты такой въедливый, мальчик мой, — внезапно сменил гнев на милость старый моряк. —

Дай мне время разобраться, что к чему. Я не могу все время держать ее на борту. Ей надо что-то сказать. Например, что муж уплыл вверх по реке. Вернется со дня на день. Так и сделаем. Слышь? Направь ее мысли в эту сторону, пока я разруливаю положение. Господи! — скорбно воскликнул он. — До чего ненадежная штука эта жизнь! Как фока-брас ночью в дурную погоду. И все же. И все же. Приходится идти ее курсом, пока не пошел на дно. А теперь исполняй, если не хочешь со мной поссориться, мальчик мой, — с неожиданной строгостью добавил он.

— Я не собираюсь с вами ссориться, — пробормотал Олмейер с покорностью мученика. — Мне бы только понять вас. Я знаю, что лучше вас у меня нет друга, капитан Лингард. Но, ей-богу, иногда я вас не в силах понять! Если только…

Лингард разразился громким смехом, неожиданно умолк и тяжело вздохнул. Он прикрыл глаза, склонил голову на спинку кресла, и на его выдубленном солнцем лице на секунду, как неожиданная недобрая примета, промелькнули усталость и старческая дряхлость, испугавшие Олмейера.

— Я умотался, — тихо признался Лингард. — Совершенно умотался. Всю ночь на мостике провел,

пока поднимались по реке. А тут еще эти разговоры с тобой. Такое чувство, что засну хоть на сушилке для белья. Но сначала надо чего-нибудь поесть. Сообрази, Каспар.

Олмейер хлопнул в ладоши и, не получив ответа, хотел кликнуть прислугу, как вдруг за красной занавеской, отделявшей коридор от веранды, послышался визгливый повелительный детский голосок:

— Возьми меня на ручки. Я хочу на веранду. А то я обижусь. Возьми.

Девочке сдержанно, тоном робкого протеста отвечал мужской голос. Лица Олмейера и Лингарда вмиг просветлели. Старый моряк крикнул:

— Неси ребенка сюда, Лекас!

— Сейчас увидите, как она подросла, — торжествующим тоном пообещал Олмейер.

Али вышел из-за занавески с маленькой Ниной на руках. Девочка одной рукой обхватила его за шею, а в другой держала спелый грейпфрут размером с ее голову. Маленькое розовое платье без рукавов сползло с плеча, длинные черные волосы, обрамлявшие смуглое личико с большими черными глазками, смотревшими на взрослых с детской серьезностью, каскадом, как тонкий шелковый тюль, ниспадали на плечи и руки

— ее и Али. Лингард поднялся навстречу слуге. Завидев старого моряка, Нина уронила плод и с радостным криком потянулась к нему. Капитан взял девочку у малайца, и Нина с нежной заботой схватила его за усы, отчего на маленькие покрасневшие глаза моряка навернулись неожиданные слезы.

— Не так сильно, малышка, не так сильно, — бормотал он, прижимая ребенка к своему лицу огромной лапищей, закрывавшей всю ее голову.

— Подними мой фрукт, о раджа морей, — с необычайной легкостью произнесла она высоким чистым голосом. — Вон там, под столом. Дай мне его поскорее! Дай! Тебя долго не было, ты много воевал. Так Али говорит. Ты могучий воин. Так Али говорит. В далеком-предалеком море.

Девочка взмахнула рукой, глядя на мужчин с мечтательной рассеянностью. Лингард присел на корточки и сунул руку под стол.

— Откуда она все это знает? — спросил Лингард, осторожно выпрямляясь.

Олмейер тем временем отдавал распоряжения Али.

— Нина любит быть с мужчинами: сколько раз я замечал, как за ужином она сует пальцы в их миски с рисом, — а вот к матери равнодушна,

чему я даже рад. Посмотрите, какая красавица. И умненькая. Вся в меня!

Лингард опустил ребенка на стол, оба сели, не спуская с девочки сияющих глаз.

— Настоящая маленькая женщина, — прошептал Лингард. — Да, мой мальчик, мы ее выведем в люди. Вот увидишь!

— Сейчас на это не приходится рассчитывать, — печально заметил Олмейер.

— Много ты знаешь! — воскликнул Лингард, снова взяв ребенка на руки и начав ходить с ней по веранде. — У меня есть план. Слушай.

Лингард начал объяснять заинтригованному Олмейеру свой план действий. Он встретится с Абдуллой и Лакамбой. Теперь, когда те взяли верх, с ними придется как-то договариваться. Лингард прервал свою речь, чтобы вволю выругаться, потому что Нина обнаружила его свисток и громко свистнула ему прямо в ухо. Лингард сморщился, засмеялся и с нежным упреком отвел руку девочки. Да, это будет нетрудно устроить. С ним пока еще считаются. Кому как не Олмейеру это знать. Ладно. После этого придется потерпеть, организовать какую-нибудь торговлю. Только для вида. Но главное — Лингард понизил голос, вдруг остановившись перед зачарованным Олмейе-

ром, — главная штука — это золото в верховьях реки. Он, Лингард, полностью посвятит себя его поискам. Он уже бывал в глубинных районах. Там есть огромные россыпи наносного золота. Сказка! Он абсолютно уверен, видел эти места своими глазами. Опасно? А как же! Но зато какая награда! Он обязательно найдет это золото. Можешь не сомневаться. К черту риск! Сначала они наберут побольше для себя. Главное — держать язык за зубами. Через некоторое время учредят компанию — в Батавии или Англии. Лучше, конечно, в Англии. Блеск! Почему бы и нет. Твоя крошка станет самой богатой женщиной мира. Он, Лингард, возможно, не дотянет до этого дня, хотя намерен покоптить небо еще не один год, но Олмейер точно дотянет. Ради этого стоит жить, а?

Самая богатая женщина мира последние пять минут пронзительно кричала:

— Раджа Лаут! Раджа Лаут! Хай! Слушай сюда!

Старый моряк машинально говорил все громче, перекрывая низким басом нетерпеливый детский писк, наконец остановился и ласково спросил:

— В чем дело, маленькая женщина?

— Я не маленькая женщина. Я белый ребенок. Анак путих — белый ребенок. Белые мужчины

— мои братья. Так папа говорит. Али тоже так говорит. Али знает не меньше папы. Он все знает.

Олмейер чуть не пританцовывал от удовольствия.

— Это я ее научил. Я, — повторял он смеясь, со слезами на глазах. — Правда, умница?

— А я раб белого ребенка, — заявил Лингард с наигранной серьезностью. — Какие будут приказания?

— Я хочу домик, — пылко прощебетала малышка. — Домик, на его крыше — еще один домик, и еще один на крыше второго. Высокий! Как в том месте, где живут мои братья, в краю, куда уходит ночевать солнце.

— На западе, — вполголоса объяснил Олмейер. — Надо же! Ничего не забывает. Нина просит тебя построить карточный домик. Как в прошлый раз, когда ты был здесь.

Лингард уселся с ребенком на коленях, Олмейер в поисках карт стал энергично выдвигать ящики стола — с такой спешкой, будто от этого зависела судьба всего мира. Он извлек замусоленную двойную колоду карт, которыми играли только во время пребывания Лингарда в Самбире. Капитан иногда играл по вечерам с Олмейером в китайский безиг. Олмейеру эта игра казалась скучной,

но старый моряк любил ее, считая удивительным порождением китайского ума. Почему он питал к китайцам такую большую симпатию и восхищение, понять было трудно.

— Приступим, сокровище мое, — объявил Лингард, с величайшей осторожностью складывая две карты, казавшиеся до нелепости хлипкими в его больших пальцах. Маленькая Нина с напряженным вниманием следила, как он возводит первый этаж, в то же время продолжая разговор с Олмейером, отвернув лицо в сторону, чтобы не опрокинуть сооружение неловким выдохом.

— Я знаю, о чем говорю. Бывал в Калифорнии в сорок девятом. Правда, заработал одни крохи. Потом в Виктории, в самом начале. Я все об этом знаю. Можешь мне поверить. Даже слепой мог бы… Не егози, сестренка, а то все развалится. У меня пока что еще твердая рука! Верно, Каспар? А теперь, радость моя, поверх двух домиков мы построим третий. Не шуми.! Как я сказал, достаточно просто нагибаться и собирать золото горстями… песок… вот. Готово! Три домика, один на другом. Дворец!

Лингард отклонился в кресле, машинально поглаживая детскую головку одной рукой и отчаянно жестикулируя другой.

— На месте главной заботой будет, как все это золото собрать. После этого мы все вместе отправимся в Европу. Ребенка надо учить. Мы будем богаты. «Богаты» не то слово. В Девоншире, где я вырос, был один малый… так вот он построил дом в Тинмуте, и окон в нем было как иллюминаторов на трехпалубном судне. Все деньги заработал где-то в этих местах в старые добрые времена. Местные говорили, что он пиратствовал. Мы, салаги (я тогда был юнгой на траулере в Бриксеме), конечно, верили. Разъезжал по своим владениям в инвалидной коляске. Один глаз у него был стеклянный.

— Выше! Выше! — крикнула Нина, дергая старого моряка за бороду.

— Никакой пощады, а? — ласково упрекнул ее Лингард, нежно поцеловав. — Как? Четвертый домик подавай? Ну хорошо, я попробую.

Нина наблюдала за его руками, затаив дыхание. Когда сложный фокус удался, она захлопала в ладоши и удовлетворенно вздохнула.

— Ой! Смотри! — воскликнул Олмейер.

Под легким дыханием ребенка сооружение рухнуло. Лингард на секунду расстроился. Олмейер засмеялся. Нина заплакала.

— Возьми ее, — вдруг попросил старый моряк.

Олмейер унес плачущего ребенка, капитан остался сидеть за столом, остановив угрюмый взгляд на рассыпанных картах.

— Чертов Виллемс, — тихо пробормотал он, откинувшись на спинку кресла. — Но я все равно это сделаю!

Лингард встал, сердито смахнул карты на пол и плюхнулся обратно в кресло.

— Устал как собака, — вздохнул он и закрыл глаза.

Глава 4

Настоящие мужчины сознательно или подсознательно гордятся своей твердостью, постоянством намерений, конкретностью замыслов. Они устремляются к предмету своих желаний, добродетельной, а иногда преступной цели напрямик, окрыленные твердой верой в себя. Идут по дороге жизни пленниками своих вкусов, предрассудков, антипатий и предпочтений, как правило, честно, заведомо бестолково, гордясь тем, что никогда не сворачивают с пути. А если останавливаются, то только для того, чтобы бросить минутный взгляд поверх живой изгороди, охраняющей их от опасности, на туманные долины, далекие вер-

шины, утесы и топи, темную чащу лесов и марево равнин, где, мучаясь, влачат свое существование другие люди, спотыкаются о кости мудрецов, натыкаются на незахороненные останки предков, на полпути умерших в одиночестве темной ночью или ярким днем. Мужчина, у которого есть цель, их не понимает и, исполненный презрения, продолжает свой путь. Он никогда с него не сворачивает. Он знает, чего хочет и куда идет. Путешествие никогда не прекращается, уводит далеко, но лишено размаха; оборванный, грязный, усталый путник наконец приходит к цели и получает награду за свою настойчивость, доблесть и здравый оптимизм — лживое надгробие на темной могиле, о которой все скоро забудут.

Лингард ни разу в своей жизни не колебался. С какой стати? Он был удачливым купцом, везучим в бою, хорошо владел искусством навигации и, несомненно, слыл первым по части судовождения в южных морях. Все это он знал. Разве все вокруг его не хвалили?

Мир тех, кто его так уважал, был для него единственным миром, потому что пределы нашей вселенной определяются кругом наших знакомств. Вне пузыря похвал и укоров со стороны знакомых для нас ничего не существует, за спи-

ной нашего последнего знакомого простирается бескрайний хаос, стихия смеха и слез, до которых нам нет никакого дела. Эти смех и слезы неприятны, зловредны, нездоровы, низки, потому что воспринимаются как неполноценные ушами, не привыкшими к чуждым звукам. Для Лингарда, человека простого, все окружающее тоже выглядело просто. Он мало читал. Книги редко попадали ему в руки, у него было слишком много работы — прокладывать курс, заключать сделки, а еще, подчиняясь инстинктивной тяге к филантропии, устраивать жизнь подвернувшихся беспризорных существ. Он помнил уроки в воскресной школе родной деревни и проповеди одетого во все черное пастора из Миссии рыбаков и мореплавателей, чей швертбот сновал под шквальным ветром пополам с дождем между каботажными судами, из-за непогоды застрявшими в заливе Фалмут-Бей. Эти картины детства навсегда врезались в память Лингарда. «Я не видывал попа умнее, — не раз говорил он, — и человека, который бы лучше его управлялся с ялом в любую погоду». Вот какие институты огранили его юную душу, прежде чем он отправился на знакомство с большим миром на борту шедшего южным курсом парусника. Лингард был

необразован и весел, тяжел на руку, чист сердцем, неразборчив в выражениях; он отдал себя морю, и море стало его домом, подарило достаток. Оглядывая свой жизненный путь — от капитана корабля до владельца судов и капиталов, которого уважали везде, где бы он ни появился, и называли Раджа Лаут, — он сам удивлялся и восхищался своей судьбой, представлявшейся его неискушенному уму величайшей диковиной в истории человеческого рода. Собственный опыт казался ему бескрайним и непререкаемым, допускавшим всего один вывод: жизнь — простая штука. В жизни, как и на море, есть только два пути — правильный и неправильный. Здравый смысл и опыт указывают правильный путь. Иного пути держатся одни дураки да увальни, он ведет к потере рангоута и парусов, а то и к кораблекрушению, а в жизни — к потере денег и осмотрительности или болезненному тычку в зубы. Лингард не видел смысла держать зло на негодяев. Его раздражало только то, чего он не понимал. К человеческим слабостям он относился с презрительной терпимостью. Его ум и удачливость не нуждались в доказательствах — чем еще можно было объяснить такой жизненный успех? Лингард любил наводить порядок в

жизни других людей и по этой же причине не мог удержаться, вопреки морскому этикету, от вмешательства в действия старпома, когда команда устанавливала новую стеньгу или выполняла другую «серьезную работу». Он был докучлив, но в то же время скромен. Если он и знал кое-что лучше других, то не стремился этим хвастать. «Пинки судьбы научили меня уму-разуму, мой мальчик, — говаривал он. — Лучше послушай совета человека, наделавшего в свое время много глупостей. Давай еще налью». «Мальчик» как правило принимал выпивку, совет и ту помощь, которую Лингард считал своим долгом оказать, что еще больше укрепляло мнение капитана о себе как о честном человеке. Капитан Том ходил от острова к острову, неожиданно появлялся в самых разных местах, улыбающийся, шумливый, верный своему образу, хваля или критикуя, но повсюду встречая радушный прием.

Сомнения и горечь неудачи старый моряк познал только после своего возвращения в Самбир. Вид «Вспышки», намертво севшей на рифы в северной части пролива Гаспар в зыбком свете пасмурного утра, потряс его до глубины души, а удивительные новости, которые он услышал по приезде в Самбир, окончательно расстроили.

Много лет назад, движимый жаждой приключений, он на свой страх и риск с превеликим трудом обнаружил и промерил вход в устье этой реки, где, по сообщениям местных жителей, малайцы строили новый поселок. В то время он, несомненно, больше думал о личной выгоде, однако, встретив теплый прием у Патололо, вскоре полюбил местного правителя и его народ, советом и делом помогал им и, хотя никогда не слышал об Аркадии, мечтал о подобной счастливой жизни в этом маленьком уголке мира, который считал своей вотчиной. Укоренившееся, незыблемое убеждение, что только он, Лингард, знает, что лучше для местных жителей, было вполне в его характере и не так уж далеко от истины. Он пообещал осчастливить местных, желали они того или нет, и не отступал от своего слова. Торговля принесла новому уделу процветание, а страх подвернуться под горячую руку капитана обеспечил порядок на многие годы.

Лингард с гордостью взирал на плоды своих стараний. С каждым годом он все больше влюблялся в землю, людей, мутную реку, грязную спокойную поверхность которой, будь на то его воля, никогда бы не взрезало ни одно судно, кроме «Вспышки». Медленно поднимая свой корабль вверх по реке

с помощью верпа, он опытным взглядом озирал вырубки на берегу и с важным видом объявлял свои прогнозы на будущий урожай риса. Лингард лично знал каждого поселенца от Самбира до морского побережья, знал их жен и детей, каждого человека из этой пестрой оравы; все они, стоя на хлипких мостках построенных прямо над водой клетушек из тростника, махали ему руками и кричали: «О! Капал лайер! Хай!», когда «Вспышка» медленно проходила по обжитому плесу на стоянку в необитаемой части реки, окруженной густым молчаливым лесом, могучие деревья которого покачивали широко раскинутыми ветвями под слабым теплом ветерком, словно ласково и грустно приветствуя гостя. Лингард все это просто обожал — отлитый из коричневого золота ландшафт с изумрудной оторочкой под горячим куполом из сапфира, шепот лесных исполинов, бормотание пальм нипа, постукивавших листьями под легким ночным ветерком, словно спешивших рассказать все секреты темневшей поодаль зеленой чащи. Он любил тяжелый аромат цветов и чернозема, это дыхание жизни и смерти, висевшее над бригом во влажном воздухе теплой спокойной ночи. Любил узкие угрюмые ручьи, чуравшиеся солнца, черные,

гладкие, извилистые, как закоулки обманутых надежд. Любил даже стаи обезьян с печальными мордами, осквернявших покой причудливыми скачками и безумными ужимками — пародией на человеческое сумасшествие. Лингард одинаково любил все, живое и неживое: жидкую грязь на берегу, огромных ленивых аллигаторов, с дерзким равнодушием греющихся на солнце. Их размеры наполняли его гордостью. «Здоровенные ребята! Прихвати парочку в Палембанг! Я дело говорю, старик! — восклицал он, шутливо ткнув в ребра какого-нибудь приятеля. — Такая зверюга проглотит тебя в один присест со шляпой, сапогами и прочим! Бесподобные, шельмы! Не хочешь поближе на них посмотреть? А-а, испугался! Ха-ха-ха». И громоподобный смех наполнял веранду постоялого двора, выкатывался в сад, затоплял улицу, на мгновение останавливал бесшумное шарканье босых коричневых ног; его громкие раскаты пугали даже ручную птичку хозяина, нахальную майну, заставляя ее робко прятаться под ближайшим стулом. В большой бильярдной потные мужчины в тонких хлопчатобумажных майках останавливали игру, с киями в руках прислушивались к гоготу за настежь открытыми окнами и с глубокомысленным кивком шептали:

«Опять старый волк травит про свою реку».

Он воистину был хозяином этой реки! Шепот любопытных, ореол загадочности служили для Лингарда источником нескончаемого удовольствия. Невежественные пересуды преувеличивали размеры доходов от его загадочной монополии. Хотя в целом он не переносил вранья, в этом случае любил подлить масла в огонь слухов и шутливо, с невозмутимым видом прихвастнуть. Это была его река! Она принесла не только богатство, но и сделала его интересным человеком. Эта тайна делала его особенным среди купцов южных морей и полностью удовлетворяла присущее любому человеку заветное желание отличаться от других, хотя Лингард даже не подозревал, что оно жило и в его сердце. Неведомая река была главным элементом его благополучия, что Лингард понял в полной мере, только потерпев непредсказуемую, внезапную, болезненную утрату.

После разговора с Олмейером капитан поднялся на борт шхуны, отправил Джоанну на берег и заперся в своей каюте, чувствуя себя совершенно разбитым. Лингард прикрывал свое бездействие жалобами на хворь Олмейеру, который приходил проведать его по два раза на дню. Ему

требовалось время для размышлений. Лингард был очень зол: на себя, на Виллемса — на то, что сделал Виллемс, и на то, чего не сделал. Образ законченного мерзавца никак не складывался в его уме. Блестящий замысел, а до конца не доведен. Почему? Виллемсу логичнее было бы перерезать Олмейеру глотку, сжечь дом и удрать: сбежать подальше от него, грозного Лингарда, но ничего подобного он не сделал. Что за этим крылось: дерзость, пренебрежение или что-то другое? Лингард чуял намек на неуважение к своему авторитету, и незаконченность подлости сильно его тревожила. Было в ней что-то половинчатое, ущербное — нечто такое, что могло бы развязать руки для возмездия. Самым правильным и очевидным шагом было бы пристрелить Виллемса. Но разве у Лингарда поднимется на это рука? Если бы этот малый сопротивлялся, лез в драку или убегал, если бы показал, что понял, как подло поступил, то убить его было бы проще, естественнее, но все обстояло наоборот! Виллемс прислал ему записку. Предлагал встретиться. Для чего? Он совершил беспримерное, хладнокровное предательство, жуткое и непостижимое, которое невозможно ничем объяснить. Почему он это сделал? Почему? Почему? Старый моряк не раз и не два со стоном

произносил этот вопрос в душном одиночестве своей каюты, хлопая себя ладонью по лбу.

За четыре дня добровольного заточения из Самбира, внешнего мира, который так внезапно и безвозвратно выскользнул у него из рук, пришли два сообщения. Первой прибыла записка Виллемса, состоящая всего из нескольких слов, нацарапанных на листочке, вырванном из маленького блокнота. Второе послание было написано аккуратным каллиграфическим почерком Абдуллы на большом листе тонкой бумаги, завернутом в кусок зеленого шелка. Смысла записки Виллемса Лингард не понял. В ней говорилось: «Давайте встретимся. Я не боюсь. А вы? В.». Капитан в ярости порвал ее, но, прежде чем клочки грязной бумаги успели опуститься на пол, гнев улетучился и сменился другой эмоцией, заставившей Лингарда встать на колени, собрать обрывки записки, соединить их вместе на коробке хронометра и надолго задуматься, словно надеясь разгадать ужасную загадку по одному лишь почерку. Письмо Абдуллы он прочел с бо`льшим тщанием и спрятал в карман. Оно тоже вызвало у него гнев, который, улетучившись, оставил вместо себя почти покорную, почти изумленную улыбку. Пока оставался хоть

какой-то шанс, Лингард не собирался отступать. «Надежнее всего не покидать корабль, пока он на плаву, — гласило одно из его любимых изречений. — Надежнее и правильнее. Бросить корабль, когда обнаружилась течь, нетрудно, но глупо. Очень глупо!» И все же ему хватало рассудительности, чтобы признать себя побежденным в безвыходном положении, оставаться мужчиной и не роптать на судьбу. Когда Олмейер поднялся после обеда на борт, Лингард молча сунул ему письмо Абдуллы.

Зять капитана прочитал его, молча вернул и облокотился на гакаборт (они стояли на палубе). Понаблюдав немного, как вода обтекает руль, он, не поднимая головы, сказал:

— Вполне достойное письмо. Абдулла выдает вам мерзавца с потрохами. Я же говорил, что Виллемс быстро им надоест. Что вы намерены предпринять?

Лингард кашлянул, переступил с ноги на ногу, решительно открыл рот, но долго ничего не говорил, потом наконец пробормотал:

— Черт меня побери, если я знаю.

— Надо что-то уже делать, и побыстрее.

— К чему спешить? Он не может убежать. Насколько я могу судить, теперь он зависит от моей

милости.

— Да, — задумчиво произнес Олмейер, — и он ее не заслужил. Абдулла, если очистить письмо от всех комплиментов, намекает: «Избавьте меня от этого белого человека, и мы будем жить мирно, делясь доходами от торговли».

— И ты ему веришь? — с возмущением спросил Лингард.

— Не совсем. Хотя я не сомневаюсь, что некоторое время мы будем вести торговлю сообща, пока он все не подгребет под себя. Ну так что вы намерены делать?

Олмейер поднял голову и удивился, увидев перекошенное лицо Лингарда.

— Вам нехорошо? Что-то болит? — спросил он с непритворным участием.

— Последние несколько дней я чувствовал себя странно, но ничего не болело.

Лингард несколько раз стукнул себя по широкой груди, громко харкнул и повторил:

— Нет. Ничего не болит. Еще парочку лет протяну. Однако все это, что ни говори, очень меня тревожит.

— Вам надо беречь себя, — сказал Олмейер и после паузы добавил: — Вы намерены встретиться с Абдуллой?

— Не знаю. Нет пока. Время еще есть, — нетерпеливо ответил Лингард.

— Пора бы что-то предпринять, — мрачно заключил Олмейер. — С этой женщиной одни хлопоты. С ней и ее отпрыском — орет целыми днями. Наши дети не ладят. Вчера этот чертенок полез драться с Ниной. Лицо ей поцарапал. Настоящий дикарь, под стать своему папочке. Нет, правда. Джоанна тоскует по мужу и хнычет с утра до вечера. А когда не плачет, лается со мной. Вчера донимала меня расспросами, когда он вернется, кричала, что я послал его на опасное задание. Я сказал ей, что это обычное дело, посоветовал не дурить, так она набросилась на меня, как дикая кошка. Обзывала меня хамом, эгоистом, извергом, причитала о своем любимом Питере, который рискует ради моего блага своей жизнью, в то время как я и в ус не дую. Кричала, что он лучше двадцати таких, как я, что откроет вам глаза на то, какой я человек, — и все в таком же духе. Вот с чем приходится ради вас мириться. Могли бы и обо мне немного подумать. Я никого не ограбил, — попытался горько иронизировать Олмейер, — не предал лучшего друга, но тоже заслуживаю снисхождения. Живу как в лихорадке. Она совсем обезумела. Вы превратили мой

дом в приют для мерзавцев и сумасшедших. Так нечестно. Ей-богу, нечестно! Когда на нее находит, она становится до смешного безобразной, визгливой — аж зубы сводит. Слава богу, у моей жены случился приступ хандры, и она ушла из дому. После известных дел живет в хижине у реки… ну, вы в курсе. Но мне и одной жены Виллемса достаточно. Спрашивается, зачем мне такое наказание? Вы требовательны и всегда правы. Сегодня утром я думал, что она мне глаза выцарапает. Представьте себе! Джоанна хотела повыпендриваться в поселке и могла что-нибудь там услышать, поэтому я приказал ей сидеть дома. Сказал, что за оградой небезопасно. Вот она и набросилась, растопырила когти. «Жалкий вы человек, — кричит, — вам даже здесь небезопасно, а вы отправили моего мужа вверх по реке, где он может сложить голову. Если он погибнет, так меня и не простив, Господь покарает вас за это преступление». За мое преступление! Иногда мне кажется, что я сплю и вижу сон! Я от этого всего скоро заболею. Аппетит и так уже пропал.

Олмейер швырнул шляпу на палубу и в отчаянии взъерошил волосы. Лингард посмотрел на него с отеческой заботой и задумчиво пробормотал:

— Что она хотела этим сказать?

— Сказать? Да она сумасшедшая. И я тоже скоро с ума сойду, если так будет продолжаться!

— Потерпи немного, Каспар. Еще день или два.

То ли облегчив душу бурным излиянием чувств, то ли просто утомившись, Олмейер успокоился, подобрал шляпу и, прислонившись к фальшборту, принялся ей обмахиваться.

— Пару дней я подожду, — сказал он уныло, — но от таких дел, не ровен час, состаришься раньше времени. Что тут еще думать? Не могу вас понять. Абдулла ясно говорит, что, если вы согласитесь вывести его корабль из дельты и научите его шкипера метиса, как это делать, он тут же выгонит Виллемса взашей и навечно станет вашим другом. Насчет Виллемса я Абдулле полностью верю. Это же так естественно. А насчет дружбы он, конечно, врет, но об этом пока рано тревожиться. Передайте Абдулле, что вы согласны, и до того, что потом случится с Виллемсом, никому не будет никакого дела.

Олмейер замолчал, сверкая глазами, сжимая челюсти и раздувая ноздри.

— Я сам им займусь и позабочусь, чтобы с ним что-нибудь случилось, — наконец проговорил он со сдерживаемой яростью.

Лингард слабо улыбнулся.

— Он не стоит пули. И связанного с этим риска тоже, — пробормотал капитан почти себе под нос.

Олмейер взвился на дыбы:

— Это вы так думаете! Вас не зашивали в гамак и не выставляли на посмешище перед толпой дикарей. Я не смогу никому показаться на глаза, пока этот мерзавец жив. Я… я с ним рассчитаюсь.

— Вряд ли, — буркнул Лингард.

— Думаете, я его боюсь?

— Боже упаси! Нет, конечно! — поспешил заверить его Лингард. — Ты — и боишься? Я тебя хорошо знаю. И не сомневаюсь в твоей смелости. А вот голова у тебя, мальчик мой, голова…

— Вот оно что, — обиделся Олмейер. — Чего уж там, назовите меня сразу дураком.

— Не хочу, — вспылил Лингард. — Если бы я хотел назвать тебя дураком, то назвал бы, не спрашивая у тебя разрешения. — Лингард принялся расхаживать по узкому юту, ногой отшвыривая с дороги канаты и рыча вполголоса: — Экий неженка. Что еще? Я делал мужскую работу, когда ты еще под стол пешком ходил, понимаешь. Говорю что захочу.

— Ладно, ладно, — сказал Олмейер с показным смирением. — С вами последние дни просто невозможно стало разговаривать.

Он нахлобучил шляпу, спустился по трапу и остановился, задержав ногу на лесенке, словно что-то вспомнив, после чего вернулся назад и встал у Лингарда на дороге, заставив его остановиться и выслушать.

— Разумеется, вы поступите так, как посчитаете нужным. Вы не слушаете ничьих советов, я это знаю. Но я вам одно скажу: отпускать этого парня восвояси несправедливо. Если вы ничего не предпримете, этот наглец как пить дать сбежит на корабле Абдуллы. Абдулла использует его, чтобы насолить вам и кому-нибудь еще в другом месте. Виллемс слишком много знает о ваших делах. Он принесет вам кучу неприятностей. Помяните мои слова: кучу неприятностей — и вам, и, возможно, не только. Подумайте об этом, капитан Лингард. Это все, о чем я прошу. А теперь мне пора на берег. У меня много работы. Первым делом завтра же утром надо поднять груз на шхуну. К отправке все готово. Если я вам понадоблюсь, поднимите на мачте какой-нибудь вымпел, а ночью сделайте два выстрела — я услышу и приду. — В заключение Олмейер

более приветливым тоном добавил: — Не хотите поужинать в доме сегодня вечером? Торчите на борту целыми днями, совсем скисли.

Лингард ничего не ответил. Картина, которую нарисовал Олмейер, образ Виллемса, рыскающего по островам, разрушающего гармонию вселенной грабежом, подлостью и насилием, заставили его замолчать, заворожили, погрузили в болезненный ступор. Олмейер, немного подождав, неохотно направился к трапу, задержался около него, со вздохом вылез за борт и начал медленно спускаться. Когда его голова уже скрылась за поручнями, следивший за ним отсутствующим взглядом Лингард вдруг встрепенулся, подбежал к борту, свесился и крикнул:

— Эй, Каспар! Погоди!

Олмейер сделал знак гребцам, чтобы сушили весла, и повернулся к шхуне. Лодку медленно отнесло к кораблю, почти к тому месту, где стоял Лингард.

— Слушай, — сказал Лингард, — мне сегодня понадобится хорошее каноэ с четырьмя гребцами.

— Прямо сейчас? — спросил Олмейер.

— Нет! Лови конец. Ох, черт неуклюжий!.. Нет, Каспар, — продолжил капитан, когда гребец на носу лодки ухватился за брошенный канат. —

Нет, солнце слишком печет. К тому же такие дела лучше делать без шума. Пришли мне каноэ с четырьмя гребцами — только хороших выбери! — и шезлонгом. Перед закатом. Понял?

— Слушаюсь, папочка, — весело крикнул Олмейер. — Рулевым поставлю Али, лучше его у меня никого нет. Что еще?

— Это все, сынок. Главное — пусть не опаздывают.

— Спрашивать, куда вы направитесь, я полагаю, бесполезно? — закинул удочку Олмейер. — Потому как если вы решили встретиться с Абдуллой…

— Я не буду встречаться с Абдуллой, по крайней мере сегодня. А теперь ступай с богом.

Он проводил взглядом устремившееся к берегу каноэ, помахал в ответ на кивок Олмейера и вернулся на ют, разглаживая письмо Абдуллы, которое вытащил из кармана. Лингард тщательно перечитал его еще раз и с улыбкой медленно скомкал в пальцах хрустящую бумагу, словно сжимал горло Абдуллы. Сунув было бумажный комок обратно в карман, он передумал, щелчком выбросил его за борт и долго задумчиво смотрел, как тот пляшет на воде, уносимый речным течением к морю.

Часть IV
Глава 1

Ночь выдалась очень темной. Впервые за много месяцев восточное побережье дремало в беззвездной тьме под недвижимым покровом туч, которые, ощутив первое влажное дыхание муссона, наползали с востока всю вторую половину дня. Тучи давили на заходящее солнце своей черно-серой массой, преследуя дневной свет с грозным, мрачным упорством, как будто сознавая свою роль предвестников жестокости и смятения. Когда солнце почти скрылось за горизонтом, огромная туча быстро удушила свет заходящего светила, докатилась до четкой зазубренной каймы далеких гор, молча, зловеще, почти касаясь застывших в неподвижности макушек деревьев, нависла над лесом, от которого поднимался пар, но не спешила пролиться благословенным дождем, вскармливая в своей середине яростный гром и как будто колеблясь, достаточно ли накопила сил, чтобы вершить добро или зло.

Бабалачи вынырнул из красноватого света и дыма внутри своего маленького бамбукового

жилища, глубоко втянул в легкие теплый застоявшийся воздух и на минуту, будто напуганный непривычной, глухой тишиной на подворье Лакамбы, крепко зажмурил единственный глаз, а когда снова открыл, к нему вернулась способность различать на черном фоне ночи разные оттенки сгустков темноты — деревья, покинутые дома, кусты у реки.

Измученный заботами заговорщик осторожно спустился по пустому двору к воде и замер на берегу, прислушиваясь к голосу невидимой реки, что текла у его ног, к тихому шепоту, гортанному бормотанию, внезапному бульканью и шипению, с которыми поток бежал мимо берега в распаренной темноте.

Бабалачи стоял лицом к реке, и казалось, что великая пустота прямо перед ним облегчает дыхание. Немного погодя он грузно оперся на посох, опустил подбородок на грудь и тяжело вздохнул в ответ на самозабвенное бормотание реки, быстро и безостановочно спешившей к морю, безразличной к радостям и обидам, страданиям и борьбе, победам и поражениям тех, кто населял ее берега. Коричневые воды с одинаковой готовностью покорно и бездушно принимали друзей и врагов, любовь и ненависть, помогали либо

мешали спасти жизнь или отнять ее. Великая быстрая река служила избавлением, тюрьмой, оплотом, могилой.

Такие мысли заставили Бабалачи послать в туман над безучастным Пантаем еще один грустный вздох. Вероломный политикан забыл об успехе своих недавних козней и погрузился в скорбь и печаль, от которых ночь казалась темнее, липкая духота — томительнее, неподвижный воздух — тяжелее, а глухое уединение представлялось скорее пыткой, чем мирной передышкой. Прошлую ночь он просидел у ложа умирающего Омара, и теперь, сутки спустя, память настырно возвращала его в низкую жалкую хижину из камыша, откуда улетел в небо яростный дух несравненного пирата, чтобы запоздало осознать в худшем из миров ошибки, сделанные в земной жизни. Разум варвара, отрезвленный тяжелой утратой, на короткое время ощутил бремя одиночества с остротой, достойной чувствительности тонкой натуры, порожденной блестящей цивилизацией. Полуголый, жующий бетель циник полминуты простоял на берегу реки, на краю притихшего бескрайнего леса, злобный, бессильный и безоружный. С его губ был готов сорваться крик горечи и недовольства, который прозвучал

бы в девственной лесной глуши с такой же истинностью и значением, как и вопль сидящего в кресле философа, улетающий в черные джунгли дымоходов и крыш.

Бунт Бабалачи против неба и молчаливый диалог с богами занял едва ли полминуты, и одноглазый интриган вновь стал самим собой, погрузился в заботы, махинации и далекоидущие планы, превратился в жертву болезненных суеверий своего народа. Ночь, какой бы тихой она ни была, всегда полна звуков, различимых для настороженных ушей. Бабалачи показалось, что он слышит не только привычное журчание бегущей воды. Он резко повернул голову направо, потом налево и быстро обернулся, словно ожидая увидеть на пустом дворе у себя за спиной слепого призрака покойного предводителя. Ни души. Звук, однако, ему не послышался. И звук подозрительный, похожий на ропот разгневанного духа. Бабалачи навострил уши. Все было тихо. Успокоившись, малаец уже сделал несколько шагов к дому, как вдруг с реки долетел шум, определенно производимый человеком: хриплый кашель. Бабалачи остановился и внимательно прислушался: на этот раз без каких-либо эмоций, потом поспешно вернулся к берегу и, приоткрыв рот,

попытался пробуравить взглядом колышущуюся занавесь стелящегося над водой тумана. Он ничего не увидел, однако лодка с людьми явно была где-то очень близко, потому что до него долетели сказанные вполголоса слова:

— Ты уверен, что место то самое, Али? Я ничего не вижу.

— Где-то здесь, туан, — ответил другой голос. — Попробуем пристать к берегу?

— Нет! Давай немного спустимся по течению. Если приставать к берегу в темноте, можно наскочить на какую-нибудь корягу. Надо смотреть в оба. Суши весла! Глянь, там вроде есть какой-то просвет. Может, свет в домах увидим. Ведь в кампонге Лакамбы много домов?

— Очень много, туан. Только я совсем не вижу света.

— И я тоже, — проворчал первый голос — на этот раз почти напротив места, где притаился Бабалачи.

Он обеспокоенно оглянулся на вход в свой дом, освещенный слабым светом горящего внутри факела. Хижина стояла к реке боком, вход был обращен в сторону низовьев. Бабалачи быстро сообразил, что чужаки не могли увидеть свет факела из своей лодки, но никак не мог решить,

окликнуть их или нет. Тем временем разговор возобновился, но уже ниже места для причаливания, рядом с которым он стоял.

— Опять ничего. Нет, это не здесь. Али, весла на воду!

За командой последовал плеск весел, вдруг кто-то крикнул:

— Я вижу свет. Вижу! Теперь я знаю, где причаливать, туан.

Раздались новые всплески, каноэ быстро развернулось и поплыло вверх по реке к берегу.

— Окликни их, — произнес кто-то басом, явно принадлежавшим белому. — Позови, пусть кто-нибудь выйдет с факелом. Я ничего не вижу.

Громкий клич раздался буквально под носом затаившегося Бабалачи. Чтобы сохранить видимость, он длинными бесшумными скачками пробежал полпути до двора и уже оттуда откликнулся на зов, спокойно спускаясь к речному берегу. Очертания лодки маячили немного в стороне от места причаливания.

— Кто там говорит на реке? — спросил Бабалачи, придав голосу удивленную интонацию.

— Белый человек, — ответил Лингард из каноэ. — Неужели в богатом поместье Лакембы нет ни одного факела, чтобы посветить гостю?

— Нет ни факелов, ни людей. Я здесь один, — после некоторого колебания сказал Бабалачи.

— Один! — воскликнул Лингард. — Кто ты?

— Слуга Лакамбы. Выходите на берег, туан путих, и вы увидите мое лицо. Вот, держите руку. Нет-нет! Сюда! Осторожнее! Теперь вы в безопасности.

— И ты здесь один, говоришь? — переспросил Лингард, осторожно делая несколько шагов в направлении двора, и пробормотал себе под нос: — Какая темень! Как будто весь мир вымазали черной краской.

— Да, один. Что вы еще сказали, туан? Я не понял ваши слова.

— Так, пустяки. Я ожидал увидеть… Куда же они все подевались?

— Какая разница куда? — мрачно ответил Бабалачи. — Вы хотели видеть моих сородичей? Последний из них покинул нас, я остался один, завтра тоже уйду.

— Я приехал, чтобы встретиться с белым человеком, — ответил Лингард, осторожно переставляя ноги. — Он, надеюсь, не ухал?

— Нет, — ответил Бабалачи, не отставая от Лингарда. — Вы говорите о человеке с красной кожей и жестокими глазами, с твердой рукой и

глупым слабым сердцем? Воистину белый… но зато настоящий мужчина.

Они остановились у подножия невысокой лесенки, что вела на помост из бамбука, охватывавший жилище Бабалачи с двух сторон. Слабое пламя факела у входа осветило лица мужчин, и они с любопытством осмотрели друг друга.

— Он здесь? — понизив голос, спросил Лингард, махнув рукой на хижину.

Бабалачи, не торопясь с ответом, задержал твердый взгляд на долгожданном госте.

— Нет, его здесь нет, — ответил он наконец, поставил ногу на первую перекладину и оглянулся назад. — Он не здесь, туан, но недалеко отсюда. Может, зайдете? У меня есть рис, рыба и чистая вода: не из реки — из родника.

— Я не голоден, — перебил его Лингард, — и приехал не для того, чтобы здесь засиживаться. У меня нет лишнего времени. Отведи меня к белому, он меня ждет.

— Ночь длинна, туан, — мягко возразил Бабалачи. — Будут еще другие ночи и другие дни. Длинна. Очень длинна. Прежде чем человек встретит смерть, проходит так много времени! Да-да, Раджа Лаут.

Лингард, опешив, воскликнул:

— Ты меня знаешь!

— Ай-ва! Я видел ваше лицо и ощутил на себе вашу руку — много лет назад, — сказал Бабалачи с середины лестницы и наклонился, чтобы лучше видеть лицо Лингарда. — Вы меня не помните, но я вас не забыл. Таких, как я, много, а Раджа Лаут один.

Бабалачи с неожиданной ловкостью взобрался наверх, протянул с помоста руку Лингарду, и тот после секундного замешательства принял ее.

Упругий бамбуковый пол прогнулся под тяжестью старого моряка, когда он остановился у порога, чтобы осмотреться в дымном полумраке низкой хижины. Факел, воткнутый в расщепленную палку, закрепленную под прямым углом на середине конькового бруса, отбрасывал красноватый круг света, в который попали несколько потертых циновок и угол большого деревянного сундука. Во мраке ловило скупой свет факела и, то появляясь, то исчезая, неровно поблескивало острие копья, висевший на стене бронзовый поднос и длинный ствол прислоненного к сундуку ружья. Эти предметы как будто боролись с безнадежной тьмой, которая, притаившись по углам хижины, яростно атаковала слабого противника. Огромное пространство под высокой заострен-

ной крышей наполняли плотные клубы дыма, нижняя сторона которых была гладкая, как потолок, и отражала колеблющийся свет тусклого пламени, а верхняя часть просачивалась наружу через неплотно прилегающие сухие пальмовые листья. В воздухе витал не поддающийся описанию сложный запах, в котором сливались влажные испарения земли, вонь сушеной рыбы и тяжелое амбре разлагающейся растительной массы. Лингард, принюхавшись, сел на сундук, поставив локти на колени, подпер голову руками и задумчиво посмотрел на вход в хижину.

Бабалачи сновал в темноте, что-то шептал неясным теням, мелькавшим в дальнем конце хижины. Лингард покосился, не меняя положения, и заметил закутанные до глаз человеческие фигуры, на мгновение показавшиеся на границе света и тьмы и тут же нырнувшие обратно в темноту. Бабалачи присел у ног капитана на рулон циновок и спросил:

— Не хотите ли поесть риса и выпить сагейра? Я разбудил моих домашних.

— Друг мой, — ответил Лингард, не удостоив его взглядом, — я никогда не приезжаю к Лакамбе или его слугам голодным или жаждущим. Тау! Сави! Никогда! Ты думаешь, у меня голова не

варит и я не знаю, что здесь пусто?

Лингард выпрямился и, вперив взгляд в Бабалачи, постучал себя по лбу.

— Ай-я-яй! Как вы можете такое говорить, туан? — воскликнул Бабалачи с наигранным ужасом.

— Я говорю что думаю. И не первый год живу на свете, — бросил Лингард. Лениво потянувшись, он взял ружье и начал его осматривать с видом знатока, взводя и осторожно опуская курок. — Хорошая вещь. В Матараме делали. К тому же старая.

— Хай! — поддакнул Бабалачи. — Ружье досталось мне еще в молодости от купца с островов Ару, с большим брюхом и громким голосом. Смелый был человек! Когда однажды серым утром мы встретили его проа, он стоял на корме, покрикивал на своих людей и пальнул по нам из этого ружья. Только раз и успел выстрелить! — Бабалачи замолчал, усмехнулся и тихим, мечтательным тоном продолжил: — Мы налетели серым утром, бесшумно, сорок человек на быстроходных проа, какие делают в Сулу, а когда солнце поднялось досюда, — он поднял руку на три фута над полом, — когда солнце еще не взошло полностью, туан, дело было сделано, и рыбу в море ждал

большой пир.

— Ну да, ну да… — пробормотал Лингард, медленно покачивая головой. — Понятно. С таким уходом оно у тебя совсем заржавеет.

Он отпустил ружье между коленями, позволив ему упасть на пол, а сам отклонился назад, прислонившись затылком к стене хижины и сложив руки на груди.

— Доброе оружие, — продолжал Бабалачи. — Бьет далеко и метко. Лучше, чем это.

Он осторожно коснулся кончиками пальцев рукояти револьвера, торчавшей из правого кармана Лингарда.

— Руки прочь! — беззлобно осадил его капитан, не сделав ни малейшего движения.

Бабалачи с улыбкой отодвинулся чуть дальше.

Некоторое время они сидели, не нарушая молчания. Лингард, откинув голову назад, наблюдал из-под полуприкрытых век, как Бабалачи что-то чертит пальцем на полу. Снаружи доносилась болтовня и смех Али и гребцов, сидящих у костра, который они развели на большом безлюдном дворе.

— Ну так что насчет белого человека? — спокойно спросил Лингард.

Бабалачи, как будто не расслышав вопроса,

продолжал рисовать на полу замысловатые линии. Лингард, не шевелясь, ждал. Наконец, малаец поднял голову и с отсутствующим видом пробормотал:

— Хай! Белый… Я его знаю. Что один, что другой… — с неожиданным оживлением спросил: — Туан, ведь вы человек моря?

— Ты же меня знаешь. Зачем спрашиваешь? — тихо ответил Лингард.

— Да. Вы человек моря — как все мы. Настоящий оранг-лаут, не то что другие белые люди.

— Я такой же, как все белые, и не люблю тратить много слов, когда все и так понятно. Я приехал, чтобы встретиться с белым человеком, который помог Лакамбе свергнуть моего друга Паталоло. Покажи мне, где живет этот белый: я хочу, чтобы он меня выслушал.

— Только выслушал? Туан, зачем торопиться! Ночь длинна, а смерть быстра на руку. Вам ли это не знать — человеку, погубившему стольких моих сородичей? Много лет назад я вступил с вами в бой с оружием в руках. Вы не помните? Это было в проливе Каримата, далеко отсюда.

— Я не могу помнить каждого бродягу, мешавшегося у меня под ногами, — без тени иронии возразил Лингард.

— Хай! Хай! — продолжил Бабалачи все тем же ровным, мечтательным тоном. — Много лет назад. Тогда все это… — Он вдруг глянул на бороду Лингарда и покрутил пальцами под своим безволосым подбородком. — …сверкало, как золото на солнце, а сейчас превратилось в пену сердитого моря.

— Возможно, возможно, — терпеливо ответил Лингард, едва слышным вздохом непроизвольно отдавая дань памяти о былых временах, пробужденной словами Бабалачи.

Он прожил среди малайцев достаточно долго, чтобы крайняя медлительность и лукавство, свойственные их мыслительному процессу, перестали его раздражать. Лингард был готов если не слушать Бабалачи, то хотя бы не перебивать. Было ясно, что малаец хочет что-то сказать, и капитан надеялся уловить в его словах лучик света среди непроницаемой тьмы необъяснимого предательства, способный четко высветить — хотя бы на секунду — истинное лицо человека, которому он должен будет вынести справедливый приговор. Исключительно справедливый! Мысли о таких бессмысленных вещах, как месть, его не посещали. Нет, только справедливость! Торжество справедливости — его задача, и выполнять

ее придется своими руками. Он не хотел сейчас об этом думать. Ему, как и Бабалачи, казалось, что ночь будет длиться долго и он еще успеет выполнить свою миссию. Однако Лингард до сих пор не определился с ее характером и теперь сидел очень тихо, намеренно тянул время, изнывая под жутким бременем своего решения. Что толку раздумывать о нем? Оно принято бесповоротно, и скоро наступит время его исполнить. Однако воспоминания отказывались ему подчиняться, они осаждали его в вонючей хижине под монотонную речь Бабалачи, на чьем делано невозмутимом лице шевелились одни губы. Быстрый поток воспоминаний швырял Лингарда туда-сюда, как сорванный с якоря корабль. Уши еще слышали вкрадчивый шелест слов, но мысли были далеко: то погружались в былой азарт и борьбу в проливе Каримата, то возвращались к тому моменту, когда его подвело знание людей, постигла роковая слепота, побудившая много лет назад спасти в семарангском порту изголодавшегося мальчишку, сбежавшего с голландского корабля. Как он его любил: за неустрашимость, нахрапистость, желание идти до конца, надменное добродушие, болтливое хвастовство — за те самые пороки, в которых, как в себе самом, видел множество

достоинств.

Старый моряк всегда относился к найденышу по справедливости и собирался держаться этого правила до самого конца. Последняя мысль омрачила лицо Лингарда, заставив угрюмо нахмуриться. Справедливый судия сидел, поджав губы, с камнем на сердце, а спокойная темнота за пределами его тихого мирка как будто ждала, затаив дыхание, исполнения правосудия, вложенного в его сильные руки, способные нанести разящий удар, но не желавшие даже пошевелиться.

Глава 2

Бабалачи замолчал. Лингард пошевелил ногами, разнял сложенные руки и тихо покачал головой. Рассказ о событиях в Самбире в изложении продувного интригана, смысл которых проникал в его невнимательные уши только урывками, все же послужил той путеводной нитью, что вывела его из мрачного лабиринта мыслей. Добравшись до конца лабиринта, Лингард вышел из путаницы прошлого навстречу неотложным нуждам сегодняшнего дня. Положив ладони на колени и отставив локти, он

взглянул сверху вниз на Бабалачи, застывшего в неподвижной позе, словно говорящая кукла, у которой кончился завод.

— Все это подстроило твое племя, — наконец нарушил молчание Лингард. — И ты об этом пожалеешь еще до того, как снова подует сухой ветер. Абдулла накликает сюда голландцев.

Бабалачи махнул рукой в сторону темнеющего входа.

— Посмотрите на лес. Пусть земля сейчас под управлением Лакамбы. Скажите мне, туан, волнует ли большие деревья, как зовут правителя? Нет. Они рождаются, растут, живут и умирают, ничего не зная и не чувствуя. Это их земля.

— Даже очень большое дерево не устоит перед маленьким топором, — сухо заметил Лингард. — А топоры, мой одноглазый друг, изготавливают белые люди. Вы вскоре в этом убедитесь сами, раз подняли голландский флаг.

— Ай-ва! Не зря написано, что земля принадлежит людям со светлой кожей и с жестким, но глупым сердцем. Чем дальше хозяин, тем легче доля раба, туан! Вы держались слишком близко к нам. Ваш голос постоянно звучал в наших ушах. Теперь все будет по-другому. Великий раджа в Батавии могуч, но может поддаться на обман.

Чтобы его здесь услышали, ему придется говорить очень громко. Но если кричать будем мы, он услышит целый хор голосов, просящих о защите. Ведь он всего лишь белый.

— Если я говорил с Паталоло с позиции старшего брата, то для вашей же пользы. Для общей пользы, — с великой серьезностью возразил Лингард.

— Так говорят все белые, — воскликнул Бабалачи с пылкой горечью. — Я знаю вашего брата. Вы все так говорите, а сами заряжаете пушки и точите сабли. А когда подготовитесь, слабому советуете: «Покорись мне и радуйся либо умри!» Вы, белые, странный народ. Для вас истинны только ваша мудрость, ваше достоинство и ваше счастье. Вы сильнее диких зверей, но не умнее. Тигр не нападает, когда сыт, а вам всегда мало. Тигр признает разницу между собой и теми, кто умеет говорить, вы же не понимаете разницы даже между собой и нами, тоже людьми. Вы мудры и велики, но всегда будете глупцами.

Бабалачи вскинул руки, потревожив дремлющее облако дыма над головой, и хлопнул ладонями о хлипкий пол по обе стороны от вытянутых ног. Вся хижина заходила ходуном. Лингард с интересом посмотрел на взволнован-

ного малайца.

— Апа, апа, в чем дело? — примирительно пробормотал капитан. — Я кого-нибудь здесь убил? Где мои пушки? Что я такого сделал? Кого-нибудь съел?

Бабалачи успокоился и заговорил с заученной вежливостью.

— Вы, туан, человек моря и больше похожи на нас. Поэтому я говорю с вами от сердца. Вот только море оказалось сильнее, чем Раджа Лаут.

— Ты и об этом знаешь? — спросил уязвленный Лингард.

— Хай! Мы слышали о вашем корабле. Некоторые радовались. Но не я. Вы настоящий человек среди белых шайтанов.

— Трима касси! За это спасибо, — буркнул Лингард.

Бабалачи с робкой улыбкой потупил взгляд, но лицо его вдруг омрачилось, и он возобновил разговор скорбным тоном:

— Если бы вы явились днем раньше, туан, то увидели бы, как умирает ваш враг. Он умирал нищим, слепым и несчастным, у него не осталось сыновей, способных выкопать для него могилу и рассказать о его мудрости и отваге. Да, вы бы увидели, как человек, с которым вы много лет назад

дрались в проливе Каримата, умирает в полном одиночестве, за исключением единственного друга. Вы были бы довольны.

— Нет, я бы даже не вспомнил его, не назови ты сейчас его имени. Вы нас не понимаете. Мы сражаемся, побеждаем и забываем.

— Истинно, истинно, — с вежливой иронией сказал Бабалачи. — Вы, белые, так великодушны, что вам недосуг запоминать своих врагов. Нет-нет! Вы к нам настолько милостивы, что для памяти не остается места. О, как вы добры и велики! Вот только сдается мне, что в кругу своих вы ничего не забываете. Не так ли, туан?

Лингард не ответил и только едва заметно повел плечами. Он положил ружье на колени и рассеянно взглянул на кремневый замок.

— Да, — продолжал Бабалачи, вновь погружаясь в минорный настрой, — да, он умер во тьме. Я сидел рядом и держал его руку, а он не мог даже увидеть человека, ловившего его последний вздох. Та, кого он проклял из-за белого, тоже сидела здесь и плакала, закрыв лицо. Белый мужчина ходил по двору, шумел. Время от времени подходил к двери и смотрел на нас, скорбящих, смотрел такими дикими глазами, что я даже был рад в душе, что умирающий не мог его видеть. Я

правду говорю. Я был рад, ибо в глаза белого человека страшно заглядывать, когда ими смотрит сидящий в нем дьявол.

— Дьявол? Ишь ты! — вполголоса воскликнул Лингард, словно поймал свежую мысль.

Бабалачи продолжал:

— В первые утренние часы Омар приподнялся, хотя был очень слаб, и отчетливо произнес несколько слов, не предназначенных для человеческих ушей. Я крепко держал его за руку, но для вождя смельчаков пришло время присоединиться к счастливым правоверным. Мои домашние принесли белый саван, и я начал копать могилу прямо в хижине, где он жил и умер. Белый человек подошел к порогу и что-то крикнул. Он был очень сердит — сердит на дочь Омара за то, что она била себя в грудь, рвала на себе волосы и громко оплакивала смерть отца, как и подобает женщине. Вы понимаете, о чем я, туан? Этот белый мужчина вбежал в хижину, вне себя от ярости, схватил ее за плечо и вытащил наружу. Да, туан. Я видел смерть Омара и видел его дочь у ног обманувшего меня человека. Его лицо было серым, как утренний туман. Он смотрел на женщину, которая билась головой о землю у его ног, белыми глазами. Он, раб Абдуллы! Да-да, он жив

лишь милостью Абдуллы. Вот почему я не поднял на него руку, когда все это увидел. Я сдержался, потому что теперь мы под флагом оранг-бланд, и Абдулла может шептать на ухо великим мира сего. Нам не нужны неприятности с белыми людьми. Абдулла приказал — я подчиняюсь.

— И это все? — рыкнул Лингард в бороду и добавил на малайском языке: — Похоже, ты рассержен, о Бабалачи!

— Нет, я не сержусь, туан, — ответил тот, спускаясь с опасной вершины негодования в надежную долину неискреннего подобострастия. — Я не сержусь. Кто я такой, чтобы сердиться? Я всего лишь оранг-лаут и много раз убегал от вашего брата. Одному служил, от другого получал защиту. Давал советы за пригоршню риса. Кто я, чтобы сердиться на белого человека? Что толку гневаться, если не имеешь права ударить? Вы, белые, забрали себе все — море, землю, право наносить удары! У нас на островах не осталось ничего, кроме справедливости белого человека, вашей великой справедливости, не признающей гнева.

Бабалачи подошел к порогу и понюхал теплый воздух во дворе, потом вернулся назад и прислонился к столбу, подпиравшему крышу, глядя в лицо сидевшему на сундуке Лингарду. Факел,

почти догорев, шипел. В сердцевине пламени с треском возникали небольшие вспышки, исторгавшие маленькие, величиной с горошину, клубочки белого дыма. Сквозняк, дующий через невидимые щели в стенах из бамбука, уносил их к двери. Резкий запах нечистот, в котором плавала хижина, усилился, неодолимо туманил сознание Лингарда, угнетал его решимость и способность мыслить. В голове ворочались думы о себе и человеке, который хотел встретиться с ним, ждал его. Ждал день и ночь. Мелькнула злорадная расплывчатая мысль: этому парню вряд ли понравилось ждать. Ничего, потерпит. Они скоро увидятся. И как долго продлится их встреча: пять секунд, пять минут? Ничего не говорить? Или что-нибудь сказать? Но что? Нет! Дать ему напоследок как следует оглядеться, и уж тогда…

Бабалачи вдруг тихо заговорил. Лингард моргнул, кашлянул и выпрямил спину.

— Теперь вы все знаете, туан. Лакамба живет в доме Паталоло за палисадом. Абдулла начал строить из досок и камней склад для товара. Теперь, после смерти Омара, я перееду отсюда к Лакамбе, буду у него советником. Я прислуживал многим людям. Лучший из них теперь спит в земле, одетый в белый саван, на его могиле нет ничего,

кроме кучки золы, оставшейся от сожженной хижины, в которой он жил. Да, туан! Ее сжег белый человек. Вбежал с горящим факелом, потребовал, чтобы я вышел, хотя я хоронил великого вождя. Так и было! Ругался, поминая всуе имя вашего и нашего Бога, клялся, что сожжет меня и женщину вместе с хижиной, если мы не поторопимся. Хай! Белые люди искусны и мудры. Я быстро вытащил ее наружу.

— О черт! — воскликнул Лингард и перешел на малайский: — Слушай. Этот белый не такой, как все остальные. Ты это и сам понимаешь. Он вообще не человек. Он… даже не знаю кто.

Бабалачи осуждающе поднял руку. Сверкнув глазом, он раздвинул покрытые красными пятнами губы в бесстрастной усмешке, обнажившей ряд сточенных до самых десен, почерневших зубов.

— Хай! Хай! Он не такой, как вы. Не такой, — покладисто согласился Бабалачи, похоже, приближаясь к главному вопросу долгожданного разговора. — Он не похож на вас, туан. Вы — как мы, только умнее и сильнее. Но он тоже очень хитер и отзывается о вас безо всякого уважения, как делают белые люди, когда говорят друг о друге.

Лингард подскочил на месте, словно получил

тычок:

— Он еще и отзывается! И что же он сказал?

— Нет, туан, — спокойно возразил Бабалачи, — какая разница, что он говорил, если он не человек? Я для вас никто; зачем же мне повторять слова одного белого о другом? Он хвастал Абдулле, что многому у вас научился за прошлые годы. А что он еще сказал, я уже позабыл. Нет, правда, туан, я…

Лингард оборвал уверения Бабалачи раздраженным взмахом руки и степенно опустился на сундук.

— Я уйду, — сказал Бабалачи, — а белый человек останется здесь наедине с духом мертвеца и с той, кто дарит наслаждение его сердцу. Он белый, и потому не способен слышать голоса мертвых. Скажите, туан, — с любопытством взглянул на капитана Бабалачи, — вы, белые, когда-нибудь слышите голоса невидимых?

— Не слышим. Потому что те, кого мы не можем увидеть, не разговаривают.

— Не разговаривают! И не жалуются, издавая звуки вместо слов? — с сомнением воскликнул Бабалачи. — Может быть, и так… или у вас плохие уши. Мы, малайцы, слышим много звуков в тех местах, где лежат покойники. Сегодня вечером

я слышал… да, даже я слышал… и не хочу снова услышать, — добавил он нервно. — Возможно, я ошибался, когда… Есть вещи, о которых я сожалею. Он умирал с тяжелым сердцем. Иногда я думаю, что был не прав, но не хочу слушать жалобы невидимых уст. Поэтому мне лучше уехать, туан. Пусть беспокойный дух говорит со своим врагом, белым человеком, не ведающим ни страха, ни любви, ни пощады. Ему знакомы только неуважение и грубая сила. Да, я ошибался! Хай! Хай!

Бабалачи замер на минуту, поддерживая левой ладонью локоть и прижав пальцы правой руки к губам, словно в попытке остановить готовое вырваться наружу раскаяние. Взглянув на почти потухший факел, он подскочил к стене около сундука и распахнул большой ставень, сделанный из палок, переплетенных пальмовой корой.

— Эй! — воскликнул от неожиданности Лингард, едва успев убрать в сторону ноги.

Облако дыма зашевелилось, от него отделился закрученный язык и поплыл в сторону открытого окна. Факел мигнул, с шипением погас и упал на циновку. Бабалачи подхватил его и выбросил в темнеющий проем. Огарок описал багровую дугу и шлепнулся на землю, слабо мерцая в безбреж-

ной темноте. Бабалачи ткнул пальцем в ночную пустоту.

— Вон там, туан, двор и дом белого человека.

— Я ничего не вижу, — сказал Лингард, высунув голову из окна. — Слишком темно.

— Подождите немного, туан. Вы слишком долго смотрели на горящий факел. Вы скоро все увидите. Осторожнее с ружьем, туан. Оно заряжено.

— В нем нет кремня. Ты не найдешь кремень в радиусе ста миль отсюда, — проворчал Лингард. — Какой смысл заряжать ружье.

— Камень у меня есть. Мне дал его мудрый и набожный человек из Минангкабау. Очень благочестивый человек. Очень хороший камень. Говорил, что он дает хорошую искру. И ружье тоже хорошее, бьет далеко и точно. Достанет отсюда до дверей дома белого человека. Я уверен, туан.

— Тида апа. Далось тебе это ружье, — пробурчал Лингард, вглядываясь в непроницаемую темноту. — Это черное пятно вон там и есть дом?

— Да. Это его дом. Он живет в нем волей Абдуллы и будет жить, пока не… С вашего места, туан, если смотреть поверх изгороди, хорошо видно дверь. Он выходит из нее каждое утро с таким видом, будто увидел во сне джаханнам.

Лингард обернулся. Бабалачи тронул его за

плечо.

— Подождите немного, туан. Сидите тихо. Скоро наступит утро: утро без солнца после ночи без звезд, но света хватит, чтобы вы увидели человека, который не так давно хвастал, будто обхитрил вас в Самбире как ребенка.

Ощутив под рукой легкое движение, Бабалачи убрал ее и начал шарить за спиной Лингарда по крышке сундука в поисках ружья.

— Что ты там возишься? — нетерпеливо спросил Лингард. — Опять поганое ружье не дает тебе покоя? Лучше бы свет зажег.

— Свет! Воистину, туан, свет небес очень близко! — Бабалачи нашел то, что искал, и, крепко сжимая ствол, опустил приклад ружья на пол.

— Рассвет, может, и близок, — сказал Лингард, положив локти на перемычку кустарного окна и выглядывая наружу. — Но пока что снаружи очень темно.

Бабалачи нервно пошевелился.

— Вам не следует сидеть там, где вас могут увидеть, — пробормотал он.

— Почему?

— Белый человек спит, это правда, но может рано выйти, а у него есть оружие.

— Ага! У него есть оружие?

— Да, с коротким стволом, способное стрелять много раз. Как у вас. Он выпросил его у Абдуллы.

Лингард никак не отреагировал на слова Бабалачи. Мысль, что огнестрельное оружие могло представлять угрозу не только в его руках, но и в руках Виллемса, не сразу дошла до старого авантюриста. Он был настолько озабочен думами о своем священном долге, что соображения о возможных ответных действиях человека, которого он с негодованием и презрительным сожалением считал приговоренным к смерти преступником, не посещали его разум. По мере того как тьма, словно туман, с каждой минутой редела перед задумчивым взглядом Лингарда, Виллемс все больше казался ему фигурой, целиком и полностью принадлежавшей прошлому, совершенно неспособной вернуться в его жизнь. Он уже все решил, и пути назад не было. Устав думать, Лингард мысленно закрыл для себя эту роковую, необъяснимую и ужасную главу своей жизни. Худшее уже позади. Настало время заслуженной кары.

Ему уже приходилось избавляться от врагов, вставших у него на пути. Он не раз сводил серьезные счеты. Капитан Том для многих был добрым другом, однако от Гонолулу до Диего-Суареса все

знали, что с ним не стоит враждовать в одиночку. Лингард, как сам частенько говорил, не обижал и мухи — если только муха сама к нему не приставала. Однако, когда человек годами живет за чертой закона, у него неизбежно складывается свое особое представление о правосудии. Никто из его знакомых никогда не спешил указывать на ошибочность его представлений.

Никому не приходило в голову тратить время на споры с Лингардом о том, что справедливо, а что нет: в южных морях, на островах востока такое отношение превратилось в аналог здравого смысла, и бывалого моряка лучше всего понимали именно в дальних, малоосвоенных уголках мира, в которых его шумное властное присутствие отзывалось не встречавшим сопротивления эхом. Какой смысл спорить с человеком, утверждавшим, что ни разу в жизни не пожалел о содеянном, и отвечавшим на робкие замечания беззлобной тирадой: «Много ты знаешь! Если надо, могу повторить. Учти!» Соратники и знакомые Лингарда воспринимали его мнения и поступки как нечто данное и неизменное, смотрели на его выходки с покорным удивлением и даже восхищением, уготованными только для тех, кому благоволит удача. Никто никогда не видел его в

таком настроении, как сегодня. Никто никогда не видел Лингарда сомневающимся, не способным принять окончательное решение, не желающим действовать, робким и неуверенным одну минуту, сердитым, но все еще вялым — другую; иными словами, Лингарда в состоянии растерянности от столкновения с беспричинным злом и ужасающей несправедливостью, которые на его простой, невзыскательный вкус попахивали сернистыми испарениями преисподней.

Гладкая чернота за окном начала светлеть, в ней плавали размытые очертания, как если бы из мрачного хаоса нарождалась новая вселенная. Из темноты проступали формы, лишенные деталей, — отдельное дерево, кусты, темная полоса леса вдали, прямые линии дома, край соседней крыши. Бабалачи, который до этого был всего лишь бесплотным голосом, превратился в фигуру человека, беспечно положившего подбородок на дуло ружья и зыркающего по сторонам единственным глазом. Быстро наступал угрюмый день, зажатый в тиски речного тумана и тяжелых туч, серый, лишенный солнечного света, ущербный, безрадостный, тусклый.

Бабалачи осторожно потянул Лингарда за рукав, а когда старый моряк вопросительно поднял

голову, указал пальцем на дом Виллемса, отчетливо видный справа, за растущим во дворе большим деревом.

— Смотрите, туан! Он здесь живет. За этой дверью. Скоро выйдет из нее с растрепанными волосами и будет ругаться. Да. Он белый и вечно недовольный. Мне кажется, что он злится даже во сне. Опасный человек. Как видите, туан, — подобострастно продолжал малаец, — его дверь прямо напротив окна, где вы изволите сидеть. Окно скрывает вас от чужих глаз. Он прямо напротив вас. Совсем недалеко. Посмотрите, как близко, туан.

— Да-да, я не слепой. Когда он выйдет, я его увижу.

— Несомненно, туан. Когда он выйдет… Пока вы здесь сидите, он вас не заметит. Я сейчас уйду, приготовлю каноэ. Я бедный человек и должен быть в Самбире у Лакамбы, когда он продерет глаза. Я вынужден кланяться Абдулле, он сильный, еще сильнее вас. Отсюда вам легко будет увидеть человека, который хвастал Абдулле, что был вашим другом, хотя готовился напасть на тех, кто считал вас защитником. Да, это он подговорил Абдуллу насчет проклятого флага. Лакамба был слеп, а меня обманули. Но вас, туан,

вас он обманул еще больше. И хвастался об этом перед всеми.

Бабалачи бережно прислонил ружье к стене рядом с окном и тихо сказал:

— Мне уйти, туан? Будьте осторожны с ружьем. Я вставил кремень — камень, подаренный мудрецом, не дающий осечки.

Лингард не сводил глаз с дверей дома. В серой пустоте двора с уханьем, похожим на звук гонга, лениво хлопая крыльями, пролетел в направлении леса дикий фруктовый голубь — птица с ярким оперением, в сумраке недоброго рассвета выглядевшая черной, как ворона. Плотная стая белых рисовок с тихим писком взмыла над макушками деревьев и, зависнув в воздухе, вдруг прыснула во все стороны, как осколки разорвавшейся гранаты. За спиной Лингарда раздалось шарканье ног — это покидали хижину женщины. Со стороны двора послышались чьи-то жалобы на холод — слабые, но отчетливые в тишине, заполнившей пространство между пустующими домами и безлюдными вырубками. Бабалачи вежливо кашлянул. Под домом безо всякого перехода застучали деревянные пестики для очистки риса. Слабый, но внятный голос во дворе снова захныкал: «Раздуй угли, брат!» Ему визгливо

ответил другой: «Сам раздуй, свинья привередливая!» Тон речи, взметнувшись, сбился на глухое бормотание, словно говоривший провалился в глубокую яму. Бабалачи с явным нетерпением кашлянул еще раз и доверительно спросил:

— Как вы думаете, туан, мне уже пора уходить? Вы позаботитесь о моем ружье? Я умею повиноваться, я слушаюсь даже Абдуллу, хотя он меня обманул. Ружье надежное, бьет далеко и точно. Я всыпал двойную меру пороха и вложил три куска свинца. Да-да, туан. А теперь мне, пожалуй, пора.

Лингард медленно обернулся на звук голоса Бабалачи и остановил на нем тусклый безрадостный взгляд больного человека, очнувшегося поутру, чтобы встретить еще один многострадальный день. Вникнув в слова старого интригана, Лингард насупил брови, его взгляд ожил, на лбу обозначилась толстая жилка. Наткнувшись на твердый взгляд моряка, Бабалачи поперхнулся словами и сконфуженно замолчал.

Лингард поднялся. Его лицо разгладилось, он глянул на встревоженного Бабалачи с высоты своего роста с неожиданным благодушием.

— Ага! Вот чего ты добиваешься, — сказал он, положив тяжелую руку на податливое плечо Бабалачи. — Ты решил, что я пришел убить его,

а? Признавайся, цепной пес арабского торгаша!

— А для чего же еще? — потеряв от нетерпения осторожность, взвизгнул Бабалачи. — Для чего, туан? Не забывайте, что он сделал. Он отравлял наши уши наветами на вас. Вы настоящий мужчина. И если вы пришли не для того, чтобы его убить, то здесь дурак либо я… — он замолчал, хлопнул ладонью по голой груди и унылым шепотом закончил: — …либо вы, туан.

Лингард бросил на него презрительно-холодный взгляд. После долгих мучительных блужданий по темному лабиринту омерзительных поступков Виллемса логика и коварные зигзаги неискреннего ума Бабалачи предстали перед ним как на ладони. По крайней мере здесь он имел дело с объяснимым, простым следствием, вытекающим из ясной причины, поэтому даже пожалел расстроенного махинатора.

— Выходит, твой друг тебе не угодил, одноглазый! — медленно произнес Лингард, приблизив свирепое лицо к смущенной физиономии малайца. — Сдается мне, это напрямую связано с недавними событиями в Самбире, а? Говори, сын погорельца.

— Да погибнуть мне от вашей руки, о раджа морей, если я говорю неправду! — с безудержной

горячностью вскричал Бабалачи. — Вы здесь окружены врагами. И он среди них главный. Абдулла без него не смог бы ничего добиться, а я без Абдуллы. Так что бейте меня, а в моем лице — всех остальных!

— Да кто ты такой, — презрительно воскликнул Лингард, — чтобы называть себя моим врагом! Ты грязь под ногами! Ничтожество! Иди отсюда! Лакас! Живо! Проваливай!

Он вытолкал Бабалачи из дверей и по короткой лестнице спустился за ним во двор. Сидевшие у огня гребцы словно через силу лениво обернулись на двух мужчин и, не проявив никакого интереса, теснее сбились в кучку, с отсутствующим видом грея руки над углями. Женщины замерли с пестиками в руках и с любопытством украдкой поглядывали из полумрака под домом.

— Сюда? — спросил Лингард, кивнув на плетеную калитку, ведущую на участок с домом Виллемса.

— Если вы ищете смерти, то сюда, — ответил Бабалачи равнодушно, будто истощил весь запас эмоций. — Да, здесь живет тот, кто уничтожил ваших друзей, приблизил кончину Омара, подговорил Абдуллу сначала против вас, потом против меня. Я повел себя как ребенок. Позор! Но вы

идите, туан, идите…

— Я-то пойду куда захочу, — огрызнулся Лингард, — а ты иди к черту. Ты мне больше не нужен. Скорее острова в этих морях исчезнут в пучине, чем я, Раджа Лаут, стану выполнять волю твоего народца. Тау? Я тебе вот что скажу: после сегодняшнего дня можешь поступить с ним как хочешь. И я говорю это, потому что милостив.

— Тида! Я ничего не сделаю, — с горьким безразличием покачал головой Бабалачи. — Я в руках Абдуллы, и если вам нет никакого дела, то и мне тоже. Нет-нет! Сегодняшнее утро меня многому научило. Настоящих мужчин больше не осталось. Вы, белые, жестоки с друзьями и милостивы к врагам — так поступают одни дураки.

Бабалачи спустился к реке и, не оборачиваясь, исчез в низкой пелене тумана. Лингард проводил его задумчивым взглядом. Через минуту он выпрямился и окликнул гребцов.

— Хайя! Эй, вы там! Когда поедите рису, ждите меня с веслами наготове. Ясно?

— Ада, туан! — ответил Али сквозь дым утреннего костра, который мягко стелился по двору. — Ясно.

Лингард медленно открыл плетеную калитку, сделал несколько шагов и остановился. Мимо

скользнул легкий ветерок, разворошил листья на большом дереве и тихо растаял среди сучков и веток. Повинуясь инстинкту моряка, Лингард посмотрел вверх. Над головой под серой незыблемой массой грозовых облаков хаотично проносились, закручиваясь мохнатыми извилинами и рваными спиралями, темные клочья тумана. Над двором и домом нависала круглая мрачная медлительная туча, за которой, как растрепанные волосы плакальщицы, тянулись спутанные дымчатые ленты дождя.

Глава 3

— Берегись!

Дрожь в голосе и неподходящий к случаю, робкий, прерывистый тон окрика озадачили Лингарда больше, чем внезапность предостережения: неизвестно чьего и неизвестно для кого предназначенного, — потому как кроме него, насколько он мог видеть, во дворе никого не было.

Крик не повторился. Бдительный взгляд Лингарда, прощупывая туманную пустоту на участке Виллемса, упирался в одни неподвижные, неживые предметы: большое угрюмое дерево, дом с закрытой дверью, блестящие от влаги бамбуко-

вые изгороди, мокрые поникшие кусты — всю эту неодушевленную материю, обреченную наблюдать необъяснимые радости и несчастья людей и с холодным безразличием и достоинством взиравшую на загадочную суету изменчивой, нескончаемой жизни.

Лингард сделал шаг в сторону, прикрываясь стволом дерева, и, осторожно огибая его, чуть не наступил на кучку почерневших углей. Худая сморщенная старуха, стоявшая за деревом лицом к дому, вздрогнув, обернулась, посмотрела на непрошеного гостя выцветшими тусклыми глазами и, хромая, попыталась уйти, но, видимо, быстро поняла безнадежность или сложность своей затеи, остановилась и, помешкав, медленно заковыляла обратно. Затем, тупо моргая, вдруг упала на колени, прямо на белый пепел, наклонилась над кучкой тлеющих углей и принялась методично раздувать искры в пламя. Лингард смотрел на нее, но старуха, очевидно, решила, что в ее худом теле не осталось сил ни для чего другого, кроме отправления простых домашних обязанностей, и не обращала внимания на гостя.

Подождав немного, Лингард спросил:

— Почему ты крикнула, дочь моя?

— Я видела, как вы пришли, — прошамкала

старуха, не поднимая головы, — и крикнула, чтобы предупредить ее. Это она так приказала.

— И она тебя услышала? — допытывался Лингард.

Его острые лопатки нетерпеливо пошевелились под тонким сукном куртки. Старуха кое-как поднялась и, что-то ворча себе под нос, заковыляла в направлении кучи хвороста, сваленного около забора.

Лингард проводил ее рассеянным взглядом. Сзади что-то застучало на ведущих в дом сходнях. Он выглянул из своего укрытия за деревом и увидел спускавшуюся во двор Аиссу. Сделав несколько поспешных шагов к дереву, женщина остановилась на полпути, словно охваченная внезапным приступом ужаса, и начала лихорадочно озираться по сторонам. Голова непокрыта. Туловище закутано с головы до ног в кусок синей ткани со множеством складок, один край которой закинут на плечо. Черные волосы рассыпались на груди. Аисса прижала вытянутые руки к бокам, растопырила пальцы, и во всей ее позе — вздернутых плечах и отклоненном назад туловище — сквозила непокорность и одновременно готовность отскочить в ожидании возможного удара. Выходя из дома, она закрыла за собой дверь, и

теперь стояла одна в неестественном, зловещем сумраке пасмурного дня. Ни один предмет вокруг не поменял своего положения, и Лингарду показалось, что женщина возникла из ниоткуда, материализовалась из темного тумана и тусклого недоброго света, не способного пробиться сквозь толстый слой облаков в приунывший, бесцветный мир внизу.

Бросив быстрый, внимательный взгляд на закрытую дверь дома, Лингард вышел из-за дерева и медленно двинулся навстречу Аиссе. В ее внезапном оцепенении только беспокойные глаза и легкая дрожь пальцев выдавали, что она заметила его. Аисса решительно шагнула вперед и преградила дорогу капитану, широко расставив руки, черные глаза распахнулись, губы приоткрылись, словно готовые что-то сказать, но ни один звук не нарушил угрюмую тишину. Лингард остановился и посмотрел на женщину с настороженным любопытством. Выждав немного, он сдержанно произнес:

— Дай мне пройти. Я пришел для мужского разговора. Он что, прячется? Прислал тебя, а сам боится выйти?

Аисса сделала еще один шаг вперед, опустила было руки, но тут же вытянула, почти касаясь

груди Лингарда.

— Ему неведом страх, — тихо проговорила она дрожащим, но четким голосом, наклонив голову. — Это мой страх привел меня сюда. А он спит.

— Пора просыпаться, — твердо произнес Лингард. — Я пришел, хватит ему дрыхнуть. Пойди и скажи ему, а не то его разбудит мой голос. Виллемсу он хорошо знаком.

Лингард решительно опустил руки женщины и сделал попытку пройти мимо нее.

— Не надо! — воскликнула она и упала к его ногам, точно срезанная серпом. Порывистость ее движения застала Лингарда врасплох, он невольно отшатнулся.

— Это что еще за фокусы? — удивленно прошептал он и резко скомандовал: — Встань!

Аисса немедленно поднялась и посмотрела ему в глаза — с сомнением, но без страха. В ее глазах горел огонь дерзости, дающий понять, что она готова идти до конца и не отступит даже перед лицом смерти. Лингард продолжал суровым тоном:

— Не мешайся у меня под ногами. Ты дочь Омара и должна знать: когда мужчины встречаются при свете дня, женщины обязаны вести себя тихо и покоряться судьбе.

— Женщины! — вырвалось у Аиссы. — Да, я женщина! Ваши глаза это видят, Раджа Лаут, но видят ли они мою жизнь? Я, как и вы, о доблестный воин, слышала голос выстрелов, меня осыпал град веток и листьев от пуль, свистевших над головой. Я привыкла молча смотреть на яростные лица и крепкие воздетые руки, сжимавшие острый булат. Видела, как вокруг меня без страха или жалоб замертво падают мужчины, сторожила сон обессилевших беглецов, следила привыкшими к бесконечному бдению глазами за ночными тенями, несущими смерть. А еще, — продолжила она, печально понизив голос, — я видела бессердечное море, держала на коленях головы умирающих в бреду от жажды, принимала из их похолодевших рук весло и работала им так, чтобы никто не заметил смерти еще одного мужчины. Я через все это прошла. Что такого вы могли видеть, чего не видела я? Это моя жизнь. А какую жизнь прожили вы?

Смысл и тон сказанного заставили Лингарда остановиться, прислушаться и против воли вызвали у него симпатию. Аисса замолчала. Из широко открытых глаз с черными зрачками в узком кольце белков из самой глубины души наружу рвалось жгучее желание растопить лед в

его сердце. После долгой паузы, подчеркивающей значительность ее слов, Аисса с горьким сожалением прошептала:

— И все-таки я стою перед вами на коленях! И мне страшно!

— Твое сердце, — неспешно сказал Лингард, с интересом глядя на Аиссу, — могло бы биться в груди мужчины, но ты, как ни крути, женщина, и мне, Радже Лауту, с тобой не о чем разговаривать.

Она выслушала ответ, подавшись вперед и напрягая слух, как если бы голос Лингарда прозвучал неожиданно, откуда-то очень далеко, с оттенком потусторонности, как голоса во сне, говорящие о поразительных, жестоких или нелепых вещах, которым невозможно что-то возразить. Ему не о чем с ней разговаривать. С ней! Аисса заломила руки и бросила на двор жадный, отрешенный, ничего не видящий взгляд, посмотрела на беспросветно-серое, с черными тучами небо, на мятущийся траур некогда жарких, сияющих небес, видевших, как зарождалась ее любовь, слышавших клятвы и посулы ее любимого, наблюдавших ее порывы и страхи, ее радость, ее уступки и, наконец, его капитуляцию. Лингард пошевелился, и это легкое движение побудило ее

обратить разрозненные, бесформенные мысли в поспешные слова.

— Подождите! — воскликнула она сдавленным голосом и поспешно, сбивчиво проговорила: — Стойте. Я слышала разговоры. Мужчины часто говорили у костра… мужчины моего племени. Они говорили, что вы, первый человек на море, глухи к крикам о пощаде в бою, но после битвы… Нет! Даже в бою вы прислушиваетесь к голосу женщин и детей. Так они говорили. Я женщина, и…

Аисса вдруг замолчала, наполовину опустила веки, приоткрыла рот и замерла, словно превратилась в бездыханную, ничего не слышащую и не видящую статую, не ведающую ни страха, ни надежды, ни гнева, ни отчаяния. На окаменевшем лице не двигался ни один мускул, и лишь тонкие ноздри быстро и прерывисто раздувались и опадали, словно трепыхающаяся в силках птица.

— Я белый, — гордо объявил Лингард. Обычное любопытство в его твердом взгляде сменилось смесью жалости и раздражения. — Люди у вечернего костра, которых ты слышала, говорили правду. Мои уши открыты твоим мольбам. Но, прежде чем говорить, выслушай и ты меня. О себе можешь не беспокоиться. Я разрешаю тебе уехать

со мной и найти убежище в доме Сеида Абдуллы, ведь вы с ним одной веры. И еще: что бы ты ни говорила, это не изменит моего отношения к человеку, который спит или прячется в этом доме.

Аисса опять пронзила его взглядом, исполненным не гнева, но жажды, жгучей, непреодолимой жажды вникнуть, разобраться, понять до конца каждую мысль, движение души, замысел, побуждение, каждое колебание стоящего перед ней человека, то, что скрывалось в сердце этого одетого во все белое чужеземца, который смотрел на нее, говорил с ней, дышал, как и любой другой человек, но чей рост, румянец, седые волосы и загадочность отличали его ото всех, кого она знала. Ее судьба во плоти, завтрашний день и день, который наступит после завтрашнего дня, все дни и годы ее жизни стояли перед ней живые и неисповедимые, с их добром и злом, таившимися в сердце этого человека, и его можно было убедить, уломать, упросить или, возможно, растрогать, выбить из равновесия, даже напугать — если бы только она смогла его понять! Аисса давно сообразила, куда ведут события. Заметила презрительную, зловещую холодность Абдуллы, слышала, тревожась, но все еще не принимая всерьез, туманные намеки Бабалачи, недомолв-

ки и завуалированные предложения покинуть белого мужчину, чья судьба — послужить разменной монетой ради заключения перемирия между мудрыми благими людьми, для которых он потерял всякую ценность. А Виллемс? Она цеплялась за него. У нее никого и ничего больше не осталось. Она была готова прилепиться к нему до конца своей жизни! Между тем он отдалялся от нее все больше и больше, с каждым днем казался все дальше, и она терпеливо, с надеждой и слепым упорством, шла за ним, куда бы его ни вел переменчивый разум. Шла, пока могла идти, но временами, причем в последние дни все больше, ощущала себя заблудившейся в непроходимой лесной чаще. Бывший служащий старого Хедига представлялся ей таким же далеким, страшным и желанным, как солнце, дарующее жизнь местной земле, солнце безоблачных небес, слепящее и жгучее, благодетельное и вероломное, источник света, благоухания и гибели. Она внимательно, очень внимательно наблюдала за своим спутником, очарованная любовной страстью и предчувствием опасности. Сейчас его все покинули, все, кроме нее, и она видела — или ей так казалось, — что он чего-то боится. Неужели это правда? Но чего? Что придет — уже

пришел — этот седой старик? Возможно. Она слышала рассказы о нем с незапамятных времен. Его боялись даже самые отважные смельчаки. Что замышляет старый моряк, который выглядит таким сильным? Что он сделает со светом ее очей? Погасит его? Увезет с собой? Навсегда — навсегда! — разлучит их, оставив ее одну во тьме? Не в наполненной шорохами, настороженной темноте ночи, в которой притихший мир ожидает возвращения солнечного света, а в бесконечном мраке могилы, где никто не дышит, не шевелится, не мыслит, в окончательной тьме холода и безмолвия, лишенной надежды на новый рассвет.

— Чего вы хотите? Вы ничего не знаете. Я должна… — вскричала она.

Лингард перебил ее с неоправданной горячностью, как если бы страдание Аиссы отчасти передалось ему самому.

— Я знаю достаточно.

Она подошла и положила ему руки на плечи. Лингард, опешив от такого непочтения, пару раз моргнул, ощущая, как внутри начинает бурлить чувство, вызванное словами, тоном, жестами Аиссы. С таким чувством, странным, пронзительным и печальным, он еще не сталкивался,

его вызывал вид этой женщины, дикой и в то же время ласковой, сильной и нежной, пугливой и решительной, оказавшейся волею рока между ним и гнусным белым негодяем.

— Откуда вы можете знать? — проникновенно, с сердечной болью в голосе спросила она. — Откуда вы можете знать? Я была с ним все эти дни. И ночи тоже. Я смотрю за ним, ловлю каждое его дыхание, каждый взгляд и движение губ. Я ничего, кроме него, не вижу! Да и на что еще смотреть? Но даже я его не понимаю. Его! Суть моей жизни! Кто для меня настолько велик, что одно его присутствие заслоняет и землю, и океан!

Лингард стоял, выпрямившись, засунув руки в карманы куртки, и часто моргал, потому что Аисса подступила вплотную к нему. Женщина смущала его, заставляла прислушаться к ее словам, в то время как он не мог отвязаться от мысли, что все это бесполезно и ничего не даст.

Выдержав паузу, Аисса добавила:

— Раньше я его понимала, видела, что происходит у него в голове, лучше его самого. Я его чувствовала. Держала в руках. А теперь он ушел.

— Как ушел? Убежал? Его здесь нет? — воскликнул Лингард.

— Отдалился от меня. Бросил. Я теперь оди-

нока. Хотя я постоянно рядом с ним, все равно одинока.

Руки Аиссы соскользнули с плеч Лингарда и бессильно, уныло повисли, как если бы в этот момент она, необузданное, дикое, невежественное существо, вдруг четко осознала ужасную правду человеческого одиночества, непроглядного и очевидного, призрачного и неизбывного, монолитного одиночества, окутывающего, обволакивающего, облекающего душу каждого человека от колыбели до могилы, а возможно, и в загробном мире.

— А-а, ясно! Я понял. Он от тебя отвернулся. Так чего ты тогда хочешь?

— Я хочу… Я искала помощи… везде искала… защиты от людей… любых людей. Сама не знаю. Сначала пришли белые: их никто не видел, они слали смерть издалека, даже не показываясь. Потом появился он. Пришел ко мне, когда я была одинока и тосковала. Злился на своих братьев, говорил, что он большой человек среди своих, обижался на чуждый для меня род. Их мужчины не знают пощады, а женщины — стыда. Он был среди них не просто равным — большим человеком. Ведь это правда?

Лингард покачал головой. Аисса нахмурилась

и опять беспорядочно заговорила:

— Послушайте. Я видела, каким он был. Я жила рядом с храбрыми мужчинами… вождями. Когда он появился, я была дочерью нищего, слепца, не имеющего ни силы, ни надежды. А он заговорил со мной, словно я была ярче солнечного света, слаще холодной воды из ручья, у которого мы встретились, нет, больше того…

Своими неспокойными глазами она заметила мелькнувшее на лице капитана выражение, которое заставило ее на секунду замолчать, но Аисса тут же снова разразилась яростной тирадой, отчего Лингард невольно отпрянул, как от порыва резкого ветра. Он, точно сконфуженный почтенный отец семейства, примирительно вскинул обе руки, а она, вытянув шею, закричала:

— Это правда! Я была для него такой. Я это знаю! Я видела! Бывают минуты, когда даже вы, белые, не кривите душой. Я видела его глаза и как он дрожал, когда я подходила, заговаривала с ним, прикасалась к нему. Посмотрите на меня! Вы тоже когда-то были молоды. Посмотрите на меня, Раджа Лаут!

Она с дерзкой твердостью взглянула в глаза Лингарду и, быстро отвернувшись, опасливо оглянулась на дом за своей спиной — темный,

запертый, безмолвный, кособокий из-за покосившихся свай.

Лингард проследил за ее взглядом и через минуту с сомнением пробормотал:

— Если он до сих пор не услышал твоего громкого голоса, то, должно быть, далеко отсюда или умер.

— Он здесь, — прошептала Аисса немного спокойнее, но все еще взволнованно, — он здесь. Ждал три дня. День и ночь вас ждал. И я ждала вместе с ним. Ждала и смотрела на его лицо, глаза, губы, слушала его слова — слова, которых не понимала, слова, которые он говорил днем, и те, что бормотал во время короткого сна. Я слушала. Он говорил сам с собой, когда выходил к реке и кустам. Я ходила за ним по пятам. Хотела понять и не могла! Его что-то мучило, отчего он говорил на языке своего народа. Сам с собой. Не со мной! Что он говорил? Что он собирался сделать? Он боится вас? Смерти? Что в его душе? Страх? Гнев? Какие желания? Какая тоска? Он говорил без умолку. Все время! А я ничего не могла понять! Мне хотелось вступить в разговор. Он оставался глух ко мне. Везде за ним ходила, ловила каждое слово, надеясь понять, что оно значит, но его разум ушел туда, где живет его народ, далеко-

далеко от меня. Когда я прикасалась к нему, он злился — вот так!

Аисса сделала жест, подражая человеку, отталкивающему надоедливую руку, и посмотрела на Лингарда полными слез глазами.

Отдышавшись, как после долгого бега или потасовки, она потупила взгляд и продолжила:

— Каждый день и каждую ночь я наблюдала за ним и ничего не могла увидеть. У меня было тяжело на сердце, как будто в нашем доме поселилась смерть. Я не могла поверить своим глазам. Мне казалось, что он боится. Боится вас! Я и сама познала страх. Скажите, Раджа Лаут, знаком ли вам страх, не имеющий голоса, страх тишины, который приходит, когда рядом ничего нет: ни битвы, ни криков, ни злобных лиц, ни оружия? Страх, от которого негде спрятаться!

Аисса на секунду замолчала, снова направила отвердевший взгляд на растерянного Лингарда и торопливо, словно гонимая отчаянием, продолжила:

— Я поняла, что он не выступит против вас! Раньше, много дней назад, я дважды уходила, чтобы подчинить его моей страсти, заставить его ударить по своим, и тогда бы он стал моим. Моим! О горе! Его рука так же неверна, как и

сердца белых людей. Подталкиваемая страстью, его страстью ко мне, она нанесла удар. А ударив, его такая сильная рука — о позор! — никого не убила! Резкий фальшивый удар вызвал только ненависть, но не вызвал страха. Меня окружает сплошная ложь. Мое племя обманывало меня, его тоже. И теперь, перед встречей с вами — великим! — с ним осталась только я одна. С моими исступлением, болью, слабостью. Только я одна! А он, безумец, не желает со мной даже разговаривать!

Аисса подступила к Лингарду вплотную с выражением одержимости и скрытности, с каким умалишенный подходит, чтобы шепотом выдать свою безумную тайну, свой лишенный смысла, надрывный, нелепый секрет, поделиться мыслью, преследовавшей его в беспросветном мраке безумия словно жестокий, фантастический, угрюмый монстр. Лингард смотрел на нее недоуменным, сдержанным взглядом. Аисса тихо говорила прямо ему в лицо:

— Он все для меня! Все! Мой воздух, мой свет, моя душа. Уходите. Забудьте о нем. В нем не осталось ни смелости, ни ума. А я… потеряла свою силу. Уходите и больше о нем не вспоминайте. Есть другие враги. Оставьте его мне. Он когда-то

был мужчиной. Вы слишком большой человек. Вас никто не одолеет. Я пыталась… Теперь я поняла… Я молю вас о пощаде. Оставьте его мне и уходите.

Обрывки просительных фраз переплетались со всхлипами. Внешне невозмутимый Лингард, не отрывая взгляда от дома, ощутил глубокое, неотвязное, мощное чувство отторжения, противоречивый импульс осуждения, состоявшего наполовину из брезгливости, наполовину из безотчетного страха, что шевелится у нас в груди при виде чего-то нового или необычного, всего, что не вмещается в привычное русло нашей совести, проклятую смесь пренебрежения, гнева и чувства высшей добродетельности, делающую нас глухими, слепыми, высокомерными и скудоумными перед лицом всего, что непохоже на нас.

Лингард ответил, не глядя на Аиссу и, как бы обращаясь к заворожившему его дому, сказал:

– *Мне* уходить? Он сам меня позвал! Это ты должна уйти. Ты не ведаешь, чего просишь. Слушай, иди к своим людям. Брось его. Он… — Лингард замолчал, словно подыскивал подходящее выражение, потом твердо посмотрел на Аиссу и сказал: — …весь истратился.

Аисса отступила, глядя в землю, и медленным

движением, исполненным безотчетной трагичности, прижала ладони к вискам. Ее слова прозвучали мягко, с легкой дрожью в голосе, словно размышления вслух.

— Прикажите ручью не бежать к реке. Прикажите реке не течь к морю. Говорите громко. Говорите сердито. Может быть, они подчинятся. Да только ручью все равно. Ручей берт начало с родника на холме и стремится к великой реке. Ему нет дела до ваших слов. Ему даже нет дела до горы, его породившей, он рвет землю, из которой вышел. Рвет, пожирает, разрушает ее, чтобы еще быстрее бежать к реке, в которой навсегда растворится… О, Раджа Лаут! Мне тоже нет дела.

Аисса снова приблизилась — медленно, неохотно, словно ее толкала в спину невидимая рука. Слова вырывались из ее груди, как будто их выдергивали клещами.

— Мне не было дела до отца. Теперь уже покойного. Я бы скорее… Вы не знаете, на что я способна.

— Я обещаю оставить его для тебя в живых, — торопливо прервал ее Лингард.

Они стояли, глядя друг другу в глаза: Аисса — с явным облегчением, Лингард — задумчиво, смущенный смутным ощущением поражения.

Однако никакого поражения он не потерпел. Он с самого начала не собирался убивать Виллемса, разве что давным-давно, в первом мгновенном порыве негодования. Многодневные удрученные раздумья погасили гнев, оставили один лишь горький осадок возмущения и желания восстановить справедливость. Старый моряк был раздосадован и озадачен. Он нечаянно столкнулся с человеком, притом женщиной, вынудившей его прежде времени раскрыть свои планы. Он не отнимет у нее жизнь, но она должна понять: такие, как Виллемс, не могут рассчитывать на снисхождение и доброту.

— Знай, — медленно проговорил он, — я оставляю ему жизнь не из милости, а в наказание.

Аисса испуганно ловила каждое слово, а когда Лингард замолчал, застыла, не в силах сказать ни слова, в удивленном ступоре. Большая дождевая капля, разбухшая до огромных размеров, прозрачная и тяжелая, как упавшая с высоты слеза великана, прорвалась из хмурого неба и громко шлепнулась о сухую землю, подняв фонтанчик пыли. Аисса заломила руки в приступе нового страха перед неведомым. В ее шепоте было больше душевной боли, чем в самом пронзительном крике.

— Какое наказание? Вы его заберете с собой? Оторвете от меня? После того, на что я ради него пошла… Ведь это я…

— Ага! — воскликнул Лингард, смотревший все это время в сторону дома.

— Не верьте ей, капитан Лингард! — крикнул Виллемс, стоявший на пороге с опухшими веками и голой грудью.

Он задержался в позе распятого, ухватившись вытянутыми руками за дверной косяк и выгнув спину, затем ринулся вниз по сходням. Каждый шаг отдавался коротким гулким стуком.

Аисса услышала его голос, и по ее лицу пробежал легкий трепет, готовые вырваться наружу слова так и остались во мраке ее сердца, опустившись на самое дно, куда оседают грязь, камни и цветы.

Глава 4

Почувствовав под ногами твердую почву двора, Виллемс выпрямился и перешел на размеренный шаг. Он твердо ставил ноги, с предельной внимательностью вглядываясь в лицо Лингарда, не поворачивая головы ни вправо, ни влево, как если бы в мире не существовало ничего, кроме

этих знакомых грозных черт, этой седой головы, грубого строгого лица, в которое он всматривался, как человек, мучительно пытавшийся разобрать слишком мелкий для его зрения шрифт. На двор снова опустилась тишина, нарушенная было топотом ног Виллемса по дощатым сходням, тишина затянутого тучами неба и застоявшегося без ветра воздуха, угрюмое безмолвие земли, притихшей в ожидании новых потрясений, молчание мира, собиравшегося с силами, чтобы пережить очередную бурю. Виллемс протиснулся сквозь эту тишину и остановился в шести футах перед Лингардом. Он остановился, будучи не в силах сделать ни шагу дальше. Когда Виллемс выбежал из дверей, он был охвачен задорным желанием подбежать и хлопнуть старого благодетеля по плечу. Он не ожидал увидеть старика таким высоким, огромным, неприступным. Ему вдруг показалось, что он никогда в жизни не видел настоящего Лингарда.

— Не верьте… — начал Виллемс. Приступ кашля превратил фразу в бессвязные булькающие звуки. Виллемс тяжело, как пригоршню речной гальки, сглотнул ком в горле и вздернул подбородок. Острый треугольный кадык, напоминавший змеиную голову, два раза дернулся под кожей и

тоже затих. Все затихло.

— Ну-с… — произнес Лингард, да так и не нашел продолжения. Рука в кармане твердо сжимала рукоять револьвера, оттопыривавшего куртку на уровне бедра. Положить конец ссоре с человеком, которому не терпелось предать себя в его руки, можно было легко и быстро, но такая концовка была бы совершенно неуместной! Лингард не мог допустить, чтобы Виллемс скрылся от него, попросту уйдя из жизни, избежал страха, сомнений и раскаяния еще до того, как мирно принять неизбежность смерти. Виллемс был у него в руках, и Лингард не хотел, чтобы он улизнул от него вместе с легкой дымкой пистолетного выстрела. В душе капитана закипал гнев, горячей рукой касавшийся сердца. Не груди, а именно сердца — пульсирующего, неутомимого сгустка плоти, отвечавшего на каждое движение души, бешено стучавшего от радости, ужаса или ярости.

Капитан тяжело вздохнул. Под распахнутой курткой Виллемса вздымалась и опадала обнаженная грудь. Покосившись, Лингард увидел, как чуть заметно и часто колеблется бюст стоявшей рядом женщины. Она прижимала к груди слегка скрюченные, растопыренные пальцы, словно пыталась обхватить ими не умещавшийся в ладони

предмет. Прошла почти целая минута — одна из тех, когда голос умолкает, а мысли трепыхаются в голове, как птицы в клетке, в отчаянии, изнеможении не находя выхода.

В течение этой минуты тишины гнев Лингарда продолжал подниматься, расти, закручиваться подобно гребню бегущей по песчаной отмели волны. Гнев наполнял уши грохотом прибоя, настолько мощным и отвлекающим, что, казалось, голова вот-вот лопнет от невыносимо громкого шума. Он взглянул на Виллемса. Это пакостное существо, притихшее, оцепеневшее, с каменными глазами, все еще держалось на двух ногах, как будто сгнившая душа уже покинула тело, но мертвый остов еще не успел рухнуть на землю. На долю секунды мелькнуло опасение, что негодяй умер от одного его взгляда. Веки Виллемса затрепетали, бесконтрольная моментальная дрожь пробежала по его застывшему телу, словно бросая Лингарду новое оскорбление. Он еще смеет шевелиться! Смеет моргать, дышать, существовать — прямо здесь, у него перед глазами! Лингард медленно разжал пальцы на рукояти револьвера. Вместе с негодованием росло и презрение к любым колющим и пронизывающим плоть орудиям мести — звеном между карающей

рукой и объектом ненависти. Нет, ему хотелось получить сатисфакцию другим способом. Голыми руками, черт побери! Никаких стволов! Руки могут схватить за горло, пробить защиту, превратить лицо в кровавое месиво, руки способны ощутить панику сопротивления и сломить его в бешеной сладости ожесточенного, безжалостного поединка один на один.

Лингард убрал руку с револьвера, немного помедлил, выставил вперед кулаки, шагнул вперед, и… все вдруг исчезло. Он больше не видел Виллемса, женщину, землю, небо — ничего не видел, как если бы один шаг перенес его из пределов видимого мира в черное, всеми покинутое пространство. Вокруг него из темноты звучали крики, напоминающие печальные, жалобные стоны морских птиц, живущих на рифах, одиноко торчавших из океанской пучины. Потом в нескольких дюймах от него появилось лицо — лицо Виллемса. Лингард почувствовал, что держит что-то левой рукой. Горло… Ага! Тот самый кадык, что кивал ему, точно голова змеи. Лингард крепче сжал пальцы. Он вернулся в окружающий мир, увидел быстро-быстро трепещущие ресницы, сверкающие белки закатившихся глаз, вздернутую кверху губу, ряд зубов под нависши-

ми усами. Какие крепкие белые зубы. Вбить бы их в лживую глотку… Он отвел правую руку назад, развернул плечо, сжал кулак. Откуда-то снизу раздался птичий писк — крик тысячи птичьих глоток. Что-то вцепилось в ноги. Какого черта! Он с размаху нанес удар, почувствовав, что попал прямо в скулу. До него вдруг дошло, что кулак встретил на своем пути безжизненную, не оказавшую сопротивления массу. Сердце екнуло в груди от досады, злости и обиды. Он отпихнул противника левой рукой и поспешно разжал пальцы, будто нечаянно схватил что-то гадкое. Виллемс, шатаясь, попятился, закрывая лицо рукавом белой куртки. Расстояние до него увеличивалось на глазах, в то время как сам Лингард не двигался с места. Пустое пространство между ними явилось точно само собой. Все должно было происходить наоборот. Они должны были сблизиться вплотную и… Эх! Виллемс, как видно, не хотел ни драться, ни сопротивляться. Трусливый пес! Жалкая размазня! Лингард был поражен и расстроен — горько, до глубины души, — чувствуя безмерную, неприкрытую безысходность ребенка, у которого отняли игрушку. Он, все еще не веря своим глазам, крикнул:

— Решил до конца оставаться дешевкой?

Капитан ожидал хоть какого-нибудь ответа. Ждал с тревогой и нетерпением, от которых чуть не вставал на цыпочки, какого-нибудь слова, жеста или угрожающего движения. Ничего! Из-за белого рукава на него пристально, не мигая, смотрели два блестящих глаза. На ткани рукава расплывалось красное пятно. На щеке — ссадина. Из нее шла кровь. Из носа тоже. Кровь стекала по щеке, пропитав край уса и сделав его похожим на черную тряпицу, мокрой дорожкой продолжала путь к подбородку с подстриженной бородкой. Капелька крови, повисев на склеившихся волосках, сорвалась вниз. За ней быстро скатывались новые капли. Одна из них упала на грудь и с дьявольской быстротой, как удирающее насекомое, скользнула вниз, оставив на белой коже узкую черную дорожку. Лингард смотрел на крохотные живые капли, на дело своих рук с мрачным удовлетворением, злобой и сожалением. Результат мало походил на акт правосудия. Лингарду захотелось подойти ближе, услышать, как Виллемс говорит какие-нибудь злые, запальчивые слова, которые подтвердили бы, что его ударили не зря. Лингард попытался сделать шаг вперед, но вдруг обнаружил, что кто-то крепко держит его за щиколотки. Он машинально дрыгнул ногой,

освободив ее. Чужие руки немедленно вцепились в другую ногу. Лингард почувствовал их теплоту, отчаяние и мягкость. Недоуменно глянув вниз, он обнаружил распластанное на земле, как синий ковер, женское тело. Уткнувшись носом в землю, Аисса изо всех сил держалась за ногу капитана, обхватив ее обеими руками. Видна была только ее макушка да черные волосы, струящиеся по сапогу и утоптанной земле. Волосы полностью накрыли ступню. Снизу доносилось прерывистое, стонущее дыхание. Лингард представил себе лицо, прижатое к каблуку, которого не мог видеть. Он мог бы освободиться одним пинком по этому лицу, однако не решился даже пошевелиться и только выкрикнул:

— Пусти! Пусти! Пусти!

В ответ обод из рук сжался еще крепче. Он неимоверным усилием попытался передвинуть правую ногу ближе к левой. Это получилось лишь наполовину. Послышался отчетливый шорох волочащегося по земле тела. Лингард попытался освободиться, подняв ногу, топнул ей. Раздался резкий голос:

— Полегче, капитан! Полегче!

Взгляд Лингарда метнулся на звук голоса, мгновенно проснулась дремлющая память, знакомая

фраза подействовала на него как бальзам. В славные старые времена, когда они вели торговлю сообща и Виллемс был его доверенным, надежным компаньоном в дальних неспокойных уголках мира, этот парень, умевший сдерживать свой пыл куда лучше, не раз выручал его из передряг и удерживал от вспыльчивых выпадов своевременным добродушным предупреждением: «Полегче, капитан! Полегче!» Умный малый. Это он его таким воспитал. Умнее не сыскать на всех островах. Если бы он не оставил его здесь одного, то все это… Лингард крикнул Виллемсу:

— Скажи ей, чтобы отпустила мою ногу, а не то…

Виллемс что-то крикнул, Лингард немного подождал, глянул вниз — женщина по-прежнему молча, не шевелясь лежала плашмя, прижав голову к его сапогу. Капитан ощутил нервное нетерпение, чем-то похожее на опаску.

— Скажи ей, чтобы уходила, Виллемс. С меня хватит.

— Хорошо, капитан Лингард, — спокойно ответил Виллемс, — она вас уже отпустила, но вы стоите на ее волосах. Уберите ногу, а то она не может подняться.

Лингард отскочил в сторону и быстро обернул-

ся. Аисса села и закрыла лицо руками. Медленно повернувшись на каблуках, он взглянул на Виллемса. Тот держался очень прямо, но нетвердо стоял на ногах и топтался на месте, как пьяный, пытающийся удержать равновесие. Понаблюдав за ним некоторое время, Лингард в злом раздражении крикнул:

— Что ты можешь сказать в свое оправдание?

Виллемс двинулся к нему. Он шел медленно, покачиваясь на каждом шагу, прижимая руку к лицу и потом глядя на ладонь с близкого расстояния, словно прятал в ней какой-то маленький предмет, который хотел рассмотреть в тайне ото всех. Он бесцеремонно вытер руку о куртку, оставив продолговатое смазанное пятно.

— Геройский поступок, что и говорить, — сказал Виллемс.

Он остановился перед Лингардом, все еще машинально потирая ушибленное лицо. Один глаз уже затек из-за распухшей щеки. Он обтирал руку всякий раз о новое чистое место на куртке, отчего белая хлопчатая ткань быстро покрылась бесформенными уродливыми кровавыми пятнами. Лингард ничего не отвечал и лишь следил за его действиями. Наконец Виллемс перестал вытирать кровь и опустил руки. Кожа на его

лице одеревенела под коркой подсохшей крови, и он напоминал оставленное для устрашения пугало — загадочную фигуру, сплошь покрытую жутковатыми символами смертельных знамений. С трудом ворочая языком, Виллемс с укором повторил:

— Геройский поступок.

— Выходит, — горько сказал Лингард, — я был о тебе слишком хорошего мнения.

— А я о вас. Разве вы еще не поняли, что я мог бы легко убить этого болвана и дотла сжечь все имущество, сровнять факторию с землей? Если бы я захотел, вы бы не нашли и кучки золы. Я мог все это сделать. Но не сделал.

— Ты… не смог. Тебе не хватило духу, мерзавец!

— Какой смысл обзываться?

— Верно. Для твоей подлости еще не придумали нужные слова.

На короткое время восстановилась тишина. Уловив интонации ссоры, Аисса встала с земли, на которой сидела в скорбной, потерянной позе, и подошла к мужчинам. Она в готовности замерла поодаль, отчаянно напрягая ум и шаря рассеянным взглядом по сторонам, силясь во что бы то ни стало разгадать значение фраз, произносимых

на иностранном языке, потому что эти загадочные слова, складывавшиеся из неожиданных, незнакомых, диковинных звуков, несли в себе зловещий, роковой смысл.

Виллемс не сразу отреагировал на выпад Лингарда и лишь сопроводил его ответ движением руки, словно отправляя его в компанию к остальным теням прошлого, после чего сказал:

— Вы меня ударили, оскорбили…

— Оскорбил! — выпалил Лингард. — Кого? Чем тебя можно оскорбить… тебя, кто…

Он подавился негодованием, замолчал и сделал шаг вперед.

— Легче! Легче! — спокойно проговорил Виллемс. — Я не намерен драться. Вы до сих пор не поняли? Я и пальцем не пошевелю.

Он произнес эти слова с расстановкой, слегка кивая, словно ставил точку после каждой фразы. Правый глаз широко открыт, левый почти скрылся за распухшей щекой, из-за которой лицо выглядело скошенным на одну сторону, как в вогнутом зеркале. Мужчины стояли друг против друга: один высокий, легконогий, с побитым лицом, второй — тоже высокий, но тяжелый и угрюмый.

— Если бы я захотел причинить вам зло, —

продолжал Виллемс, — или уничтожить вас, то мог бы легко это сделать. Я простоял на пороге достаточно долго, чтобы успеть выстрелить, а вы знаете, что стреляю я метко.

— Ты бы промазал, — уверенно заявил Лингард. — Потому что на земле есть такая штука — «справедливость» называется.

Слетевшее с собственных губ слово смутило его, как неожиданный, неопровержимый упрек. Гнев оскорбленной гордости, гнев оскорбленного сердца вышел вон вместе с ударом, не оставив после себя ничего, кроме ощущения безмерной гнусности, чего-то неясного, отвратительного и жуткого, надвигающегося со всех сторон, каких-то происходящих над головой смутных, тайных движений, будто в темном, огромном, зловещем пространстве вокруг него кружила стая убийц. Да и есть ли она на земле, справедливость? Лингард смотрел на стоявшего перед ним человека так пристально и долго, что тот как будто сделался прозрачным, превратился в зыбкий туман, одной лишь формой напоминавший человеческую фигуру. Не унесет ли его без следа первым же порывом ветра?

Звук голоса Виллемса заставил его вздрогнуть.

— Я всегда вел благонравную жизнь, и вы это

знаете. Вы всегда хвалили меня за мое постоянство. Вы знаете, что я никогда не крал, хотя, возможно, подозревали. Я всего лишь взял взаймы. И вам известно, как много я уже вернул. Я просчитался. Но и вы войдите в мое положение. Мне немного не повезло в личных делах, у меня появились долги. Разве мог я унизиться в глазах всех тех, кто завидовал мне? Но теперь это в прошлом. Я ошибся и заплатил за свою ошибку. За свой просчет.

Лингард, онемев от удивления, опустил взгляд, глянул на голые ноги Виллемса. Поняв, что Виллемс замолчал, он ровным голосом повторил:

— Просчет…

— Именно, — задумчиво протянул Виллемс и, оживившись, добавил: — Как я уже сказал, я всегда был благонравен. Более благонравен, чем Хедиг, чем вы. Да-да, я был благонравнее вас. Ну немного пил, немного играл в карты. Кто этого не делает? Однако я с самого детства следовал принципам. Да-да. В бизнесе я, конечно, никогда не был ослом. Терпеть не мог дурачье, имевшее со мной дело. Зло — это они, а не я. Мои принципы о другом. Я держался подальше от женщин. Женщины — запретный плод, у меня не оставалось на них времени, и я их презирал. Теперь я

их ненавижу!

Виллемс, высунув кончик влажного розового языка, юркий, как живое существо, облизнул распухшую почерневшую губу, потрогал пальцами ссадину на щеке, осторожно ощупал ее края. На правой, здоровой половине лица отразились озабоченность и тревога за состояние левой стороны, саднящей и одеревеневшей.

Виллемс снова заговорил, его голос дрожал от сдерживаемых эмоций.

— Спросите у моей жены, когда увидите ее в Макасаре, есть ли у меня причины ее ненавидеть. Она была ничтожеством, я сделал из нее госпожу Виллемс. Из полукровки! Спросите, как она меня отблагодарила. Спросите… А-а, какая теперь разница. Вы привезли меня сюда и бросили, как ненужный мусор, бросили, не дав никакого занятия — не о чем даже вспомнить — и практически без надежды на что-то хорошее. Оставили меня на милость этого болвана Олмейера, который начал меня в чем-то подозревать. В чем? Черт его знает. Он с первой же минуты меня невзлюбил. Видно потому, что вы считали меня своим другом. О, я читал его как открытую книгу. Ваш партнер по Самбиру не очень далек, капитан Лингард, зато умеет показывать зубки. Шел месяц за месяцем.

Я думал, что умру от изнеможения, от своих мыслей, раскаяния. И тут…

Он сделал быстрый шаг в сторону Лингарда, и словно следуя той же мысли, тому же порыву и волевому импульсу, Аисса тоже подошла ближе. Все трое замерли вплотную друг от друга, мужчины ощущали на лице легкое дыхание и тревогу женщины, пожиравшей их недоуменными, отчаянно вопросительными, дикими, страждущими глазами.

Глава 5

Виллемс отвернулся от Аиссы и заговорил тише.

— Посмотрите на нее, — сказал он и едва заметно повел головой в сторону женщины, к которой стоял плечом. — Посмотрите! Не верьте ей! Что она вам тут говорила? Что? Я спал. Столько времени провел без сна. Ждал вас трое суток, не смыкая глаз. Надо было хоть немного отдохнуть. Так ведь? Я попросил ее посторожить и сразу же позвать меня, если вы придете. Ни одной женщине нельзя верить. Кто может сказать, что у них на уме? Никто. Это невозможно. Ясно лишь, что не то, о чем они говорят вслух. Они живут с

тобой рядом, и не разберешь, то ли любят, то ли ненавидят. То ласкают, то мучают, то бросают тебя, то липнут к тебе как банный лист, следуя собственным малопонятным дьявольским мотивам, которые мужчине не суждено разгодать! Посмотрите на нее и посмотрите на меня. Вот до чего она довела меня своими адскими кознями. Что она вам говорила?

Голос Виллемса упал до шепота. Лингард слушал с большим вниманием, теребя седую бороду и придерживая локоть ладонью. Все еще не отрывая взгляда от земли, он пробормотал:

— Если желаешь знать, она умоляла сохранить тебе жизнь, как будто жизнь стоит того, чтобы ее дарить или отнимать.

— А меня последние трое суток умоляла лишить жизни вас, — быстро проговорил Виллемс. — Целых три дня не давала мне проходу. Не унималась ни на минуту. Планировала засаду. Искала место, откуда я мог бы наверняка свалить вас одним выстрелом, если бы вы появились. Я не лгу. Даю слово.

— Слово он дает, — возмущенно рыкнул Лингард.

Виллемс пропустил реплику мимо ушей и продолжил:

— О-о, это такая жестокая тварь! Вы ее не знаете. Я хотел чем-нибудь себя занять, убить время, отвлечься, чтобы забыть о своих невзгодах до вашего возвращения, а она… посмотрите на нее… прибрала меня к рукам, как чужое добро. Да-да. Я даже не подозревал, что у меня в душе есть струны, на которых она могла бы сыграть. Она дикарка, а я — цивилизованный европеец, гораздо умнее ее! Ведь она понимает не больше дикого зверя! И все-таки нашла во мне слабину. Нашла, и я пропал. Я это и сам понял. Она измучила меня. Я был готов пойти на что угодно. Еще противился, но уже созрел. И это я тоже понял. Это состояние пугало меня больше всего, больше, чем собственные страдания. Можете поверить, мне было очень страшно.

Потрясенный Лингард внимал его словам зачарованно, как ребенок, слушающий сказку, и когда Виллемс остановился, чтобы перевести дух, нетерпеливо переступил с ноги на ногу.

— Что он говорит? — неожиданно выкрикнула Аисса.

Мужчины бросили на нее быстрые взгляды и переглянулись.

Виллемс, торопясь, возобновил монолог:

— Я пытался что-нибудь сделать. Увезти ее от

этих людей. Пошел на поклон к Олмейеру. Таких слепых болванов еще поискать. Потом явился Абдулла, а она пропала, забрав с собой часть меня самого. Я был обязан вернуть эту часть, я не мог иначе. Что касается вас, то перемены давно назрели, вы не могли оставаться здесь хозяином навечно. Меня терзает не то, что я сделал, а безумие, которое меня к этому подтолкнуло. Причина — в нем, в охватившем меня наваждении. И оно однажды может повториться.

— Если так, то от него никто больше не пострадает — это я гарантирую, — многозначительно сказал Лингард.

Виллемс на секунду задержал на нем непонимающий взгляд и продолжил:

— Я боролся с ней. Она подстрекала меня к жестокости, убийству. С какой целью — никто не знает. Настырно, отчаянно, все время толкала меня под руку. Слава богу, Абдулле хватило ума. Не знаю, что бы я иначе сделал. Я был в ее власти. Она вцепилась в меня и не отпускала, как жуткий и одновременно сладкий кошмар. Мало-помалу наступило просветление. Я очнулся и обнаружил, что рядом со мной зверь, свирепостью не уступающий дикой кошке. Вы не знаете, через что мне пришлось пройти. Ее отец едва не убил

меня, а она его. Мне кажется, она ни перед чем не остановится. Даже не знаю, что было ужаснее! Она никого не пощадит, чтобы защитить своих. И стоит мне только подумать, что это я сам, Виллемс… Как я ее ненавижу! Завтра, чего доброго, она и меня захочет прикончить. Откуда мне знать, что у нее на уме? Может быть, теперь она решит убить меня!

Он замолчал, дрожа от возбуждения, и испуганно добавил:

— Я не хочу подохнуть в этой дыре.

— Не хочешь? — задумчиво переспросил Лингард.

Виллемс повернулся к Аиссе и ткнул в нее костлявым пальцем.

— Посмотрите на нее! Она всегда тут как тут. Никогда не уходит. Всегда следит, что-то высматривает. Посмотрите на ее глазищи. Огромные, да? Глядят, не сморгнут. Кажется, она их никогда не закрывает, как делают нормальные люди. По крайней мере, я не видел. Ложусь спать — она смотрит, проснусь — опять пялится. Если я не двигаюсь, то и глаза ее не двигаются — как у мертвеца. Ей-богу, они с места не сдвинутся, пока я не пошевелюсь, а потом преследуют меня везде, словно два конвоира. Следят за мной, блестят,

терпеливо ждут, когда я зазеваюсь, чтобы сделать что-нибудь ужасное. Посмотрите на них! Вы в них ничего не увидите. Большие, зловещие и… пустые. Глаза дикарки, чертовой полукровки, наполовину арабки, наполовину малайки. Мне больно от их взгляда! Я белый! Клянусь, я не способен это выдержать! Увезите меня отсюда. Я белый! До мозга костей белый!

Виллемс взывал к суровому небу, отчаянно доказывая хмурым тучам чистоту и превосходство своей расы, кричал, закинув голову, неистово размахивая руками, худой, оборванный, побитый — долговязый безумец, негодующий по одному ему ведомой причине, нелепый, омерзительный, убогий шут. Лингард, смотревший себе под ноги, словно погруженный в глубокие раздумья, быстро взглянул на него из-под нависших бровей. Аисса стояла, заламывая руки. На другом краю двора старуха — бледный дряхлый призрак — бесшумно выглянула поверх марева горящих углей костра и тут же незаметно опустилась обратно. Поток слов Виллемса наполнял двор, нарастал и, набрав полную силу, вдруг остановился, словно вода, переставшая бежать из опрокинутого кувшина. Стоило ему замолчать, как в свои права вступил гром, заявивший о себе низким рыком

из-за холмов. Раскат грома начался с неуверенного бормотания, которое нарастало, как волна, и превратилось в рев, катящийся по речному руслу, пролетевший мимо с оглушительным треском и тут же затихший, рассыпавшись на монотонные, глухие отзвуки в бесконечных извилистых низовьях реки. Безбрежная, непоколебимая тишина хлынула в пустоту, оставленную грохотом, и вновь нависла над великим лесом, над неисчислимыми полчищами неподвижных деревьев и живых людей, все такая же глубокая и абсолютная, как будто ее веками ничего не нарушало. В этом безмолвии слух Лингарда уловил голос реки, тихий, слабый и грустный, подобный кротким бесплотным голосам, сетующим о прошлом в спокойном сне.

Капитан ощутил в душе великую пустоту. Ему казалось, что внутри у него образовалось большое темное пространство, в котором мысли потерянно бродили, не находя ни покоя, ни смерти, ни выхода наружу, чтобы освободиться от жуткого гнета. Уговоры, действия, гнев, прощение — все это представлялось бесполезным и тщетным, не заслуживающим усилий рук и ума. Казалось, что он мог бы простоять так — в полном бездействии — до скончания времен. Его как будто удержи-

вала на месте невидимая тяжелая цепь. Нет, так не пойдет. Он немного отступил от Виллемса и Аиссы, отделив их от себя, и взглянул на них со стороны. Ему показалось, что они стояли от него намного дальше, чем на самом деле. А ведь он всего-то сделал три шага. Еще один шаг, и голос их умолкнет — навсегда. Их фигуры выглядели меньше натуральной величины, имели четкие контуры, как статуэтки, вырезанные тщательно, до мельчайших деталей, рукой опытного мастера. Лингард опомнился. К нему вернулась его обычная решительная рассудительность. Он как бы посмотрел на пару с большой, недосягаемой высоты.

— Ты одержим дьяволом, — медленно произнес капитан.

— Да, — мрачно согласился Виллемс, — и этот дьявол красив, вы не находите?

— Такие рассуждения я слышал уже не раз, — отмахнулся Лингард и, сделав небольшую паузу, продолжил: — Я ни о чем не сожалею. Я подобрал тебя в порту, как полудохлого котенка, ей-богу. И не жалею ни об этом, ни о других поступках. Абдулла, еще два десятка других, несомненно, сам Хедиг — все они были против меня. Для них это бизнес, ничего личного. Но чтобы и ты… Деньги

идут к тому, кто способен их подобрать и кому хватает сил их сохранить, но ты — другое дело. Я считал тебя частью своей жизни. Старый дурак…

Так оно и было. Дуновение этих слов снова раздуло тлевшую в груди Лингарда искру отеческой прихоти, выделявшую его, хитрого и неразборчивого в средствах авантюриста, из шумной толпы подлых, довольных собой, беспринципных людей, так на него похожих.

— Дьявол не я, — быстро вставил Виллемс. — Не ищите дьявола во мне, капитан Лингард.

— А откуда же он взялся, будь ты проклят! Откуда? — перебил его Лингард, повышая голос. — Ты когда-нибудь видел, чтобы я крал, обманывал, лгал? Скажи! Видел? А? Из какой преисподней ты вылез, когда я подобрал тебя на улице? Да что теперь… Ты больше никому не сможешь причинить зла.

Виллемс придвинулся, глядя на своего покровителя с большой тревогой. Лингард, чеканя, продолжал:

— На что ты надеялся, когда попросил меня о встрече? На что? Ты же меня знаешь. Я Лингард. Ты жил со мной. Ты слышал, что обо мне говорят. И ты прекрасно понимаешь, что натворил. Ну так чего ты ожидал?

— Почем я знаю? — простонал Виллемс, заламывая руки. — Я был один среди толпы адских дикарей, полностью преданным в их руки. Когда дело было сделано, я был настолько растерян, настолько слаб, что призвал бы и дьявола в союзники, если бы он еще мог помочь мне, а не сделал уже свое дело. Во всем мире есть только один человек, которому я не безразличен. Только один белый человек. Вы! Уж лучше ненависть, чем одиночество! Даже смерть лучше! Я ожидал… сам не знаю чего. Чего-то, что вызволило бы меня отсюда. Прочь с ее глаз!

Виллемс расхохотался. Смех напал на него против воли, прорвавшись на поверхность из-под слоя горечи, презрения к себе, отчаянной неспособности постигнуть собственную натуру.

— Подумать только. Когда я впервые ее увидел, мне показалось, что всей моей жизни не хватит, чтобы… А теперь, когда я смотрю на нее — это же она все сделала! Я, должно быть, тронулся умом. Так и есть. И всякий раз, когда я ее вижу, она напоминает мне о моем безумии. Как страшно… Подумать только, вся моя жизнь, мое будущее, разум, труд, — все пропало, осталась одна она, причина моего разорения, да еще вы, кого я смертельно оскорбил.

Виллемс на мгновение спрятал лицо в ладонях, а когда опустил их, выражение относительного спокойствия на нем сменилось диким смятением.

— Капитан Лингард… куда угодно… хоть на необитаемый остров… я обещаю…

— Заткнись! — грубо оборвал его Лингард.

У него внутри вдруг все окаменело.

Чахлый свет туманного утра с видимой неохотой медленно уползал со двора, с реки, с вырубок в загадочную тишь мрачной лесной чащи. Тучи над головой образовали непроницаемый черный свод без единого просвета. В воздухе, однако, по-прежнему стояла необъяснимая духота. Лингард расстегнул пуговицы, раздвинул полы куртки и, наклонив голову, отер пот со лба. Глянув на Виллемса, он сказал:

— Твои обещания ничего не стоят. Я сам займусь твоим поведением. Слушай внимательно и не перебивай. Ты мой пленник.

Виллемс едва заметно дернул головой и затих, словно окаменел и перестал дышать.

— Ты останешься здесь, — продолжил Лингард с угрюмой неторопливостью. — Тебя нельзя выпускать к людям. Кто способен предположить, угадать, вообразить, что скрывается в

твоей душе? Даже я не смог! Я буду держать тебя здесь. Если тебя выпустить, ты вернешься к доверчивым людям, будешь опять лгать, красть, жульничать ради жалких грошей или какой-нибудь женщины. Я не собираюсь тебя убивать, хотя так было бы надежнее. Но я не стану. Не жди, что я тебя прощу. Для прощения требуется сначала разозлиться, возненавидеть, а у меня не осталось никаких чувств: ни гнева, ни презрения, ни разочарования. Для меня ты больше не тот Виллемс, с которым я сдружился, кому помогал и в радости, и в горе, кого высоко ценил. Ты не человек, которого можно уничтожить или простить. Ты горький осадок, бесплотная мысль, которую нельзя высказать вслух. Ты мой позор.

Лингард замолчал и посмотрел по сторонам. До чего же темно! Как будто из мира, не дожидаясь его конца, уходит свет, а воздух исчез и того быстрее.

— Разумеется, — продолжал он, — я позабочусь, чтобы ты не умер с голоду.

— Уж не хотите ли вы сказать, что я обречен жить в этом месте, капитан Лингард? — спросил Виллемс деревянным голосом.

— Разве я когда-нибудь говорю не то, что думаю? Ты сам сказал, что не желаешь здесь умереть. Ну

так живи… пока не передумаешь, — добавил он, будто высказывая вслух неожиданно появившуюся мысль.

Пристально глянув на Виллемса, он покачал головой:

— Ты один. Тебе никто и ничто не поможет. Никто и не станет. Ты не белый и не темнокожий. Твоя шкура не имеет цвета, у тебя нет сердца. Твои сообщники отказались от тебя, отдав мне, потому что со мной пока еще вынуждены считаться. Ты здесь один, ты и эта женщина. Говоришь, что все делал ради нее? Что ж, теперь она твоя.

Виллемс что-то промямлил и запустил руки в волосы, да так и остался стоять, не меняя позы. Наблюдавшая за ним Аисса повернулась к Лингарду.

— Что вы ему сказали, Раджа Лаут? — воскликнула она.

Ее растрепанные волосы зашевелились, кусты на берегу реки дрогнули, большое дерево, под которым они стояли, кивнуло, вдруг зашуршав листьями, словно внезапно оторванное от неспокойного сна. Пахнуло горячим, обжигающим воздухом, над головой клубилась колышущаяся, непроницаемая пелена туч, за которой, как в неспокойном море, казалось, ворочалось какое-

то неведомое чудовище.

С жалостью посмотрев на женщину, Лингард ответил:

— Я сказал ему, что он будет жить здесь всю оставшуюся жизнь. С тобой.

Солнце погасло за тучами, как догорающая свеча. В удушающей мгле три человеческие фигуры выглядели бесцветными и напоминали тени, словно окутанные темным перегретым паром. Аисса посмотрела на Виллемса, неподвижно, словно окаменевший, стоявшего, запустив в волосы руки. Повернувшись к Лингарду, она крикнула:

— Вы лжете! Лжете! Как все белые. Вы все лгуны. Вы, кого унизил Абдулла… Вы лжете!

Ее слова, резкие, ядовитые, выталкивало наружу тайное презрение, жгучее желание уязвить, невзирая на последствия, безудержное женское стремление любой ценой причинить боль, хотя бы и звуком своего голоса, лишь бы выплеснуть накопившийся в сердце яд ненависти.

Виллемс опустил руки и что-то промямлил. Лингард невольно оборотил к нему ухо и расслышал нечто похожее на «вот, значит, как», потом еще бормотание и, наконец, вздох.

— Для остального мира, — сказал Лингард, так

и не дождавшись внятного ответа, — ты мертв. Никто больше не будет тыкать мне в лицо твоей подлостью, никто больше не сможет указать на тебя и заявить: «Вон идет тот мерзавец, которого пригрел Лингард». Считай, что ты здесь похоронен.

— И вы думаете, что я здесь останусь? Послушаюсь вас? — вспыхнул Виллемс, заново обретя дар речи.

— Не обязательно оставаться прямо здесь, — сухо поправил Лингард. — Есть еще лес. Ты можешь уплыть. Пятнадцать миль вверх по реке или сорок — вниз. В одном конце тебя ждет встреча с Олмейером, в другом — с океаном. Выбирай.

Лингард нерадостно усмехнулся и, посерьезнев, добавил:

— Но есть и другой выход.

— Если вы намерены обречь мою душу на вечное проклятие, подтолкнув меня к самоубийству, то у вас ничего не выйдет, — возбужденно воскликнул Виллемс. — Я буду жить. Буду каяться. Возможно, убегу. Заберите от меня эту женщину! Грех — это она.

Искривленное огненное жало надвое разорвало далекий темный горизонт, озарило сумрачную землю ослепительным, зловещим светом. Где-то

вдали зарокотал гром — голос исполина, бормочущего угрозы.

— Мне плевать, что ты будешь делать, — сказал Лингард, — однако могу сказать, что твоя жизнь и ломаного гроша не стоит без этой женщины. Тут есть один малый, кто… Да и сам Абдулла не станет церемониться. Подумай об этом! К тому же она тебя не отпустит.

Лингард, еще не договорив, двинулся в направлении маленькой калитки. Не оглядываясь, он почувствовал, что Виллемс идет за ним как привязанный. Когда капитан перешел в большой двор, он услышал за спиной его голос.

— Пожалуй, она была права. Мне следовало вас застрелить. Хуже бы не стало.

— Еще не поздно, — ответил Лингард, не оборачиваясь и не сбавляя шага. — Да только тебе не хватит духу. Ты даже на это не способен.

— Не провоцируйте меня, капитан Лингард, — воскликнул Виллемс.

Капитан резко обернулся. Виллемс и Аисса остановились. Еще одна раздвоенная молния разорвала тучи над головой, яркая, зловещая, мгновенная вспышка озарила лица, тут же ахнул одиночный оглушительный раскат грома, за которым последовал шелест, похожий на испу-

ганный вздох притихшей земли.

— Не провоцировать! — сказал старый моряк, как только утих гром. — Ха! Кого тут провоцировать? Вот еще не было заботы.

— Вам легко говорить, зная, что во всем мире — во всем мире! — у меня, кроме вас, нет ни одного друга.

— А кто виноват?

В сравнении с громовым, потрясающим голосом небес их собственные голоса звучали жалобно и хило, как писк лилипутов, и они оба враз замолчали. Мимо них вереницей прошли гребцы Лингарда с веслами на плече, держа головы прямо и глядя вперед, на реку. Али шел последним и задержался рядом с Лингардом.

— Одноглазый Бабалачи уехал, забрав с собой всех женщин. Все забрал — горшки, сундуки. Большие. Тяжелые. Три сундука.

Али ухмыльнулся, словно рассказал что-то смешное, и тут же с серьезным видом добавил:

— Дождь скоро начнется.

— Мы возвращаемся, — буркнул Лингард. — Готовь лодку.

— Так точно, сэр! — по-военному выпалил Али и побежал догонять гребцов. Он прежде ходил в море с Лингардом помощником боцмана, но

потом осел в Самбире в роли домоправителя при Олмейере. Семеня к берегу, Али с гордостью думал, что непохож на неграмотных гребцов и знает, как правильно отвечать на команды великого белого капитана.

— Вы с самого начала меня не понимали, капитан Лингард, — сказал Виллемс.

— Вот как? Ничего страшного. Главное, чтобы ты правильно понимал, что я говорю, — ответил тот, медленно спускаясь к месту причаливания.

Виллемс шел за ним, не отставала Аисса.

Двое гребцов протянули руки, чтобы помочь Лингарду сесть в лодку. Он осторожно, грузно ступил в каноэ, опустился в стоявший посреди лодки шезлонг и, откинувшись на спинку, повернул голову к двум фигурам на берегу. Глаза Аиссы не отпускали его лицо в нетерпеливом ожидании, когда он наконец оставит их одних. Взгляд Виллемса был направлен поверх каноэ, на лес на другом берегу реки.

— Давай, Али, — в полголоса скомандовал Лингард.

Лица гребцов оживились, по рядам пробежал тихий шепоток. Передний гребец оттолкнулся концом весла, развернув нос лодки к течению, и каноэ быстро скользнуло к стремнине, чиркнув

кормой о низкий берег.

— Мы еще увидимся, капитан Лингард! — крикнул Виллемс срывающимся голосом.

— Никогда! — полуобернувшись, бросил Лингард, свирепо сверкнув покрасневшими глазами из-за высокой спинки шезлонга.

— Надо пересечь реку, на той стороне течение не такое быстрое, — посоветовал Али.

Он налег на свое весло, далеко отклонив туловище над кормой, потом выпрямился, присев в позе обезьянки, запрыгнувшей на верхнюю жердочку, и скомандовал:

— Дайонг!

Весла дружно ударили о воду. Каноэ наискось ринулось поперек реки, сносимое вниз собственным движением и сильным течением.

Лингард посмотрел за корму. Женщина погрозила ему кулаком и присела на корточки рядом с неподвижной мужской фигурой. Через некоторое время она выпрямилась и, намочив край хиджаба, попыталась стереть засохшую кровь с безучастного лица Виллемса. Лингард отвернулся и с усталым вздохом вытянул ноги. Голова наклонилась вперед, борода веером расстелилась на груди, кончики седых волос слабо шевелились на сквозняке, вызванном быстрым движением

лодки, что несла его прочь от пленника — единственного человека, с которым ему было стыдно показаться на глаза другим.

Каноэ вернулось в зону видимости Виллемса, и он жадно вцепился взглядом в маленький, но отчетливый на фоне темного леса силуэт. Он хорошо различал мужскую фигуру в середине лодки. Виллемс всю жизнь чувствовал за плечом ободряющее присутствие этого человека, всегда готового прийти на помощь, похвалить, посоветовать, дружески пожурить, воодушевленно одобрить. Этот человек внушал веру в себя своей силой, бесстрашием и безыскусным добросердечием. И вот он уходит. Надо его вернуть.

Виллемс крикнул, но слова, которые он хотел перебросить через всю реку, казалось, беспомощно падали к его ногам. Аисса попыталась остановить его, схватила за плечо, но он сбросил ее руку. Виллемс страстно желал вернуть свою ускользающую жизнь. Крикнул опять, но на этот раз даже сам себя не услышал. Все без толку. Он больше не вернется. Виллемс стоял пришибленный, глядя на фигуру в белом, развалившуюся в шезлонге посреди лодки. Она внезапно показалась ему ужасной, бессердечной, странной в своем неестественном скольжении по поверх-

ности воды, при котором не меняла вальяжной позы.

Некоторое время ничего вокруг не шевелилось, кроме каноэ, бегущего вверх по реке с такой плавностью и легкостью, что движение не ощущалось вовсе. Над головой тучи сомкнулись в непроницаемый свод, словно им не давала разойтись какая-то мощная сила, по их неровной поверхности то и дело пробегали сполохи — слабое отражение далекой грозы, уже разразившейся на побережье и постепенно с низким, злобным ворчанием продвигавшейся вверх по реке. Виллемс смотрел на реку, оцепенев подобно всему своему окружению. Двигались одни его глаза, преследовавшие каноэ, которое размеренно, решительно и неотвратимо уносило Лингарда, как если бы оно уплывало не по великой реке в Самбир, а прямиком в прошлое, многолюдное и в то же время пустынное, похожее на старое кладбище со множеством запущенных могил, где похоронены те, кто уже никогда не вернется.

Время от времени Виллемс ощущал лицом доносившееся из-за леса теплое дыхание — одышку загнанного мира. Отяжелевший воздух разорвал резкий порыв ветра и принес с собой сырой вкус дождя. Бесчисленные макушки деревьев

в лесу качнулись влево и вернулись в прежнее положение, отчаянно размахивая ветвями и шелестя листвой. По речной глади пробежала рябь, тучи лениво заворочались, меняя форму, но не положение, будто их кто-то тщательно перемешивал, а когда перестали дрожать даже самые тонкие ветки, на короткое время и землю, и небо вновь охватила великая неподвижность, сквозь которую пробивался далекий голос грома, непрерывно и настойчиво рокочущего с громкими трескучими раскатами, словно грозный, сердитый монолог разгневанного бога. На мгновение гром затих, прилетел новый порыв ветра, гоня перед собой белесый туман, наполнивший все пространство водяной пылью, разом скрывшей от глаз Виллемса и каноэ, и лес, и саму реку. Он очнулся от оцепенения, сиротливо поежился, посмотрел по сторонам, но не увидел ничего, кроме мелких водяных брызг, гонимых набиравшим силу бризом. Эту взвесь пробивали падавшие вниз большие тяжелые капли, звонко шлепая по иссохшей земле. Виллемс сделал несколько торопливых шагов по двору, как вдруг на него обрушилась сплошная стена воды. Она забивала нос и рот, поливала голову, липла к телу, сбегала по туловищу, рукам и ногам. Виллемс

остановился, разевая рот; дождь лил на него водопадом, хлестал косыми шквалами, капли впивались в него сверху, со всех сторон; крупные, компактные они били со всех направлений, как будто их горстями швыряла разъяренная толпа. От потревоженной земли повалил пар, почва стала мягкой, плавилась под ногами, из-под ног вверх, навстречу потоку, падающему с хмурых небес, взлетали фонтаны воды. Виллемса охватил безумный ужас — ужас перед окружающим морем воды, бежавшей на него по двору, наседавшей со всех сторон, косыми полосами, розовыми от сполохов молний над головой, хлеставшей по лицу. Казалось, вода и огонь чудовищным образом перемешались в одну массу, чтобы вместе обрушиться на оглушенную землю.

Виллемс хотел броситься бегом, однако ноги разъезжались на земле, внезапно обратившейся в жидкую грязь. Он пробирался по двору, как сквозь толпу, нагнув голову, выставив плечо вперед, с частыми остановками, а иногда отступая на один-два шага, не в силах противостоять напору воды. Аисса не отставала от него, останавливалась, когда останавливался он, отступала вместе с ним, вместе с ним шла вперед по скользкому подъему. Первый же мощный ливень, казалось,

смыл все, что прежде находилось во дворе. Глазу не за что было зацепиться. Дерево, кусты, дом, ограда — все скрылось за плотной завесой дождя. Волосы облепили голову, одежда пристала к телу, вода струилась по голове и плечам. Они терпеливо, медленно и прямо продвигались сквозь то вспыхивавшую, то мрачную пелену дождя под непрерывные раскаты грома, как два обреченных на вечную связь с водой, неприкаянных призрака-утопленника, вылезших из реки, чтобы посмотреть на всемирный потоп.

Слева из мглы, словно приветствуя их, показалось дерево, едва узнаваемое, высокое, неподвижное, терпеливое. Бесчисленные листья жалобно шелестели под каплями, с безжалостной торопливостью прокладывавшими себе дорогу через его крону. Справа из тумана выплыл почти черный дом, по крутым скатам крыши которого гулко барабанил дождь, а поток с шумом переливался через свес. Вода прозрачным мелким ручьем бежала вниз по сходням, а когда Виллемс начал подъем, обтекала его ступни, как будто он поднимался по руслу быстрой мелкой горной реки. Подошвы оставляли на сходнях грязные смазанные следы, на короткое мгновение нарушавшие чистоту потока. Наконец он добрался до

помоста из бамбука перед дверью под нависающим краем крыши.

Низкий стон и жалобное прерывистое бормотание заставили Виллемса замереть на пороге. Он осмотрелся в полутьме и увидел у стены бесформенный силуэт старухи. Пока он смотрел на нее, сзади его плеч коснулись две руки. Аисса! Он совсем про нее забыл. Виллемс обернулся, Аисса немедленно обняла его за шею и прижалась к нему всем телом, словно опасаясь, что он оттолкнет ее и убежит. Виллемс напрягся, ощутив неприязнь, ужас, душевный протест, а она повисла на нем, словно ища защиты от невзгод, бури, изнеможения, страха и отчаяния, вложив в это жуткое, яростное и скорбное объятие последние силы — лишь бы укротить его, навсегда удержать возле себя.

Глядя ей прямо в глаза, Виллемс попытался молча высвободить свою шею из цепких пальцев, наконец силой разомкнул ее руки, крепко схватил за запястья и, приблизив к ней распухшее лицо, сказал:

— Это ты во всем виновата. Ты…

Аисса не поняла ни слова. Виллемс говорил на языке своего племени, не ведавшего пощады и стыда, к тому же сердился. Увы! Он теперь почти

все время сердился, все время говорил по-чужому. Она молча стояла и терпеливо смотрела на него. Виллемс пару раз встряхнул ее кисти и отпустил.

— Не ходи за мной! — крикнул он. — Я хочу побыть один. Один! Понятно?

Он вошел в дом, оставив дверь открытой.

Аисса не сдвинулась с места. Как не понять слова, когда они сказаны таким тоном? Его нынешний тон совсем непохож на тот, каким он разговаривал с ней у ручья, когда не сердился и постоянно улыбался! Глядя на темный дверной проем и склонив голову набок, она рассеянно отжала воду из длинных волос с печальным сосредоточенным видом, словно прислушиваясь к внутреннему голосу горького бесплодного сожаления. Гроза прекратилась, ветер затих, дождь отвесно падал ровной стеной в сером чистом воздухе, далекое солнце победоносно разгоняло черные тучи. Аисса стояла у порога. Одинокая фигура Виллемса маячила в сумраке дома. Молчит. О чем он сейчас думает? Чего боится? Чего желает? Определенно не ее, как желал в те дни, когда еще умел улыбаться. Как узнать?

С приоткрытых губ Аиссы слетел в окружающий мир вздох, родившийся в самой глубине сердца: неслышный, глубокий, надрывный —

вздох, полный боли и страха. Так вздыхают люди перед ликом неизвестности, одиночества, сомнений и отчаяния. Аисса выпустила из рук волосы, и те тут же облепили плечи, как траурная накидка, и осела на пол. Схватившись за щиколотки, женщина уткнула голову в колени и замерла под черным покрывалом волос. Она думала о днях, проведенных вдвоем у ручья, обо всем, из чего состояла их любовь, и сидела в скорбной, сиротливой позе плакальщицы, что льет слезы у одра мертвеца.

Часть V
Глава 1

Олмейер сидел на веранде, упершись локтями в стол, подперев голову обеими руками, и смотрел прямо перед собой поверх полоски молодой травы во дворе и куцей пристани, облепленной маленькими каноэ, над которыми, как белая гусыня над чернявыми гусятами, возвышалась большая китобойная шлюпка, мимо стоявшей на якоре посреди реки шхуны и леса на левом берегу, проникая взглядом за пределы иллюзорного материального мира.

Солнце клонилось к закату. К небу, сплетаясь в плотную тонкую паутину, поднимались нити белого пара, тут и там собиравшегося в белые клубки тумана. На востоке из-за рваной каймы леса выглядывали вершины облачных хребтов, робко, медленно, словно боясь потревожить сверкающее оцепенение земли и неба, набиравшие высоту. За исключением шхуны речная поверхность перед домом была пуста. Из-за речной излучины появилось и медленно проплыло на пути к своей океанской могиле, проследовав че-

рез почетный караул застывших по обе стороны реки живых собратьев, одинокое, вырванное с корнями мертвое дерево.

Сжимая лицо в ладонях, Олмейер тихо ненавидел все вокруг: мутную реку, линялую синеву неба, проплывающее мимо в свой первый и последний путь черное бревно, зеленое море листвы, сияющее, блестящее, шевелящееся над непроницаемым лесным мраком, — веселое море живой зелени, обрызганное золотой пыльцой косых солнечных лучей.

Он ненавидел все без разбора, сожалел о каждом дне, каждой минуте, проведенной в этом окружении, сожалел горько и злобно, с бешеным остервенением, как скряга, вынужденный делиться богатством с бедным родственником. При этом все это приносило огромную пользу, сулило блестящее будущее.

Олмейер в раздражении отпихнул стол, встал, сделал несколько бессмысленных шагов, остановился у балюстрады и снова посмотрел на реку, которая могла бы обогатить его, если бы не…

— Какое гнусное животное! — пробормотал он.

Рядом никого не было, но Олмейер говорил вслух, как делают люди, захваченные врасплох сильной, настойчивой мыслью.

— Животное! — повторил он.

Река потемнела, темный силуэт одинокой шхуны изящно покоился на поверхности воды, две стройные тонкие мачты прямыми линиями упирались в небо. Вечерние тени выползали из леса, перелезая с ветки на ветку, длинные солнечные лучи золотили макушки деревьев, подсвечивали нагромождения облаков, придавая им торжественный, пламенеющий вид, наполняли их последним светом дня. Внезапно свет погас, словно утонул в безбрежной голубой пустоте неба. Солнце зашло. Лес немедленно превратился в непроницаемую и бесформенную темную стену. Поверх деревьев у края блуждающих облаков робко мигала одинокая звезда, то и дело заслоняемая невидимыми, поднимавшимися с земли потоками испарений.

Олмейер ничего не мог поделать с поселившейся в груди тоской. Он слышал, как Али накрывает стол для ужина, и с настороженным вниманием прислушивался к вызванному действиями слуги шуму — звону стекла, стуку ножей и вилок. Али вышел. Сейчас он снова вернется, позовет за стол. Олмейер, несмотря на тяжесть мыслей, ждал момента, когда будут произнесены знакомые слова. И слуга действительно старательно и отчетливо

выговорил по-английски:

— Готово, сэр!

— Хорошо, — буркнул Олмейер.

Он все еще был погружен в мысли и стоял спиной к столу, на который Али поставил зажженную лампу. Олмейер думал: «Где сейчас Лингард? Вероятно, на полпути отсюда к морю, на корабле Абдуллы. Вернется дня через три, а может, и быстрее. А что потом? Потом шхуне придется покинуть реку, и они с Лингардом останутся здесь одни с постоянной мыслью об этом мерзавце, что живет у них под боком! Надо же было такое придумать — оставить его в этом месте до конца жизни. До конца жизни! Да и что это означало? Год? Десять лет? Какая нелепость — держать его здесь десять или даже двадцать лет! Шельмец запросто мог протянуть и больше двадцати лет. И все это время его придется сторожить, кормить, обслуживать. Один Лингард мог такое придумать. Двадцать лет! Ну уж нет! Через десять лет они накопят состояние и уедут. Сначала в Батавию, — да, в Батавию — а уж оттуда в Европу. Лингард, скорее всего, захочет вернуться в Англию. А Виллемса здесь оставит? На кого он будет похож через десять лет? Одряхлеет поди. Да и черт с ним. Нине исполнится пятнадцать. Она

станет богатой прелестной барышней, да и сам он будет еще не так стар.

Олмейер улыбнулся в темноту.

Да-да, богатой! А как же еще! Капитан Лингард смекалистый мужик, денег у него и сейчас немало. Они и так уже богаты, но этого мало. Определенно мало. Деньги идут к деньгам. Золото — хорошая мысль. Замечательная! Капитан Лингард удивительный человек. Раз обещал, что в верховьях реки есть золото, значит, оно там есть. Он не бросает слов на ветер, но иногда его посещают странные фантазии. Хотя бы с тем же Виллемсом. На кой ляд оставлять его в живых? Зачем?

— Вот же прохвост, — пробормотал Олмейер.

— Макан туан! — неожиданно крикнул Али громким приглушенным голосом.

Олмейер подошел к столу, сел — встревоженное лицо окунулось в круг света, отбрасываемый лампой с абажуром, — и рассеянно принялся жевать.

Нет, Лингард именно тот человек, за кого следовало держаться: никогда не унывает, ловок, находчив. Как быстро он наметил новое будущее, после того как предательство Виллемса подорвало их положение в Самбире! Оно и сейчас не так

еще плохо. Каким безоговорочным уважением пользовался Лингард у всех этих людей — арабов, малайцев и прочих. Ах как приятно называть такого человека отцом. Интересно, сколько денег у старика на самом деле? Ходят разные слухи. Люди, конечно, преувеличивают, но если хотя бы половина из того, что говорят, правда, то…

Закинув голову, Олмейер осушил бокал и вернулся к мыслям.

Если бы этот Виллемс зашел с правильного козыря, держался за старика, то сейчас сидел бы здесь вместо него, Олмейера, женатый на приемной дочери Лингарда, и будущее его было бы обеспечено.

— Ур… род! — прорычал Олмейер с набитым ртом.

Али стоял неподвижно, с бесстрастным лицом, его взгляд терялся в ночи, обступившей маленький освещенный круг со столом, стеклянной посудой, бутылкой и головой Олмейера, мерно двигавшей челюстями над тарелкой.

Лингард — замечательный человек, однако никогда не знаешь, что он выкинет в очередной раз. Говорят, однажды пристрелил белого за куда меньший проступок. За меньший? Да ни за что, по сути! Лингард даже не был замешан

в том споре. Какой-то там малаец возвращался из паломничества с женой и детьми. Его то ли похитили, то ли ограбили. Старая глупая байка. А Виллемс такое вытворяет, и ему все сходит с рук! Лингард вернулся, много рассуждает о пленнике, но ничего конкретного из него не вытянешь. Что ему сказал Виллемс? Что между ними произошло? О чем думал старый пройдоха, отпуская этого негодяя? А Джоанна? Уж она-то найдет подход к старику. Можно не сомневаться. Чего доброго, он его окончательно простит. Не дай-то бог. В любом случае потратит на него кучу денег. Старик упорен в ненависти, но и в привязанности упорен не меньше. Он знал эту сволочь еще ребенком. Пройдет год или чуть больше, и они помирятся. Ничего нельзя исключать. Ну почему Лингард сразу не пристрелил это животное? Сделай он это, никто бы и бровью не повел.

Олмейер вдруг отложил ложку, отодвинул тарелку и откинулся в кресле.

Он рисковал. Положительно рисковал. Его не прельщало делиться состоянием Лингарда с кем бы то ни было. Деньги Лингарда — это и деньги Нины тоже. Если Виллемс снова вотрется в доверие к старику, это будет для него, Олмейера, большим риском. Бессовестная скотина может

занять его место! Через ложь, клевету. Все пойдет прахом, пропадет. Бедная Нина! Какая доля будет ее ждать? Бедное дитя. Ради нее он обязан избавиться от Виллемса. Обязан. Но как это сделать? Лингард требует послушания. Виллемса нельзя просто-напросто убить. Это может разозлить Лингарда. Невероятно, но это правда. Он мог бы…

Жар волной прокатился по телу Олмейера, он раскраснелся и обильно вспотел. Заерзал в кресле, сжал под столом руки. Какая жуткая перспектива! Он представил себе, как Лингард и Виллемс, помирившись, уходят под ручку за горизонт и бросают его в этой забытой богом дыре, в Самбире, в этом гиблом болоте! Все жертвы, отказ от независимости, лучшие годы жизни, потворство капризам и фантазиям Лингарда — все коту под хвост! Какой ужас! Мысли Олмейера немедленно перекинулись на маленькую дочь — его дочь! — и кошмар его положения стал просто невыносимым. Глубокое, внезапно налетевшее волнение при мысли, что жизнь ребенка будет погублена, не успев толком начаться, чуть не довело его до обморока. Жизнь его дорогой малютки! Олмейер откинулся на спинку кресла, закрыв лицо руками.

Али безучастно взглянул на него и спросил:

— Хозяин, вы закончили?

Олмейер тонул в потоке жалости к себе и к дочери, которую, возможно, вовсе не ждала участь самой богатой в мире барышни, что бы там ни обещал Лингард. Он не расслышал вопроса и сквозь пальцы подавленно пробормотал:

— Что ты спросил? Что закончено?

— Убрать со стола?

— Убрать? — рявкнул Олмейер в порыве необъяснимого ожесточения. — Черт бы побрал и тебя, и этот стол! Дурак! Типун тебе на язык! Челакка! Вон отсюда!

Олмейер подался вперед, сверля взглядом управляющего, потом обмяк в кресле, свесив руки по сторонам. Он так глубоко погрузился в напряженные мысли, что лицо потеряло всякое выражение, а взгляд остановился в пространстве.

Али принялся убирать со стола. Слуга небрежно бросил стакан, ложку и вилку на грязную тарелку, поставил ее прямо на блюдо с остатками еды, сунул бутылку под мышку и вышел.

— Гамак приготовь! — крикнул ему вслед Олмейер.

— Ада! Я скоро вернусь, — ответил Али с порога обиженным голосом, бросив взгляд через плечо.

Как можно одновременно убирать со стола и готовить гамак? Я-ва! Все эти белые одинаковы. Все им подавай сию минуту. Как малые дети, право.

Неотчетливое уязвленное бормотание растаяло вместе с мягким шлепаньем босых ног в темном коридоре.

Некоторое время Олмейер сидел не шевелясь: мысли обтесывали судьбоносное решение. В полной тишине ему казалось, что он буквально слышит их работу, как стук молотков. Он явственно ощущал слабое, глубинное, тревожное биение где-то внутри груди, слышал быстрые и частые глухие удары в ушах. Время от времени непроизвольно задерживал дыхание, затем, опомнившись, с глухим присвистом делал глубокий выдох. Свет лампы на другом конце стола захватывал часть пола, где из-под стола торчали его вытянутые ноги, прямые, с задранными носками, как ноги мертвеца. Неподвижное лицо с нацеленными в одну точку глазами тоже напоминало бы труп, если бы не отрешенное, но все еще сознательное выражение — жесткое, тупое, каменное выражение живого человека, придавленного пеплом, прахом и гнилью себялюбивых мыслей, подленького страха, эгоистичных желаний.

— Так я и сделаю!

Олмейер понял, что высказал мысль вслух, только услышав звук собственного голоса. Он вздрогнул и поднялся. Опершись костяшками пальцев о стол, Олмейер замер, приоткрыв рот, и подумал: «С Лингардом не стоит шутить. Однако риска не избежать. Иного пути просто нет. Я должен ей рассказать. Немного ума у нее все-таки есть. Ах если бы они с Виллемсом были отсюда за тысячу, за сто тысяч миль! А что, если не получится и она проболтается Лингарду? Она ведь дура-дурой. Нет, скорее всего, они сбегут вместе. А если действительно сбегут, поверит ли мне Лингард? Поверит. Я никогда его не обманывал. Как знать? А вдруг не поверит? Нет, я просто обязан это сделать. Обязан!»

Олмейер долго стоял, глядя прямо перед собой, словно следя завороженным взглядом, как приходят в равновесие, чуть подрагивая, чаши весов.

Слева от него в беленой стене дома, служившей задником веранды, находилась закрытая дверь. Черные буквы сообщали, что она ведет в контору компании «Лингард и К°». Лингард обустроил контору, когда, не жалея средств на роскошь, обставлял дом для приемной дочери и ее мужа. В кабинете стояли письменный стол, вращающее-

ся кресло, книжные полки, сейф — все это было куплено в угоду Олмейеру, считавшему наличие таких атрибутов необходимым условием успешной торговли. Подняв зятя на смех, Лингард тем не менее тщательно исполнил все его пожелания. Капитан был рад угодить своему протеже и мужу приемной дочери. Пять лет назад это произвело в Самбире настоящую сенсацию. Пока обстановку выгружали на берег, все население поселка удивлялось, восхищалось, буквально дневало и ночевало у дома Раджи Лаута. Какой большой стол, как много книг помещаются в него и над ним! Зачем белому человеку такой стол? Ой, посмотрите, братья, на этот зеленый квадратный сундук с золотой табличкой: он такой тяжелый, что двадцать человек не могут втащить его на берег. Пойдемте поможем тянуть за канаты, братья, авось одним глазком увидим, что в нем спрятано. Не иначе какие-нибудь сокровища, золото. Оно всегда тяжелое, братья. Пойдемте получим награду от свирепого раджи морей, вон он кричит с багровым лицом. Смотрите, человек несет стопку книг! Как их много! Зачем они нужны? Старый хромой кормчий, побывавший во многих морях и слышавший рассказы о дальних странах, объяснил кучке невежественных обитателей Самбира,

что это колдовские книги, которые помогают белым водить корабли по морям, дают им коварную мудрость и силу; именно это колдовство делает их великими, могущественными, непобедимыми при жизни и — слава аллаху! — отдает их в руки шайтана, отправляя рабами в джеханнум после смерти.

Осмотрев обставленный кабинет, Олмейер проникся гордостью. Недалекий бумагомарака возомнил, что обстановка сама по себе сделает его хозяином успешного предприятия. Ради этой видимости он и запродал душу Лингарду — женился на удочеренной капитаном малайке в обмен на эту награду и на великое богатство, которое, несомненно, должно было явиться как следствие аккуратного бухучета. Очень быстро выяснилось, что торговые операции в Самбире сильно отличались от воображаемого идеала. Перо, чернила и бумага не помогали управлять Паталоло, сдерживать старого Сахамина или обуздывать дикие выходки Бахасуна. На чистых страницах бухгалтерских книг не нашлось места волшебству, и постепенно Олмейер растерял прежнее мнение в пользу более здравой оценки положения. Конторский кабинет превратился в покинутый храм изжившего себя культа. Понача-

лу Олмейер находил в нем убежище, когда у жены случались рецидивы первобытной дикости, но когда их ребенок научился говорить и привык к отцу, он осмелел, черпая неустрашимость и утешение в безрассудном, неистовом обожании дочери, в непроницаемом покрове себялюбия, которым он окутал ее жизнь, неотделимую от его собственной жизни.

Получив распоряжение Лингарда поселить в доме Джоанну, Олмейер поставил в кабинете, единственной свободной комнате, раскладную кровать. Большой конторский стол отодвинули в угол, мечтательная, вялая, полусонная Джоанна явилась с потертым чемоданчиком и ребенком, обосновалась посреди пыли, грязи и запустения как у себя дома, где и вела унылое, скучное существование, состоявшее из горьких сожалений, робких надежд и отчаянного беспорядка. Она жила, окруженная признаками разложения нелепой, суетной атрибутики цивилизованной коммерции. Обрывки бумаг, желтые, розовые и голубые, чистые и грязные тряпки были разбросаны по полу, лежали на столе серди угрюмых, испачканных, засаленных томов с твердыми от гордости за свое европейское происхождение спинками. Часть самого большого книжного

стеллажа закрывала нижняя юбка, пояс которой держался на корешке выдвинутой книги, заменявшей прищепку. Складная парусиновая кровать стояла почти посреди комнаты, как будто ее принесли, да так и бросили где попало усталые носильщики. Джоанна целыми днями сидела на одеялах, кучей сваленных на краю кровати, положив босые ноги на подушки, которые никто не поднимал с пола. Иногда ее терзали смутные мысли о муже, но чаще всего она сидела в слезах, ни о чем не думая и глядя мокрыми глазами на маленького сына, головастого, бледного, больного Луиса Виллемса. Луис двигал по полу чернильницу с высохшими чернилами, ковыляя за ней с глубочайшей серьезностью и пристальным вниманием, свойственными маленьким детям. Из-за приоткрытых ставней в комнату проникал безжалостный резкий солнечный луч, вытеснял утреннюю серость над сейфом в дальнем углу и, повторяя движение солнца, к обеду резко делил письменный стол на две половины — темную и ослепительно яркую. В горячем свете над грязной тарелкой, забытой на столе среди пожелтевших бумаг, роились мухи. К вечеру издевательский луч припадал к изорванной нижней юбке, со злорадным удовольствием смакуя и выпячивая

ее жалкое состояние; все еще рыжий, настырный и насмешливый, он задерживался на краю пыльного книжного стеллажа и вдруг исчезал вместе с солнцем, которое уступало дорогу ночи. В комнату вторгалась темнота. Внезапная и непроницаемая, она заполняла, как паводок, все окружающее пространство. Ночь была прохладна, милосердна и слепа, ничего не видела и не слышала, кроме капризного хныканья ребенка, скрипа кровати и тяжких вздохов ворочавшейся Джоанны, которая не могла заснуть из-за чувства раскаяния за свое дурное поведение, думая о сноровистом, сильном белокуром мужчине, пожалуй, слишком грубом мужчине, который все еще был ее мужем. Джоанна не могла забыть умного красавца мужа, с кем обошлась так бессердечно по наущению дурной родни и бедной, сбитой с панталыку, дорогой матушки.

Для Олмейера присутствие Джоанны служило поводом к постоянной тревоге, неявной, но труднопереносимой, и постоянным немым предостережением о грозящей опасности. Из-за глупого добродушия Лингарда любой, на кого тот обращал хотя бы малейшее внимание, превращался для Олмейера в естественного врага. Он вполне отдавал себе в этом отчет и нередко,

вступая в тайный диалог с внутренним голосом, хвалил себя за трезвую оценку своего положения. Под воздействием этого чувства в Олмейере вспыхивала ненависть то к одному, то к другому человеку, однако Виллемса он боялся и ненавидел пуще других. Хотя предательство, казалось бы, сделало Виллемса недостойным сочувствия любого человека, Олмейер все еще не был уверен в своем положении и всякий раз мысленно скрипел зубами при виде Джоанны.

Она крайне редко выходила из комнаты днем, но в коротких опаловых сумерках или в лазурной дымке звездного вечера он часто видел перед сном стройную высокую фигуру, волочившую шлейф белого платья по засохшей грязи перед домом. Раз или два Олмейер сидел поздно вечером на веранде, положив ноги на сосновый столик, стоявший на одном уровне с лампой, и читал привезенный Лингардом выпуск «Вестника Северного Китая» семимесячной давности, как вдруг раздавался скрип лестницы. Выглянув из-за газеты, он видел худую хрупкую фигуру, с трудом поднимавшуюся по ступеням и тяжело расхаживавшую по веранде с большим толстым ребенком на руках, чья лежащая на плече матери голова, казалось, не уступала размером

голове Джоанны. Жена Виллемса периодически донимала Олмейера слезливыми обвинениями и безумными мольбами, допытывалась, куда пропал ее муж, когда он вернется, и заканчивала каждую такую сцену отчаянными бессвязными упреками в собственный адрес, которые представлялись Олмейеру лишенными всякого смысла. Один-два раза она осыпала хозяина дома бранью и обвинениями в долгом отсутствии мужа. Подобные выходки начинались безо всякого вступления и заканчивались потоком слез, бегством и хлопаньем дверью, что наполняло дом внезапной, острой, летучей нервозностью, похожей на смерч, возникавший, налетавший и пропадавший без видимых причин на прокаленных солнцем, иссохших, жалких равнинах.

В этот вечер в доме, однако, царила мертвая тишина. Олмейер молча пытался нащупать идеальное равновесие между умственными способностями Джоанны, доверчивостью Лингарда, степенью безрассудства Виллемса, собственной трусостью и боязнью упустить подвернувшуюся возможность. С тревожным вниманием он взвешивал свои страхи и желания на одной чаше весов и пугающий риск ссоры с Лингардом — на другой. Да, Лингард рассердится. Он может запо-

дозрить, что Олмейер приложил руку к побегу пленника, но вряд ли станет портить отношения с ним из-за изгоев, особенно после того, как те уберутся отсюда, отправятся к дьяволу без помощи капитана. К тому же Лингард обожал маленькую Нину. Ладно. Тоже мне пленник! Как будто Виллемса кто-то мог здесь удержать. Рано или поздно он все равно сбежит. Еще бы. Такое состояние не может долго продолжаться, это любому ясно. Чудачество Лингарда переходило все границы. Человека можно убить, но зачем его истязать? Это само по себе преступление, создающее лишнее беспокойство, хлопоты и неприятности. Олмейер был не на шутку зол на Лингарда. Он винил старика в душевных муках, которые испытывал, сомнениях и страхах, и за то, что капитан принуждал деловитого, ни в чем не повинного Олмейера к болезненным потугам ума, заставляя искать выход из дурацкой ситуации, созданной несуразной сентиментальностью собственных бестолковых душевных порывов.

— Было бы хорошо, если бы негодяй вдруг просто умер, — сказал Олмейер пустой веранде.

Он немного поерзал на месте, задумчиво почесал нос и предался мимолетной фантазии, представив, как плывет, пригнувшись, в большой

лодке в пятидесяти ярдах от места причаливания перед домом Виллемса. На дне лодки — ружье. Оно заряжено. Один из гребцов окликает Виллемса, тот отзывается — из кустов. Этот гад, конечно, осторожничает. Гребец зовет его к месту высадки, чтобы передать важное сообщение. «От Раджи Лаута», — добавляет гребец из подплывающей к берегу лодки. Виллемс, конечно, выходит. Куда он денется! Олмейер вообразил, как в нужный момент выскочит из лодки, прицелится, нажмет на спуск, как Виллемс опрокинется, упадет головой прямо в воду. Получи, свинья!

Олмейер буквально почувствовал отдачу выстрела и задрожал от возбуждения с макушки до пят. Как это просто! Но этот Лингард… Олмейер вздохнул, покачал головой. Нет, не пойдет. А жаль! Но и оставлять его здесь нельзя! Что, если Виллемса снова захватят арабы? Хотя бы для того, чтобы разведать верховья реки? Одному богу известно, чем это все может кончиться.

Чаши весов пришли в состояние покоя, указывая на необходимость безотлагательных действий. Олмейер подошел вплотную к двери, громко постучал и отвернулся, испугавшись собственной смелости. Выждав минуту, он приложил ухо к дверной филенке. Ни звука. Нацепив

угодливую улыбку, Олмейер, прислушиваясь, подумал: «Она здесь. Что она там делает? Плачет? Совсем тронулась умом, ревет день и ночь с того момента, как я исподволь, по заданию Лингарда начал готовить ее к известию о гибели мужа. Интересно, что у нее сейчас на уме? Заставлять меня из жалости к ней придумывать никчемные истории — как это в духе отца. Из жалости. Из чертовой жалости! Да что она там, оглохла, что ли?»

Он постучал еще раз и дружеским тоном, улыбаясь в закрытую дверь, сказал:

— Это я, миссис Виллемс. Мне нужно с вами поговорить. У меня есть… важные новости.

— Какие?

— Важные, — с нажимом повторил Олмейер. — О вашем муже. — И сквозь зубы добавил: — О ком же еще, черт бы его побрал.

Внутри вскочили, что-то грохнулось на пол. Джоанна возбужденно крикнула:

— Новости? Что? Что? Я сейчас выйду.

— Нет, накиньте сначала какую-нибудь одежду, миссис Виллемс, и впустите меня. Это… не для чужих ушей. Свеча у вас есть?

Женщина слепо металась по комнате, натыкаясь на мебель. Опрокинулся подсвечник. Спички не зажигались. Коробка спичек упала на пол.

Джоанна рухнула на колени и стала шарить руками по полу, поскуливая от раздирающего душу нетерпения.

— О боже! Новости. Сейчас… сейчас… Ах! Где же… где эта свеча? О, боже мой! Не могу найти. Ради бога, не уходите.

— Я не собираюсь уходить, — раздраженно сказал Олмейер в замочную скважину, — но лучше поторопиться. Дело не терпит отлагательств.

Он слегка постукивал ногой, не снимая руки с дверной ручки, и думал: «Какая она все-таки дура. С чего бы мне уходить? Совсем потеряла голову. Да она в жизни не поймет, что ей говорят, своим-то умишком».

Джоанна молча суетилась за дверью. Олмейер ждал. Наступил момент полной тишины, потом измученный голос, скорее похожий на последний предобморочный вздох, прошелестел:

— Входите.

Олмейер толкнул дверь. Шагавший по коридору с охапкой подушек и одеял Али успел заметить, как хозяин скрылся в комнате постоялицы. От изумления слуга выронил узел и застыл, не веря своим глазам. Из комнаты доносился голос Олмейера. Он говорил с этой сирани! Кто она такая? Али об этом как-то не задумывался. Он попытался

собраться с мыслями: сирани, вдобавок некрасивая. Слуга скорчил презрительную гримасу, подобрал тюк и пошел привязывать гамак к столбам веранды. Все это его не касалось. Раджа Лаут привез сюда эту уродину, а хозяин разговаривает с ней, хотя уже ночь. Ну и что с того? У него, Али, есть свои дела: подвесить гамак, пойти проследить, чтобы сторожа не спали, проверить, хорошо ли привязаны лодки, цел ли замок на дверях склада, а потом — спать. Спа-а-ать! Он с наслаждением потянулся, положил обе руки на хозяйский гамак и задремал.

Неожиданный пронзительный женский визг, начавшийся сразу с самой верхней ноты и мгновенно оборвавшийся, словно кричавшую настигла смерть, заставил Али отскочить от гамака. Наступившая тишина показалась ему не менее жуткой, чем громкий крик. Он застыл на месте от удивления. Олмейер выскочил из кабинета, оставив дверь приоткрытой, прошел мимо слуги, не обратив на него никакого внимания, и прямиком направился к кувшину с водой, висящему на прохладном сквозняке. Сняв его, хозяин вернулся в комнату, чуть не задев по пути остолбеневшего Али. Олмейер почти бежал, но на пороге остановился и, закинув голову, влил

в горло тонкую струйку воды. Пока он выходил, возвращался и пил воду на пороге, из темной комнаты непрерывно доносился тихий плач сонного испуганного ребенка. Утолив жажду, Олмейер вошел внутрь, тщательно прикрыв дверь за собой.

Али не пошевелился. Как визжала эта сирани! Он ощутил невероятное любопытство, очень нехарактерное для его флегматичной натуры. Не мог оторвать глаз от двери. Она что там, умерла? И смех и грех! Али стоял, разинув рот, пока не услышал, как поворачивается дверная ручка. Хозяин опять выходил наружу. Слуга быстренько отвернулся, сделав вид, что погружен в созерцание ночной тьмы за верандой. Он слышал, как хозяин ходит, двигает стулья у него за спиной и, наконец, садится.

— Али, — позвал Олмейер.

На лице хозяина отпечатались мрачность и озабоченность. Взглянув на подошедшего к столу управляющего, он достал карманные часы. Часы тикали. Когда Лингард приезжал в Самбир, Олмейер всегда заводил часовой механизм и сверял его с судовыми часами, повторяя про себя, что уж на этот раз не даст ему остановиться. А стоило Лингарду уехать, как он забывал о нем, измеряя свою тоску одними восходами и закатами, не

обращая внимания на часы и минуты, не имевшие для жизни в Самбире никакого значения. Уныло тянулись ничем не занятые дни, когда единственную заботу вызывала оценка качества гуттаперчи и количества ротанга, а в обозримом будущем не предвиделось никаких событий, за которые можно было бы ухватиться, вокруг не происходило ничего интересного, ободряющего, достойного ожидания, ничего плохого, помимо тягучести бесконечной череды дней, и ничего хорошего, если не считать далекую, блистательную, болезненную, драгоценную надежду однажды выбраться из этой дыры.

Олмейер посмотрел на циферблат. Половина девятого. Али терпеливо ждал.

— Сгоняй в поселок, — сказал Олмейер, — скажи Махмату Банджеру, чтобы пришел сюда сегодня же вечером. Мне нужно с ним поговорить.

Али, бормоча, удалился. Поручение пришлось ему не по вкусу. Банджер и двое его братьев, известные бродяги из племени баджо, появились в Самбире недавно и получили в пользование принадлежавшую «Лингард и К°» ветхую заброшенную хижину на трех сваях за пределами участка. Али не понравилась благосклонность хозяина к чужим. На тот момент любое жилье

в Самбире высоко ценилось, и если старый прогнивший дом был не нужен хозяину, он мог бы отдать его своему верному слуге Али, а не этим злым людям. Весь поселок знал, что они злые. Было доподлинно известно, что это они украли лодку у старого дряхлого Хинопари, у которого не было сыновей, и что их агрессивное, дерзкое поведение так напугало бедного старика, что он боялся об этом даже заикнуться. Однако все и так всё знали. Это был один из тех возмутительных поступков, который осуждали, но с которым мирились, делая уступку чужой удачливости, демонстрируя молчаливое, трусливое преклонение перед силой, что живет в сердце любого человека, любого общества, любой компании в местах побольше и поважнее Самбира и, уж конечно, в самом Самбире, где один может безнаказанно украсть лодку, а другой не смеет даже покоситься на чужое весло.

Олмейер отклонился на спинку кресла и ушел в мысли. Чем больше он думал, тем больше убеждался, что Банджер с братьями именно то, что ему нужно. Эти ребята — морские цыгане, они сумеют потихоньку исчезнуть, а когда вернутся, никому — и меньше всех Лингарду — не придет в голову выпытывать, где они пропадали и чем

занимались. К тому же у них не имелось личной выгоды в делах Самбира, они ни с кем не водили дружбу, да и вообще мало что понимали.

— Миссис Виллемс! — громко позвал Олмейер.

Джоанна появилась по другую сторону стола ту же секунду, словно выросла из-под пола, заставив Олмейера вздрогнуть. Между ними стояла лампа, и Олмейер отодвинул ее, чтобы лучше видеть женщину со своего места в кресле. Джоанна опять плакала. Плакала тихо, молча, слезы скатывались не поодиночке, а лились из глаз сплошным потоком, блестели, намочив все лицо, на щеках и подбородке. Грудь и плечи Джоанны то и дело сотрясались от судорожных, бесшумных рыданий, маленькая печальная голова в красном платке подрагивала на тонкой шее вместе с костлявой рукой, придерживавшей расхристанное платье.

— Успокойтесь, миссис Виллемс, — попросил Олмейер.

Джоанна издала неотчетливый звук, напоминающий далекий, слабый, едва слышный крик человека перед лицом смертельной угрозы, после чего слезы продолжали бежать ручьем, но уже в полной тишине.

— Вы должны понять: я все это рассказал вам лишь потому, что я ваш друг, настоящий друг, —

произнес Олмейер, осмотрев ее с видимым неодобрением. — Вы как жена Виллемса имеете право знать о грозящей ему опасности. Капитан Лингард — жуткий человек.

— Вы… сейчас… правду говорите? — сквозь слезы и всхлипы спросила Джоанна.

— Даю честное слово. Клянусь головой моего ребенка. Я был вынужден обманывать вас по желанию капитана Лингарда. Но теперь с меня хватит. Только представьте себе, чем я рискую, если он об этом узнает. Зачем бы я стал вам рассказывать? Только по дружбе. Я несколько лет проработал с вашим Питером в Макасаре, если вы не знали.

— Что мне делать? Что мне делать? — тихо причитала Джоанна, озираясь по сторонам, словно не могла решить, в какую сторону бежать.

— Вы должны помочь ему скрыться, пока Лингарда нет на месте. Ваш муж сильно обидел капитана. Дело не шуточное. Лингард пообещал его убить, и у него рука не дрогнет.

— О-о, какой злодей! Какой злодей! — стонала Джоанна, заламывая руки, раскачиваясь всем телом.

— Да-да, злодей, — поддакнул Олмейер. — Нельзя терять ни минуты. Вы меня понимаете, миссис

Виллемс? Подумайте о муже, о вашем бедном муже. Представьте себе, как он будет счастлив. Вы в прямом смысле спасете ему жизнь. Подумайте о нем.

Джоанна перестала раскачиваться, втянула голову в плечи и обхватила себя руками. Она в диком отчаянии смотрела на Олмейера, неудержимо стуча зубами, и этот лихорадочный стук был отчетливо слышен в полной тишине.

— О матерь божья! — взвыла Джоанна. — Горе мне! Простит ли он меня когда-нибудь? Бедный мой, он ни в чем не повинен. Простит ли? Ох, мистер Олмейер, он так строг. Ох, помогите мне. Я боюсь. Вы не знаете, как я перед ним виновата. Я боюсь! Я не смогу! Боже, помоги мне!

Последние слова выплеснулись наружу отчаянным криком. Призыв к небесам вряд ли мог прозвучать с бо`льшим надрывом, болью и ужасом, даже если бы с нее живьем сдирали кожу.

— Тсс! — прошипел Олмейер, вскочив с места. — Вы всех разбудите своими воплями.

Джоанна продолжала всхлипывать — теперь беззвучно. Олмейер уставился на нее с бескрайним изумлением. Мысль, что он, возможно, сильно ошибся, доверившись глупой женщине, взбудоражила его настолько, что он долго не мог

связно думать, наконец произнес:

— Клянусь вам, положение вашего мужа сейчас таково, что он согласился бы принять помощь даже от черта. Слышите? Даже от черта, если бы тот приплыл к нему на лодке. Если я, конечно, не ошибаюсь, — добавил он, понизив голос, и громко добавил: — Если у вас с ним случилась мелкая ссора, то, уверяю вас, лучшего шанса для примирения не представится!

Пылкий, увещевающий тон, каким были сказаны эти слова, на взгляд Олмейера, мог бы убедить даже каменное изваяние. Он с удовлетворением заметил, что Джоанна, похоже, начала вникать в смысл сказанного. Стараясь не торопиться, Олмейер продолжал:

— Видите ли, миссис Виллемс, сам я ничего не могу сделать: мне не позволено, но скажу, чем могу помочь. Сюда через десять минут явится один бугис. Вы говорите на их языке, ведь вы из Макасара. У него есть большое каноэ, он может переправить вас через реку. Скажите, что вам нужно попасть на новую вырубку раджи. Их трое братьев, за деньги они на все готовы. Ведь у вас есть деньги?

Джоанна вроде бы слышала, однако ничем не показала, что сказанное дошло до ее сознания.

Она стояла, уставившись в пол во внезапном оцепенении, как если бы кошмар ситуации, ошеломляющее чувство собственной порочности и великой опасности, в которой находился ее муж, придавили ее мозг, сердце и волю, оставив способность лишь дышать и держаться на ногах. Олмейер крепко выругался про себя, поскольку никогда прежде не видел более глупого и никчемного существа.

— Вы меня слышите? — повысил он голос. — Попытайтесь понять. Деньги у вас есть? Деньги. Доллары. Гульдены. Деньги! Да что с вами, в самом деле?

Не поднимая глаз, Джоанна ответила тихо и нерешительно, будто отчаянно старалась что-то припомнить:

— Дом продали. Мистер Хедиг был очень недоволен.

Олмейер изо всех сил вцепился в край стола. Он мужественно сдержал почти неудержимый порыв подскочить к ней и надавать пощечин.

— Полагаю, вы получили деньги от продажи дома? — сказал он с деланым колким спокойствием. — Они у вас с собой? Или у кого-то еще?

Джоанна с трудом подняла опухшие веки, скривила рот с грустным выражением на ис-

пачканном заплаканном лице и обреченно пробормотала:

— Часть денег взял Леонард: он собирался жениться. И дядя Антонио: сел на пороге и ни за что не хотел уходить. И Агостина, такая бедная… и детей у нее очень много, все маленькие. И Луис, механик: он ни разу не сказал плохого слова о моем муже. А еще наша кузина Мария: пришла, начала кричать, у меня голова разболелась, а о сердце и вовсе нечего говорить. Потом пришли кузен Сальватор и старый Дэниел Да Соуза, который…

Олмейер слушал ее рассказ с нарастающим бешенством и думал: «Теперь этой дуре еще и денег придется давать! И ведь ничего не поделаешь! Ее надо спровадить, пока не вернулся Лингард». Он дважды пытался заговорить, прежде чем взорвался:

— Мне не обязательно знать их окаянные имена! Просто скажите: это адское отродье вообще вам что-то оставило? Вам! Вот, что я хочу знать!

— У меня есть двести пятнадцать долларов, — испуганно пролепетала Джоанна.

У Олмейера отлегло от сердца, и он перешел на приветливый тон:

— Этого хватит. Маловато, конечно, но должно

хватить. Когда явится этот человек, я выйду. Вы будете сами с ним говорить. Дайте ему денег. Но только немного! Пообещайте, что потом дадите больше. Когда прибудете на место, ваш муж сам скажет, что делать дальше. Не забудьте передать ему, что капитан Лингард сейчас в устье реки, в северном рукаве. Запомните? В северном рукаве. Лингард — это смерть.

Джоанна вздрогнула, а Олмейер быстро продолжал:

— Я бы и сам дал вам денег, если бы понадобилось. Честное слово! Скажите мужу, что это я вас прислал. Пусть он не теряет время. А еще передайте от меня, что мы еще однажды встретимся. Что я не смогу спокойно умереть, не повидавшись с ним еще раз. Всего один раз. Я ведь его люблю, вы же знаете. Я это доказал. Все это дело подвергает меня страшному риску!

Джоанна схватила ладонь мнимого благодетеля и, прежде чем он успел опомниться, прижала ее к губам.

— Миссис Виллемс! Не надо. Что вы… — смущенно пробормотал Олмейер, отнимая руку.

— О-о, как вы добры! — в радостном порыве воскликнула Джоанна. — Вы благородный человек. Я буду молиться каждый день… всем святым…

я буду…

— Что вы… что вы… — обескураженно мямлил Олмейер, не зная, что ответить. — Главное, не попадайтесь Лингарду. Я был только рад… в вашем-то печальном положении… поверьте…

Они стояли по разные стороны стола. Джоанна опустила голову, ее лицо в свете лампы было похоже на очень старую, пожелтевшую слоновую кость, на которой вырезали глубокие неровные борозды. Олмейер смотрел на женщину с недоверием и надеждой, убеждая себя: «Какая она слабая! Дунешь — и опрокинется. Похоже, поняла, что нужно делать, но хватит ли ей сил, чтобы довести начатое до конца? Придется полагаться на удачу!»

Где-то во дворе раздался недовольный голос Али:

— Ты почему закрыл ворота, отец всех бездельников? Ты дикарь, а не сторож! Разве я не говорил тебе, что скоро вернусь?

— Я ухожу, миссис Виллемс, — прошептал Олмейер. — Человек, о котором я говорил, здесь — его привел мой слуга. Возьмите себя в руки. Соберитесь…

Он услышал шаги и, не докончив фразы, быстро сбежал по ступеням к реке.

Глава 2

Желая дать Джоанне побольше времени, Олмейер следующие полчаса, спотыкаясь, бродил по дальним закоулкам подворья, держась поближе к изгороди, или стоял, затаив дыхание, прижавшись спиной к сотканным из травы стенам служебных построек — лишь бы не попадаться на глаза старательно искавшему хозяина Али. Он слышал разговор слуги с главным сторожем в темноте, они то приближались, то снова удалялись, дивясь пропаже хозяина и волнуясь о нем.

— Уж не упал ли он в реку, слепой ты сторож? — грозно ворчал Али. — Он приказал мне позвать Махмата. Я быстро вернулся, а хозяина нет в доме. Там эта женщина, сирани, так что Махмат не сможет что-нибудь стащить, но сдается мне, пройдет полночи, пока я смогу прилечь.

— Хозяин, а хозяин! — крикнул он.

— Чего расшумелся? — строго спросил Олмейер, подходя к ним.

От неожиданности малайцы отскочили в сторону.

— Можешь идти, Али. Сегодня вечером ты мне больше не нужен. Махмат здесь?

— Если только этот невоспитанный дикарь не устал ждать. Для таких, как он, учтивость пустой звук. Им не пристало разговаривать с белыми господами, — недовольно пробурчал Али.

Предоставив слугам гадать, откуда он мог так неожиданно появиться, Олмейер направился к дому. Сторож мрачно намекнул на способность хозяина превращаться в невидимку и по ночам… Али презрительно оборвал его. Не всякий белый владеет колдовством. Вот Раджа Лаут действительно умеет делать так, что его никто не видит. А еще он способен находиться в двух местах одновременно. Это любой знает, кроме недотыки-сторожа, который разбирается в повадках белых людей не лучше дикой свиньи. Я-ва!

Али поплелся к своей хижине, громко зевая.

Поднимаясь по ступеням, Олмейер услышал, как хлопнула дверь, но, ступив на веранду, увидел на выходе из коридора одного Махмата. Олмейер удовлетворенно отметил, что тот пытался улизнуть. Заметив хозяина дома, малаец оставил эту затею и прислонился к стене. Махмат — приземистый толстый широкоплечий мужчина с очень темной кожей и мясистыми, покрытыми красными пятнами бетеля губами, раскрывая рот, чтобы что-то сказать, обнажал ряд

блестящих гнилых зубов. Большие мутные глаза навыкате постоянно бегали. Нахмурив брови и осмотревшись вокруг, Махмат сказал:

— Белый туан, вы знамениты и сильны, а я беден. Сообщите, чего вы хотите, и я пойду с богом. Поздно уже.

Олмейер задумчиво осмотрел гостя. Как определить, что он… Известно как! Недавно он нанимал этого человека и двух его братьев в лодочную команду перевозить запасы, провизию и новые топоры в верховья реки для рубщиков ротанга. Дорога туда и обратно занимала три дня. На этом его и можно подловить. Олмейер небрежно сказал:

— Я хотел отправить тебя в лагерь, передать сурат Кавитану. Плачу один доллар за день пути.

Махмат тупо мешкал, однако Олмейер, хорошо знакомый с повадками малайцев, мог уверенно предсказать, что он не согласится плыть ни за какие посулы.

— Дело важное, — поднажал Олмейер. — Если быстро обернешься, за последний день пути получишь два доллара.

— Нет, туан, мы не поедем, — хриплым шепотом ответил Махмат.

— Почему?

— Нам предстоит дорога в другое место.

— Куда?

— В одно место, которое мы знаем, — чуть громче сказал Махмат, упрямо глядя в пол.

Олмейера охватила безмерная радость. С наигранным раздражением он сказал:

— Вы живете в моем доме как в своем. Я могу попросить его освободить.

Махмат поднял глаза:

— Мы люди моря, нам не нужна крыша над головой, было бы каноэ на троих и по веслу на брата. Наш дом — море. Мир вам, туан.

Махмат повернулся и поспешно вышел. Олмейер слышал, как он крикнул сторожу, чтобы тот открыл ворота. Махмат молча покинул двор и, прежде чем за ним задвинули засов, про себя решил: если белый выгонит его из дома, то он сожжет и хижину, и как можно больше других построек, до которых только сможет добраться без риска для себя. Подойдя к своему жалкому жилищу, Махмат окликнул братьев.

— Все в порядке! — тихо пробормотал Олмейер, доставая из ящика стола рассыпной яванский табак. Теперь, если что-то обнаружится, он будет ни при чем. Всего лишь хотел послать человека в верховья реки. И даже упрашивал. Махмат

первый это подтвердит. Отлично.

Он принялся набивать фарфоровую трубку с длинным изогнутым мундштуком вишневого дерева, прижимая табак большим пальцем и думая: «Нет уж. С ней я больше не хочу встречаться. Дам ей приличную фору, потом объявлю погоню и пошлю лодку за отцом. Да! Так и сделаю».

Олмейер подошел к двери конторы и, вынув трубку изо рта, сказал:

— Желаю удачи, миссис Виллемс. Не теряйте время. Вам лучше пройти к пристани через кусты, там в ограде есть дыра. Не теряйте время. Не забывайте, что речь идет о жизни и смерти. И помните: я ни о чем не знаю. Я в вас верю.

За дверью послышался стук, как будто упала крышка сундука, потом несколько шагов, глубокий протяжный вздох, невнятные слова. Олмейер на цыпочках отошел от двери, сбросил в углу веранды шлепанцы, пыхая трубкой и стараясь не скрипеть половицами, вышел в коридор и свернул налево, в занавешенный дверной проем. За занавеской находилась большая комната. На полу горел маленький фонарь для подсветки компаса, много лет назад взятый из чулана «Вспышки» и служивший ночником, — маленький тусклый огонек посреди великого мрака.

Олмейер голыми пальцами, морщась от боли, подтянул фитиль, чтобы пламя горело поярче. На циновках лежали закутанные с головы до ног в белые простыни спящие фигуры. Посредине комнаты стояла маленькая колыбель с квадратной белой сеткой от москитов — единственный предмет мебели в четырех стенах, напоминающий алтарь из просвечивающего мрамора под сводами сумрачного храма. На полу, положив голову на руки, а скрещенные ноги на нижнюю перекладину колыбели, спала женщина. Когда Олмейер перешагнул через вытянутые ноги, она проснулась, села, молча наклонилась вперед и, обхватив колени, уставилась в пол сонными грустными глазами.

Олмейер, держа в одной руке фонарь, а в другой — трубку, стоял и смотрел на лежавшую в колыбели маленькую Нину, эту частицу себя самого, крохотную неразумную крупинку человечества, целиком, как ему казалось, перенявшую его душу. Он как будто плыл на светлой теплой волне нежности, необъятнее всего мира, дороже самой жизни, казавшейся единственно реальным, живым явлением, ласковым, осязаемым, прекрасным и надежным среди неуловимых, ущербных, зловещих теней окружающего мира. На лице

Олмейера в неясном свете низкого желтого пламени отразилось сосредоточенное внимание, с которым он смотрел в будущее дочери. Как много он в нем видел! Перед внутренним взором как по волшебству разворачивались сверкающие картины восхитительных, чарующих подарков судьбы, блестящих, счастливых, несказанно великолепных событий, которыми будет отмечен жизненный путь Нины. Он добьется, чтобы так и было! Обязательно добьется! Он сделает это для своего ребенка! Стоявший без движения в ночной тишине, погруженный в пленительные, прекрасные мечты, окутанный прозрачным облаком синеватого табачного дыма Олмейер напоминал погруженного в транс, набожного паломника-мистика, в безмолвном молитвенном экстазе курящего фимиам перед легким, как воздух, алтарем спящего ребенка-кумира, алтарем его маленькой, хрупкой, слабенькой, неискушенной в мирских делах богини.

Когда Али, разбуженный громкими окликами, очнулся ото сна и, спотыкаясь, вышел из хижины, над лесом уже дрожала узкая золотая полоска рассвета, а над головой на светлеющем небосводе бледнели звезды — занимался новый день. Хозяин стоял перед входом в хижину и возбужденно

размахивал клочком бумаги.

— Живее, Али! Живее!

Завидев слугу, он подскочил к нему и, сунув бумагу ему в руки, потребовал тоном, заставившим Али сразу же заподозрить неладное, немедленно приготовить вельбот, чтобы отправить его за капитаном Лингардом. Поддавшись волнению хозяина, Али засуетился и предложил:

— Если надо быстро, лучше послать каноэ. Каноэ никто не догонит — не то что вельбот.

— Я сказал: вельбот! Вельбот, дубина! — заорал Олмейер как сумасшедший. — Зови людей! Выполняй! Живо!

Али метался по двору, пинками открывая двери и страшным голосом выкрикивая команды. Из лачуг начали, ежась, выходить сонные обитатели, они тупо смотрели на Али и с ленивым удивлением почесывались. Их было трудно расшевелить. Для начала им надо было сладко потянуться и повести плечами. Некоторые желали позавтракать. Один назвался больным. Никто не мог вспомнить, где хранится руль. Али перебегал от одного к другому, приказывал, ругался, раздавал тычки и время от времени останавливался, ломая руки и чуть не плача, потому что вельбот был медленнее самого захудалого челнока, а

хозяин не желал слушать возражений.

Вельбот наконец отчалил, приводимый в движение продрогшими, голодными, хмурыми гребцами. Олмейер с пристани проводил его взглядом до конца плеса. Наступил погожий день, в небе ни облачка. Олмейер вернулся в дом. Вся челядь взволнованно гадала, куда подевалась женщина-сирани, взявшая с собой ребенка, но бросившая все свои вещи. Олмейер, не говоря ни слова, взял револьвер и спустился к реке. Он прыгнул в маленькое каноэ и взмахами весла направил его к шхуне. Сначала Олмейер греб неторопливо, в свое удовольствие, однако, приблизившись к судну, поднял шум и крик с видом человека, охваченного жуткой спешкой:

— Эй, там, на шхуне!

Над бортом показался ряд равнодушных лиц. Немного спустя ему ответил человек с курчавой головой:

— Да, сэр!

— Старпома! Позови старпома, стюард! — возбужденно крикнул Олмейер, схватив брошенный кем-то конец.

Не прошло и минуты, как показалась голова старпома.

— Чем могу служить, мистер Олмейер? — удив-

ленно спросил моряк.

— Выделите мне гичку, мистер Сван. И побыстрее. Я прошу от имени капитана Лингарда. Это вопрос жизни и смерти.

Старпом проникся волнением Олмейера.

— Вы ее получите, сэр. Отправить команду на гичку! Помогай, серанг! Она подвешена на корме, мистер Олмейер. Пересаживайтесь в нее. Люди уже спускаются по фалиню.

Когда Олмейер вскарабкался на корму гички, в ней уже сидела четверка гребцов, и весла им спустили через гакаборт. Старпом, наблюдая за исполнением приказа, неожиданно спросил:

— Дело рискованное? Может, вам нужна помощь? Я бы мог и сам…

— Да-да! — воскликнул Олмейер. — Спускайтесь! Не теряйте ни минуты. Прихватите с собой револьвер. Быстрее! Быстрее!

Однако, невзирая на якобы горячее желание отправиться как можно быстрее, Олмейер держался очень спокойно и невозмутимо, пока помощник капитана, перешагнув через банку, не сел рядом. Олмейер мгновенно опомнился и крикнул:

— Отпускайте фалинь!

— Отпустить фалинь! — рявкнул баковый гребец, дернув за канат.

На борту подхватили крик «отдать фалинь». Наконец до кого-то дошло действительно это сделать. Лодка быстро поплыла, оставляя позади корабль и шум голосов.

Олмейер сидел у руля. Старпом рядом с ним вставлял патроны в барабан револьвера. Зарядив пистолет, он спросил:

— Что случилось? Вы кого-нибудь преследуете?

— Да, — односложно ответил Олмейер, не отрывая взгляда от реки впереди. — Нам надо изловить одного опасного человека.

— Я люблю погони, — заявил старпом и, не получив от задумавшегося Олмейера одобрения, замолчал.

Прошел почти час. Гребцы по очереди равномерно нагибали туловище вперед и отклонялись назад, подставляя лица небу, лодка летела по водной глади. Две фигуры на корме ритмично покачивались при каждом гребке длинных весел.

— Отлив нам помогает, — заметил старпом.

— На этой реке течение всегда идет только вниз, — ответил Олмейер.

— Да, я знаю. Но во время отлива оно быстрее. Только посмотрите на берег, как быстро мы идем! Пять узлов, не меньше.

— Гм… — буркнул Олмейер и неожиданно добавил: — Между островами есть протока, можно сократить путь на четыре мили. Вот только в сухой сезон протока превращается в лужу грязи и канаву между островами. Но рискнуть стоит.

— Во время отлива мудрено будет проскочить, — настороженно заметил старпом. — Впрочем, вам виднее.

— Я попробую, — объявил Олмейер, внимательно осматривая берег. — Внимание!

Он резко потянул румпель-штерт правого борта.

— Суши весла! — скомандовал старпом.

Лодка сделала поворот и проскочила в узкое устье ручья, ширины которого едва хватало, чтобы ее пропустить.

— Весла на воду! Места совсем мало, — пробормотал старпом.

Черную угрюмую воду пятнали блики солнечного света, пропущенные через сито ветвей, высоким куполом смыкающихся над головой. В вышине, среди толстых листьев что-то тихо шептало и вздрагивало. Стволы плотно растущих по берегам деревьев, застывших в неуверенных позах от того, что паводки размыли почву под их корнями, были опутаны лианами. Острый

едкий запах гниющей листвы, цветов и растений, умирающих в ядовитом, жестоком полумраке, из которого они тщетно тянулись к свету, лежал тяжелой пеленой на блестящей, застойной поверхности ручья, змеящегося сквозь вечную, неистребимую тень.

Олмейер был озабочен и плохо управлял лодкой. Несколько раз весла задевали за кусты то на одном, то на другом берегу, замедляя ход гички. Пока они выпутывались в очередной раз, один из гребцов что-то быстро прошептал остальным. Все уставились на воду. И старпом тоже.

— Э-э, мистер Олмейер! — воскликнул он. — Смотрите! Вода убывает. Видите? Мы сейчас застрянем.

— Назад! Назад! Надо возвращаться! — крикнул Олмейер.

— Лучше уж вперед.

— Нет. Назад! Назад!

Он потянул за румпель-штерт, лодка ткнулась носом в берег. Они потратили лишние минуты, отталкиваясь от него.

— Навались, ребята! Навались! — подгонял гребцов старпом.

Гребцы работали веслами, тяжело дыша, сжимая челюсти и раздувая ноздри.

— Поздно, — сказал вдруг старпом. — Весла уже чиркают по дну. Мы на мели.

Лодка застряла. Гребцы побросали весла и тяжело дышали, скрестив руки.

— Кажется, влипли, — спокойно констатировал Олмейер. — Не повезло!

Уровень воды становился все ниже. Наружу начали проступать островки жидкой грязи. Старпом усмехнулся и указал пальцем на ручей.

— Смотрите! Чертова река убегает от нас. Последняя капля сейчас пропадет за поворотом.

Олмейер вскинул голову. Реки больше не было, осталась лишь грязная колея, покрытая мягким черным илом, в котором под блестящей, словно глазированной поверхностью прятались лихорадка, разложение и зло.

— Теперь будем сидеть здесь до самого вечера, — с неунывающим смирением объявил он. — Я сделал все, что мог. Ничего не поделаешь.

— День-то мы скоротаем, поспим, — сказал старпом и мрачно добавил: — Вот только есть нечего.

Олмейер разлегся на кормовом сиденье. Малайцы свернулись калачиком между банками.

— Разрази меня гром! — после долгой паузы

сказал старпом. — Торопились, словно за нами черт гнался, чтобы провести весь день, застряв в грязи. Хорошенькая прогулка! Ну и ну!

Члены команды терпеливо сидели или в той же позе спали. После того как солнце поднялось выше, ветерок иссяк, и заброшенный ручей накрыла абсолютная тишина. На нижних ветвях появилась стая носатых обезьян: животные разглядывали лодку и неподвижных людей с сосредоточенным, грустным вниманием, лишь изредка нарушаемым дикими вспышками жестикуляции. Птичка с лазурной грудкой села, балансируя, на тонкую ветку под косыми лучами солнца, сверкая в них, как упавший с неба самоцвет. Крохотный круглый глаз нацелился на странных, тихих существ в лодке. Через минуту пичуга упорхнула с презрительным, насмешливым щебетом, таким неуместным среди великого безмолвия девственных дебрей, замешанного на борьбе и смерти.

Глава 3

После отъезда Лингарда вокруг Виллемса сомкнулись одиночество и тишина: жестокое одиночество человека, покинутого другими

людьми; укоризненная тишина, окружающая изгнанника, отторгнутого своими, которую не нарушает даже проблеск надежды; бескрайняя, непроницаемая тишина, глотающая и шепот сожаления, и крики протеста. В сердце изгнанника поселился горький покой заброшенных вырубок, оставив место разве что памяти о прошлом и ненависти к нему. Но не раскаянию. В груди человека, одержимого сознанием собственной неповторимости со всеми присущими ей желаниями и правами, неколебимо убежденного в собственной значимости, настолько не подлежащей обсуждению и окончательной, что это чувство задавало тон всем желаниям, помыслам и заблуждениям, оправдывая их неизбежностью судьбы, не могло найтись места для раскаяния.

Тянулись дни. Они утекали незаметно, невидимо, в быстрой череде огненных рассветов, изматывающего безоблачного полуденного зноя и коротких, тлеющих, ласковых закатов. Сколько их было: два? Три? Больше? Виллемс не считал. После отъезда Лингарда время для него текло как будто в кромешной темноте. В душе Виллемса всегда царила ночь. Он ничего не видел перед собой. Слепо бродил по обезлюдевшему двору, между брошенными домами, с высоты

свай враждебно поглядывавшими на него, белого чужака, пришельца из далеких краев. Казалось, в их ветшающих стенах все еще жила память о хозяевах-туземцах, и она-то и придавала постройкам враждебный, нелюдимый вид. Виллемс ходил, натыкаясь на потемневшие кучки золы, взбивая ногами легкий черный пепел, летающий по воздуху и оседающий на свежей траве, пробившейся сквозь жесткую почву между тенистыми деревьями. Пленник не находил себе покоя, непрестанно, без отдыха, невзирая на усталость, выписывал расширяющиеся круги и бесцельные зигзаги. Отражаясь мукой на лице, в усталом мозгу ворочались мысли — беспокойные, мрачные, путаные, леденящие, жуткие и ядовитые, как выводок гадюк.

За костлявой фигурой, бродившей в окружении изгородей, домов и дикой пышности прибрежных зарослей, издали наблюдали мутные глаза старой служанки и строгий взгляд Аиссы. Эта троица напоминала кучку потерпевших кораблекрушение бедолаг, всеми позабытых и выброшенных на скользкий выступ скалы, к которой подступал свирепый морской прилив. Они прислушивались к приближающемуся реву, жили в тревоге между страхом перед возвраще-

нием воды и безнадежным ужасом одиночества, а вокруг бушевал ураган раскаяния, отторжения и безысходности. Двоих выбросило сюда дыханием шторма, отнявшего у них все на свете, даже покорность ударам судьбы. Третья, дряхлая свидетельница их борьбы и терзаний, была вынуждена мириться со своей собственной серой действительностью — утратой сил и молодости, бесполезной старостью, рабским положением. Старуха была брошена вождем племени, самым близким для нее человеком, и обречена влачить остатки затухающей жизни в компании двух непонятных, хмурых изгоев, пассивно и бесстрастно наблюдая их медленную гибель.

Виллемс не сводил глаз с реки, как узник, постоянно следящий, не откроется ли дверь тюремной камеры. Если еще оставалась хоть какая-то надежда, то прийти она могла только с реки и по реке. Он по четыре часа кряду стоял на солнцепеке, позволяя налетавшему с плеса морскому бризу шевелить лохмотья на его теле. Острый соленый бриз временами заставлял его ежиться посреди жары и зноя. Виллемс смотрел на коричневое сверкающее полотно воды, что непрерывным потоком с тихим журчанием свободно текла у его ног. Ему казалось, что он стоит

на краю света. Лес на другом берегу выглядел нереальным, недоступным и загадочным, как звезды на небосводе, и таким же безучастным. Вверх и вниз по берегу к воде подступали плотные ряды высоких величественных деревьев, заслоняя небо могучими корявыми ветвями, а снизу навстречу им тянулась густая молодая поросль. Огромные древесные исполины с хмурым, сердитым, недоброжелательно-угрюмым видом молча обступали его, как толпа безжалостных врагов, желавших поглазеть на его медленную агонию. Виллемс был одинок, ничтожен, раздавлен. Он думал о побеге, о том, что нужно что-то делать. Но что? Плот! Он вообразил, как лихорадочно, отчаянно строит его, валит деревья, связывает бревна, плывет по течению в сторону моря, к проливу. Там корабли, помощь, такие же, как он, белые люди. Эти добрые люди спасут его, увезут далеко-далеко, где есть торговля, дома, общество равных, где его смогут как следует понять, по достоинству оценить его способности, где есть нормальная еда, деньги, постель, ножи и вилки, коляски, духовые оркестры, холодные напитки и церкви с хорошо одетой паствой. Он тоже будет молиться. В этом возвышенном краю утонченных удовольствий он сможет сидеть в кресле, обедать

на белой скатерти, кивать приятелям, добрым приятелям, снова будет востребован, ведь он всегда был востребован; в этом месте он опять станет добродетельным, корректным, заведет дело, будет зарабатывать деньги, курить сигары, делать покупки в магазинах, носить сапоги… будет счастливым, свободным, богатым. О господи! Что для этого требуется? Всего-то срубить пару деревьев. Да нет же! И одного хватит. Срубить одно дерево… Виллемс бросился было вперед, но тут же остановился как вкопанный. Ему оставили всего лишь перочинный нож.

Он в изнеможении упал на берегу реки, как если бы плот был уже построен, путешествие завершено, а состояние заработано. Утомленные от долгого отчаянного наблюдения за рекой глаза потускнели. Разбухшая река несла вырванные с корнем деревья — в середине потока мелькала длинная вереница корявых черных крапин. Пленник был готов вплавь добраться до одного из этих бревен и спуститься на нем вниз по реке. Что угодно, лишь бы выбраться отсюда! Что угодно! Любой ценой! Можно привязать себя к мертвым веткам. Он разрывался между желанием и страхом, сердце выворачивалось наизнанку от нехватки смелости. Виллемс перевернулся на

живот, уткнув лицо в руки. Перед глазами возникло страшное видение: горизонт, где нет тени, где синее небо смыкается с синим морем, одна горячая пустота без конца и без края, в которой, мерно качаясь на сверкающих волнах, плывет мертвая коряга, а на ней — мертвый человек. И никаких кораблей. Одна смерть. Река впадала прямо в смерть.

Виллемс с глухим стоном сел.

Да, смерть. Но зачем умирать? Нет! Уж лучше одиночество, безнадежное ожидание. Он один. Один! Нет, не один. Смерть следит за ним отовсюду, из-за кустов, облаков, шепчет ему голосом реки, наполняет собой пространство, трогает ледяной рукой сердце и разум. Он ничего другого не замечал, ни о чем другом не мог думать. Неизбежная смерть виделась ему повсюду. Казалось, что она так близко, что достаточно протянуть руку — и ты до нее дотронешься. Присутствие смерти отравляло все, что он видел и делал, жалкую пищу, которую ел, грязную воду, которую пил; смерть придавала пугающий облик восходу и закату, ослепительному жаркому полудню, прохладному тенистому вечеру. Ее жуткий силуэт маячил за исполинскими деревьями, в переплетении лиан, среди листьев причудливой формы,

больших зазубренных листьев со множеством «рук» и широких «ладоней», протягивавших к нему «пальцы». Эти руки или тихо колыхались, или пребывали в грозном оцепенении, с безмолвным вниманием выжидая момента, когда можно будет схватить его, опутать и душить, пока не испустит дух. Но даже мертвого они его не отпустят: вцепятся в тело и будут держать до тех пор, пока оно не сгниет, не растает в жестоких липких тисках.

А между тем мир был полон жизни. Все знакомые вещи и люди продолжали существовать, двигаться, дышать. Виллемс видел их как бы издали, в уменьшенном виде: они были отчетливы, желанны, недосягаемы и бесценны — и безвозвратно потеряны. А вокруг, не останавливаясь ни на минуту, бешено и беззвучно кипела тропическая жизнь. Если он умрет, ничего не изменится! Ему хотелось дотянуться до чего-то плотного, он изголодался по ощущениям, хотел прикасаться, сжимать, видеть, владеть, осязать. Все вокруг будет существовать еще много лет и веков — всегда. Он здесь околеет, а мир будет жить, нежиться на солнце, дышать тихой ночной прохладой. Для чего? Он-то будет мертв. Будет лежать на теплой сырой земле, ничего не чувствуя,

ничего не видя, ничего не зная, одеревеневший, недвижимый, медленно разлагающийся, а над ним, под ним и внутри его деловито, без помех будут копошиться полчища насекомых, маленьких глянцевых чудовищ отвратительного вида с усиками, острыми лапками и клешнями, волна за волной, туча за тучей пытаясь отщипнуть от его трупа свою долю, утолить ненасытный голод, пока от него не останется ничего, кроме выбеленных солнцем костей в высокой траве. Трава прорастет между его голыми, отшлифованными ребрами. Он исчезнет, его никто не хватится и не вспомнит о нем.

Глупости! Этому не бывать. Какой-нибудь выход обязательно найдется. Кто-нибудь да приедет. Какие-нибудь люди. Он поговорит с ними, уломает, на худой конец, заставит помочь. Виллемс чувствовал в себе силу, много силы. Но… Разочарование и осознание тщеты надежд периодически напоминали о себе резкими уколами в сердце. Виллемс снова начинал бесцельное хождение, доводя себя до исступления, не в силах подавить душевную боль физической усталостью. На расчищенной территории тюрьмы для него не находилось мира и покоя. Виллемс обретал отдых, только проваливаясь в черный сон без

воспоминаний и сновидений, сон безжалостный и тяжелый, как смертоносный кусок свинца. Погружение в опустошающий сон, прыжок вниз головой из дневного света в ночное забвение — вот и вся передышка от жизни, которую ему не хватало смелости ни переносить, ни закончить.

Виллемс жил и мучился в угаре не высказанных вслух мыслей под бдительным взглядом молчаливой Аиссы. Она тоже мучилась — от горького удивления, острой тоски и отчаянной неспособности понять причину его гнева и враждебности, ненависти в его взгляде, загадочного молчания и ожесточения редких слов. Белые люди швыряли в нее этими словами от ярости и презрения, с явным намерением обидеть, хотя она отдала этому белому мужчине все, что имела, всю себя, всю свою жизнь. Ее обижали за то, что она хотела указать ему путь к истинному величию, пыталась помочь по-своему, по-женски, увлеченная мечтой о нескончаемой, крепкой и незыблемой любви. Непродолжительный контакт с миром белых и оглушительное крушение ее прежней жизни оставили ощущение, что она столкнулась с непреодолимой мощью и безжалостной силой. Жизнь свела ее с человеком из племени белых людей, обладающим всеми их качествами. Все

белые одинаковы. Однако в сердце этого человека кипел гнев на своих, причем этот гнев уживался с нежностью к ней. Аиссу опьяняла надежда на великие свершения, порожденная гордым нежным осознанием ее влияния на Виллемса. Да, она слышала шепот удивления и страха, звучавший в его колебаниях, сопротивлении и уступках, но, следуя женской вере в непреклонность однажды избравшего путь сердца и в неотразимость своих чар, продолжала подталкивать своего избранника вперед, слепо и оптимистично верить в будущее, не сомневаясь, что если она только вытолкнет его за ту линию, из-за которой больше нет возврата, то ее самые горячие мечты обязательно сбудутся. Аисса ничего не знала и даже не догадывалась о возвышенных идеалах Виллемса. Она видела в нем воина, лидера, готового к борьбе и кровопролитию, к измене своему племени — и все это ради нее. Что тут неестественного? Разве он не велик, не силен? Они оба, окруженные непроницаемой стеной собственных желаний, были бесконечно одиноки, не видели и не слышали друг друга, каждого окружал непохожий друг на друга, недосягаемый кругозор, они жили на разных планетах, под разными небесами. Аисса помнила слова, взгляды, дрожащие губы,

протянутые руки Виллемса, помнила великую, неохватную сладость своей капитуляции, зарождение власти над ним, которой полагалось длиться до самой смерти. А он помнил пристани с пакгаузами, увлекательную жизнь под водопадом серебряных монет, сладкий азарт погони за деньгами, многочисленные успехи, упущенные шансы для умножения богатства и славы. Аисса стала жертвой собственного сердца, женской веры, что в мире нет ничего важнее любви, что любовь вечна. Виллемс пал жертвой своих странных жизненных принципов, своей ограниченности, слепой самоуверенности и святой привычки не видеть дальше собственного носа.

Аисса, это неведомое существо, появилась перед ним в минуту праздности, тревожного ожидания и уныния, прикоснулась к нему, в один миг разрушив будущее и достоинство умного цивилизованного человека, заронила в душу порочное желание, толкнувшее его на позорные поступки и забросившее в эту жалкую глухомань всеми позабытого либо презираемого. Виллемс боялся даже взглянуть на нее, потому что любой такой взгляд казался прикосновением к преступлению. Она же, кроме него, ни на кого не смотрела. Да и на кого тут было смотреть? Аисса следила за

ним испуганным взглядом, исполненным ожидания, долготерпения и просьбы. В ее глазах стояли вопрос и отчаяние зверька, знавшего в жизни только страдание несовершенной души, знакомой с болью, но не с исполнением надежд, не способной спрятаться от суровой реальности жизни за выдумками о ее достоинстве и благосклонности судьбы, за блаженной верой в то, что немилость Провидения носит лишь временный характер.

Первые три дня после отъезда Лингарда Виллемс даже не хотел говорить с Аиссой. Она тоже предпочитала молчание звукам ненавистных чужих слов, которыми Виллемс с недавних пор осыпал ее в припадках гнева, быстро сменявшихся полной апатией. Он три дня практически не отходил от реки, как если бы топкий берег приближал его к заветной свободе. Он сидел у реки допоздна, до заката и наблюдал, как меркнет золото между хмурыми облаками, превращаясь в яркую алую полосу, похожую на свежепролитую кровь. Вид казался ему зловещим и жутким, предвещающим насильственную смерть, грозившую со всех сторон, даже с небес.

Как-то вечером Виллемс надолго задержался у реки после заката, не обращая внимания на

окутавший берег туман, мокрым саваном липнущий к коже. Прохлада привела его в чувство, и Виллемс поплелся по двору в сторону дома. Аисса сидела под деревом у костра, мерцающего в плотных клубах дыма. Она поднялась, подошла сбоку к сходням, к которым направлялся Виллемс, и остановилась, пропуская его вперед. В темноте Аисса напоминала тень с протянутыми, сложенными в умоляющем жесте руками. Виллемс против воли остановился и взглянул на нее. Торжественная грация прямой фигуры, всех частей тела и черт лица едва угадывалась в темноте, и только глаза сверкали в слабом свете звезд. Виллемс отвернулся и начал подъем. Он затылком ощущал сзади шаги Аиссы на прогибающихся досках, но не оборачивался. И так ясно, чего она хотела: войти с ним в дом. Виллемс содрогнулся от мысли, что могло случиться в непроницаемой темноте внутри дома, если они останутся там — хотя бы на одно мгновение — одни. Когда он подошел к порогу, сзади раздался голос Аиссы:

— Впусти меня. Почему ты злишься? Почему молчишь? Я покараулю… посижу рядом… разве я плохо караулила? Разве с тобой случилось что-то нехорошее, пока я стерегла твой сон? Я ждала, когда ты улыбнешься, что-нибудь скажешь. Я

больше не в состоянии ждать. Посмотри на меня… поговори со мной. В тебя вселился злой дух? Дух, отнявший твою храбрость, твою любовь? Иди ко мне. Забудь обо всем… обо всем. Забудь о подлых душах, сердитых лицах. Помни только один день, тот день, когда я пришла к тебе. К тебе, о сердце мое, жизнь моя!

Грустная мольба наполнила пространство внутри дома минорными вибрациями, выплескивающими нежность и слезы в еще большее пространство дремлющего мира. Все вокруг: лес, вырубки, река, укрытая тихим пологом ночи, казалось, пробудилось и прислушивалось к ее словам с затаенным вниманием. Даже когда Аисса со сдавленным вздохом умолкла, мир все еще продолжал слушать. Аморфные тени скрывали всякое движение, за исключением бесчисленных светлячков, целыми стаями, парами или отдельными точками мигающими, скользящими и кружащими в темноте, как будто кто-то рассыпал пригоршню звездной пыли.

Виллемс медленно и неохотно, словно подчиняясь высшей силе, обернулся: Аисса спрятала лицо в ладони — и посмотрел поверх ее головы на торжественное великолепие ночи. Это была одна из тех ночей, когда возникает ощуще-

ние бескрайнего простора, небо кажется выше обычного, а налетающий теплый ветер доносит тихий шепот звезд. Воздух наполняли сладкие запахи, чарующие, проникновенные и настойчивые, как любовный порыв. Виллемс смотрел на великую темную бездну, пахнущую жизнью, тайной бытия, постоянно обновляющуюся, плодовитую, несокрушимую, и пугался одиночества тела и души перед лицом этой бессознательной, яростной борьбы, высокомерного безразличия, безжалостного, загадочного стремления к цели, что на протяжении эпох не дают прекратиться чередованию суеты и смерти. Он во второй раз, внезапно ощутив собственную значимость, захотел бросить в дебри призыв о помощи и вновь осознал, насколько это бессмысленно. Можно звать на помощь хоть с обоих берегов — никто не откликнется. Можно размахивать руками, просить, чтобы его спасли, поддержали, пожалели, — никто не придет. Никто. У него не осталось никого, кроме этой женщины.

Сердце смягчилось от жалости к себе, ощущения покинутости. Злость на Аиссу, причину всех его невзгод, отступила перед острой потребностью в хоть каком-то утешении. Возможно, если примириться с судьбой, Аисса поможет ему

забыться. Забвение! На мгновение в приливе настолько глубокого отчаяния, что оно показалось ему прелюдией к покою, в голове Виллемса мелькнула мысль: а не спуститься ли со своего пьедестала, не отбросить ли чувство собственного превосходства заодно со всеми надеждами, амбициями и неблагодарной цивилизацией? Забвение в объятиях Аиссы на миг представилось ему приемлемым выходом. Допустив такую возможность, он ощутил нечто похожее на прежнюю страсть и безрассудное презрение к окружающему миру, к воле земли и небес, когда-то бушевавшие в его груди. Он убедил себя, что не будет каяться. Его слишком жестоко наказали за единственный грех. У Неба прощения не выпросишь. Он и не собирался просить. В своем отчаянии он думал, что если сможет вернуться с Аиссой к переменившей и погубившей его безумной, непостижимой горячке прошлого, то за это не жалко будет заплатить вечным проклятием. Виллемса пьянили тонкие ночные ароматы, возбуждали ласки теплого ветра, манило радостное предчувствие уединения и тишины, воспоминания и присутствие женщины, готовой отдаться ему с покорностью и терпением в память о тех днях, когда он ничего не видел, не слышал, ни о

чем не думал и ничего не желал, кроме ее ласки.

Он резко схватил ее, Аисса с криком изумления и радости обняла его за шею. Виллемс подхватил женщину на руки в ожидании возвращения безумной страсти, которую когда-то ощущал, но растерял. Аисса тихо всхлипывала, припав к его груди, а он чувствовал в душе холод, муторность, усталость и досаду от сознания неудачи. Виллемс мысленно выругался. Аисса прижималась к нему, дрожа от счастья и любви. Уткнувшись лицом в его плечо, она шептала о том, как ей было горько, как она бесконечно рада и как неколебимо верила в его любовь. Она всегда-всегда верила! Даже если он отворачивал лицо в те черные дни, когда мысленно уходил от нее в далекие края, где родился, к своим людям. Больше он не будет уходить от нее, он вернулся и навсегда забудет холодные лица и сердца жестоких соплеменников. Что тут вспоминать? Нечего. Разве не так?

Виллемс, беспомощно прислушиваясь к тихому бормотанию, машинально прижимал Аиссу к груди, не переставал думать, что жизнь потеряла для него всякий смысл. У него все отняли — страсть, свободу, забвение, утешение. Аисса, ошалев от радости, быстро-быстро шептала о любви, свете, мире, долгих годах жизни. А он

тоскливо всматривался поверх ее головы во тьму на дворе. Внезапно ему показалось, что он заглядывает в сумрачную впадину, глубокую темную яму, наполненную гнильем и побелевшими костями, в огромную, неотвратимую могилу с разлагающимися останками, куда рано или поздно попадет и он сам.

Утром он вышел пораньше и задержался на пороге, прислушиваясь к легкому дыханию в доме. Аисса спала. Виллемс за всю ночь не сомкнул глаз. Он покачнулся, прислонился к дверному косяку. Узник окончательно измучился, вымотался, был чуть жив. Нахлынуло жуткое отвращение к себе, которое, пока он наблюдал за морем тумана под ногами, быстро сменилось вялым безразличием — словно все органы чувств, все тело и разум внезапно и бесповоротно одряхлели. С высокого помоста он оглядел пелену низкого утреннего тумана, из которого тут и там торчали пушистые головы высоких зарослей бамбука и круглые кроны отдельно стоящих деревьев, которые, как острова, выплывали из призрачной, неосязаемой морской пучины. На фоне слегка посветлевшего неба на востоке великий лес четко выделялся в клубящихся белых испарениях, создавая видимость недосягаемого сказочного морского

побережья.

Виллемс смотрел, ничего не видя, его мысли были заняты собой. Из-за леса с внезапностью взрыва брызнули солнечные лучи. Он по-прежнему ничего не замечал. Потом убежденно вполголоса пробормотал шокирующий, неопровержимый вывод:

— Я погиб.

Обреченно махнув рукой, он спустился в туман, который под первым дыханием утреннего бриза светлыми волнами сомкнулся у него над головой.

Глава 4

Виллемс лениво направился к реке, но, передумав, вернулся и сел на скамью в тени дерева. С другой стороны могучего ствола, громко вздыхая, ходила старуха служанка. Что-то бормоча себе под нос, она ломала сухие ветки и разводила огонь. Через некоторое время с ее стороны потянуло дымом. Виллемс почувствовал голод — еще одно оскорбление в длинном списке унижений. Хоть плачь. Его одолела неимоверная слабость. Виллемс поднес к глазам руку и некоторое время смотрел на дрожащую исхудавшую кисть. Боже

мой, одна кожа да кости. Как он похудел! Настрадался от лихорадки и теперь, чуть не плача, вспомнил, что Лингард хоть и присылал продукты — какие там, господи, продукты: немного риса да сушеная рыба, — разве это пища для белого человека? — не присылал лекарств. Неужели этот неотесанный чурбан принимал его за дикое животное, которое никогда не болеет? Виллемсу требовался хинин.

Изгнанник прислонился затылком к дереву и, закрыв глаза, вяло размышлял, что если бы поймал Лингарда, то живьем содрал бы с него кожу, но мысль получилась смазанной, короткой и быстро ускользнула. Измученное непрерывными виражами судьбы воображение не находило сил, чтобы зацепиться за идею мести. Возмущение и строптивость покинули его душу. Виллемс был пришиблен колоссальностью личной катастрофы. Подобно большинству людей он гордо носил в груди целую вселенную, поэтому грядущий конец мира в виде уничтожения его самости вызывал у Виллемса благоговейный, парализующий страх. Все вокруг рушилось. Он быстро заморгал, и ему показалось, что даже яркий утренний солнечный свет заключает в себе некий скрытый, зловещий намек. Виллемс попытался спрятаться от этого

беспочвенного страха, погрузившись в себя. Согнул ноги в коленях, поставив ступни на скамью, втянул голову в плечи, обхватил туловище руками. Он без движения, съежившись, сидел в этой позе, напуганный и притихший, а над ним под ярким светом солнца парило в тумане высокое, огромное, статное дерево с широко раскинутыми ветвями и говорливой пышной листвой.

Взгляд Виллемса, блуждая по двору, тупо остановился на дюжине черных муравьев, отважно преодолевавших кочку с высокой травой, которая, должно быть, казалась им темными опасными джунглями. Он вдруг подумал, что в траве, наверно, лежит какая-нибудь мертвечина, дохлое насекомое. Смерть повсюду! Он снова прикрыл глаза, не зная, куда деваться от подступающей боли. Смерть везде, куда ни глянь. Ему не хотелось смотреть на муравьев. Ни на что и ни на кого не хотелось смотреть. Виллемс пребывал в темноте, которую сам и создал, закрыв глаза, и с горечью размышлял о том, что нигде не найдет покоя. А вот и голоса уже слышатся… Обман! Мучение! Издевательство! Кто мог сюда приехать? Кому пристало с ним говорить? Зачем ему слышать чьи-то голоса? Однако голоса были отчетливы и доносились со стороны реки. Слабо, как далекий

крик, принесенный ветром, послышалось: «Мы скоро вернемся». Бред и насмешка! Кто сюда вернется? Сюда не возвращаются! Лихорадка — вот что к нему вернется. Видимо, именно лихорадка скрутила его сегодня утром. Не иначе. Неожиданно старуха что-то пробормотала прямо у него под ухом: обошла вокруг дерева и оказалась совсем рядом. Виллемс, открыв глаза, увидел перед собой ее горбатую спину. Женщина, прикрывая рукой глаза от солнца, посмотрела в сторону места высадки на берегу и через минуту ушла так же тихо, как появилась, и опять занялась хозяйством. Значит, там не было ничего такого, что могло бы вызвать у нее страх или надежду.

Старуха скрылась за деревом, зато Виллемс увидел на тропинке, что вела к берегу, человеческую фигуру. Судя по виду, это женщина в красном платье, и в руках у нее какой-то явно тяжелый сверток — неожиданное, знакомое и странное явление. Виллемс выругался сквозь зубы. Этого только не хватало! Галлюцинации посреди бела дня! Совсем стал плох. Новый жуткий симптом ухудшающегося здоровья не на шутку его напугал.

Испуг не продлился дольше вспышки молнии. В следующее мгновение стало ясно, что женщина

ему не почудилась: к нему навстречу шла его жена! Он быстро спустил ноги на землю, но остался сидеть, глядя на нее во все глаза. Он был настолько ошарашен, что совершенно забыл о своих переживаниях. В уме крутилась единственная мысль: что она здесь забыла?

Джоанна шла по двору быстрым, целеустремленным шагом и несла на руках ребенка, завернутого в чужую белую простыню, которую сдернула с кровати в последнюю минуту перед тем, как выйти из дома. Солнце, похоже, слепило ее, а странное окружение вызывало оторопь. Джоанна поглядывала то направо, то налево, ожидая в любой момент увидеть мужа. Подойдя к дереву, она вдруг заметила высохший пожелтевший труп, застывший на скамье в тени дерева и вытаращивший на нее глаза. Живые глаза. Это был ее муж.

Джоанна остановилась как вкопанная. Они долго в полной тишине не сводили друг с друга ошарашенных взглядов, в которых бурлила беспокойная память о былом, унесенном потоком времени. Казалось, что их взгляды пересеклись, разминулись, и теперь каждый смотрел на другого с фантастически далекого расстояния, силясь перескочить через невообразимую пропасть.

Не отрывая глаз от мужа, Джоанна подошла ближе и опустила завернутого в одеяло ребенка на скамью. Маленький Луис, почти всю ночь проплакавший в лодке от ужаса, теперь крепко спал. Виллемс медленно повернул голову, проследив взглядом за женой. Он с усталым непротивлением воспринял ее появление как непостижимый фокус. В жизни всякое бывает. Зачем она сюда приехала? Жена была частью постигшей его беды. Он не удивился бы, если бы она набросилась на него, вцепилась в волосы, расцарапала лицо. А что? В жизни всякое бывает. Мысленно преувеличивая свою физическую немощь, он даже немного страшился вероятного нападения. Ну или по меньшей мере истерики. Он помнил Джоанну прежней и надеялся, что навсегда отделался от нее. Видно, приехала, чтобы лично посмотреть, как он погибает.

Джоанна вдруг подошла к нему, обняла и опустилась к его ногам.

Это огорошило Виллемса. Жена беззвучно рыдала, уткнувшись лбом в его колени. Он понуро смотрел на ее макушку. Что она задумала? У него не оставалось сил пошевелиться и уйти. Джоанна что-то шептала, Виллемс наклонился ближе и перехватил всего одно слово — «прости».

Вот ради чего она ехала в такую даль! Женщины — странные существа. Простить? Ишь чего! В голове пробежала мысль: как она сюда добралась? На лодке. Лодка! Лодка!

Виллемс с криком «лодка!» вскочил, опрокинув Джоанну на землю. Прежде чем жена успела подняться, он подскочил к ней, потянул вверх за плечи. Поднявшись, Джоанна обняла его за шею и принялась покрывать лицо, глаза, рот и нос отчаянными поцелуями. Виллемс пытался увернуться, стряхнуть с себя ее руки, оттолкнуть ее, разговорить, расспросить. Она приплыла на лодке! На лодке! Они, словно в танце, кружились на одном месте.

— Прекрати… Послушай меня! — рычал он, отдирая от себя ее руки.

Столкновение законной любви с искренней радостью скорее напоминало драку. Завернутый в одеяло Луис тем временем мирно спал.

Наконец Виллемс сумел высвободиться, прижал руки Джоанны к бокам и посмотрел ей в лицо. Ему наполовину казалось, что жена ему приснилась. Ее губы дрожали, глаза беспокойно бегали, но всякий раз возвращались к нему. Джоанна вела себя в его присутствии как прежде, выглядела испуганной, дрожащей, готовой пу-

стить слезу. На нее нельзя было положиться.

— Как ты сюда попала? — воскликнул он.

Не отрывая от него глаз, Джоанна торопливо ответила:

— На большом каноэ с тремя гребцами. Я все знаю. Лингард уехал. Я здесь, чтобы спасти тебя. Я знаю… Мне Олмейер рассказал.

— На каноэ! Олмейер… Вранье! Он… рассказал… тебе? — растерянно бормотал Виллемс. — Почему тебе? Что рассказал?

Дар речи изменял ему. Глядя на жену, Виллемс с ужасом думал, что глупую женщину превратили в орудие какого-то коварного плана, смертельного заговора.

Джоанна заплакала:

— Питер, не смотри на меня так. Что я такого сделала? Я приехала просить… просить прощения. Спасти тебя… от Лингарда… от опасности.

Виллемс дрожал от нетерпения, надежды и страха. Взглянув на него, она снова разрыдалась в новом приступе уныния.

— Ох, Питер! Что с тобой? Ты болен? Ох, у тебя такой больной вид.

Он резко встряхнул ее, отчего Джоанна испуганно притихла.

— Как ты смеешь! Я здоров. Совершенно здоров.

Где сейчас эта лодка? Ты мне наконец скажешь, где лодка? Лодка, говорю я тебе… Ах ты!..

— Ты делаешь мне больно, — простонала она.

Виллемс отпустил ее. Джоанна, пытаясь побороть испуг, дрожала и смотрела на него со странной пристальностью. Она сделала движение ему навстречу, но Виллемс поднял палец и Джоанна смирилась, испустив протяжный вздох. Он вдруг остыл и смерил ее холодным пренебрежительным взглядом с таким же выражением, как в прежние дни, когда находил недочеты в домашних расходах. Джоанна даже обрадовалась этому внезапному возвращению прошлого, своей бывшей рабской зависимости.

Виллемс внешне успокоился и стал слушать ее сбивчивый рассказ. Ее слова стучали в пространство вокруг него словно градины, отвлекая внимание своим шумом. Виллемс ухватывал обрывки смысла и силился слепить из них подобие стройной истории событий. Есть лодка, большая лодка, которая при необходимости могла доставить его к морю. Это по крайней мере он выяснил. Лодку привела Джоанна. Почему Олмейер столько наврал ей? Решил заманить в ловушку? Уж лучше западня, чем беспросветное одиночество. У нее с собой есть деньги. Если верить ее словам,

гребцы готовы плыть куда угодно.

— Где они сейчас? — перебил он.

— Они сказали, что быстро вернутся, — всхлипывая, ответила Джоанна. — Скоро. Только заколы проверят. Они скоро будут здесь.

Джоанна опять говорила сквозь слезы и просила простить ее. Простить? За что? А-а! За сцену в Макасаре. Как будто у него есть время об этом думать. Какое ему дело до того, что она делала несколько месяцев назад? Его как будто душили кольца запутанного сна, где все было нереально, но в то же время прошлое принимало вид будущего, а настоящее давило на сердце тяжким грузом, враждебной рукой хватало за горло. И пока Джоанна умоляла, уговаривала, целовала ему руки, плакала на его плече, заклинала его именем Бога простить, позабыть, произнести вслух то слово, которое она жаждала услышать, взгляд его сверкающих глаз, как под гипнозом, уходил вдаль, прочь от нее, за реку, за пределы этой земли, сквозь дни, недели и месяцы, навстречу свободе, будущему, торжеству… и сладкому негаданному шансу отмщения.

Виллемс ощутил неожиданный позыв радостно закричать и пуститься в пляс. И он действительно крикнул:

— Мы еще увидимся, капитан Лингард!

— О нет! Нет! — воскликнула Джоанна, заламывая руки.

Виллемс с удивлением уставился на жену. Он успел позабыть о ее присутствии. Восклицание Джоанны, нарушившее монотонный поток ее увещеваний, вырвало его из восхитительного водоворота фантазий и опустило на землю. Как странно видеть ее рядом. Он даже почувствовал к жене нечто похожее на нежность. В конце концов, она появилась здесь очень кстати. Тут он вспомнил: есть еще эта, другая. Надо уходить, пока она не устроила сцену. Кто знает, что ей взбредет в голову! Он вдруг почувствовал, что ненавидит Аиссу такой лютой ненавистью, что спирает дыхание.

— Подожди минуту, — сказал он жене.

Джоанна покорно проглотила слова, которые хотела было произнести.

Виллемс пробормотал:

— Посиди здесь, — и скрылся за деревом.

Над костром в чугунном котелке бурлила вода, клубы белого пара смешивались с черными нитками дыма. От старухи, на корточках сидевшей в дыму, веяло апатией и жутью.

Виллемс подошел поближе и спросил:

— Где она?

Женщина, не поднимая головы, ответила с готовностью, словно давно ждала этого вопроса:

— Когда вы спали под деревом, она вышла из дома — еще до того, как появилось каноэ. Я видела, как она подходила к вам, у нее был свет в глазах. Яркий свет. Она пошла в то место, где наш хозяин Лакамба посадил фруктовые деревья. Нас тогда было много. Много-много. Мужчины с оружием на поясе. Много мужчин… мы вели разговоры… пели…

Виллемс вернулся к жене, а старуха еще долго, словно в бреду, продолжала бормотать. Он подошел вплотную к Джоанне и вдруг понял, что ему нечего ей сказать. Все его естество сосредоточилось на том, чтобы избежать встречи с Аиссой. Хоть бы проторчала в роще все утро. Где эти мерзавцы гребцы? Сама вероятность еще одной встречи с Аиссой вызывала у него физическое отвращение, однако на самом донышке сердца шевелился страх. Чего он боялся? Что она могла сделать? Теперь ничто на всем белом свете его не остановит. Виллемс ощущал в себе силу, азарт, беспощадность и превосходство. Он не хотел уронить возвышенную чистоту своего характера в глазах жены и подумал: «Джоанна

ничего не подозревает. Олмейер не стал болтать об Аиссе. Но если узнает, мне крышка. Если бы не мальчишка, я бы… сбежал от обеих». Такая мысль действительно промелькнула у него в голове. Нет, это не дело! Он женат. Приносил торжественную клятву. Нет. Узы брака святы. Взглянув на жену, Виллемс впервые в жизни почувствовал нечто похожее на угрызения совести. Их связывала великая клятва, принесенная перед алтарем. Джоанна не должна знать. Ох, да где же эта лодка! Надо сбегать за револьвером. С этими баджо лучше иметь дело вооруженным. Он должен забрать пистолет, пока ее нет. Виллемс не решился спускаться к реке и кричать гребцам и вместо этого подумал: «Она может меня услышать. Надо забрать патроны. Тогда я буду готов. Это все, что требуется».

Пока он стоял и думал, бежать ли к дому, отчаявшаяся, убитая горем Джоанна продолжала умолять, держа его за руку, теряя надежду с каждым новым взглядом на его лицо, которое казалось ей маской суровой добродетели, строгого благочестия, беспощадной справедливости. Она смиренно умоляла, теряясь под непреклонным взором того, с кем так скверно обошлась, нарушив людские и Божьи законы. До сознания

Вилемса не доходило ни одного ее слова, пока она не повысила голос.

— Разве ты не видишь, что я всегда любила тебя? Мне рассказывали о тебе ужасные вещи. Моя собственная мать! Мне говорили, что ты… что ты изменял мне, и я…

— Это наглая ложь! — воскликнул Виллемс, на мгновение разбуженный праведным возмущением.

— Я знаю! Знаю. Будь великодушен. Подумай, как я страдала, когда ты уехал. Ох! Я была готова вырвать себе язык. Я больше никогда никому не поверю. Посмотри на нашего мальчика. Будь милосерден. Я бы не успокоилась, пока не нашла тебя. Скажи хоть слово… одно слово.

— Какого черта ты от меня хочешь? — воскликнул Виллемс, глядя на реку. — Где эта чертова лодка? Почему ты их отпустила? Дура!

— Ох, Питер! Я знаю, что в душе ты меня простил. Ты так добр. Я хочу, чтобы ты сказал это вслух. Скажи, ты меня простил?

— Да! Да! — нетерпеливо ответил Виллемс. — Я тебя прощаю. Только не глупи больше.

— Не уходи. Не оставляй меня здесь одну. Нам грозит какая-то опасность? Мне так страшно. Ты здесь один? Точно один? Давай уедем!

— Теперь ты дело говоришь, — сказал Виллемс, все еще тревожно поглядывая на реку.

Джоанна, тихо всхлипнув, прижалась к его плечу.

Виллемс увидел головы трех мужчин, плавно скользящие над крутым берегом. В том месте, где берег уступом опускался к месту причаливания, появилось и пристало большое каноэ.

— Вот они, — оживился Виллемс. — Я только сбегаю за револьвером.

Он сделал несколько поспешных шагов к дому, как вдруг краем глаза заметил какое-то движение и вернулся к жене. Джоанна встревожилась, заметив внезапную перемену на его лице. Виллемс был явно чем-то расстроен и, немного заикаясь, сказал:

— Возьми ребенка. Ступай к лодке и скажи им, пусть они спрячут ее за кустами, только быстро. Слышишь? Быстро! Я скоро к тебе приду. Живее!

— Питер! В чем дело? Я тебя не оставлю. В этом жутком месте тебе грозит какая-то опасность.

— Ты пойдешь или нет? — Виллемс перешел на раздраженный шепот.

— Нет, нет, нет! Я тебя не оставлю. Я не хочу тебя снова потерять. Скажи мне, в чем дело?

Из-за дома послышалось тихое пение. Виллемс

тряхнул жену за плечо.

— Делай, как я говорю! Беги!

Джоанна в отчаянии повисла у него на плече. Виллемс закатил глаза, словно призывая небо в свидетели кошмарной глупости этой женщины.

Пение стало громче, но вдруг оборвалось, и появилась Аисса с охапкой цветов. Она медленно вышла из тени за углом дома на солнце. Яркий, нежный, ласкающий свет, казалось, исходил от нее самой, от ее лучезарного, счастливого лица. Аисса оделась как на праздник, отмечая памятный день возвращения любимого, возвращения нежности, которой не будет конца. Овальная пряжка вышитого пояса, скреплявшего саронг на ее талии, сверкала в утренних лучах солнца. Желто-серебристый шарф делил пополам ослепительную белизну корсета, в черных взбитых волосах сверкали шарики золотых булавок, мерцали алые и белые, похожие на звездочки, цветы, которыми Аисса украсила голову, чтобы глазам любимого было приятно на нее смотреть. Теперь перед ним всегда будет стоять ее блестящий образ. Аисса шла медленно, наклонив лицо над прижатым к груди огромным букетом магнолий и жасмина, опьяненная сладким ароматом и не менее сладкими надеждами.

Она как будто ничего не замечала вокруг, на секунду задержалась у подножия сходен и, сняв деревянные сандалии на высоких каблуках, легко взбежала по доскам наверх, прямая, грациозная, гибкая и бесшумная, взлетела к порогу дома словно на невидимых крыльях. Виллемс грубо оттолкнул жену за дерево и решил быстренько сбегать в дом за револьвером, а уж потом… В голове бурлили догадки, сомнения, хитрости. Мелькнул образ: в темноте дома он одним ударом оглушает и связывает разукрашенную цветами женщину. Это происходит быстро, в бешеной спешке — ради спасения престижа, превосходства, чего-то безмерно важного. Не успел он сделать и двух шагов, как сзади подскочила Джоанна, дернула его за потрепанную куртку, оторвав большой лоскут, повисла на шее, чуть не повалив на спину. Застигнутый врасплох Виллемс все же удержался на ногах. Джоанна, тяжело дыша, прошептала ему прямо в ухо:

— Кто эта женщина? А-а… это о ней судачили гребцы. Я слышала их разговоры… слышала… ночью. Они говорили о какой-то женщине. Я боялась понять. Не хотела спрашивать… слушать… верить! Разве я могла! Значит, все это правда. Нет. Скажи «нет». Кто эта женщина?

Виллемс покачнулся, пытаясь вырваться. Джоанна тянула его на себя, пока не оторвалась пуговица и Виллемс наполовину не высвободился из куртки. Обернувшись, он почему-то замер на месте. Сердце грозило выскочить из горла. «Я их обеих убью», — в бешенстве подумал он.

На миг большой двор замер под живым, ярким светом дня. И только у места высадки фикус, сплошь усыпанный гроздьями красных ягод, шевелился как живой из-за сонма маленьких птичек, наполнявших его крону с переплетенными ветвями лихорадочным трепетом своих перышек. Стая вдруг с тихим стрекотом взлетела и рассеялась, кромсая солнечный свет силуэтами острых крыльев. На берегу появились Махмат и один из его братьев с копьями в руках: шли искать своих пассажиров.

Аисса вышла из дома уже без букета и заметила двух вооруженных мужчин. Тихо ойкнув от неожиданности, она исчезла в доме и тут же вернулась с револьвером Виллемса. Появление любого мужчины не предвещало ничего хорошего. Из внешнего мира могли пожаловать только враги. Аисса и ее любимый остались одни в окружении множества опасностей. Она не боялась. Если уж умирать — неважно, от чьей руки, — то

вместе.

Женщина обвела двор решительным взглядом. Два незнакомца, остановившись на полпути к дому, ждали, опираясь на отполированные древки копий. Следующим она увидела Виллемса, который, спиной к ней, с кем-то боролся под деревом. С кем именно, она не смогла рассмотреть и недолго думая сбежала с криком по сходням.

Виллемс услышал его и в спешке попытался усадить жену на скамью силой. Джоанна упала на нее, окончательно стащила с мужа разорванную грязную куртку и закрыла ею лицо. Он прошипел ей на ухо:

— В последний раз прошу — возьми ребенка и уходи!

Джоанна что-то простонала под грязными лохмотьями, в которые превратилась куртка мужа. Виллемс наклонился ниже, чтобы разобрать ее слова.

— Не пойду. Лучше этой женщине прикажи уйти. Я видеть ее не могу!

— Дура!

Он хотел выплюнуть еще какие-то слова, но передумал и повернулся к Аиссе. Та приближалась медленно, с выражением безмерного удивления на лице, потом остановилась и вперила взгляд

в обнаженную до пояса фигуру с непокрытой головой.

Махмат с братом спокойно обменялись парой коротких реплик: это дочь недавно умершего святого человека; белый мужчина очень высок; везти придется трех женщин и ребенка да еще этого белого; деньги, должно быть, у него. Махмат остался на месте, отправив брата к лодке. Он стоял как часовой на посту, над его головой сверкал на солнце овальный наконечник копья.

— Дай сюда, — попросил Виллемс, протягивая руку за револьвером.

Аисса отступила на шаг. У нее дрожали губы, когда она тихо спросила:

— Это твои люди?

Виллемс едва заметно кивнул. Аисса задумчиво покачала головой, и несколько умирающих в ее волосах цветочных лепестков белыми и алыми каплями упали на землю.

— Ты знал? — прошептала она.

— Нет! Их прислали за мной.

— Скажи им, пусть уходят. Они прокляты. Что может связывать их и тебя, того, кто несет в своем сердце мою жизнь!

Виллемс стоял молча, потупившись и про себя повторял: «Надо отобрать у нее револьвер, немед-

ля отобрать. С этими людьми опасно иметь дело без оружия. Я должен забрать у нее пистолет».

Аисса, молча смерив взглядом тихо всхлипывавшую Джоанну, спросила:

— Кто она?

— Моя жена, — не поднимая глаз, ответил Виллемс. — Моя жена по закону белых людей, данному Богом.

— По вашему закону! Вашим Богом! — презрительно пробормотала Аисса.

— Отдай револьвер, — потребовал Виллемс. Ему не хотелось приближаться и отбирать оружие силой.

Аисса, не обращая внимания на его слова, продолжала:

— Таков ваш закон… или твой обман? Чему я должна верить? Увидев чужих, я прибежала защитить тебя. Ты лгал мне и языком, и глазами. У тебя гнилое сердце! — воскликнула она и после невольной паузы добавила: — Она была первой! Тогда кто я? Рабыня?

— Будь, кем хочешь, — беспощадно заявил Виллемс. — А я уезжаю.

Взгляд Аиссы привлекло легкое шевеление под одеялом. Она шагнула к скамье. Виллемс полуобернулся на свинцовых ногах, ощутив такую

дурноту и слабость, что на мгновение вместе с волной отчаяния в уме мелькнула мысль: а не умрет ли он прямо здесь, так и не выбравшись из грехов и невзгод?

Аисса приподняла угол одеяла и, увидев ребенка, содрогнулась всем телом, как от невыразимого ужаса, и уставилась на Луиса, не веря своим глазам. Аисса медленно разжала кулак, на лицо налетела тень, словно между ней и солнцем пробежала мрачная, роковая туча. Женщина смотрела на ребенка погруженная в горестные мысли, точно заглядывая в темную пропасть под ногами.

Виллемс не двигался. Весь его разум сосредоточился на идее освобождения. В эту минуту пришло убеждение — с такой силой, что ему показалось, будто он слышит громкий голос с небес: все кончено, через пять-десять минут для него наступит другая жизнь. Эта женщина, безумие, грехи, раскаяние — все сгинет, улетит в прошлое, исчезнет, обратится в прах, дым, летучий туман, в ничто! Да! Все проглотит безжалостное прошлое, даже память о его искушении и моральном падении. Ничто не имеет значения. Ему ни до чего нет дела. Видение светлого будущего разом заслонило для него Аиссу, жену, Лингарда, Хеди-

га, всех людей на свете.

Молчание нарушил голос Аиссы:

— Ребенок! Ребенок! Чем я заслужила это горе, эту скорбь? При живом сыне и его матери ты говорил мне, что тебе не о ком вспоминать в стране, из которой ты приехал! Я поверила, что ты будешь моим. Подумала, что я…

Ее голос пресекся и сбился на неразборчивое бормотание. Вместе с даром речи, казалось, умерла великая, драгоценная надежда на новую жизнь, жившая в ее сердце.

Аисса надеялась, что в будущем слабые детские ручки свяжут их жизни в узел, который ничто на свете не сможет развязать, узел, сплетенный из любви, благодарности и трепетного уважения. Она хотела быть первой! Быть единственной! Но стоило ей увидеть сына Виллемса и другую женщину, как она почувствовала, что погружается в холодный мрак, безмолвное одиночество, непроницаемое и бескрайнее, отдаляется от возлюбленного, уходит за горизонт всех надежд в бесконечное пространство непоправимого зла.

Аисса подошла ближе к Джоанне, кожей ощутила гнев, зависть и ревность этой женщины. В ее присутствии Аиссу охватили унижение и ярость. Схватив за свисающий рукав, она вырвала куртку

из рук Джоанны и громко воскликнула:

— Дай мне взглянуть в лицо той, для кого я всего лишь слуга и рабыня. Я-ва! Вот ты какая!

Резкое восклицание заполнило все пространство на солнечной вырубке, взмыло в небо и разлетелось во все стороны над землей поверх макушек деревьев в лесной чаще. Не отрывая глаз от Джоанны, Аисса оцепенела в удивлении и негодовании, затем изумленно протянула:

— Да это же сирани!

Джоанна, взвизгнув, подскочила к мужу:

— Питер, защити меня! Огради от этой женщины!

— Тихо ты! Тебе ничто не грозит, — хрипло ответил Виллемс.

Аисса бросила на них насмешливо-презрительный взгляд.

— Аллах велик! Я лежу во прахе у ваших ног, — издевательски воскликнула она. — В сравнении с вами я никто. — Аисса повернулась к Виллемсу и широко раскинула руки. — В кого ты превратил меня? Ты, лживый сын проклятой матери! В кого ты меня превратил? В рабыню другой рабыни. Молчи! Твои слова хуже змеиного яда. Сирани! Женщина всеми презираемого племени.

Аисса ткнула пальцем в Джоанну и, отступив

на шаг, расхохоталась.

— Останови ее, Питер! — вскрикнула Джоанна. — Останови эту язычницу. Побей ее, Питер!

Виллемс заметил, что Аисса положила револьвер на скамью рядом с ребенком. Не поворачивая головы, он сказал жене по-голландски:

— Возьми ребенка и мой револьвер. Видишь? Беги к лодке. Я ее задержу. Не мешкай.

Аисса подошла ближе. В промежутках между отрывистыми смешками она словно в бреду теребила пряжку своего ремня.

— Все для нее! Для матери того, кто вырастет и будет говорить о твоем уме и храбрости. Все для нее. А мне нечего ей дать. Вот, бери!

Она сорвала с себя пояс и швырнула к ногам Джоанны. Торопливо сбросила браслеты, золотые булавки, цветы. Длинные волосы, освободившись, раскинулись по плечам, подчеркивая своей чернотой побелевшее от ярости лицо.

— Прогони ее, Питер. Прогони эту дикую язычницу! — твердила Джоанна, совершенно потеряв голову, и, схватив Виллемса за плечо обеими руками, топала ногами.

— Посмотри на нее, — дразнила Аисса. — Посмотри на мать твоего сына! Она боится. Почему она не убирается с моих глаз? Посмотри,

какая уродина.

Джоанна, похоже, уловила презрительный тон, каким были сказаны эти слова. Она выпустила плечо мужа, когда Аисса опять подошла ближе к дереву, подскочила к ней, ударила по лицу и, развернувшись, метнулась к ребенку, который, позабытый всеми, проснулся и заплакал, схватила его и, вопя от ужаса, побежала к берегу реки.

Виллемс бросился к револьверу, но Аисса опомнилась и, неожиданно оттолкнув его от дерева, схватила оружие первой и спрятала за спину.

— Ты его не получишь! — крикнула она. — Беги за ней. Навстречу опасности… смерти… безоружный. Уходи с пустыми руками и сладкими речами, каким пришел ко мне. Уходи беспомощным, попробуй обмануть лес, море… смерть, которая тебя ждет.

Она задохнулась, словно горло перехватили веревкой. В ужасе стремительных мгновений перед ней возник голый по пояс, озверевший мужчина, с берега доносились слабеющие, безумные крики Джоанны о помощи. Аисса, Виллемс, безмолвная земля, бормочущая река тонули в солнечном свете, мягком сиянии спокойного утра, которое, как ей казалось, прерывали наводящие ужас, мгновенные темные провалы. Ненависть наводнила

мир, заполнила все пространство между ними: ненависть разных рас, безнадежных различий, чужой крови; ненависть к человеку, рожденному в стране, где все лгут и откуда ко всем, чья кожа не белого цвета, приходят одни невзгоды. В своем исступлении она слышала где-то совсем рядом шепот. Это голос покойного Омара призывал: «Убей! Убей его!»

Увидев, что Виллемс сдвинулся с места, Аисса крикнула:

— Не подходи ко мне, или умрешь прямо здесь! Уходи, пока я помню… еще помню.

Виллемс, не решаясь уйти безоружным, изготовился для схватки, сделал шаг вперед, увидел, как Аисса поднимает револьвер, заметил, что курок не взведен, и убедил себя: даже если выстрелит, все равно промахнется. Спуск тугой — пуля наверняка пройдет выше. Он сделал еще один шаг. Длинный ствол нервно дрожал в вытянутой руке. «Пора», — подумал он. Чуть присев и наклонив голову, он прыгнул вперед в отчаянном броске.

Вспыхнуло пламя, грохнул оглушительный выстрел — громче раската грома. Виллемс наткнулся на какую-то преграду и остановился, почувствовав в ноздрях едкий запах. Перед глазами огромным облаком поплыл синеватый дым.

«Слава богу, промазала! — подумал он. — Я так и знал». Аисса где-то бесконечно далеко вскинула руки, между ними на земле валялся крохотный револьвер. Промазала! Осталось только поднять оружие. Никогда прежде он не ощущал такой радости, такого победоносного наслаждения от солнечного света и жизни, как в эту секунду. Рот заполнила соленая теплая масса. Виллемс попытался отхаркнуть ее, выплюнуть. Кто это здесь кричит: «Во имя Аллаха, он умирает! Умирает!»? Кто умирает? Надо поднять пистолет. Ночь? Что такое? Почему уже ночь?

Много лет спустя Олмейер рассказывал историю великой революции в Самбире случайному приезжему из Европы. Это был румын, наполовину ученый-натуралист, наполовину охотник за орхидеями, которые он собирал на продажу. Каждому новому знакомому на пятой минуте беседы путешественник объявлял о планах написания научного труда о здешних краях. По пути в глубь острова он остановился у Олмейера. Гость был довольно образованным человеком, однако джин предпочитал пить неразбавленным, лишь иногда выжимая в стакан половинку лайма. Заверив, что так полезнее для здоровья, он наливал себе бокал «лекарства» и расписывал разинувшему в

изумлении рот Олмейеру прелести европейских столиц. В свою очередь Олмейер надоедал ему своими пространными критическими наблюдениями общественно-политической жизни Самбира. Они проговорили до поздней ночи, сидя на веранде за столом из сосновых досок, между ними роились тучи возбужденных лунным светом ночных мотыльков, тысячами сгоравших в дымном пламени вонючей керосиновой лампы.

Раскрасневшийся Олмейер говорил:

— Такого оборота я, разумеется, не предвидел. Говорю же, что застрял на ручье из-за вздорного поведения отца, капитана Лингарда. Я был уверен, что задержка поможет этому парню сбежать. Капитан Лингард, знаете ли, из породы людей, с кем бесполезно спорить. Перед закатом вода поднялась, и мы смогли выйти из протоки. До вырубки Лакамбы добрались уже затемно — кругом полная тишина. Я, конечно, подумал, что они уплыли, и обрадовался. Посреди двора мы вдруг увидели непонятную кучу. От нее неожиданно отделилась и бросилась на нас какая-то тень. Клянусь Богом! Вы наверняка слышали истории о верных собаках, которые сторожат тело мертвого хозяина. Их приходится отгонять палками и все такое. Нам тоже пришлось отгонять эту женщину

силой. А что было делать? Она бросалась на нас как фурия. Не разрешала его трогать. Виллемс был, вне всяких сомнений, мертв. Пуля прошла навылет через легкое с левой стороны груди, выше сердца, пробив лопатку, причем стреляли в упор — оба отверстия были маленькие. После того как мы ее усмирили — вы не представляете, сколько силы в этой женщине, мы втроем едва справились, — труп погрузили в лодку и увезли. Мы подумали, что она лежит в обмороке, ан нет — вскочила и побежала за нами в воду. Ну, я позволил ей забраться в лодку. А что было делать? Река кишит аллигаторами. Никогда не забуду этот ночной вояж, пока жив. Она сидела на дне лодки, положив его голову себе на колени, и время от времени обтирала его лицо своими волосами. У Виллемса на губах и подбородке засохло много крови. Все шесть часов, пока мы плыли, нашептывала мертвецу что-то нежное! Со мной был старпом со шхуны. Он потом сказал, что не повторил бы этого путешествия даже за горсть алмазов. И я ему верю. До сих пор мороз по коже. Как вы думаете, он мог ее услышать? Ну не он… что-то ее могло услышать?

— Я материалист, — заявил деятель науки, нетвердой рукой наклоняя бутылку над пустым

стаканом.

Олмейер покачал головой и продолжил:

— Кроме Махмата, никто не видел, как это случилось. Махмат твердил, что стоял на расстоянии двух копий от места происшествия. Похоже, бабы устроили свару, а Виллемс оказался между ними. Потом Джоанна ударила свою соперницу и убежала, а на этих двоих что-то нашло. Они бегали туда-сюда. Вот буквальные слова Махмата: «Я видел, как она стояла и тыкала пистолетом во все стороны. Я испугался — чего доброго меня подстрелит — и отскочил в сторону. Потом белый бросился на нее. Так из джунглей выскакивает на копья людей хозяин-тигр. Она в него не целилась. Ствол ходил из стороны в сторону, в ее глазах я увидел великий страх. Выстрел был всего один. Дочь Омара закричала, белый стоял, моргая, очень прямо, можно было сосчитать: один-два-три, потом кашлянул и упал лицом вниз. Пока он падал, женщина кричала не переставая. Я потихоньку отошел, чтобы не мешать. Такие дела меня не касаются, а в лодке сидела та, другая, что обещала мне заплатить. Мы сразу же отчалили, не обращая внимания на ее вопли. Люди мы бедные, нам мало платят за наши труды». Вот что рассказал Махмат. Причем никогда не менял ис-

торию. Сами у него спросите. Он тот самый, у кого вы наняли лодку для путешествия вверх по реке.

— В жизни не встречал более алчного пройдохи, — пробурчал путешественник.

— Что вы! Его здесь уважают. Двух его братьев закололи копьями — так им и надо. Решили грабануть могилы даяков. Туда кладут золотые украшения, если вы не знали. Получили по заслугам. А этот хорошо устроился, его уважают. Да-да! Все хорошо устроились — кроме меня. И все из-за этого подлеца, что привел сюда арабов.

— De mortuis nil nisi… — ик! — bene, — пробормотал гость.

— Лучше говорите по-английски. Ваш птичий язык здесь никто не понимает, — угрюмо ответил Олмейер.

— Не сердитесь, — еще раз икнув, сказал румын. — Это латынь, язык мудрости. Фраза означает: «О мертвых или хорошо, или ничего». Я не в обиде. Вы мне нравитесь. Вы поссорились с Провидением. Я тоже. Мне прочили звание профессора, а теперь что?

Гость клюнул носом. Он сидел, вцепившись в стакан. Олмейер прошелся туда-сюда.

— Да, все хорошо устроились, кроме меня. Почему? Ведь я лучше их всех. Лакамба присвоил себе

титул султана. Когда я прихожу к нему по делам, он посылает эту одноглазую сволочь Бабалачи сказать, что правитель почивает и приказал его не будить. А сам Бабалачи? Он теперь шахбандар провинции, не фунт изюму. О господи! Ну какой из него шахбандар? Из свиньи! Я этого бродягу на порог не пускал, когда он здесь только-только появился. Абдулла не лучше. Говорит, что живет у нас, потому что здесь, видите ли, нет белых. А у самого состояние в сотни тысяч, дом в Пенанге, корабли. Чего ему не хватало, чтобы отнимать у меня мое дело? Все здесь поломал, отправил отца на поиски золота, потом — в Европу, где тот как сквозь землю провалился. Чтобы такой человек, как капитан Лингард, пропал будто простой кули? Мои друзья писали в Лондон, наводили справки. Никто о нем и слыхом не слыхивал! Подумать только! Там никогда не слышали о капитане Лингарде!

Ученый охотник за орхидеями приподнял голову и промямлил:

— Сент… сентиметальный старый флип… флибустьер. Я тоже сент… тальный.

Гость неуклюже подмигнул Олмейеру, и тот рассмеялся.

— Да! О надгробии я уже говорил. Да! Еще сто

двадцать долларов псу под хвост. Они бы мне сейчас пригодились. Но отец настоял. И еще эпитафия. Ха-ха-ха! «Питер Виллемс, Божьей милостью избавленный от врага». Какого еще врага? От капитана Лингарда? Тогда бессмыслица выходит. Отец был великим человеком, хотя и со многими причудами. Как? Вы не видели могилу? Она на вершине холма. На другом берегу реки. Я должен ее вам показать. Мы обязательно туда сходим.

— Без меня! — воскликнул гость. — Какой мне интерес… на солнце… тяжело… Если только вы меня к ней отнесете.

И действительно: через пару месяцев ученого туда отнесли, и в Самбире появилась вторая могила белого человека, однако на момент разговора тот был вполне еще жив, хотя и мертвецки пьян. Он неожиданно спросил:

— А что с женщиной?

— О! Лингард, разумеется, пристроил ее вместе с ее гадким отпрыском в Макасаре. Зря потраченные деньги! Черт его знает, что с ними стало после того, как отец уехал домой. Мне свою дочь надо было пристроить. На обратном пути передайте от меня весточку миссис Винк в Сингапуре. Там вы увидите мою Нину. Везет же людям! Она

прекрасна и, как мне сообщают, подает большие надежды.

— Я слышал про вашу дочь уже двадцать… нет, сто раз. А что… ик! насчет другой? Аи… Аиссы?

— А-а, ее мы оставили здесь. Она долго потихоньку сходила с ума. Отец и о ней позаботился. Подарил ей дом — в моем кампонге. Она бродила вокруг, ни с кем не разговаривала, но стоило увидеть Абдуллу, впадала в бешенство, начинала кричать и клясть его почем зря. Нередко пропадала, тогда всем приходилось идти ее искать, иначе отец не находил себе места. Где мы ее только не находили! Однажды обнаружили в заброшенном кампонге Лакамбы. Обычно она просто сидела в кустах. У нее есть любимое место, куда мы всегда заглядываем в первую очередь, — десять к одному, что она окажется именно там, на заросшей травой прогалине у маленького ручья. Чем оно ей приглянулось — ума не приложу! И как же трудно ее оттуда забирать. Приходится тащить силой. Со временем она стала вести себя спокойнее, свыклась. Мои люди все равно ее жутко боятся. Окончательно ее приручила моя Нина. Девочка от рождения не ведала страха и всегда добивалась своего, поэтому просто дергала Аиссу за саронг и командовала, как поступала со всеми

остальными. В конце концов Аисса полюбила ребенка. Малышке никто не мог отказать. Аисса стала для нее главной нянькой. Однажды маленькая чертовка убежала от меня и упала с причала в реку, так Аисса в мгновение ока прыгнула в воду и вытащила Нину на берег. Я чуть не умер от ужаса. Теперь Аисса живет с моей прислугой, но ее никто не стесняет в действиях. Пока у меня есть на складе хотя бы горсть риса и кусок ситца, она будет обеспечена всем необходимым. Да вы ее и сами видели. Она приносила ужин вместе с Али.

— Как? Эта горбатая старуха и есть Аисса?

— Эх! — вздохнул Олмейер. — Они здесь быстро стареют. А длинные туманные ночи в джунглях сгибают самые прямые спины — вы сами в этом вскоре убедитесь.

— От… отвратительно, — пробурчал путешественник.

Он начал клевать носом. Олмейер стоял у перил и смотрел в синеву лунной ночи. Мрачный, присный лес нависал над водой, прислушиваясь к непрерывному журчанию великой реки, над темной стеной на фоне серебристой бледности неба возвышалась черная округлая масса холма, на котором похоронил своего пленника Лингард. Олмейер долго смотрел на четкие очертания

вершины, словно пытался разглядеть, вопреки темноте и большому расстоянию, силуэт одинокого надгробия. Наконец обернувшись, он увидел, что гость спит, положив руки на стол, а голову — на руки.

— Слушайте сюда! — воскликнул Олмейер и хлопнул ладонью по столу.

Натуралист очнулся и осоловело захлопал глазами.

— Слушайте! — повторил Олмейер громким голосом, опять ударив по столу. — Вот вы прочитали все книги. Скажите, почему дозволены такие дьявольские вещи? Посмотрите на меня! Я никому не сделал зла, жил как честный человек… и тут вдруг из Роттердама или еще какого места на другом конце света является мерзавец, обворовывает своего хозяина, убегает от жены, разоряет меня и Нину — он реально пустил меня по миру — и в конце концов погибает от пули, пущенной жалкой туземкой, которая его и знать не знает. Какой во всем этом смысл? Где ваше хваленое Провидение? Кому и какая от этого польза? Мир — сплошной обман! Обман! Почему я должен страдать? Чем я заслужил такое отношение?

Выпалив мучавшие его вопросы, Олмейер внезапно замолчал. Человек, который чуть не

стал профессором, с трудом ворочая языком, произнес:

— Мой дорогой друг, разве… разве вы не видите, что сам факт вашего сущ… существования противен природе? Я, как и вы… как и…

Он уткнулся лицом в стол и неожиданно закончил свою сентенцию продолжительным всхрапом.

Олмейер пожал плечами и вернулся к балюстраде. Он редко пил джин, которым торговал, но когда пил, даже малой дозы хватало, чтобы пробудить в его душе мятежные чувства в отношении мирового устройства. Вот и теперь, перегнувшись через перила, он, не сдерживаясь, орал в темноту, в сторону далекого, невидимого отсюда, привозного гранитного надгробия, на котором Лингард счел уместным начертать слова об избавлении Виллемса и Божьей милости.

— Отец, ты не прав! Не прав! Я хочу, чтобы он поплатился. Он должен поплатиться! Где ты, Виллемс? Эй! Эй! Одна надежда, что в том месте, где ты сейчас, нет милости.

— Надежда, — эхом прошептали оторопевшие лес, река и холмы.

Олмейер, сколько ни прислушивался с пьяной улыбкой на губах, так и не дождался иного

ответа.

Каприз Олмейера

Qui de nous n'a eu sa terre promise, son jour d'extase et sa fin en exil?

Amiel

Памяти Т. Б.

Глава 1

— Каспар! Макан!

Знакомые пронзительные вопли выдернули Олмейера из грез о прекрасном будущем и вернули в неприглядную реальность. Этот голос Олмейер слушал уже много лет и с каждым годом ненавидел все больше. Ничего, недолго осталось.

Недовольно передернувшись, Олмейер перестал обращать внимание на крики. Опершись локтями на перила веранды, он не сводил глаз с широкой реки, которая катилась перед ним торопливо и равнодушно. Ему нравилось смотреть на нее на закате. Может быть потому, что в этот час ныряющее в воду солнце разливало по волнам Пантая золотой блеск, и думы Олмейера тоже полнились золотом — тем, которое он не добыл; тем, которое — наверняка обманом — заполучили другие, и тем, которое он собирался — разумеется, честным путем — раздобыть для них с Ниной. Захваченный мыслями о богатстве и могуществе, он уносился прочь от здешнего берега, где застрял на долгие годы, забывал бесконечную и изнуряющую борьбу за жизнь в мечтах о великолепном и роскошном вознаграждении.

Они с дочерью — богатые, уважаемые — поселятся в Европе. При ее красоте и его невероятном богатстве никто и не вспомнит о смешанной крови Нины. Наслаждаясь ее триумфом, он помолодеет душой и забудет, как четверть века терпел лишения, чувствуя себя узником здешних мест. До исполнения мечты рукой подать. Лишь бы Дэйн скорее вернулся! Опаздывает уже на неделю. В его интересах вернуться побыстрее, чтобы получить свою долю. Может статься, сегодня ночью он будет здесь.

Вот о чем размышлял Олмейер, рассеянно глядя на реку с веранды нового, но, увы, начавшего ветшать дома, этой последней неудачи его жизни. Сегодня вечером на волнах не было ни единого золотистого отблеска — река раздулась от дождей, и мутный яростный поток тащил тонкие веточки, гнилые бревна и целые древесные стволы с листвой и корнями, в которых перекатывались свирепо ревущие струи.

Одно из таких деревьев вынесло на отмель прямо возле дома, и Олмейер, очнувшись от дум, уставился на него с вялым интересом. Дерево лениво покружило среди бурлящей пены и вскоре снова соскользнуло в поток и поплыло по течению, покачиваясь и выставляя ввысь оголенную

ветку — словно взывало к небесам в безмолвной мольбе покарать реку за ее неоправданную жестокость. Любопытство Олмейера росло каждую секунду. Он перегнулся через перила, чтобы разглядеть, минует ли дерево лежащую впереди мель. Миновало, и он подался назад, размышляя, что теперь оно уж точно достигнет моря. Олмейер от всего сердца позавидовал бездушному бревну, которое казалось уже совсем маленьким и почти растаяло в сгущавшейся тьме. Когда дерево совсем исчезло из виду, он задумался, как далеко его занесет. Повернет оно к северу или же к югу? К югу, наверное, и тогда доплывет до самого Макасара, что на Сулавеси!

Макасар! Мыслями Олмейер обогнал дерево в воображаемом путешествии, но память перенесла его лет на двадцать назад, воскресив скромного худощавого юношу. Одетый в белое, он сходил с голландского корабля на запыленную пристань Макасара, чтобы сколотить капитал на складах старого Хедига. Серьезная веха в судьбе, начало новой жизни. Его отец, мелкий служащий Ботанического сада Бейтензорга был, вне всяких сомнений, счастлив устроить сына в подобную компанию. Сам юноша тоже оказался не прочь покинуть губительное для здоровья побережье

Явы и сомнительные удобства родительского бунгало, где отец целыми днями ворчал, проклиная тупость местных садовников, а мать, раскинувшись в шезлонге, оплакивала утраченные радости жизни, которыми наслаждалась в родном Амстердаме по праву дочери торговца сигарами.

Так что Олмейер покинул дом с легким сердцем и еще более легким карманом. Он бегло говорил по-английски, знал назубок арифметику и был готов покорять мир, ничуть не сомневаясь, что тот готов ему покориться.

Теперь, по прошествии двадцати лет, в удушающей жаре борнейского вечера он с щемящей грустью вспоминал высокие прохладные склады с их длинными прямыми «проспектами» меж ящиков с джином и тюков с тканями; бесшумные двери; неяркое освещение, столь приятное глазу после слепящего уличного пекла; небольшие отгороженные закутки среди кип товаров, где китайские клерки — опрятные, спокойные, с невыразимо печальными глазами — молча и стремительно что-то писали среди шума и гама чернорабочих, которые катили бочки или грузили ящики под заунывную песню с исступленным выкриком в конце. А в самой дальней части скла-

да, куда почти не доносился шум работ, напротив огромной двери был отгорожен ярко освещенный отсек побольше. Здесь негромко и беспрерывно позвякивали серебряные гульдены, которые считали и складывали в столбики аккуратные китайцы под надзором мистера Винка — кассира, гениального руководителя склада и правой руки хозяина.

Олмейер работал там же, за столом, у небольшой зеленой двери, подле которой всегда стоял малаец, подпоясанный красным кушаком и в тюрбане. С ритмичностью механизма он подергивал свисавшую откуда-то сверху тонкую веревку, а та раскачивала опахало, закрепленное с другой стороны зеленой двери, где находился так называемый личный кабинет. Там восседал сам хозяин, старина Худиг, принимая шумных посетителей. Время от времени дверь распахивалась, открывая другой мир, в синеватых клубах табачного дыма, с разнокалиберными бутылками и кувшинами на длинном столе. Там в ротанговых креслах непринужденно раскинулись громогласные гости, а выглянувший хозяин, не отпуская дверной ручки, что-то гудел на ухо Винку, орал на весь склад приказы или, углядев неуверенно мнущегося на пороге незнакомца,

приветствовал его дружеским ревом: «Прожу ваз, капидан! Одкуда вы? Бали? Боны есдь? Давайте! Беру взе, что есдь! Га-га-га! Входиде!» Под приветственные крики посетитель втягивался внутрь, дверь захлопывалась, и склад снова наполнялся привычными звуками: пением рабочих, грохотом бочек, скрипом быстрых перьев, — и над всем этим витало музыкальное позвякивание серебряных монет, перебираемых желтыми пальцами сосредоточенных китайцев.

В те времена в Макасаре кипела и жизнь, и торговля. Туда со всех островов стекались горячие головы. Снарядив в Австралии шхуны, они штурмовали Малайский архипелаг в поисках золота и приключений. Отчаянные, бесшабашные, удачливые, закаленные в стычках с пиратами, которых до сих пор было полно у любого побережья, они легко делали деньги и съезжались в бухту на «рандеву» для сделок и развлечений. Голландцы звали их английскими торгашами. Часть из них определенно составляли джентльмены, очарованные романтикой здешней жизни, другую часть — моряки. И признанным королем над всеми был Том Лингард, которого малайцы — как мирные рыбаки, так и кровожадные головорезы — искренне, нет ли, называли Раджа Лаут

— Повелитель Моря.

Олмейер услышал о нем, не пробыв в Макасаре и трех дней. На него обрушились рассказы о его гениальных сделках, бурных романах и отчаянных битвах с пиратами Сулу и трогательная история про девочку с пиратского прау, который Лингард захватил после долгого боя, выкинув всю команду за борт. Все знали, что девочку эту Лингард взял с собой и устроил учиться в какой-то монастырь на Яве. Он звал ее дочерью и поклялся, что перед возвращением на родину выдаст ее за белого и оставит молодой семье все свои деньги. «А денег у капитана Лингарда ой как много, — повторял, бывало, Винк, склонив голову набок. — Очень много, больше, чем у Хедига». И сделав паузу, чтобы у слушателей было время переварить это потрясающее заявление, добавлял заговорщическим шепотом: «Вы ведь знаете, что он обнаружил реку?»

В этом-то и крылся секрет: капитан открыл реку! Вот что возвышало старину Лингарда над толпой остальных покорителей моря — всех тех, кто днем торговался с Худигом, а ночью пил шампанское, играл, горланил песни и занимался любовью с девчонками-полукровками на широкой веранде отеля «Санда». По этой реке, устье

которой знал только он один, Лингард возил разнообразные грузы: ткани, медные гонги, оружие и порох. Бриг «Молния», которым он командовал самолично, в такие ночи тихо исчезал с рейда, пока собутыльники Лингарда спали под столами; перед тем как выйти в море, Лингард перепивал всех, а его самого хмель словно не брал. Многие пытались его выследить, чтобы найти тот благодатный край гуттаперчи и ротанга, жемчуга и съедобных птичьих гнезд, воска и даммаровой смолы, но изящная «Молния» легко уходила от любого судна в здешних морях. Некоторые корабли терпели бедствие, налетев на подводные отмели и коралловые рифы, и людям едва удавалось вырваться из крепкой хватки солнечного улыбчивого моря. Это охладило пыл остальных искателей, и много лет мирные зеленые острова стерегли вход в землю обетованную, храня секрет с беспощадной безмятежностью тропической природы.

Лингард то и дело уезжал и возвращался из своих порой тайных, а порой официальных экспедиций. Смелость и невероятная прибыльность его авантюр сделали капитана героем в глазах Олмейера. Лингард казался ему победителем, когда шагал вдоль прохода, бросая Винку: «Как

делишки?» — или шумно приветствуя Хедига громогласным: «Здорово, старый пират! Еще ползаешь?», прежде чем нырнуть за зеленую дверь и погрузиться в дела торговые. Часто по вечерам, в тишине опустевшего склада, когда Олмейер откладывал бумаги и собирался ехать домой вместе с мистером Винком, у которого квартировал, он на миг замирал, слушая горячие споры в личном кабинете Хедига. Низкое монотонное ворчание хозяина и рокочущие реплики Лингарда звучали так, словно два мастифа делили мозговую кость, но для уха Олмейера споры эти были битвой титанов, сражением богов.

Примерно через год Лингард, часто пересекавшийся с Олмейером по работе, проникся к тому внезапной и необъяснимой симпатией. Он возносил ему хвалы во время дружеских попоек в отеле «Санда», а в один прекрасный день огорошил Винка заявлением, что забирает этого молодца к себе на должность суперкарго (что-то вроде капитанского секретаря) — пусть займется документацией. Худиг не возражал. Олмейер, охваченный юношеской страстью к переменам, тем более. Упаковав нехитрые пожитки, он присоединился к экипажу «Молнии» в одном из тех длительных рейсов, во время которых

капитан навещал почти каждый из островов архипелага. На протяжении месяцев их дружба с Лингардом, казалось, только крепла. Расхаживая с Олмейером по палубе под легким ночным бризом, несущим ароматное дыхание островов и мягко влекущим бриг под мирным звездным небом, старый моряк открывал душу благодарному слушателю. Он говорил о своем прошлом, об опасностях, которых удалось избежать, о выгодных сделках и будущих комбинациях, которые принесут еще больше прибыли. Часто, с удивительной для него нежностью, упоминал о приемной дочери — той самой девочке, что нашел в прау пиратов.

— Совсем большая, наверное, — приговаривал он. — Уже почти четыре года не виделись. Забери меня дьявол, Олмейер, если в этом рейсе мы не зайдем в Сурабаю.

И после этой фразы всегда нырял к себе в каюту, бормоча:

— Надо как-то решиться… пора решаться…

Не единожды он озадачивал Олмейера тем, что торопливо подскакивал к нему с громким «гм!», будто хотел заговорить, но тут же разворачивался к фальшборту и, облокотившись на него, часами в молчании созерцал фосфоресцирующую гладь

моря. Однако в ночь перед приходом в Сурабаю очередная попытка увенчалась наконец успехом. Откашлявшись, капитан сумел начать разговор. Да какой разговор! Он хотел, чтобы Олмейер женился на его приемной дочери.

— И даже пикнуть не смей, что ты белый! — внезапно взревел он, не давая изумленному юноше вставить ни слова. — Со мной этот номер не пройдет! Никто и не посмотрит, что там за кожа у твоей женушки. Куча долларов затмит любой цвет. И эта куча будет расти, пока я жив. Миллионы, Каспар! Я говорю — миллионы! И все для нее — для тебя, — если поступишь, как я скажу.

Около минуты оторопевший от неожиданного предложения Олмейер молча колебался. За это короткое время пронзительной вспышкой сверкнули в его живом и ярком воображении высокие стопки серебряных гульденов вместе с теми возможностями, которые они дарили. Уважение, беспечная жизнь — к которой он чувствовал большую склонность, — собственные суда и склады, свои товары: ведь даже Лингард не будет жить вечно. И венцом всего этого в далеком будущем — сияющий, как сказочный замок, огромный особняк в Амстердаме: вымечтанный

Олмейером рай земной, где на деньги старого Лингарда он заживет, как король, на закате дней своих, наслаждаясь немыслимым великолепием. Правда, оборотная сторона медали — пожизненный союз с малайкой, подкидышем с пиратского прау. В душе он сознавал, какой это позор для белого мужчины — но, с другой стороны, четыре года монастырского воспитания! — да и, в конце концов, она может удачно умереть. Ему всегда везло, а деньги всемогущи. Нужно соглашаться. Почему бы и нет? Его, выросшего на Востоке, успокаивала смутная мысль, что жену можно где-нибудь запереть, чтобы не делить с ней свое блестящее будущее. Легче легкого избавиться от малайской женщины — рабыни, служанки! — и плевать на все монастыри и венчания.

Олмейер поднял голову и встретил взволнованный и сердитый взгляд Лингарда.

— Разумеется… Все, что прикажете, капитан.

— Зови меня отцом, как и она, мой мальчик, — растроганно попросил старый моряк. — Черт меня побери, если я не думал, что ты готов отказаться. Знаешь, Каспар, я всегда добиваюсь своего, так что в этом все равно не было бы смысла. Но ты далеко не дурак.

Олмейер хорошо помнил тот разговор — взгляд

капитана, его голос, слова и эффект, который они на него оказали. Помнил все, что окружало их тогда: узкую наклонную палубу брига, тихий спящий берег, темную гладь моря с широкой золотой дорожкой восходящей луны. Помнил охватившее его безумное ликование при мысли о том, какое богатство идет ему в руки. Нет, он не был дураком ни тогда, ни теперь. Просто обстоятельства сложились не в его пользу. Богатство ушло, но надежда осталась.

Олмейер передернулся от ночной свежести и внезапно осознал, как сгустилась тьма, после захода солнца накрывшая реку и стершая очертания противоположного берега. Только у частокола, окружавшего дом раджи, ярко горел хворост, судорожно выхватывая из тьмы шершавые стволы ближайших деревьев и кидая дрожащие алые пятна на реку, где по-прежнему в непроглядной тьме торопились к морю древесные стволы. Смутно вспомнилось, что его недавно вроде как окликала жена. Должно быть, к ужину. Но человек, размышляющий о крушении надежд прошлого в преддверии надежд на будущее, не чувствует голода, даже если рис уже готов. Хотя теперь, пожалуй, и впрямь пора домой — уже совсем поздно.

По шатким половицам Олмейер осторожно двинулся к лестнице. Потревоженная им ящерица, недовольно пискнув, юркнула в высокую прибрежную траву. Лестницу пришлось одолевать с осторожностью, давно привычной: тут нужно было следить за тем, чтобы не сверзиться вниз на кочковатую землю, усыпанную камнями, гнилыми досками и сваленными в кучи недопиленными бревнами. Повернув к жилому дому, который он величал не иначе как старой развалюхой, Олмейер уловил доносившийся из темноты плеск весел и остановился на дорожке, прислушиваясь и гадая, кто же это сунулся на реку в такой паводок. Плеск слышался все ближе, к нему присоединились приглушенные голоса и тяжелое дыхание людей, борющихся с течением в попытке причалить к той самой отмели, где он стоял. Они были уже рядом, но сгустившаяся тьма и кусты скрывали их от глаз Олмейера.

— Арабы, не иначе, — пробурчал он себе под нос, вглядываясь в кромешную тьму. — И что им тут надо? Наверняка Абдулла со своими делишками, дьявол его забери!

Лодка подошла совсем близко.

— Эй, там, на борту! — окликнул Олмейер.

Голоса смолкли, но весла все так же яростно

шлепали по воде. Потом куст напротив Олмейера затрясся, и в ночи раздался грохот брошенных в каноэ весел. Теперь гребцы держались за ветки, но Олмейер с трудом мог различить в темноте неясные очертания головы и плеч человека из лодки.

— Ты, Абдулла? — неуверенно справился он.

— Туан Олмейер говорит с другом. Арабов тут нет, — ответил низкий голос.

Сердце у Олмейера учащенно забилось.

— Дэйн! Ну наконец-то, наконец-то! Я ждал тебя дни и ночи! Уже почти надежду потерял!

— Ничто не могло бы помешать мне вернуться, — возразил его собеседник почти свирепо и добавил полушепотом: — Даже смерть.

— Как же радостно слышать слова настоящего друга, — растроганно отозвался Олмейер. — Однако вы слишком далеко. Причаливайте к пристани, и пусть твои люди приготовят рис в моем кампонге, пока мы с тобой поговорим в доме.

Ответа не последовало.

— Что-то случилось? Надеюсь, с бригом все в порядке? — напряженно спросил Олмейер.

— Бриг сейчас там, где ни один белый не сможет наложить на него лапы, — заверил Дэйн с мрачностью в голосе, которой Олмейер в своем

приподнятом состоянии попросту не заметил.

— Ну и хорошо. Но где же тогда все твои люди? С тобой только двое.

— Послушайте, туан Олмейер. Завтра раннее солнце озарит меня в вашем доме, тогда и поговорим. А сегодня я должен заглянуть к радже.

— К радже? Зачем? Что у вас за дела?

— Туан, утром мы будем беседовать как друзья. А сейчас мне надо видеть Лакамбу.

— Дэйн, ты же не бросишь меня теперь, когда уже все готово? — с мольбой в голосе спросил Олмейер.

— Разве я не приплыл обратно? Но сначала мне надо встретиться с ним, для вашей и моей пользы.

Очертания головы скрылись. Отпущенный гребцом куст со свистом выпрямился, окатив грязью Олмейера, который подался вперед в попытке хоть что-нибудь разглядеть.

Вскоре каноэ вошло в полосу света, падавшего с противоположного берега, и Олмейер увидел очертания двух фигур, налегавших на весла, и третьей — на корме у руля — в широкополой шляпе, делавшей ее похожей на огромный гриб.

Олмейер провожал лодку глазами, пока она не скрылась в темноте. Вскоре до его слуха донесся

гул множества голосов. От горящей кучи хвороста отделились огни факелов, которые на миг осветили ворота в частоколе. Люди вошли внутрь — факелы растворились в темноте, и только потревоженный костер бросал вокруг неровный, дрожащий отсвет.

Олмейер большими шагами двинулся к дому, обуреваемый тяжелыми мыслями. Нет, не может быть, чтобы Дэйн решил его провести. Абсурд какой-то. И Дэйн, и Лакамба слишком заинтересованы в успехе предприятия. Конечно, доверять местным — последнее дело, но даже малайцы совсем не дураки, когда речь идет об их собственных интересах. Все будет хорошо — должно быть хорошо! Дойдя до этой мысли, он обнаружил себя у ступеней веранды. Отсюда были видны оба рукава реки. Когда огни у дома раджи окончательно потухли, основное русло Пантая погрузилось в кромешную тьму, но вверх по течению, в Самбире, где на берегу теснились домики малайцев, то там, то сям пробивался сквозь бамбуковые стены тусклый свет или дымящий факел мерцал на веранде над рекой. Еще дальше, там, где остров кончался невысокой скалой, над малайскими лачугами высились внушительные постройки. Возведенные на твердой

земле, занимающие немало места и освещенные множеством огней, ярких и ровных — что наводило на мысль о керосиновых лампах, — стояли там дом и склад главного самбирского торговца Абдуллы ибн-Селима. Картина эта страшно расстраивала Олмейера, вот и сейчас он погрозил кулаком в сторону зданий, которые словно бы холодно и высокомерно насмехались над его утерянным богатством.

И медленно поднялся по ступеням.

Посреди веранды стоял круглый стол. Керосиновая лампа без стекла бросала резкие отсветы на три внутренних стены. Открытая сторона веранды глядела на реку. Между грубыми столбами, поддерживающими крышу, свисали изодранные ротанговые занавески. Потолка не было, и свет лампы рассеивался и терялся среди балок. Центральная стена делилась надвое дверью в коридор, завешенной красной шторой. В этот коридор, ведущий во внутренний двор и кухонную пристройку, выходила женская комната. В одной из боковых стен располагалась другая, запыленная, дверь с выцветшей табличкой «Приемная «Лингард и К°», выглядевшая так, будто ее давным-давно не открывали. У третьей стены красовалось гнутое кресло-качалка, а ближе к

столу — четыре простых деревянных кресла, растерянно разбредшихся вокруг него, будто бы стесняясь окружающей затрапезности.

В одном из углов валялась груда циновок, а наискосок, над ними, висел старый гамак. В другом, обернув голову обрывком красного ситца, бесформенной кучей спал малаец, один из рабов Олмейера — «моих людей», как он их называл. Вокруг лампы под аккомпанемент комариного писка плясали многочисленные и разнообразные мошки. Под пальмовыми листьями, попискивая, бегали ящерицы. Обезьянка, прикованная цепочкой к одному из столбов веранды и забравшаяся под крышу переночевать, оскалилась на Олмейера и перескочила на одну из бамбуковых балок. На облезлый стол дождем посыпались мусор и обрывки листьев. Неровный, выщербленный пол покрывали сухие ветки и земля. Во всем сквозило ощущение заброшенности, запущенности. Красные пятна на полу и стенах выдавали привычку обитателей жевать бетель. Ветер с реки лениво шевелил драные жалюзи, принося из леса сладковато-удушливый запах вянущих цветов.

Под ногами Олмейера громко заскрипели доски. Спящий в углу малаец тревожно шевельнулся, пробормотал что-то невнятное. За занавешен-

ным проемом что-то тихо зашуршало, и нежный голос спросил по-малайски:

— Это ты, отец?

— Да, Нина. Я голоден. Все уже легли? — жизнерадостно спросил Олмейер и с довольным вздохом опустился в ближайшее к столу кресло.

Через занавешенную дверь на веранду вышла Нина в сопровождении пожилой малайки, которая принялась расставлять на столе ужин: тарелку с рисом и рыбой, кувшин с водой, полбутылки женевера — традиционного голландского джина. Аккуратно разместив перед хозяином треснувший стакан и оловянную ложку, она бесшумно исчезла. Нина остановилась у стола, одну руку положила на край, другая безвольно свесилась вдоль тела. На ее лице, обращенном в сторону открытой стены, застыло выражение нетерпеливого ожидания, глаза мечтательно мерили ночную темноту так, словно там скрывалось нечто прекрасное. Для полукровки она была довольно высокой, точеный отцовский профиль несколько утяжелялся квадратным подбородком, унаследованным ею от предков матери — пиратов Сулу. Белые зубы, поблескивающие за приоткрытыми твердо очерченными губами, придавали взволнованному лицу дико-

ватый оттенок. Однако прекрасные темные глаза обладали присущей малайским женщинам мягкостью и вместе с тем светились незаурядным умом; спокойно и уверенно смотрели они, словно видели что-то недоступное взглядам других, пока облаченная в белое девушка стояла у стола — стройная, гибкая, грациозная, но не придававшая значения собственной привлекательности. Ее не слишком высокий, но чистый и открытый лоб венчали пышные блестящие волосы, спадая на плечи тяжелыми локонами. На их черном фоне оливковая кожа казалась гораздо светлее.

Олмейер жадно набросился на рис, но внезапно застыл с ложкой в руке, внимательно глядя на дочь.

— Ты слышала, полчаса назад мимо проплывала лодка? — спросил он.

Девушка быстро глянула на отца и подалась в сторону от света, встав спиной к столу.

— Нет, — медленно ответила она.

— А она была. Наконец-то! Дэйн, собственной персоной. Я успел переговорить с ним, он отправился к Лакамбе и сегодня к нам не придет. Обещал, что будет завтра. — Он проглотил еще ложку и добавил: — Я почти счастлив, Нина. Впереди показался конец длинной дороги, которая

уведет нас прочь от этого жалкого болота. Скоро мы уберемся отсюда, я и ты, моя дорогая девочка, и тогда…

Олмейер поднялся из-за стола и уставился перед собой, словно созерцая некое волшебное видение.

— И тогда мы будем счастливы — ты и я. Будем жить в богатстве и почете далеко отсюда и забудем эту жизнь, эту борьбу, эту нищету!

Он подошел к дочери и ласково провел ладонью по ее волосам.

— Жаль, что приходиться доверяться малайцу, но должен отметить, этот Дэйн — настоящий джентльмен. Настоящий джентльмен, — повторил он.

— Ты позвал его сюда? — спросила Нина, не глядя на отца.

— Конечно! Отчалим послезавтра, — радостно отозвался Олмейер. — Не стоит терять ни минуты. Ты рада, детка?

Нина была почти с него ростом, но Олмейеру нравилось вспоминать ее ребенком, когда они были друг для друга всем на свете.

— Рада, — очень тихо ответила дочь.

— Разумеется, ты и представить себе не можешь, что нас ждет впереди, — оживленно

продолжал Олмейер. — Я ведь и сам не был в Европе, но так часто слушал рассказы матери, что представляю себе все как наяву. Мы заживем на славу, вот увидишь.

Он еще постоял рядом с дочерью, вглядываясь в свое тайное видение, а потом погрозил крепко сжатым кулаком в сторону спящего поселка.

— Ну что, друг мой Абдулла! Посмотрим, кто кого, после стольких лет! — Он перевел взгляд на реку и уже спокойнее сказал: — И снова гроза. Что ж! Никакой гром не помешает мне сегодня наконец-то выспаться. Спокойной ночи, малышка, — шепнул он, целуя дочь в щеку. — Сегодня ты что-то грустишь. Завтра будешь повеселее, да?

Нина слушала отца с непроницаемым лицом, все так же глядя полуприкрытыми глазами в ночь, которая все сгущалась по мере того, как пришедшая с холмов туча стирала звезды, превращая небо, лес и реку в почти осязаемую темную массу. Легкий бриз утих, но далекое ворчание грома и слабые отсветы молний предупреждали о надвигающейся грозе. Девушка со вздохом повернулась к столу.

Олмейер улегся в гамак и уже почти уснул.

— Забери лампу, Нина, — сонно пробормотал он. — Тут полно мошек. Иди спать, доченька.

Но Нина, потушив свет, снова вернулась к балюстраде веранды. Облокотившись о перила, она исступленно вглядывалась в сторону Пантая. Замерев в давящей тишине тропической ночи, с каждой вспышкой молнии она видела, как лес на обоих берегах реки гнется под яростным напором надвигающейся бури, дальний плес вскипает белой пеной, а черные тучи рвутся на причудливые куски, оседая почти на верхушки мятущихся под ветром деревьев. И хотя вокруг нее пока царили тишина и покой, она слышала дальний рев ветра, шум проливного дождя, рокот бушующих волн взбудораженной штормом реки. Все ближе и ближе гремел гром, яркие вспышки молний сменялись ужасающей чернотой. Когда гроза подошла к месту, где река разделялась на два рукава, дом затрясся от ветра, дождь забарабанил по крыше из пальмовых листьев, громовые раскаты слились в сплошной рокот, а непрерывное сверкание молний озарило бурную воду, несущую сломанные ветки деревьев, клонящихся под напором жестокой и безжалостной силы.

И пока отец мирно спал, безразличный как к бешенству стихии, так и к своим собственным надеждам и неудачам, друзьям и врагам, дочь стояла неподвижно, с каждой вспышкой молнии

внимательно и тревожно всматриваясь в широкую гладь реки.

Глава 2

Пойдя навстречу неожиданному требованию Лингарда, Олмейер согласился жениться на малайке, не зная, что в тот день, когда девочка потеряла родных и обрела белого отца, она дралась не хуже остальных на борту прау и не бросилась в воду вместе с другими выжившими только из-за серьезной раны на ноге. Лингард обнаружил ее на палубе под грудой убитых и умирающих и перенес на корму «Молнии» перед тем, как поджечь и пустить по течению пиратскую лодку. Девочка оставалась в сознании, и в безмятежной тишине тропического вечера, наступившей следом за жаркой схваткой, следила, как все, что было ей дорого в ее суровой жизни, все, что она любила как могла, уплывает в дыму и реве пламени. Заботливые руки занимались ее раной, но девочка не обращала на них внимания. Она лежала на палубе и молча, внимательно провожала глазами пылающую могилу отчаянных пиратов, к которым была так привязана и которым так помогла в борьбе с грозным Повелителем Моря — Раджой Лаутом.

Легкий бриз мягко подгонял бриг к югу, и ги-

гантский сноп света и пламени становился все меньше и меньше, пока не замерцал на горизонте, как заходящая звезда. Вот звезда зашла, и лишь густой полог дыма какое-то время отмечал то место, где только что пылал огонь. Потом исчез и дым.

Девочка понимала, что вслед за уплывающим костром уходит и вся ее прошлая жизнь. Теперь она пленница — в дальних краях, у чужих людей в новом, непонятном и, скорее всего, опасном мире. Четырнадцати лет от роду, она сознавала свое положение и пришла к выводу, единственно возможному для малайской девушки, стремительно зреющей под жарким солнцем и сознающей свою притягательность, о которой так часто слышала лестные отзывы храбрых молодых воинов из команды отца. Неизвестность пугала ее, в остальном она приняла свою судьбу, по обычаю своего народа, достаточно спокойно. Та даже казалась ей довольно естественной — разве она не дочь воина, захваченная в плен во время битвы, и разве не должна она в таком случае по праву достаться победившему радже? Даже очевидная доброта грозного старого моряка росла, по ее мнению, из его восхищения пленницей. Это льстило ее самолюбию и смягчало муки случившейся с ней беды.

Возможно, знай она о высоких стенах, тихих садах и молчаливых сестрах монастыря в Самаранге, куда вела ее судьба, она бы искала смерти взамен того ужаса, каким стало для нее будущее заключение. Но в воображении своем она рисовала картину, типичную для малайской женщины: чередование тяжелой работы и яростной любви, интриги, золотые украшения, домашнее хозяйство и то колоссальное, хоть и скрытое влияние, которое является одним из неотъемлемых прав женщины у полудиких народов.

Однако участь девушки в руках старого морского волка, ведомого порывом души, приобрела странную и гнетущую для нее форму. Она тяготилась всем: несвободой, учебой, чужой верой, — всей своей новой жизнью, скрывая ненависть и презрение под маской молчаливой покорности. Она легко овладела чужим языком, но в непривычной религии, которой учили ее добрые сестры, поняла очень мало, быстро заучив только самые суеверные моменты. Она кротко и ласково звала Лингарда отцом во время его коротких и бурных визитов, будучи уверена, что капитан — огромная и страшная сила, которую следует всячески умилостивить. Разве не он ее повелитель? И на протяжении этих долгих четырех лет

она лелеяла надежду увидеть в его глазах расположение к ней, чтобы в конечном счете стать его женой, советчицей, подругой. Мечты эти были разбиты «указом» Раджи Лаута, даровавшим Олмейеру богатство, на которое тот так надеялся. Одетая в ненавистное европейское платье, привлекшая внимание всего батавского общества, юная новобрачная стояла перед алтарем рядом с незнакомым хмурым белым юношей. Олмейеру было противно и очень хотелось сбежать. Лишь вполне оправданный страх перед свежеобретенным тестем и забота о собственном благополучии удержали его от скандального шага. Однако произнося клятву верности, он уже прокручивал в голове планы, как в более или менее обозримом будущем избавиться от малайской красавицы. Она же усвоила из монастырского воспитания достаточно, чтобы понять, что по законам белых станет Олмейеру подругой, а не рабыней, и решила вести себя соответственно.

Поэтому, когда «Молния», нагруженная материалами для строительства нового дома, отчалила от пристани Батавии, увозя юную пару на неизведанный Борнео, на ее палубе царило гораздо меньше любви и счастья, чем Лингард когда-то хвастливо обещал друзьям на верандах

разнообразных заведений. Сам моряк, однако, был совершенно счастлив. Он исполнил свой долг перед приемной дочерью. «Понимаете, ведь это я сделал ее сиротой», — бывало, повторял он перед разношерстной аудиторией портовых бездельников — внушительно и так часто, что это вошло у него в привычку. «И вот пришла пора поправить дело!» — добавлял он теперь и, словно в доказательство своих слов, лихорадочно торопил строительство на реке Пантай. Жилище для молодой семьи, склады для торговли, которой будет заниматься Олмейер, пока он, Лингард, целиком отдастся некой загадочной деятельности, о которой он говорил лишь намеками: мол, связано все с золотом и алмазами, таящимися в глубине острова. Олмейер также пребывал в нетерпении. Знай он, что его ждет, поумерил бы азарт и надежду, с которыми наблюдал, как последнее каноэ Лингарда скрывается за поворотом реки. Отвернувшись от нее, Олмейер оглядел прелестный новый дом и просторные склады, старательно возведенные армией китайских плотников, новую пристань с теснившимися вокруг торговыми лодками и задохнулся от восторга, ощутив, что мир принадлежит ему.

Однако мир нужно было сперва завоевать, и

бой этот оказался не таким легким, как поначалу представлялось Олмейеру. Очень скоро ему пришлось понять, что он — нежеланный гость в этом уголке суши, центре жесточайших интриг и яростной конкуренции, куда забросили его Лингард и собственное слабоволие. Арабы тоже нашли реку, основали торговый пункт в Самбире и не желали терпеть рядом с собой никаких соперников. Из первой экспедиции Лингард вернулся несолоно хлебавши и тут же отбыл во вторую, истратив всю прибыль на снаряжение этих загадочных походов.

Олмейер боролся с трудностями собственного положения — без друзей, без помощи, если не считать покровительства, оказываемого ему ради Лингарда пожилым раджой, предшественником Лакамбы. Сам Лакамба, подвизавшийся в то время на расчистке полей под посадку риса и живший в семи милях ниже по реке, бросил все свои силы на помощь врагам белого человека. Он провернул против раджи и Олмейера несколько комбинаций, давших понять, что он знает их тайные планы. Держался он, однако, дружелюбно, и его солидная фигура частенько маячила на веранде Олмейера, а зеленый тюрбан и расшитое золотом одеяние мелькали в первых рядах

малайцев, приходящих приветствовать вернувшегося из плавания Лингарда. Поклоны его были самыми низкими, а рукопожатия — самыми сердечными, но маленькие глазки жадно вбирали все происходящее, и со встреч он возвращался с хитрой удовлетворенной улыбкой, после чего вел долгие переговоры со своим другом и союзником Сеидом Абдуллой, главой арабских торговцев, богатейшим и влиятельнейшим человеком на островах.

В поселке царила уверенность, что визиты Лакамбы в дом Олмейера не ограничиваются официальными приемами. Нередко лунными ночами запоздалые рыбаки видели, как небольшое каноэ стрелой вылетает из узкой протоки позади дома белого человека и одинокий гребец осторожно правит вниз по реке в густой тени береговой растительности. Разумеется, о событии становилось известно всем, и оно обсуждалось поздними вечерами у домашних очагов с цинизмом, присущим высшим кругам Самбира, и ехидным удовольствием по поводу домашних неурядиц белого — ненавистного всем голландца.

Олмейер пребывал в отчаянии, пытался бороться, но столь вяло, что это лишало его всякого

шанса на победу над людьми, столь же уверенными в себе и беспринципными, как его противники арабы. Торговля хирела, склады ветшали день ото дня. Банкир старого капитана, Худиг из Макасара, разорился, а вместе с ним исчез и весь доступный капитал. Прибыль прошлых лет разошлась на безумные проекты Лингарда. Сам он исчез где-то в глубине острова — возможно, уже погиб, так как давно не давал о себе знать. Олмейер остался один, в окружении недругов, утешаясь лишь общением с дочкой, родившейся через два года после свадьбы и достигшей к тому времени возраста шести лет. Жена очень скоро прониклась к нему жестоким презрением и большей частью угрюмо молчала, а когда все-таки открывала рот, оттуда лился поток отборной брани. Олмейер постоянно ощущал эту ненависть, особенно когда глаза жены ревниво следили за ним и дочерью. Та явно предпочитала отца, и Олмейеру было не по себе от жизни в одном доме с женщиной, исходившей злобой и ревностью. Когда она жгла мебель или рвала на куски прекрасные занавески, выражая тем самым свою ненависть к любым признакам цивилизации, он, запуганный взрывами ее жестокой натуры, в попытках успокоиться придумывал способы избавиться от

нее. Перебрал все — даже планировал убийство, нерешительно и вяло, как все, что он задумывал, и в итоге не сделал ничего, лишь каждый день ожидал возвращения Лингарда с новостями о несметном богатстве.

И тот действительно вернулся: больной, постаревший, бледная тень себя прежнего, с лихорадочно горящими глазами, чуть ли не в одиночку выживший в многочисленных экспедициях. Но он преуспел! Несметные сокровища были почти у него в руках, не хватало только денег. Чтобы воплотить наконец мечту о потрясающем богатстве, добавить нужно было совсем немного. Но Худиг, как назло, разорился! Олмейер наскреб сколько мог, однако старику требовалось больше. «Не хватает у Олмейера, нужно ехать в Сингапур — а то и в Европу», — твердил Лингард. Но сперва в Сингапур, и обязательно взять с собой маленькую Нину. Ребенка следует вырастить должным образом. У Лингарда в Сингапуре добрые друзья, они позаботятся об образовании и воспитании Нины. Все будет хорошо, и девочка, на которую старый моряк, казалось, перенес всю свою бывшую привязанность к ее матери, станет богатейшей женщиной на Востоке, если не во всем мире. Лингард горячился и тяжелой

поступью моряка расхаживал по веранде, размахивая горящей сигарой: оборванный, небритый и полный энтузиазма, а скорчившийся на груде циновок Олмейер с ужасом думал о расставании с единственным любимым существом. С еще большим ужасом он представлял разговор с женой, бешеной тигрицей, у которой собирались отнять детеныша. «Да она меня отравит!» — думал несчастный, отлично осведомленный о простом и действенном малайском обычае решать социальные, политические и семейные проблемы.

К его великому удивлению, жена приняла новость очень спокойно, лишь молча искоса глянула на них с Лингардом, что не помешало ей на следующий день прыгнуть в реку и поплыть за лодкой, в которой капитан увозил няньку и рыдающего ребенка. Олмейеру пришлось пуститься в погоню на вельботе и за волосы втащить ее на палубу, где на него обрушилась лавина слез и проклятий, да таких, что и чертям в аду бы не поздоровилось. Однако после двух дней причитаний жена вернулась к своему обычному образу жизни — жевала бетель да бездельничала в компании служанок. После этого случая она начала стремительно стареть и пробуждалась от своей апатии, только чтобы отпустить язвительное

замечание в сторону мужа. Пришлось выстроить ей хижину на берегу, где она обитала в полном одиночестве. Визиты Лакамбы закончились, когда, по воле Провидения, а также с небольшой помощью неких хитрых манипуляций прежний повелитель Самбира отдал богу душу. Лакамба воцарился в его усадьбе при посредничестве своих друзей арабов, замолвивших за него словечко перед голландскими властями. Сеид Абдулла был главным человеком и торговцем на Пантае, зато дела Олмейера пребывали в плачевном состоянии. Запутавшись в частой сети соседских интриг, он поставил всю свою жизнь только на ожидаемый заветный секрет Лингарда. Но капитан исчез. Как-то раз прислал весточку из Сингапура, сообщил, что девочка в порядке, под надзором миссис Винк, а сам он едет в Европу собирать средства для своего грандиозного предприятия. Писал, что скоро вернется, никаких трудностей не ожидает, так как люди сами ринутся к нему с деньгами. Разумеется, ничего у него не вышло, потому что в следующем письме говорилось, что он хворает, не нашел в живых ни одного родственника, — и более ничего. Наступила полная тишина. Европа с головой поглотила Раджу Лаута, и тщетно Олмейер заглядывался на

запад в ожидании луча солнца в тумане разрушенных надежд.

Шли годы, и редкие письма сначала от миссис Винк, потом и от самой дочери были единственным, что хоть как-то скрашивало его жизнь на берегах коварной, одолевшей его реки. Олмейер жил один, перестал даже заходить к должникам, которые не платили по счетам, уверенные в покровительстве Лакамбы. Преданный суматранец Али готовил ему рис и варил кофе, потому что никому больше Олмейер не доверял, особенно жене. Он убивал время, бесцельно слоняясь по окрестностям да навещая руины складов, где лишь несколько покрытых прозеленью медных пушек и развалившихся тюков с тканями напоминали о старых добрых временах, когда здесь кипела жизнь и он взирал на эту жизнь с речного берега, стоя бок о бок с дочерью. Теперь же каноэ проплывали мимо полусгнившей пристани с надписью «Лингард и К°», чтобы нырнуть в другой рукав Пантая и сгрудиться у новенького причала Абдуллы. Не потому, что Абдуллу так уж любили, просто никто не решался торговать с человеком, чья звезда уже закатилась. Всем было ясно, что тому, кто пойдет на сделку с голландцем, не миновать расправы со стороны арабов или раджи,

даже риса взаймы в голодный год не получишь. А Олмейер никому помочь не мог — сам, бывало, сидел голодный.

От отчаяния и одиночества он завидовал даже ближайшему соседу, китайцу Чим Ингу, который частенько лежал на прохладной циновке, с деревянным подголовником под затылком и с опиумной трубкой в безвольных пальцах. Сам Олмейер, однако, не искал утешения в опиуме: то ли тот просто-напросто был очень дорог, то ли гордость белого человека спасала его от деградации, но, скорее всего, останавливали мысли о дочери, растущей где-то там в Стрейтс-Сетлментс. Теперь он узнавал о ней чаще — с тех пор как Абдулла купил пароход, курсирующий между Сингапуром и Пантаем примерно раз в три месяца, Олмейер чувствовал себя ближе к Нине. Он планировал визит в Сингапур, чтобы повидаться с нею, но откладывал его год от года, без конца ожидая какого-то счастливого поворота судьбы. Ему не хотелось встретить дочь с пустыми руками и без утешительных вестей. Не хотелось забирать обратно в дикую жизнь, к которой оказался приговорен он сам. Он даже побаивался Нины. Что она о нем думает? Олмейер подсчитал прошедшие годы. Взрослая девушка, юная жен-

щина, цивилизованная и полная надежд, в то время как он постарел и выдохся, почти сравнявшись с окружающими дикарями. Что ждет его в будущем? Олмейер не знал ответа на этот вопрос, и жаждал, и боялся встречи с дочерью — потому и колебался годами.

Сомнениям его положило конец неожиданное возвращение Нины в Самбир — она приплыла на пароходе, под присмотром капитана. Олмейер с изумлением рассматривал дочь. За десять лет девочка выросла в высокую и миловидную девушку с черными волосами, оливковой кожей и большими грустными глазами, в которых боязливость, характерная для малайских женщин, сочеталась с вдумчивостью, унаследованной от европейских предков. Олмейер с тревогой думал о встрече жены и дочери. Что серьезная барышня в европейской одежде подумает о матери — полуголой, целыми днями сидевшей на корточках в разрухе полутемной хижины и угрюмо жевавшей бетель? Еще больше Олмейер боялся скандала со стороны этой мегеры, которую до сих пор удавалось удерживать в относительном спокойствии, чтобы сберечь остатки полуразрушенной мебели. И он уже стоит перед закрытой дверью, под слепящим солнцем, пытаясь разобрать идущее

изнутри бормотание, а служанки, высланные наружу, толпятся у забора, прикрывая лица и шушукаясь друг с другом. Олмейер сосредоточенно пытался уловить сквозь бамбуковые стены хотя бы слово, пока доставивший девушку домой капитан, опасаясь солнечного удара, не увел хозяина под локоть на его собственную веранду. Там уже стоял чемодан Нины, доставленный матросами. Как только капитан Форд получил свой стакан с выпивкой и зажег сигару, взволнованный Олмейер попросил рассказать о причинах неожиданного приезда дочери. Не вдаваясь в подробности, Форд поведал ему в обобщенных, но сильных выражениях о бестолковости всех женщин в общем и миссис Винк в частности.

— Понимаешь, Каспар, — добавил он в заключение, — это ведь чертовски непросто — поселить в доме девушку-полукровку. Кругом полно дурачья. К примеру, один юнец, работник банка, зачастил в бунгало Винка по десять раз на дню, с утра до ночи. Старуха-то сперва решила, что его привлекает их Эмма, а когда поняла, в чем дело, закатила такой скандал, что мало не показалось. Кричала, что и часу больше не потерпит Нину в своем доме. Хорошо, что я об этом узнал, и забрал девочку к себе. Моя жена — славная женщина,

насколько это вообще возможно для женщин, и, клянусь, мы могли бы оставить Нину у нас, да только она ни в какую! Тихо, тихо! Не горячись, Каспар! Сядь, остынь. Что ж теперь поделаешь? Как вышло, так и вышло. Оставь Нину дома. Ей там было несладко. Винковы девицы — ну просто разодетые макаки! — постоянно ее дразнили. Белой ты ее не сделаешь. И нечего ругаться, я тут ни при чем, так оно и есть. Нина хорошая девочка, но моя жена разговорить ее так и не смогла. Хочешь — сам расспроси, только на твоем месте я бы оставил ее в покое. Насчет платы за проезд не беспокойся, старина, если у тебя сейчас туго с деньгами.

И, отбросив сигару, шкипер отправился обратно на пароход со словами «пора взгреть там всех хорошенько».

Тщетно Олмейер ожидал услышать историю возвращения дочери от нее самой. Ни в тот день, ни в один из последующих не поделилась она подробностями жизни в Сингапуре. Сам он спрашивать не решался, загипнотизированный ее бесстрастным лицом и серьезными глазами, глядевшими куда-то мимо него, в густую, неподвижную чащу леса, дремлющего в блаженном покое под журчание полноводной реки. Так что

он принял все как есть, радуясь тихой и снисходительной привязанности, которую порой демонстрировала дочь. В «плохие дни», как она их называла, Нина навещала мать в хижине на берегу и через несколько часов выходила оттуда столь же бесстрастной, как и обычно, но на отца глядела свысока и на все его расспросы отвечала коротко и резко. Олмейер привык и к этому, и в такие дни покорно молчал, что не мешало ему тревожиться про себя о том влиянии, которое жена оказывает на дочь.

В остальном Нина, казалось, прекрасно приспособилась к обстоятельствам их полудикой нищенской жизни. Без единого слова, без единого признака отвращения приняла она и запущенность, и упадок, и бедность окружающей обстановки, и отсутствие мебели, и переизбыток риса в семейном меню. Жила она с отцом, в их небольшом доме, когда-то выстроенном Лингардом для молодой семьи, а ныне порядком обветшавшем. Малайцы с энтузиазмом обсуждали ее приезд. Сперва явились толпы местных женщин с детьми, жаждавшие получить у белой мэм-пути убат против всех болезней. Прохладными вечерами арабы в длинных белых рубахах и желтых жилетах неспешно доходили по пыль-

ным тропинкам вдоль берега реки до ворот Олмейера и обсуждали с «неверным» какие-то надуманные торговые мелочи — все для того, чтобы под благовидным предлогом хоть краем глаза увидеть девушку.

Даже Лакамба вылез из-за своего частокола и с большой помпой доплыл на боевых каноэ с алыми зонтами до полусгнившей маленькой пристани «Лингард и К°», чтобы, по его словам, купить пару медных пушек для своего друга, главы самбирских даяков. И пока Олмейер учтиво, но не скрывая подозрений, выкапывал ушедшие в землю орудия, раджа сидел в кресле на веранде, окруженный почтительной свитой, и ожидал появления Нины. Но она переживала один из «плохих дней» и все это время просидела в хижине, наблюдая вместе с матерью церемонии, развернувшиеся на веранде. Наконец раджа отбыл, разочарованный, но учтивый, и вскоре Олмейер начал пожинать плоды восстановленных отношений с правителем в виде неожиданного возврата некоторых долгов, уплаченных ему с тысячами извинений и нижайших поклонов должниками, которые до того объявляли себя чуть ли не банкротами. Жизнь как будто бы налаживалась, и Олмейер немного приободрился.

А вдруг еще не все пропало? «Возможно, — думал он, — все эти арабы и малайцы наконец-то осознали, что перед ними человек с некими возможностями». И тут же, по своему обыкновению, размечтался о великих делах и великих богатствах — для него и для Нины. Особенно для Нины! Окрыленный этими мечтами, Олмейер попросил капитана Форда написать друзьям в Англию, чтобы те попытались разузнать что-нибудь про Лингарда. Жив ли он? Если нет, то не оставил ли после себя каких-нибудь бумаг, документов — хоть каких-то подсказок или ключей к обещанному богатству? Кроме того, в одной из комнат Олмейер обнаружил среди мусора капитанский дневник и часто размышлял над записями старого путешественника, силясь разобрать его неразборчивый почерк.

Были и другие причины пробудиться от апатии. Весть об основании британской Борнейской компании переполошила весь остров и затронула даже самые отсталые слои пантайской жизни. Ждали больших перемен, практически аннексии, арабы становились все более вежливы. Олмейер начал строить новый дом, предполагая, что инженерам, агентам и другим работникам будущей фирмы понадобится жилье. С легким

сердцем он тратил на него каждый заработанный гульден. Печалило лишь то, что жена начала выходить из заточения, и ее зеленая рубаха, скудный запас саронгов, визгливый голос и ведьминская внешность снова ворвались в тихую жизнь маленького бунгало. Дочь, судя по всему, восприняла безжалостное вторжение в их повседневный быт со своей обычной завораживающей невозмутимостью. Олмейер не был рад, но возразить не посмел.

Глава 3

В Лондоне, в окутанных туманом конторах Борнейской компании, прошли совещания, и прошли не зря — итоги их затмили для Олмейера алмазный блеск тропического солнца и добавили очередную каплю горечи в чашу его разочарований. Претензии на эту часть восточного побережья были сняты, и река Пантай осталась под номинальной властью Голландии. В Самбире царили радость и воодушевление. Рабов убрали с глаз долой в леса и джунгли, в усадьбе раджи, в преддверии визита голландских военных шлюпок, взлетели на высоких столбах флаги.

Фрегат встал на якорь за устьем реки, а шлюпки, взятые на буксир паровым катером, поднялись вверх по течению, осторожно прокладывая путь в толпе каноэ, заполненных празднично одетыми малайцами. Старший офицер серьезно выслушал верноподданническую речь Лакамбы, обменялся приветствиями с Абдуллой и на малайском заверил этих достопочтенных джентльменов в дружеском расположении пребывающего в Батавии великого раджи к властям и жителям их образцового округа.

Олмейер с веранды наблюдал пышную встречу, слышал, как пушки дали салют в честь поднятия нового флага, подаренного Лакамбе, и вокруг частокола загомонили собравшиеся зеваки. Дым от выстрелов белыми облачками уплывал в зеленый лес, и Олмейер невольно сравнил его со своими испарившимися мечтами. Разумеется, он не мог не ощутить прилива патриотизма от столь важного события, но ему пришлось буквально заставить себя изобразить вежливость, когда после окончания официальной церемонии морские офицеры делегации пересекли реку, чтобы нанести визит заинтересовавшему их белому отшельнику, а заодно, разумеется, и посмотреть на его дочь. В отношении Нины их постигло разочарование: она отказалась выходить, но гости легко утешились джином и сигарами, которыми угощал их радушный Олмейер. С удовольствием развалившись в хромоногих креслах под навесом веранды, пока река, казалось, кипела от раскаленного солнца, они наполнили маленькое бунгало непривычными звуками европейской речи, шумом и хохотом, прохаживаясь с грубоватым флотским юмором по внешности толстого Лакамбы, которому лишь сегодня утром наговорили столько комплиментов. Молодые гости

воодушевили Олмейера, и он, взволнованный видом европейских лиц и звучанием европейских голосов, открыл свое сердце сочувствующим незнакомцам, не понимая, что перечисление его многочисленных неудач лишь забавляет будущих адмиралов. Они пили за его здоровье, желали ему огромных алмазов и гор золота, выражали даже зависть к ожидающей его судьбе. Воодушевленный их дружелюбием бестолковый седой мечтатель пригласил гостей осмотреть строящийся дом. Они поплелись туда вразброд, по высокой траве, а шлюпки ждали их у причала, готовые отправиться в обратный путь вниз по реке, в прохладе вечера.

В просторных заброшенных комнатах в пустые оконные проемы дул теплый ветер, играя палой листвой и закручивая пыльные вихри. Олмейер в белой рубахе и цветастом саронге, окруженный людьми в блестящей форме, топал ногой, демонстрируя прочность почти законченных полов, и рассыпался в похвалах красоте и удобству дома. Гости слушали и поддакивали, удивляясь про себя невероятному простодушию и глуповатому оптимизму хозяина, пока Олмейер, перевозбужденный встречей, не озвучил свою досаду оттого, что тут так и не появились англичане, которые,

как он выразился, «знают, как сделать страну богатой». Голландские офицеры встретили это бесхитростное заявление дружным хохотом и двинулись в сторону пристани. Но когда Олмейер, осторожно ступая по гнилым доскам, попытался подобраться к главе делегации и робко намекнуть ему на поддержку, которой мог бы ожидать от соотечественников голландец, окруженный коварными арабами, просоленный морями дипломат многозначительно ответил ему, что арабы куда лучше голландцев, которые потихоньку сбывают малайцам порох. Ни в чем не повинный Олмейер тут же распознал в этих обвинениях скользкие намеки Абдуллы и наглую убедительность Лакамбы. Однако прежде, чем он успел хоть что-то сказать в свою защиту, паровой катер и вереница шлюпок быстро двинулись вниз по реке, оставив его на пристани с открытым от неожиданности и обиды ртом.

От Самбира до островов, рассыпанных в устье реки, где в ожидании шлюпок стоял фрегат, было около тридцати миль. Лодки не одолели еще и половины пути, когда взошла луна и темный лес, мирно спящий под ее холодными лучами, был разбужен взрывами хохота, доносящимися от маленькой флотилии при пересказе всех

злоключений Олмейера. Соленые шутки насчет напрасных расходов бедняги летали с палубы на палубу, отсутствие дочери обсуждалось с огромным неудовольствием, а недостроенный в ожидании приезда англичан дом в эту ночь был единодушно наречен «Каприз Олмейера».

После шумихи, поднятой визитом голландцев, жизнь в Самбире опять пошла монотонно и размеренно. Каждое утро солнце проливало свет на верхушки деревьев, озаряя один и тот же пейзаж. Проходя по тропинке, составлявшей единственную улицу поселка, Нина наблюдала привычную картину: мужчин, валявшихся на высоких настилах с теневой стороны домов, женщин, лущивших рис на обед, голых коричневых ребятишек, бегавших по узким тенистым тропкам между прогалинами. Чим Инг, поднимаясь к себе в хижину за опиумной трубочкой, приветствовал ее дружеским кивком. Дети постарше толклись вокруг нее, пользуясь давним знакомством, дергали темными пальцами подол белого платья, скалили жемчужные зубы в надежде на горсть стеклянных бусин. В ответ им доставалась лишь сдержанная улыбка, однако Нина всегда находила несколько добрых слов для девочки-сиамки, рабыни их соседа Буланги,

чьи бесчисленные супруги, все как одна, отличались буйством нрава. Ходили небеспочвенные слухи, что семейные ссоры в доме этого трудолюбивого земледельца кончались тем, что все жены, объединившись, нападали на служанку. Сама девочка никогда ни на что не жаловалась — может, из осторожности, но, скорее всего, из той врожденной апатии, что присуща женщинам полудиких народов. С раннего утра она сновала между домами, у причалов, вдоль реки, ловко удерживая на голове поднос печенья — на продажу. В самое пекло она часто пряталась в кампонге Олмейера — сидела со своим подносом на корточках в укромном уголке веранды, куда приглашала ее Нина. Для мэм-пути у нее всегда находилась улыбка, но появление миссис Олмейер, визгливый звук ее голоса мгновенно становились сигналом к торопливому бегству.

И хотя с юной служанкой Нина говорила часто, другие обитатели поселка почти не слышали ее голоса и скоро привыкли к безмолвной, одетой в белое фигуре, непохожей на них самих так, словно она была существом из другого мира. Однако, несмотря на внешнюю сдержанность, на кажущуюся отстраненность от людей и вещей, ее окружавших, жизнь Нины трудно было назвать

спокойной по вине миссис Олмейер, которая слишком радела о счастье и безопасности семейства. Она возобновила некоторые сношения с Лакамбой — правда, не лично, так как достоинство этого великого человека не позволяло ему выходить за пределы своего частокола, а через его премьер-министра, начальника порта, финансового советника и доверенного слугу. Джентльмен этот, родом с Сулу, несомненно, обладал всеми качествами государственного деятеля, но был начисто лишен личного обаяния, а точнее говоря, просто безобразен: одноглазый, рябой — нос и губы его были полностью изуродованы оспой. И вот этот-то непривлекательный субъект частенько слонялся по саду Олмейера в неофициальном костюме, состоящем из куска розового ситца, обмотанного вокруг бедер, посиживал на корточках на задах дома, среди рассыпанного угля, в непосредственной близости от большого котла, где под надзором миссис Олмейер служанки готовили рис для всей семьи, и вел долгие разговоры на языке сулу с женой Олмейера. Какие темы затрагивал коварный посредник, становилось ясно позже, во время семейных сцен у домашнего очага Олмейеров.

Сам Олмейер заимел привычку отправляться в

поездки по реке. В маленьком каноэ, с двумя гребцами и верным Али у руля, он исчезал из дома на несколько дней. Эти передвижения не ускользали от внимания Абдуллы и Лакамбы, ибо человек, когда-то пользовавшийся доверием Раджи Лаута, мог хранить очень важные секреты. Прибрежное население Борнео свято верило, что в глубине острова скрываются россыпи бесценных алмазов и богатейшие золотые копи. Фантазии усугублялись трудностями, мешавшими проникнуть вглубь, особенно на северо-востоке, где малайцы постоянно воевали с даяками или охотниками за головами. Какое-то золото действительно добиралось до побережья посредством этих самых даяков, когда во время коротких перемирий в беспорядочных войнах они навещали прибрежные поселки малайцев. Рождавшиеся на основании этих визитов предположения раздувались до невероятных размеров.

У Олмейера, человека белого — как и у Лингарда до него, — отношения с племенами выше по реке складывались лучше, чем у местных. Но и его поездки не были лишены опасностей, и нетерпеливый Лакамба каждый раз взволнованно ждал возвращения соседа. Но тщетно. Разочарованием кончались и все переговоры верного Бабалачи с

женой Олмейера у рисового котла. Сосед был глух ко всему: к уговорам, угрозам, добрым словам и визгливым проклятиям, отчаянным мольбам и смертельным угрозам, ибо миссис Олмейер в своем неистовом желании заставить мужа заключить союз с Лакамбой использовала всю гамму страстей. Замотанная в какую-то засаленную тряпку, прижатую под мышкой у высохшей груди, с поредевшими седыми волосами, клочковато торчащими над острыми скулами, она просительно и визгливо перечисляла преимущества тесного союза со столь прекрасным и честным человеком.

— Почему ты не поговоришь с раджой? — кричала жена. — Что ты все бегаешь в лес, к этим даякам? Их надо просто перебить! Только ты этого не сможешь, а вот у раджи полно храбрых воинов! Ты откроешь радже, где богатства белого старика. Нашему прекрасному радже, величайшему повелителю! Он всем нам как родной дед — Дату Безар! Он одолеет всех даяков, и ты заберешь сокровища! О Каспар, скажи: где они? Скажи мне! Ты ведь целыми ночами читаешь письма старика!

В такие минуты Олмейер сидел, опустив плечи, склоняясь под порывами этого домашнего

урагана, и использовал каждую паузу в льющихся потоком требованиях жены, чтобы сердито вставить:

— Нет там никаких сокровищ! Уймись, женщина!

Она же, разозленная видом его уныло согнутой спины, в конце концов обегала вокруг стола, пытаясь заглянуть мужу в лицо. Придерживая одной рукой свое одеяние, она протягивала к нему вторую, тощую, похожую на клешню руку, чтобы усилить, в приступе ярости и презрения, бурлящий поток едких замечаний и злобных проклятий, обрушивавшихся на голову недотепы, не способного объединиться с предводителем храбрых малайцев. Кончалось все обычно тем, что Олмейер медленно вставал, с выражением внутренней боли на лице, молча уходил, сжимая в руке длинную трубку, спускался по ступеням и нырял в высокую траву, направляясь к одиноко стоявшему поодаль новому дому, еле волоча ноги от отвращения и страха перед гневом жены. А она, застыв на верхней ступеньке, посылала вслед удаляющейся фигуре потоки неразборчивых проклятий. И каждая из этих сцен завершалась пронзительным визгом, догонявшим Олмейера, как бы далеко он ни ушел:

— Я ведь жена тебе, Каспар! Единственная, по вашим белым христианским законам!

Она знала, чем ранить его больнее всего, что составляло самое большое сожаление его жизни.

Подобные сцены Нина переживала безмолвно. Она казалась глухой, немой, бесчувственной — во всяком случае, со стороны. Однако же очень часто, как только отец находил убежище в просторных пыльных комнатах «Каприза Олмейера», а мать, утомленная ораторскими подвигами, устало съеживалась на корточках, спиной к ножке стола, Нина с любопытством подходила к ней, стараясь не запачкать подол в заляпавших половицы кляксах бетеля. Остановившись рядом, она вглядывалась в мать, как в жерло вулкана, что утихает после недавнего извержения.

После скандалов миссис Олмейер словно впадала в детство и монотонным речитативом — слегка бессвязно, но с завидным постоянством — описывала славу и богатство султана Сулу, его силу, доблесть, власть и страх, который охватывал сердца белых при виде стремительных пиратских прау. Бормотания о могуществе деда мешались с более поздними воспоминаниями, где главенствующую позицию занимала битва с бригом «белого дьявола» и жизнь в монастыре

Самаранга. Тут она обычно теряла нить рассказа, вытаскивала маленький медный крестик, который всегда болтался у нее на шее, и созерцала его с благоговейным трепетом. Суеверные воззрения на этот кусочек металла как на своего рода талисман и туманные представления о злобных духах и ужасных мучениях, выдуманных, как она считала, специально для нее доброй матерью-настоятельницей на случай потери покровительства свыше, были единственным религиозным багажом, оставшимся у миссис Олмейер на тернистой дороге жизни.

Но у нее было хоть что-то материальное, что можно пощупать, в то время как у Нины, воспитанной под протестантским крылом праведной миссис Винк, не осталось даже кусочка меди на память о годах учебы. И перечисление жестоких подвигов, варварских войн и дикарских пиршеств, истории о доблестных, хоть и довольно кровожадных деяниях, где мужчины из рода ее матери стояли куда выше, чем оранг-бланда, неодолимо влекли Нину. Она чувствовала, как тонкий слой цивилизованности и морали, в который благонамеренные люди упаковали ее юную душу, слетает прочь, оставляя ее дрожащей и беспомощной, словно на краю глубокой и

неизведанной бездны. Самое странное, что под влиянием похожего на ведьму существа, которое она звала матерью, бездна эта не пугала ее.

В цивилизованном обществе Нина забыла, как жила до того, когда Лингард, можно сказать, похитил ее с родной пристани. С тех пор она познакомилась с христианством, получила образование и попробовала на вкус цивилизованную жизнь. К сожалению, учителя не разглядели ее натуру, а учеба кончилась унижением и взрывом презрения белых людей к ее смешанной крови. Нина до дна испила горькую чашу и хорошо запомнила, как ярость добродетельной миссис Винк обрушилась не столько на молодого человека из банка, сколько на ни в чем не повинный предмет его интереса. Несомненно, основной причиной гнева послужило то, что вся история произошла в белом гнезде, куда ее белоснежные голубки, обе мисс Винк, прилетели под крыло матери после учебы в Европе, чтобы найти безупречных мужчин для устройства достойной судьбы. Даже мысль о деньгах, с таким трудом собираемых Олмейером и пунктуально отсылаемых им на содержание Нины, не заставила миссис Винк переменить свое решение. Нину отослали прочь — да она и сама хотела уехать,

хоть и страшилась грядущих перемен.

И теперь, вот уже три года, Нина жила на реке с дикаркой матерью и вечно витавшим в облаках отцом, попадавшим из одной ловушки в другую, слабым, нерешительным, несчастным. Жила без каких-либо примет цивилизации, в жалких бытовых условиях, в атмосфере подлости, заговоров и грязных интриг ради прибыли, из любви к деньгам. Вкупе с семейными ссорами это были единственные события ее жизни. Она не умерла от безысходности и отвращения, как предполагала и даже надеялась сначала. Напротив, через полгода Нине уже казалось, что другой жизни она и не знала. Ее детское сознание, которое неумело познакомили с лучшей жизнью, а затем отбросили назад, в варварство, полное жестоких и бесконтрольных страстей, потеряло способность хоть что-то различать. Нине стало казаться, будто изменить что-то невозможно, да и бессмысленно, ибо различий-то никаких нет. «Неважно, торгуешь ты на кирпичных складах или на илистых берегах реки; достигаешь большого или малого; находишь любовь под сенью раскидистых деревьев или на сингапурском променаде в тени кафедрального собора; заботишься о своих интересах под покровительством

законов и по правилам христианской церкви или с помощью незамысловатого коварства и необузданной свирепости, столь же диких, как огромные дремучие леса, — любовь и ненависть везде одинаковы», — думала Нина. Так же, как и мерзкая жадность, гоняющаяся за капризным долларом во всех его разнообразных и изменчивых обличьях. Ее решительной натуре, однако, примитивная и бескомпромиссная искренность в достижении целей, выказываемая малайскими родичами, казалась более предпочтительной, чем скользкое лицемерие, обманчивая вежливость и фальшивая добродетель тех белых, которых она имела несчастье знать. «В конце концов, это моя жизнь, моей она и останется», — думала Нина, все больше и больше подпадая под влияние матери. Пытаясь выбрать одну из сторон, девушка с жадностью слушала рассказы старухи об ушедшей славе их рода, рода раджей, и в ней росли равнодушие и презрение к белой части своей семьи, представленной бесхарактерным и далеким от традиций отцом.

Жизнь Олмейера после приезда Нины легче не стала. Утих переполох, вызванный ее возвращением, и Лакамба больше не пытался наносить Олмейерам визиты. Но примерно через год

племянник Абдуллы, Сеид Решид, вернулся из паломничества в Мекку, получив зеленую чалму и гордое звание хаджи. С борта парохода, который привез его домой, был дан салют, в усадьбе Абдуллы всю ночь били барабаны, а приветственное пиршество продолжалось чуть ли не до утра. Решид был любимым племянником и наследником Абдуллы, и любящий дядя, как-то встретив Олмейера на берегу, остановился, обменялся с ним вежливыми приветствиями и торжественно попросил о встрече. Олмейер тут же заподозрил неладное, но пришлось изображать бурную радость и соглашаться.

Тем же вечером, на закате, Абдулла явился в гости в сопровождении седобородых спутников и племянника — легкомысленного и распутного на вид юноши, который весь вечер вел себя так, будто разговор его вообще не касается. Когда слуги с факелами остались на ступенях, а гости расселись по хилым креслам, Решид остался стоять в стороне, с интересом рассматривая свои маленькие, аристократического вида руки. Олмейер, хоть и подавленный важностью гостей, по своей привычке небрежно присел на край стола, что арабы заметили и, судя по всему, не одобрили. Абдулла заговорил, поглядывая мимо

Олмейера на красную занавеску, которая подрагивала, выдавая присутствие женщин. Сперва он превозносил хозяина как доброго соседа, живущего с ними бок о бок вот уже столько лет, и взывал к Аллаху, чтобы тот даровал ему долгих лет жизни, дабы Олмейер и дальше мог услаждать глаза друзей своим присутствием на этой земле, затем учтиво упомянул о величайшем уважении, кое выразила Олмейеру голландская «комисси», что, несомненно, говорит о том, как ценят его соотечественники. Его, Абдуллу, также ценят среди арабов, а племянник унаследует как высокое положение дяди, так и его великие богатства. Решид недавно стал хаджи. У него есть несколько малайских женщин, продолжал Абдулла, но пришло время выбрать любимую жену, первую из четырех, разрешенных пророком. И с изысканной учтивостью объяснил ошарашенному Олмейеру, что, если Нина согласится на союз со столь правоверным и добродетельным мужем, то станет хозяйкой его роскошного дома и главной женой главного араба на острове, когда его, Абдуллу, милосердный Аллах призовет в райские сады.

— Поймите, туан, — добавил он в заключение, — все остальные жены станут ее служанка-

ми, а дом Решида — настоящее сокровище. Ковры и диваны он привез из Бомбея, а мебель — из Европы. Есть там и зеркало в раме, сияющей, точно золото. Чего еще девушке желать?

И в завершение, жестом отослав своих спутников прочь, озвучил выгоду сделки, посулив потерявшему дар речи хозяину три тысячи долларов — в знак доброй дружбы и в качестве уплаты за невесту.

Бедного Олмейера чуть удар не хватил. Его первым желанием было схватить Абдуллу за горло, но он понимал, насколько беспомощен среди людей, для которых закон не писан, так что пришлось прибегнуть к дипломатии. Он взял себя в руки и с ледяной вежливостью объяснил, что девушка еще слишком молода и дорога ему, а туану Решиду, правоверному хаджи, ни к чему иметь в гареме неверную. Заметив недоверчивую усмешку Абдуллы, Олмейер замолчал. Он не знал, что добавить, и побаивался как отказать впрямую, так и наговорить чего-то, о чем потом придется пожалеть. Абдулла правильно понял его молчание, сухо попрощался, встал, пожелал «своему другу Олмейеру» тысячи лет жизни и спустился по ступеням, почтительно сопровождаемый Решидом. Дернулись факелы, рассыпав

по воде тучи искр, и кортеж отбыл. Взбудораженный, но довольный отъездом гостей Олмейер, оставшись один, рухнул в кресло и смотрел на свет между деревьями, пока тот не исчез, а топот шагов и отдаленные голоса не сменились полной тишиной. Он и сам молчал, пока занавеска не зашуршала и на веранду не вышла Нина. Она уселась в кресло-качалку, где проводила много времени каждый день. Прикрыв глаза, девушка слегка оттолкнулась от пола. Длинные волосы затеняли ее от света тусклой настольной лампы. Олмейер украдкой поглядывал на дочь, но лицо ее казалось непроницаемым, как обычно. Нина подняла взгляд на отца и спросила, к его удивлению, по-английски:

— Это Абдулла приходил?

— Да. Только что ушел.

— И чего он хотел?

— Купить тебя для Решида, — жестко отозвался Олмейер, чувствуя, как им овладевает злость, и посмотрел на дочь в ожидании взрыва эмоций.

Но Нина продолжала мечтательно всматриваться в окружающую ночь.

Подождав немного, Олмейер поднялся и добавил:

— Будь осторожна, когда плаваешь одна на

каноэ. Этот Решид — настоящий мерзавец: кто знает, что придет ему в голову. Слышишь меня?

Нина тоже встала и уже взялась было за занавеску, готовая зайти в дом, но на этих словах обернулась так резко, что тяжелые волосы отлетели назад, и живо спросила:

— Думаешь, рискнет? Да нет, не осмелится. — И добавила уже тише, отвернувшись от отца: — Арабы все трусы.

Олмейер ошарашенно глядел ей вслед, потом, вместо того чтобы лечь в гамак, рассеянно подошел к перилам. Лампа погасла. Над лесом забрезжила полоса рассвета. Олмейер вздрогнул от промозглой сырости.

— И как их понять? — бормотал он себе под нос, наконец укладываясь. — Чертовы бабы! Дьявол меня побери, если девчонка не выглядела так, будто ждет, чтоб ее украли!

И снова вздрогнул — на сей раз от непонятного страха.

Глава 4

Когда начали утихать юго-западные муссоны, Самбира достигли тревожные слухи. Капитан Форд, зайдя к Олмейеру поболтать, принес с собой старый номер «Стрейтс таймс» с новостями об ачехской войне и неудачной голландской экспедиции. Капитаны редких торговых прау, поднимающихся вверх по реке, нанесли визит Лакамбе и обсудили с властителем пошатнувшиеся торговые дела. Они мрачно качали головами, описывая жестокость, притеснения и всяческую тиранию белых (к примеру, полный запрет на торговлю порохом и регулярные проверки всех, кто в ней подозревался, в Макасарском проливе). Даже лояльная душа Лакамбы исполнилась скрытого недовольства из-за лишения лицензии на порох и грубого изъятия полутораста баррелей товара канонеркой «Принцесса Амелия», когда после рискованного путешествия он почти достиг устья реки. Грустные новости сообщил Решид, который после краха матримониальных планов отправился в долгое путешествие с острова на остров по делам торговым, купил для компаньона порох, но нарвался на проверку и

конфискацию на обратном пути, когда уже почти поздравил себя с тем, как хитроумно избежал ловушек. Гнев его обрушился главным образом на Олмейера, которого он подозревал в доносах голландским властям на периодические стычки арабов и раджи с племенами даяков.

К большому удивлению Решида раджа отнесся к его обвинениям очень прохладно и никакого желания мстить белому не проявил. На самом деле Лакамба прекрасно знал, что Олмейер ни в каких переговорах с властями не замечен, да и вообще его отношение к гонимому соседу смягчилось под влиянием нового друга Олмейера, Дэйна Марулы.

Ибо у Олмейера появился друг. Вскоре после отъезда Решида по торговым делам Нина не спеша дрейфовала на каноэ во время прилива, возвращаясь домой с одной из своих одиноких прогулок, и вдруг в одном из небольших притоков услыхала плеск, словно от сброшенных в воду тяжелых тросов, и заунывную песню малайских рыбаков, под которую те обычно тянут сети. Сквозь густой кустарник на опушке, скрывающий устье реки, она разглядела над верхушками мангровых пальм высокие мачты парусника европейской постройки. Бриг выходил из неболь-

шого притока в основное русло. Солнце садилось, и корабль с поднятым фоком шел в сумерках, подгоняемый приливом и вечерним бризом.

Девушка свернула в один из узких каналов среди заросших лесом островков и быстро поплыла по черным сонным заводям домой, к Самбиру. Ее каноэ лавировало между мангровыми пальмами, огибая топкие выступы берега, с которых лениво таращились сонные аллигаторы, и с наступлением темноты вынырнуло в один из двух широких рукавов реки, где у причала уже стоял бриг с убранными парусами и без единого человека на палубе. Чтобы добраться до дома, стоявшего на узком мысу между двумя главными протоками, Нине нужно было пересечь реку и пройти в тесной близости от брига. В домах на берегу и над рекой уже замерцали огни, отражаясь в тихой воде. Гул голосов, редкий плач ребенка, короткий рокот деревянного барабана, далекие возгласы рыбаков, возвращающихся домой, разносились над широкой гладью. Нина немного поколебалась, прежде чем переплыть на другой берег: незнакомый европейский корабль внушал ей некоторую опаску, но на реке в самом широком месте было уже достаточно темно, чтобы скрыть небольшое каноэ. Она подгоняла

свое суденышко быстрыми ударами весла, стоя на коленях на корме и наклонившись вперед, чтобы уловить любой подозрительный звук на пути к крошечной пристани «Лингард и К°», который, как маяк, освещала керосиновая лампа на побеленной веранде бунгало Олмейеров. Сама пристань пряталась в тени разросшихся на берегу кустов. Раньше, чем Нина смогла хоть что-то разглядеть, она ощутила глухой толчок о гнилые сваи и услышала приглушенный разговор, а подплыв поближе, увидела в полутьме лодку, размеры и белизна которой подсказали девушке, что ее спустили с недавно причалившего брига. Разглядывая лодку, Нина держалась на одном месте, быстро работая веслом. Резким ударом она остановила каноэ, затем развернула прочь от причала и направила в мелкую протоку, что огибала задний двор, высадилась на ее топком берегу и протоптанной среди травы тропинкой пошла к дому. Слева, со стороны кухни, сквозь банановые деревья, которые она обогнула по пути, мерцал красноватый огонек и слышался женский смех. Похоже, матери здесь нет — смех и миссис Олмейер плохо сочетались друг с другом. «Она, должно быть, в доме», — думала Нина, взбегая на шаткое крыльцо, ведущее к задней двери и

из нее — в узкий коридор, разделявший дом. Там, сразу за дверью, в полумраке, стоял верный Али.

— Кто у нас? — спросила Нина.

— Очень богатый малаец. Большой человек! — ответил Али полузадушенным от восторга голосом. — С ним шесть солдат с копьями! Настоящий воин! А наряд какой! Глаз не отвести — просто сияет! Весь разукрашен. Не ходите туда, мэм Нина, туан не велел. Правда, старшая мэм уже там. Туан рассердится. Ах, что за драгоценности, Аллах милосердный!

Нина проскользнула мимо простертых рук слуги в темный коридор, где в красноватом отсвете занавески скорчилась у стены высохшая фигурка. Мать уже навострила глаза и уши, пытаясь разглядеть, что творится на веранде, и Нина подкралась к ней в надежде урвать свою порцию нового и интересного. Мать предостерегающе подняла руку и шикнула, чтобы дочь не издавала ни звука.

— Ты видишь их? — беззвучным шепотом спросила Нина.

Миссис Олмейер оглянулась на дочь, и ее глубоко посаженные глаза странно сверкнули в красноватой темноте коридора.

— Я вижу его! — почти неслышно ответила она,

сжимая руку дочери костистыми пальцами. — В Самбир явился великий раджа — сын Неба! — бормотала она себе под нос. — Отойди, девчонка!

Две женщины начали молча бороться у занавески: Нина — в попытке урвать себе место, мать — упрямо защищая свое. На той стороне в беседе возникло затишье, и до них доносилось дыхание людей, позвякивание украшений, бряцание ножен и передаваемых друг другу медных плевательниц. Потом раздалось шарканье, и на занавеске выросла тень Олмейера — он встал, чтобы ответить гостю.

Женщины перестали толкаться и застыли. Олмейер стоял спиной к дверному проему, не замечая, что там происходит, и говорил извиняющимся тоном, хотя и не без досады:

— Судя по всему, вы выбрали не тот дом, туан Марула. Да, я был когда-то торговцем, но, увы, не сейчас, что бы ни говорили обо мне в Макасаре. Мне нечего вам предложить, и сам я ни в чем не нуждаюсь. Чего бы вы ни хотели, тут вы этого не найдете. Вам лучше сходить к радже: днем вы увидите его дом на другом берегу, вон там, где сияют факелы у пристани, — или к арабам, вон туда, — сухо продолжал он, указывая рукой в сторону домов Самбира. — Абдулла — вот, кто

вам нужен. Нет ничего, что он не смог бы купить или продать. Поверьте мне, я знаю его много лет.

Он немного подождал, ожидая ответа, затем добавил:

— Я сказал вам чистую правду, и добавить мне нечего.

Несмотря на тычки матери, Нина расслышала мягкий голос, отвечавший Олмейеру с плавной интонацией, характерной для высших слоев малайского общества:

— Кто мог бы усомниться в словах туана? Но человек ищет друзей там, где подсказывает сердце. Это тоже чистая правда. Я явился, да еще так поздно, потому что мне есть что сказать, и вы будете рады это услышать. Завтра я навещу султана: торговцам нужны сильные покровители, а потом вернусь сюда, чтобы серьезно поговорить, если туан не возражает. Я не обращусь к арабам, они слишком часто лгут! Кто они? Челакка!

— Как хотите, — смягчившимся тоном отозвался Олмейер. — Если вам есть что сказать, я выслушаю вас завтра в любое время, но после встречи с султаном Лакамбой вы не захотите возвращаться сюда, инчи Дэйн. Сами увидите. И имейте в виду: я не хочу иметь с Лакамбой ничего общего. Можете и ему это передать. Кстати, какое

у вас ко мне дело?

— Поговорим завтра, туан; главное, что мы познакомились, — отвечал малаец. — Я немного знаю английский, так что никто нас не поймет, и тогда… — Он вдруг осекся и удивленно спросил: — А это что за звуки, туан?

Олмейер и сам уже услышал усиливающийся шум драки на женской половине дома. Любопытство Нины явно одолевало правила приличия, за которые билась мать. Слышалось тяжелое дыхание, занавеска тряслась от потасовки, главным образом молчаливой, хотя голос миссис Олмейер иногда прорывался в виде реплик, в которых, как обычно, было мало смысла, но полным-полно оскорблений.

— Ах ты, бесстыжая! Ты что — рабыня? — взвизгивала разгневанная матрона. — Закрой лицо, распутница! Не пущу! Змея белая!

На лице Олмейера отразились раздражение и боязнь вклиниться между женой и дочерью. Он глянул на малайца, который с веселым изумлением ждал, чем закончится неожиданное вмешательство, и рассеянно махнул рукой:

— Ничего страшного. Знаете — женщины…

Малаец серьезно кивнул, лицо его стало непроницаемым, как того требовал этикет после

подобного объяснения. Тем временем бой за занавеской закончился в пользу юности — шорох и торопливый стук каблуков сандалий миссис Олмейер удалялись по коридору. Успокоенный хозяин дома хотел было продолжить беседу, но, встревоженный выражением лица гостя, обернулся и увидел застывшую в дверях дочь.

Как только миссис Олмейер покинула поле боя, Нина с пренебрежительным: «Так это просто торговец!» — подняла отвоеванную занавеску и застыла в дверном проеме, как в раме, ярко освещенная лампой: губы полураскрыты, волосы растрепаны в потасовке, в прекрасных глазах еще не остыл яростный блеск. Она скользнула взглядом по группе одетых в белое копьеносцев, неподвижно замерших в полутемном углу веранды, и с любопытством уставилась на предводителя роскошного кортежа, а он, потрясенный красотой этого неожиданного явления, низко поклонился, сложив руки над головой: знак величайшего уважения у малайцев. Резкий свет лампы заиграл на золотой вышивке черной шелковой рубашки, тысячей сияющих лучей отразился от криса, выглядывавшего из складок алого, перетянутого кушаком саронга, сверкнул на драгоценных камнях колец, унизавших темные пальцы. Гость

выпрямился, небрежно положив ладонь на рукоять короткого тяжелого меча, отделанную ярко окрашенной бахромой из конского волоса. Застывшая на пороге Нина отметила невысокую, но стройную и гибкую фигуру с широкими плечами, выдававшими недюжинную силу. Решительное лицо под складками синего тюрбана с бахромчатыми концами, изящно спускавшимися на левое плечо, светилось бесшабашностью и дружелюбием, дыша вместе с тем достоинством. Квадратная челюсть, пухлые яркие губы, трепетные ноздри и гордая посадка головы выдавали натуру полудикую, неукротимую — возможно, несколько жестокую — и скрадывали влажную мягкость почти женственных глаз, присущих малайской расе. Теперь, когда первая оторопь прошла, Нина заметила, что гость уставился на нее с таким нескрываемым восторгом и страстью, что это и смущало, и льстило, и тревожило одновременно.

Сконфуженная новым для нее переживанием, она инстинктивно подхватила и прижала к лицу нижний край занавески, оставив на виду только часть округлой щеки, один глаз да растрепанные волосы, и уже в таком виде продолжала разглядывать великолепного и дерзкого незнакомца, столь непохожего на всех остальных торговцев,

которых она встречала на этой веранде.

А Дэйн Марула, ослепленный внезапным видением, забыл о сбитом с толку Олмейере, о своем бриге, о свите, застывшей с открытыми ртами, о цели визита и вообще обо всем на свете. Его охватило желание как можно дольше любоваться ошеломительной красавицей, которую он меньше всего ожидал встретить в таком доме.

— Моя дочь, — неловко представил Олмейер. — Не обращайте внимания. У белых женщин свои привычки, как вы наверняка знаете, туан, раз, по вашим словам, много путешествовали. В любом случае уже поздно, договорим завтра.

Дэйн низко поклонился и послал Нине еще один полный восхищения взгляд. Через секунду он, уже серьезный и учтивый, тряс руку Олмейеру с таким безучастным видом, словно и не заметил присутствия девушки. Его люди покинули веранду, и он быстро последовал за ними в сопровождении коренастого, свирепого на вид суматранца, которого ранее представил как капитана брига. Бросившись к перилам, Нина смотрела, как блестят наконечники копий, слушала ритмичный звон ножных браслетов — единым строем воины шагали к причалу. Вскоре бриг отошел, и при свете луны его неясный

силуэт темной массой высился в накрывшей воду дымке. Нине казалось, она видит на корме стройную фигуру гостя, но вскоре все очертания начали таять, сливаться и в конце концов растворились в окутавшем реку тумане.

Олмейер подошел к дочери и, опершись двумя руками на перила, угрюмо посмотрел вниз, на кучу мусора и битых бутылок.

— Что вы там устроили, хотел бы я знать? — ворчливо осведомился он, не поднимая глаз. — С ума посходили, что ты, что твоя мамаша? Чего она хотела? Зачем ты выскочила?

— Она не пускала меня на веранду, — ответила Нина. — Злится. Считает, что твой гость — настоящий раджа. Теперь я с ней согласна.

— Какие же вы, бабы, дуры! — рявкнул Олмейер. — Что за дело до него ей, тебе — хоть кому-нибудь? Человек решил добывать на островах трепанга и птичьи гнезда. Вот что он обсуждал со мной, ваш раджа! Завтра держитесь обе подальше от дома, дайте договорить спокойно.

Дэйн Марула, явившись на следующий день, долго беседовал с Олмейером. Так началось их долгое дружеское сотрудничество, о котором сперва много говорили в Самбире, пока жители не привыкли, что теперь в кампонге Олмейера

то и дело горят огни, у которых холодными от северо-восточных муссонов ночами греются воины Марулы, пока их хозяин ведет длинные переговоры с «туаном-пути», как называли Олмейера в поселке. Новый торговец вызвал огромный интерес. Виделся ли он с султаном? И что сказал султан? Преподнес ли какие-нибудь подарки? Что он будет покупать? Что он будет продавать? И в бамбуковых хижинах по берегам реки, и в роскошном доме Абдуллы задавались одни и те же вопросы. И оживление в среде торговцев — китайцев, арабов, буги — царило не один день. С привычной подозрительностью никто не верил в простые ответы, которые охотно давал молодой человек, хотя звучали они вполне правдоподобно. Да, он торгует, продает рис. Нет, не будет скупать ни гуттаперчу, ни пчелиный воск, потому что собирается бросить свою многочисленную команду на сбор трепанга в коралловых рифах и поиск птичьих гнезд на суше. Эти два товара он готов купить, если будут желающие. Сам он родом с Бали, брамин — этим объяснялся его категорический отказ от любого угощения в домах Лакамбы и Абдуллы. К Лакамбе Дэйн являлся преимущественно ночью и вел с ним неспешные переговоры. Бабалачи, который всегда присут-

ствовал при встречах властителя и торговца, легко справлялся с любопытством жаждущих узнать, о чем же ведутся столь долгие беседы. На фальшиво-вежливые расспросы Абдуллы он просто таращил единственный глаз и прикидывался простачком.

— Я лишь слуга своего господина… — растерянно бормотал он, а затем, словно решившись на предельную откровенность, заговорщическим тоном сообщал Абдулле подробности торговли рисом: — Султан купил сотню больших мешков! Сотню, туан!

Абдулла, твердо уверенный в том, что втайне у него за спиной ведутся куда более серьезные сделки, в свою очередь изображал изумление, и они расходились. Араб проклинал про себя хитрого старого пса, а Бабалачи ступал по пыльной тропе, покачиваясь и гордо задрав подбородок с парой-тройкой седых волосков, как пронырливый козел, вечно лазящий по чужим огородам. За их встречами наблюдало множество внимательных глаз. Чим Инг, завидев вдалеке Бабалачи, стряхивал с себя оцепенение истого курильщика опиума и, перехватив его на полдороге, зазывал в дом с радушием гостеприимного хозяина. Но оборона Бабалачи была нерушима даже против

смеси дружелюбия и крепкого джина, которым от всей души угощал его китаец. Чим Инг оставался без информации, с пустой бутылкой и грустно глядел вслед уходившему советнику Самбира. Тот продолжал свой извилистый путь, приведший его, как обычно, к жилищу Олмейера. С тех пор как Дэйн Марула примирил своего белого друга и раджу, одноглазый дипломат снова стал частым гостем в доме голландца. К большому неудовольствию Олмейера, Бабалачи крутился у них с утра до ночи — торчал на веранде, прятался в коридорах, неожиданно выскакивал навстречу, пытаясь перехватить миссис Олмейер для конфиденциальной беседы. Самого Олмейера он старался избегать, словно побаивался испытывать терпение белого, чтобы тот в конце концов не отвесил ему хорошего пинка. А вот кухню облюбовал прочно и часами сидел среди занятых готовкой женщин, обхватив руками колени, пристроив на них подбородок и тараща единственный глаз — воплощенное уродство, да и только. Олмейер не единожды жаловался Лакамбе на надоедливость его премьер-министра, но Дэйн его утихомиривал.

— Да тут слова не скажешь, чтобы он не подслушал! — ворчал Олмейер.

— Мы всегда можем подняться на бриг, — со спокойной улыбкой замечал Дэйн. — А то, что Бабалачи здесь, даже хорошо. Лакамба уверен, что многое от него узнал. Возможно, султан считает, что я хочу сбежать. Пусть одноглазый крокодил шпионит в вашем кампонге, туан.

Олмейер неохотно смирялся, но, когда замечал, что старикашка советник с молчаливым упорством снова торчит у его домашнего очага, бормотал себе под нос расплывчатые угрозы.

Глава 5

В конце концов волнение в Самбире утихло. Обитатели поселка привыкли к оживленному движению между домом Олмейера и кораблем, стоявшим теперь у противоположного берега, и разговоры о лихорадочной работе Олмейеровых лодочников, чинивших старые каноэ, сменились на привычные и повседневные. Даже сбитый с толку Чим Инг бросил ломать одурманенную голову над секретами торговли и с помощью опиумной трубки снова впал в привычное блаженство, позволив Бабалачи фланировать мимо своей хижины неприглашенным и словно бы даже незамеченным.

Так что тем летним днем, когда опустевшая река сверкала под прямыми лучами солнца, советник Самбира смог без лишних вопросов и помех вывести свое небольшое каноэ из-под кустов, в которых обычно прятал его во время визитов к Олмейеру. Медленно и вяло Бабалачи орудовал веслом, скорчившись в лодке под своей огромной шляпой, спасавшей его от беспощадного солнца и бликующей воды. Он не спешил: его хозяин в это время дня обычно предавался от-

дыху, времени было достаточно, чтобы пересечь реку и сообщить ему важные новости сразу, как только он пробудится. Будет ли он недоволен? Застучит ли посохом черного дерева по полу, пугая всех вокруг бессвязными, но злобными восклицаниями? Или усядется с добродушной улыбкой и, привычно потирая руками живот, смачно сплюнет в медный сосуд, а после что-нибудь довольно пробормочет? Вот что занимало мысли Бабалачи, пока он искусно скользил по реке к кампонгу раджи, чьи склады, находившиеся точно напротив дома Олмейера, уже показались за густо заросшим берегом.

Да уж, есть у него новости. Наконец-то что-то определенное, после ежедневных подозрений и намеков, перехваченных тайных взглядов и подслушанных горячих перешептываний между Дэйном Марулой и дочкой Олмейера.

До сих пор Лакамба воспринимал его доклады скептически, однако теперь ему придется поверить, потому что у Бабалачи есть доказательства, он добыл их сегодня утром, когда удил на рассвете в притоке, на берегу которого стоял дом Буланги. Тогда-то из своей лодки он и увидел, как мимо проплывает длинное каноэ Нины. Девушка сидела на корме, склонившись над Дэйном, а он

вытянулся на дне, положив голову ей на колени. Бабалачи увидел их и даже попытался проследить за ними, но очень скоро они взялись за весла и ускользнули от его пристального взгляда. А еще через несколько минут он заметил рабыню Буланги, которая гребла в город, продавать печенье. Она тоже рассмотрела их в рассветных сумерках. И Бабалачи удовлетворенно ухмыльнулся себе под нос при воспоминании о расстроенном лице девушки, потухших глазах и дрожащем голосе, когда она отвечала на его вопросы. Нет сомнений — малютка Тамина без ума от Дэйна Марулы. Что ж, прекрасно! Бабалачи рассмеялся вслух и тут же посерьезнел, прикидывая про себя, за сколько Буланги согласится уступить ему девчонку. Он грустно покачал головой, вспомнив об упрямстве Буланги: несколько недель назад тот отказался от ста долларов, которые предлагали за эту самую Тамину. Вдруг Бабалачи заметил, что каноэ за время его размышлений унесло слишком далеко вниз по течению. Он стряхнул с себя печаль, вызванную непреклонностью Буланги, и, подняв весло, несколькими гребками послал лодку вдоль речного затвора к дому раджи.

В тот день Олмейер по своей недавней привычке бродил по берегу, приглядывая за ремонтом

лодок. Наконец-то он решился! С помощью записей из старого блокнота Лингарда голландец собрался отыскать богатейший золотой прииск, место, где стоит только наклониться — найдешь невероятное богатство. Мечты юности наконец-то станут явью. Без помощи было не обойтись, и он поделился сведениями с Дэйном Марулой и даже согласился на союз с Лакамбой, который поддержал предприятие, надеясь на часть прибыли. Олмейер рискнул честью, гордостью, добрым именем, соблазненный грандиозностью результата, который мог быть достигнут с помощью этого союза, отвратительного, но необходимого. Опасность велика, но Марула отважен, его люди кажутся не менее бесшабашными, чем предводитель, и с помощью Лакамбы они должны достигнуть успеха.

Так что последние полмесяца Олмейер жил только подготовкой, разгуливая между мастерами и рабами как сомнамбула. Реальные дела, вроде оснастки лодок, перемешивались в его сознании с мечтами о невероятном богатстве, где нынешняя действительность в виде палящего солнца и топких зловонных речных берегов исчезала, сменяясь картинами роскошного будущего — для него и для Нины. Последнее время

они почти не виделись, но любимая дочь всегда занимала огромное место в его мечтах. Он почти не замечал Дэйна, чье постоянное присутствие в его доме казалось само собой разумеющимся теперь, когда у них появились общие цели. Встречая молодого торговца, Олмейер рассеянно приветствовал его и спешил дальше. Он явно старался скорее миновать то, что напоминало ему о ненавистной реальности, и погрузиться в дела или фантазии, дающие возможность улетать высоко в облака, за верхушки деревьев и прочь отсюда — в райские сады Европы, ожидающие будущего восточного миллионера. Да и Марула — теперь, когда сделка была заключена и обговаривать стало нечего, — вовсе не искал общества белого компаньона. Постоянно навещая его дом, он очень редко оставался на выходящей к реке веранде, предпочитая тихо пройти коридором в сад на заднем дворе, где под кухонным навесом пылал очаг, на котором под неусыпным надзором миссис Олмейер кипел котел с рисом. Миновав кухню с ее чадом и гомоном женских голосов, Дэйн поворачивал налево. Там, на краю банановой плантации, стояла тенистая купа пальм и манговых деревьев в окружении своеобразной живой изгороди из кустов, сквозь которую

проникали только отзвуки женских голосов да временами — взрывы смеха. Укрывшись здесь от чужих взглядов, Дэйн прислонялся к гладкому стволу высокой пальмы и с горящими глазами и горделивой улыбкой ждал, когда сухая трава зашуршит под легкими шагами Нины.

С того самого мига, как перед Дэйном предстала ее совершенная — на его взгляд — красота, где-то в тайной глубине его души поселилась уверенность, что Нина достанется ему. Он сразу учуял, как между их порывистыми натурами скользнул легкий ветерок понимания, и не нуждался в поощрительных улыбках миссис Олмейер, чтобы использовать любую возможность сблизиться с девушкой. И каждый раз, когда он говорил с ней, каждый раз, когда глядел в глаза, Нина, пусть и отворачивая лицо, чувствовала, что дерзкий юноша, который шепчет ей в чуткое ухо обжигающие слова, — ее судьба, воплощение ее мечты: яростный, безрассудный, готовый в любую секунду со сверкающим кинжалом броситься на врагов и обожающий своих любимых — безупречный малайский вождь из легенд ее матери.

С ноткой сладостного страха осознавала она свою мистическую связь с этим человеком. Вслушиваясь в его слова, Нина ощущала, будто

родилась по-настоящему только сейчас, и ее новая жизнь станет полной только рядом с ним. Лишь потому она позволяла себе погрузиться в безмятежное счастье, когда, полузакрыв лицо по обычаю малайских девушек, молча слушала речи Дэйна, сулившие ей все сокровища любви и страсти, на которые была способна его пылкая душа, не скованная, как у цивилизованных мужчин, цепями самоконтроля.

Так под манговыми деревьями, в приветливой гуще кустов пролетали — увы, слишком быстро — сладостные часы, пока визгливый голос миссис Олмейер не давал сигнал к нежеланному расставанию. Она взяла на себя несложное бремя слежки за мужем, который мог бы нарушить ровный курс любовного корабля, вызывающий ее огромный интерес и одобрение. Мать радовалась и гордилась, видя, как загорелся Дэйн, верила в то, что он — великий и могучий властитель, и с удовольствием пользовалась плодами его щедрости.

Накануне того дня, когда Бабалачи убедился в своих подозрениях, Дэйн и Нина задержались в тенистом укрытии дольше обычного. Только тяжелые шаги Олмейера на веранде да его ворчание, что пора ужинать, заставили миссис

Олмейер поднять предупредительный крик. Марула легко перемахнул через низкую бамбуковую изгородь и украдкой пробрался через банановую плантацию к сырому берегу протоки, пока Нина не спеша шла к дому, чтобы, как обычно вечерами, позаботиться об отце. Олмейер выглядел довольным — приготовления почти закончены, завтра можно спускать лодки на воду. Внутренним взором он уже видел у себя в руках богатый приз и, забыв про рис на тарелке, замер с ложкой в руке — его полностью захватило видение ослепительного банкета, знаменующего их приезд в Амстердам. Нина, полулежа в кресле, рассеянно слушала отрывочные слова, слетавшие с губ отца: «экспедиция», «золото»! Да какое ей дело до всего этого? — но стоило отцу упомянуть имя Марулы, как она вся обратилась в слух. Завтра Дэйн на своем бриге уйдет вниз по реке на несколько дней, рассказывал Олмейер. Досадная задержка. Но как только он вернется, они тут же отплывут, потому что река поднимается. Не исключено, что впереди большое наводнение. И Олмейер нетерпеливым жестом оттолкнул тарелку, вставая из-за стола. Но Нина уже не слушала. Дэйн уплывает! Вот почему он, с той мягкой властностью, которой ей так нравилось подчиняться, велел ей

встретиться с ним завтра на заре у дома Буланги. Есть ли у нее в каноэ весло? В порядке ли оно? Выходить придется рано — часа в четыре утра, уже совсем скоро.

Она поднялась с кресла, решив, что перед долгой греблей в ранний час нужно хорошенько отдохнуть. Тускло горела лампа, и отец, утомленный дневными трудами, уже забрался в гамак. Нина погасила свет и перешла в большую спальню, слева от центрального коридора, которую делила с матерью. Войдя, она увидела, как та встала с груды циновок, служивших ей постелью, и склонилась над большим деревянным сундуком с откинутой крышкой. Стоявшая на полу половинка скорлупы кокоса, наполненная маслом, с тряпкой вместо фитиля, освещала ее красноватым ореолом, мерцающим сквозь черный пахучий дым. Мать согнулась так, что голова ее и плечи почти целиком скрылись в сундуке. Руки шарили в глубине, откуда раздавалось глухое позвякивание. Она не сразу заметила появление дочери, и Нина, тихо встав рядом с ней, разглядывала выстроившиеся на дне сундука холщовые мешочки, в то время как мать, набрав полные горсти гульденов и мексиканских долларов, смотрела, как они струятся обратно сквозь

скрюченные клешни ее пальцев. Звонкая музыка серебра явно доставляла ей удовольствие, глаза сверкали, отражая блеск свежеотчеканенных монет.

— Вот, вот, и вот еще, — бормотала она. — Скоро он заплатит больше, много больше — сколько я скажу. Ведь он великий раджа, сын Неба! А она станет рани, он все за нее отдаст. Кто бы отдал хоть что-то за меня? Я рабыня! Разве нет? Зато стану матерью великой рани!

Тут она наконец-то заметила дочь, бормотание мгновенно прекратилось, крышка сундука захлопнулась. Не вставая на ноги, мать подняла глаза на девушку, которая стояла рядом с рассеянной улыбкой на мечтательном лице.

— Ты видела! Видела, да? — визгливо вскрикнула мать. — Это все мое, все за тебя! Но этого мало! Ему придется дать больше, много больше, прежде чем он увезет тебя на южный остров, где правит его отец. Слышишь меня? Ты стоишь больше, внучка раджи! Больше! Больше!

С веранды донесся сонный голос Олмейера, требующий тишины. Миссис Олмейер погасила свет и уползла в свой угол. Нина легла на груду мягких циновок, закинула руки за голову и засмотрелась через служившее окном отверстие

в стене на мерцающие в темном небе звезды, считая часы до назначенного свидания. С тихим счастьем думала она о встрече — в густом лесу, вдали от людских глаз и голосов. Душа Нины снова ощутила природную сущность, которую так и не смог победить дух цивилизации, вколоченный твердой рукой миссис Винк. В ней боролись гордость и смущение при мысли о том, как высоко оценила ее многомудрая мать, но воспоминание о страстных взглядах и словах Дэйна успокаивало, и Нина закрыла глаза, трепеща от приятного предвкушения.

Порой даже у дикарей и так называемых людей просвещенных обнаруживаются общие взгляды. Легко предположить, что Дэйн Марула был не в восторге от будущей тещи и вряд ли одобрял невероятный аппетит этой достойной женщины к сияющим монетам. И все-таки в это туманное утро, когда Бабалачи отставил в сторону общественные дела и решил проверить садки в притоке у дома Буланги, Марула без всяких опасений, не испытывая ничего, кроме страстного нетерпения, греб к заводи на восточной стороне острова. Он спрятал каноэ в кустах и торопливо зашагал через островок, досадливо отмахиваясь от веток, перегораживающих тропу.

Из осторожности он не подплыл к самому месту свидания, как это сделала Нина, а оставил лодку на берегу главного русла. В густой дымке он сумел разглядеть проблеск света слева, со стороны дома Буланги. Потом туман сгустился, скрывая от глаз окрестности, и лишь чутье помогло Дэйну не сбиться с тропы, ведущей на другую сторону острова. Там, у берега одного из притоков, застрял толстый ствол дерева, образовав что-то вроде причала, о который со звонким журчанием бились волны. Легким, но уверенным движением Дэйн вскочил на ствол, в два прыжка достиг противоположного конца и остановился, глядя, как у ног его бурлит и пенится вода.

Густой утренний туман словно укрыл его от мира: от земли, от небес, от журчащей у ног реки, и Дэйн выдохнул имя восхитительного существа, которое, он был уверен, уже где-то рядом, слышит его и точно так же чувствует его присутствие.

Вдруг из тумана, совсем рядом с бревном, выступил высоко задранный нос лодки — Нина гребла, сидя на корме. Марула положил на него руку и легко заскочил внутрь, сильно качнув легкое суденышко. Повинуясь толчку, оно прошло на волосок от бревна, и река послушно подхватила его и понесла по течению, быстро и беззвучно, меж

невидимых берегов. И опять Дэйн у ног Нины забыл обо всем, чувствуя, как и его уносит прочь мощная волна невероятных эмоций — счастья, радости, гордости, желания. В очередной раз он убедился, что нет для него другой судьбы, кроме этой девушки, которую он сжал в объятиях со всей силой страсти.

Нина мягко высвободилась и с тихим смехом шепнула:

— Лодку перевернешь, Дэйн!

Он пронзительно взглянул ей в глаза и, отпустив со вздохом, лег на спину на дно каноэ, положил голову ей на колени, закинул руки назад и обнял за талию. Нина склонилась над ним и, тряхнув головой, накрыла обоих водопадом длинных черных волос.

Лодка поплыла по течению; Дэйн дал волю своему дерзкому, ничем не скованному красноречию, а Нина склонилась к нему, чтобы не упустить ни единого слова из его шепота, который казался ей слаще самой жизни. Для них обоих перестало существовать все, что находилось за бортами узкого хрупкого суденышка. Они погрузились в собственный мир, наполненный яркой и всепоглощающей любовью, не обращая внимания ни на сгущающийся туман, ни на утих-

ший перед рассветом бриз, ни на окружающий их великолепный лес — на всю тропическую природу, в торжественной тишине ожидающую восхода солнца.

Над речной дымкой, скрывающей лодку с грузом юной ликующей жизни и всеобъемлющего счастья, таяли звезды и небо с востока окрашивалось в серебристо-серый. Ни ветерка, ни шуршания листвы, ни играющей рыбы — ничто не тревожило безмятежный покой всего живого на берегах великой реки. Земля, вода и небо окутались глубокой дремотой, от которой, казалось, нет пробуждения. Вся живость и буйство тропиков словно сосредоточилась сейчас в горящих глазах, в лихорадочно бьющихся сердцах двух влюбленных, скользящих в каноэ по глади реки под белым покровом тумана.

Внезапно мощный сноп золотых лучей выстрелил ввысь из-за темной изгороди деревьев, растущих по берегам Пантая. Звезды растаяли; темные облачка в зените вспыхнули на миг алым; легкий бриз — предвестник пробуждения — взвихрил и разорвал густую дымку на затейливые клочья, открыв сверкающую под утренним солнцем рябь на воде. Огромные стаи белых птиц взвились со звонким щебетом над верхушками

деревьев. Над восточным побережьем взошло солнце.

Первым к реальности вернулся Дэйн — вскочил и торопливо оглядел реку. Взгляд его отметил позади лодку Бабалачи и еще одно маленькое пятнышко на искрящейся глади реки — каноэ Тамины. Он осторожно перебрался на нос и, опустившись на колени, поднял весло. Нина на корме взялась за свое, и они дружно ударили по воде, подняв фонтаны брызг. Легкое суденышко быстро понеслось вперед, оставляя за собой узкую водяную дорожку, обрамленную кружевом белой сверкающей пены. Не поворачивая головы, Дэйн произнес:

— Позади нас кто-то есть. Нельзя дать ему подойти. Пока мы слишком далеко, нас не должны узнать.

— Впереди тоже кто-то есть, — не прекращая грести, заметила Нина.

— Вижу. Солнце бьет в глаза, но я почти уверен, что это Тамина, девушка, которая каждое утро приходит к бригу торговать печеньем — иногда на целый день. Она не опасна. Держись ближе к берегу, нам нужны вон те кусты, у меня там лодка.

Он зашарил глазами по мангровым пальмам,

которые они задевали, скользя по реке.

— Вон туда, — сказал он наконец, — где пальмы кончаются и дерево склонилось над рекой, свесив ветви. Правь к большому зеленому стволу.

Дэйн встал, вглядываясь в заросли, а Нина легкими искусными гребками повела каноэ вдоль берега. В нужном месте Дэйн схватился за ветку и, откинувшись назад, толкнул лодку под низкую зеленую арку густых спутанных лиан — проход в миниатюрную бухточку, вымытую тут последним серьезным наводнением. Здесь и скрывалась его собственная лодка, пришвартованная к камню, и Дэйн перешагнул в нее, держась за борт каноэ Нины. Вскоре две скорлупки, отражаясь в черной воде, уже тихо плыли бок о бок под тусклыми лучами, с трудом пробившимися сквозь высокий полог густой листвы. А в вышине под ярким солнцем пламенели громадные алые цветы, осыпая влюбленных водопадом крупных, блестящих от росы лепестков, которые, чуть вращаясь, падали в душистые струи реки. И над ними, и под ними, и вокруг — всюду: в сонной воде и среди пышной растительности, купающейся в теплом воздухе и испускающей стойкий и пьянящий аромат, — шла буйная жизнь тропической природы. Растения рвались кверху, обвивали друг

друга, сплетаясь в неразрывный клубок, безумно и безжалостно карабкались друг на друга в молчаливой отчаянной борьбе за источник жизни — солнечный свет, — словно в ужасе перед темной массой ила под собой, перед смертью и тлением, из которых они все проросли.

— Время расставаться, — после долгого молчания произнес Дэйн. — Тебе пора домой, Нина. А я дождусь брига и взойду на борт прямо здесь.

— И надолго ты, Дэйн? — тихо спросила Нина.

— Надолго? — воскликнул Дэйн. — Разве может человек по своей воле надолго погрузиться в темноту? Я как слепец, когда не с тобой. Зачем мне жизнь без света?

Нина подалась вперед, со счастливой, гордой улыбкой взяла в ладони лицо Дэйна и всмотрелась ему в глаза влюбленным и вместе с тем испытующим взглядом. Вероятно, она нашла в них подтверждение только что сказанным словам, потому что чувство благодарной уверенности затопило ее, облегчив груз печали в час расставания. Она поверила в то, что наследник великих раджей, сын могучего владыки, хозяин жизни и смерти, видит солнечный свет только рядом с ней. И невероятная волна любви и благодарности к Дэйну поднялась в сердце Нины. Как могла она

выразить все, что чувствовала к мужчине, который наполнил ее душу такой гордостью, таким счастьем? И в этом немыслимом смятении, как удар молнии, озарило ее воспоминание об отвергнутой и почти забытой цивилизованной жизни, которой она едва коснулась в дни несвободы, грусти и обиды. На холодном пепелище жалкого и ненавистного прошлого она обнаружила знак любви, подходящий, чтобы выразить безбрежную радость настоящего и предвкушение яркого и роскошного будущего. Нина обвила руками шею Дэйна и прижалась губами к его губам в долгом горячем поцелуе. Он закрыл глаза, потрясенный и напуганный той бурей, что подняло в его груди это странное, до сих пор неведомое ему касание. И долго еще, после того как Нина направила свое каноэ в реку, стоял он, не двигаясь и не решаясь открыть глаза, словно из боязни расплескать ощущение опьяняющего восторга, охватившее его впервые в жизни.

«Теперь, — думал Дэйн, — остается желать только бессмертия, чтобы сравняться с богами. И существо, которое сумело открыть для меня райские ворота, должно достаться мне. И скоро достанется — навечно, навсегда!»

Он открыл глаза как раз в тот миг, когда в

просвете зеленой арки показался нос его брига, медленно дрейфующего вниз по реке. «Время подниматься на борт», — думал Дэйн, не желая оставлять место, где только что познал настоящее счастье.

— Пора. Нужно идти, — пробормотал он и снова закрыл глаза под алым водопадом ароматных лепестков, стараясь сохранить в памяти недавний миг с его радостью и смятением.

И все-таки пришлось вернуться на борт и надолго пропасть в дальних краях. Тщетно Олмейер надеялся на скорое возвращение друга. Низовья реки, куда он так часто и нетерпеливо обращал взгляд, оставались пусты, лишь сновали там и сям рыбацкие каноэ. А с верховьев шли черные тучи, и мощные ливни знаменовали начало сезона дождей с его грозами и наводнениями, делавшими реку почти непроходимой для местных лодок.

Расхаживая по топкому берегу между своими домами, Олмейер тревожно разглядывал реку. Вода поднималась дюйм за дюймом, медленно подбираясь к лодкам, которые были уже готовы и стояли рядами на берегу под мокрыми каджангами. Удача, казалось, снова ускользала от него и, снуя взад-вперед под льющим с низкого

неба непрерывным дождем, он впал в унылое равнодушие. Да какая разница, что будет! Это все его невезение! Чертовы дикари, Дэйн и Лакамба, пообещав помощь, соблазнили его потратить последние деньги на снаряжение лодок, а теперь один исчез неизвестно куда, а второй сидит взаперти за своим забором и не подает признаков жизни. Даже подлец Бабалачи не попадается на глаза с тех пор, как ему, Олмейеру, сплавили весь рис, медные гонги и ткани для экспедиции. Выманили все, до последней монеты, а теперь им наплевать, уедет он или нет. И, в отчаянии махнув рукой, Олмейер медленно стал карабкаться на веранду нового дома, чтобы спрятаться от дождя, и застрял там, повиснув на перилах, втянув голову в плечи и погрузившись в мрачные мысли. Он не замечал ни хода времени, ни приступов голода, ни визгливых криков жены, зовущей ужинать. Когда первые раскаты вечерней грозы пробудили его от горестных раздумий, он медленно брел на свет старого дома, а так и не угасшая до конца надежда заставляла его ухо чутко реагировать на каждый звук с реки. Несколько раз Олмейер, встрепенувшись, улавливал плеск весел и замечал неясные очертания лодки. С сильно бьющимся сердцем он окликал

почти невидимого гребца в надежде, что ему отзовется Дэйн, но в ответ, к его разочарованию, раздавались лишь резкие возгласы арабов, плывущих в гости к затворнику Лакамбе. Долго потом Олмейер ворочался бессонными ночами, размышляя, какие злодейства замышляют сейчас его достойные соседи. И вот когда, казалось, умерла последняя надежда, Олмейер с восторгом услышал голос Дэйна. Однако партнер поспешил к Лакамбе, и Олмейер забеспокоился, зная, как к нему относится здешний царек. И все же Дэйн наконец вернулся. Значит, их договор в силе. Надежда возродилась, и в ту ночь Олмейер спал спокойно, пока Нина вглядывалась в бурную реку, несущуюся к морю под раскаты грозы.

Глава 6

Расставшись с Олмейером, Дэйн быстро пересек реку и высадился около затвора изгороди, окружавшей дома, которые и составляли резиденцию раджи Самбира. Дэйна явно ждали — ворота были открыты, и люди с факелами встречали гостя, чтобы сопроводить по наклонному дощатому тротуару к большому строению, где Лакамба и жил, и занимался делами. В остальных обитали жены и домочадцы правителя.

Сколоченный из крепких досок дом Лакамбы стоял на высоких сваях, бамбуковая веранда окружала его со всех сторон, а покрытая пальмовыми листьями крыша держалась на балках, почерневших от факельного дыма.

Дом стоял параллельно реке, одна из его длинных стен смотрела на затвор в изгороди. В короткой стене была дверь, выходящая на берег, и именно к ней вела деревянная дорожка. В неровном свете факелов Дэйн заметил справа от себя группу людей с оружием. От нее отделился Бабалачи и открыл дверь в переговорный зал, который представлял собой примерно треть дома, отделенную от остальных комнат плотной

занавесью из европейской ткани. Возле занавеси стояло резное кресло черного дерева и грубый стол для переговоров. Другой мебели, кроме разбросанных там и сям циновок, не наблюдалось. Слева от входа на оружейной стойке торчали три винтовки с пристегнутыми штыками. Вдоль стены, в полутьме, охранники Лакамбы — сплошь друзья или родственники — спали кучей коричневых рук, ног и разноцветных одежд, из которой время от времени слышался чей-то храп или сдавленное мычание. Вот и все, что разглядел Дэйн в неярком свете европейской лампы с зеленым абажуром.

— Не желаете ли отдохнуть? — испытующе глядя на Дэйна, предложил Бабалачи.

— Мне нужно срочно переговорить с раджой, — отказался Дэйн.

Бабалачи выразил согласие жестом и дважды коротко ударил по медному гонгу, подвешенному под стойкой с оружием.

Оглушающий звон пробудил охрану. Храп прекратился, ноги втянулись на место, вся куча-мала зашевелилась и нехотя распалась на отдельные фигуры. Охранники зевали и протирали глаза, за занавесками загомонили женщины, послышался бас Лакамбы:

— Кто там? Арабский торговец?

— Нет, туан, — ответил Бабалачи. — Это Дэйн вернулся. У него к вам важный разговор — бичарра, — если вы милостиво согласитесь.

Милость Лакамбы не заставила себя ждать: очень скоро он выполз из-за занавески, правда, приличной одеждой не озаботился — на нем красовался лишь наспех нацепленный на бедра короткий красный саронг. Милостивый правитель Самбира выглядел сонным и хмурым. Он рухнул в кресло, расставил ноги, положил руки на подлокотники и, уткнувшись подбородком в грудь, стал угрюмо ждать, когда же Дэйн заговорит.

Но тот не спешил начинать. Он смотрел на Бабалачи, удобно устроившегося у ног хозяина, и молчал, чуть склонив голову, словно в ожидании мудрых слов советника.

Бабалачи неуверенно кашлянул и подтащил поближе несколько циновок, чтобы Дэйн мог сесть, а затем скрипуче уверил его во всеобщей радости от столь долгожданного приезда. Лично его, Бабалачи, сердце разрывалось от желания снова увидеть Дэйна, а уши жаждали вновь услышать его чарующий голос. Сердца и уши всех здешних жителей, по словам советника, страдали не мень-

ше — это заявление он сопроводил широким жестом руки, охватывающим противоположный берег, где никто в мирно спящем поселке пока не подозревал, какое неземное счастье ждет их завтра, когда они узрят вернувшегося Дэйна.

— Ибо, — вещал Бабалачи, — что и порадует бедняков, как не щедрая рука удачливого торговца или высокородного…

Тут он, с тщательно разыгранным замешательством, запнулся, и его единственный глаз зашарил по полу, а на изуродованных губах заиграла извиняющаяся усмешка. Дэйна же происходящее явно забавляло, хоть он старательно скрывал свое веселье под маской официальной учтивости. Брови Лакамбы нависли угрюмой складкой, губы во время речи верного премьер-министра недовольно шевелились. Воцарившуюся в зале тишину нарушало лишь дружное похрапывание вновь заснувших охранников, а вот дальний раскат грома, заставивший сердце Нины екнуть в страхе за любимого, остался незамеченным — каждый из трех собравшихся был слишком озабочен собственными мыслями, ибо речь шла о жизни и смерти.

После паузы Бабалачи заговорил снова, тихо и отрывисто, презрев цветастые учтивости. По-

чему Дэйна не было так долго? Они с Лакамбой извелись в ожидании. Ниже по реке слышали выстрелы и видели в устье среди островов голландский брандер. Разумеется, все встревожены. Слухи о катастрофе несколько дней назад достигли ушей Абдуллы, и с тех пор в усадьбе раджи все с дурными предчувствиями ждут появления Дэйна. День за днем закрывают глаза в страхе, открывают в тревоге и с утра до ночи ходят дрожа, как будто рядом враги. И все из-за Дэйна! Пожалел бы хоть себя, если других не жалеет. Особенно верных и преданных слуг раджи Батавии — да ведет его звезда к победам ради счастья и процветания его подданных!

— Мой хозяин, — продолжал Бабалачи, — истаял от тревог за торговца, которого он взял под свое покровительство, так же как и Абдулла, ибо что только злые языки не наговорят, если случайно…

— Заткнись, дурак! — зло рявкнул Лакамба.

Бабалачи замолк с довольной улыбкой, а Дэйн, который слушал его почти что завороженно, со вздохом облегчения повернулся к правителю Самбира. Тот не пошевельнулся, не поднял головы и, громко сопя, глядел на Дэйна из-под бровей, с поджатыми губами и выражением крайнего

недоверия.

— Говори, о Дэйн! — произнес он наконец. — Вокруг бродит немало слухов. Много раз по ночам приходил ко мне мой друг Решид с дурными вестями. Они быстро разлетаются по побережью. Но не всем можно верить: люди чаще лгут друг другу, чем в дни моей молодости, только вот меня по-прежнему трудно обмануть.

— Я всегда говорю правду, — безмятежно заявил Дэйн. — Если вы о том, куда делся мой бриг, то он в руках голландцев. Поверь мне, раджа, — с неожиданной горячностью добавил он, — у оранг-бланда есть хорошие приятели в Самбире, иначе как бы они узнали, где я?

Лакамба кинул на него короткий недобрый взгляд. Бабалачи тихо встал, подошел к гонгу и ударил в него изо всех сил.

Снаружи затопали босые ноги, внутри снова подскочили и захлопали глазами сонные охранники.

— Да уж, ты — добрый друг белого раджи, — презрительно продолжал Дэйн, повернувшись к Бабалачи, который уже вернулся на свое место. — Что ж, ликуй — мне удалось уйти. Когда увидел судно голландцев, я увел бриг в рифы и выбросился на берег. Они не рискнули догонять

нас на корабле и спустили шлюпки. Мы сделали то же самое и попытались скрыться, но по нас начали палить с корабля, много моих людей погибло. Но я остался жив, о Бабалачи! Голландцы идут за мной, в том числе чтобы допросить их преданного друга Лакамбу и его верного слугу. Можешь быть доволен!

Никто из слушателей, однако, особой радости не выразил. Лакамба закинул ногу за ногу и задумчиво почесывался, а Бабалачи, сидя по-турецки, вдруг словно съежился и бессмысленно уставился прямо перед собой. Охранники заинтересованно вытянулись на циновках поближе к рассказчику. Один даже встал и привалился к стойке, поигрывая пальцами по рукояти меча.

Дэйн переждал очередной удар грома и продолжил:

— Не оглох ли ты, властитель Самбира? Или сын великого раджи не стоит твоего внимания? Я вернулся, чтобы найти убежище и предупредить тебя, и хочу знать, что ты собираешься делать.

— Ты вернулся из-за дочки белого! — рявкнул Лакамба. — Убежища ты бы искал у отца, балийского раджи Анак Агонга — Сына Неба. Кто я такой, чтобы прятать знатного наследника? Лишь вчера я сажал рис на выжженной поляне, а

сегодня ты утверждаешь, что я держу твою жизнь в своих руках.

Бабалачи взглянул на хозяина и пробормотал:

— Никто не избегнет своей судьбы. Влюбленный, что дитя: не думает ни о чем. Будь к нему милостив, хозяин!

И он предупреждающе подергал Лакамбу за саронг.

Тот раздраженно вырвал подол. Раджа начал понимать, сколько проблем принесет возвращение Дэйна, и, потеряв самообладание, которое до этого успешно сохранял, повысил голос, перекрикивая свист ветра и стук дождя по крыше, пока над домом проходил очередной шквал.

— Когда-то ты явился сюда как торговец, со сладкими речами и заманчивыми обещаниями, попросив меня не вмешиваться, пока ты обрабатываешь здешнего белого. Я согласился. Чего же ты хочешь теперь? Когда был молод, я дрался. Теперь я стар и желаю только мира. Мне проще убить тебя, чем воевать с голландцами. Проще и лучше.

Отгремел гром, и в наступившем затишье Лакамба пробормотал еще раз, словно себе под нос:

— Гораздо проще. Гораздо лучше.

Эти угрозы, казалось, не сильно взволновали

Дэйна. Пока Лакамба говорил, он оглянулся через плечо, убедился, что за спиной никто не стоит, и, успокоенный, достал из складок одежды коробочку и аккуратно завернул немного бетеля и лайма в зеленый лист, услужливо подсунутый ему бдительным Бабалачи. Дэйн воспринял жест резко оборванного хозяином советника как предложение мира, нечто вроде молчаливого протеста против недипломатичной грубости Лакамбы и знак того, что понимание между ними все же возможно. В противном случае он не был бы так спокоен. Раджа прав — Дэйн и впрямь вернулся в Самбир только из-за дочки белого, однако он вовсе не страдал излишней беспечностью, как предположил Бабалачи. На самом деле Дэйн прекрасно знал, что Лакамба и сам настолько серьезно увяз в торговле порохом, что лишний раз не захочет вмешательства голландцев.

Отец Дэйна, независимый раджа Бали, отправил сына разведать обстановку, когда напряжение между голландцами и малайцами грозило расползтись с Суматры на весь архипелаг. Однако большинство крупных торговцев остались глухи к осторожным предложениям Дэйна, их не соблазнили даже высокие цены, которые он предлагал за порох. Оставалась последняя призрачная

надежда — Самбир. В Макасаре рассказывали, что там живет белый торговец, а из Сингапура регулярно ходит пароход. То, что на реке не было голландских поселений, разумеется, еще сильнее облегчало задачу. Надежды Дэйна чуть не разбились об упорную лояльность Лакамбы, которая невероятно взлетела, как только он оценил свои интересы. Но в конце концов щедрость молодого торговца, его заразительный энтузиазм и громкое имя отца переборoли колебания главы Самбира. Сам Лакамба не хотел иметь ничего общего с незаконной торговлей и противился союзу Дэйна с арабами, зато предложил ему договориться с Олмейером и Фордом, пояснив, что голландец — слабый человек, легко поддающийся уговорам, а англичанин, капитан парохода, может оказаться очень полезен и, скорее всего, войдет в дело, перевозя на судне порох контрабандой, тайком от Абдуллы. Однако Олмейер неожиданно проявил такое упорство, что Лакамбе даже пришлось прислать к нему Бабалачи с клятвенным обещанием закрыть на все глаза ради старой дружбы. За обещание и дружбу Дэйн заплатил полновесными серебряными гульденами ненавистных голландцев.

Олмейер в конце концов поддался на уговоры,

но Дэйну пришлось ссудить ему денег, чтобы было чем рассчитаться в Сингапуре за порох. Форд, в свою очередь, согласился перевезти товар на пароходе и перегрузить на бриг. Олмейер не хотел денег за участие в сделке: вместо этого взял с Дэйна обещание помочь в экспедиции всей его жизни, после того как бриг отправится в путь. Лакамбе, объяснял Олмейер, в этом вопросе верить нельзя: из-за алчности раджи можно потерять и сокровище, и саму жизнь, однако ввести в курс дела его пришлось, и раджа настоял на своей доле, пригрозив, что иначе закрывать глаза на их авантюру больше не будет. Пришлось Олмейеру согласиться.

Если бы Дэйн не встретился с Ниной, то наверняка отказался бы от участия в походе к Гунонг-Мас — золотой горе. А так он пообещал вернуться с половиной своей команды, когда бриг минует рифы. Однако упорное преследование голландского фрегата заставило его уйти далеко на юг, чтобы спасти свою свободу, а может быть, и жизнь. Да, он вернулся в Самбир, к Нине, даже зная, что голландцы будут искать его здесь, а кроме того, взвесил свои шансы на безопасность в руках Лакамбы. Несмотря на все угрозы, милосердный раджа не убьет его, ведь

он давно впечатлен признанием Дэйна, что Олмейер открыл ему тайну сокровищ. И голландцам тоже не выдаст, так как боится, что его имя свяжут с незаконной торговлей. Потому Дэйн и чувствовал себя в полной безопасности и спокойно обдумывал ответ на кровожадные обещания. Пожалуй, стоит описать Лакамбе, что может случиться, если он, Дэйн, попадет в руки голландцев и признается во всем. Терять ему нечего, он запросто расскажет им правду. Его возвращение в Самбир смутило покой Лакамбы. Что с того? Он пришел, чтобы взять свое. Разве не изливал он полновесный поток серебра в жадную горсть миссис Олмейер? Да, он заплатил по-царски, но все равно недостаточно, за то дивное, сводящее с ума существо, к которому его душа стремилась с желанием куда более мучительным, чем самая сильная боль. Он жаждет своего счастья. У него есть право быть в Самбире.

Дэйн встал и, подойдя к столу, оперся о него локтями. Лакамба с готовностью придвинул кресло поближе, а Бабалачи вскочил на ноги и просунул любопытствующее лицо между хозяином и гостем. Они шептались, сдвинув головы: Дэйн предлагал, Лакамба возражал, Бабалачи советовал — вне себя от беспокойства в преддве-

рии грядущих проблем. Он говорил больше всех, горячечным шепотом, не спеша поворачиваясь от одного к другому, чтобы по очереди видеть здоровым глазом каждого из собеседников. «К чему нам споры, — рассуждал Бабалачи, — если туан Дэйн, которого он любит почти так же сильно, как хозяина, может просто спрятаться? Мест для этого кругом предостаточно. Лучше всего — в отдалении, в доме Буланги. Сам Буланги — человек надежный, а в паутине каналов, оплетающих его дом, запутается любой белый. Белые сильны, но бестолковы. Воевать с ними бессмысленно, а обдурить — легче легкого. Они как глупые женщины, что не пользуются своим рассудком, к каждому из них всегда можно найти подход, — толковал Бабалачи с самоуверенностью невежды. — Возможно, голландцы заподозрят их доброго соседа Олмейера. Не исключено, что даже арестуют. Ну и прекрасно! После того как они уберутся отсюда, Лакамба и Дэйн спокойно добудут сокровища и поделят их без лишних желающих. Ну разве это не мудро? Так может быть, туану Дэйну стоит отправиться в дом Буланги прямо сейчас и сидеть там, пока не пройдет опасность?»

Предложение спрятаться Дэйн принял с таким видом, будто делал Лакамбе одолжение, но на

совет скрыться немедля ответил решительным отказом, многозначительно поглядев Бабалачи в единственный глаз. Тот вздохнул с видом человека, принимающего неизбежное, и вопросительно указал на противоположный берег. Дэйн медленно кивнул.

— Да, я туда.

— Не дожидаясь рассвета?

— Прямо сейчас, — упрямо заявил Дэйн. — Скорее всего, оранг-бланда не доберутся сюда до завтрашнего вечера, а мне нужно предупредить Олмейера о нашем плане.

— Нет, туан, нет, ничего не говори, — запротестовал Бабалачи. — Я сам появлюсь там утром и все расскажу.

— Посмотрим, — ответил Дэйн, собираясь уходить.

Снаружи снова взъярилась гроза, над домом ползли тяжелые тучи.

За дальним ворчанием грома следовали более близкие и короткие удары, синеватые молнии беспрерывно высвечивали реку и лес, их неровный дрожащий свет подчеркивал каждую деталь, как это обычно бывает в такую погоду. Дэйн и Бабалачи вышли на веранду и остановились, ошеломленные неистовством шторма. Слуги

и рабы Лакамбы скорчились в попытке найти укрытие от дождя, но Дэйн громким голосом позвал своих гребцов, которые отвечали ему: «Да, туан!», — встревоженно поглядывая на реку.

— Большой потоп! — закричал Бабалачи в ухо Дэйну. — Река бушует! Смотри! Смотри, как кидает бревна! Разве можно туда лезть?

Дэйн с сомнением глянул на бурлящий и пенящийся поток, ограниченный где-то вдали полоской леса на той стороне. Внезапно яркая вспышка высветила низкий участок берега со склоненными деревьями, мелькнул и тут же исчез дом Олмейера. Дэйн оттолкнул Бабалачи и бросился к затвору, а за ним его дрожащие матросы.

Бабалачи медленно вернулся в дом, закрыл дверь и посмотрел на Лакамбу. Раджа сидел неподвижно, уставившись в стол, а Бабалачи с любопытством разглядывал озадаченного господина, которому служил в горе и радости вот уже много лет. Нет сомнений, что одноглазый советник в глубине своей дремучей и на редкость извилистой души вдруг ощутил неожиданное сочувствие, если не жалость, к человеку, которого звал хозяином. С безопасной позиции личного советника, с вершины прошедших лет, он мог

разглядеть самого себя — бывшего головореза, нашедшего приют под этой крышей с первых шагов, с расчистки леса под рисовые поля. Потом шел долгий период сплошных успехов, мудрых советов и сложных заговоров, воплощаемых в жизнь бесстрашным Лакамбой до тех пор, пока все восточное побережье, от Пулау-Лаута до Танджонг-Бату, не привыкло внимать мудрости Бабалачи через уста правителя Самбира. Сколько минуло опасностей, сколько встречено врагов, скольким белым он заморочил головы за эти годы! И вот теперь Бабалачи глядит на результат своих прилежных трудов: неустрашимый Лакамба в испуге перед грозящей ему опасностью. Правитель стареет, да и он — у Бабалачи так неприятно засосало в животе, что он схватился за него обеими руками, — тоже. Время безрассудной дерзости прошло для обоих, и теперь их спасет лишь расчетливая хитрость. Они жаждут мира, они готовы меняться, готовы даже поступиться чем-то, чтобы отогнать тяжелые дни, если их вообще можно отогнать. Бабалачи вздохнул второй раз за эту ночь, усаживаясь у ног хозяина, и в знак немого сочувствия протянул ему коробочку бетеля. И челюсти их беззвучно задвигались в слаженном ритме, оба чинно сплевывали в мед-

ную плевательницу, которую передавали друг другу из рук в руки, да вслушивались в жуткий вой бушующей снаружи грозы.

— Страшное наводнение, — уныло сказал Бабалачи.

— Да, — согласился Лакамба. — Дэйн все-таки ушел?

— Ушел, туан. Кинулся к реке, как будто в него сам шайтан вселился.

— Он может утонуть, — после длинной паузы со слабым интересом предположил Лакамба.

— Бревен несет много, — поддержал Бабалачи и вяло добавил: — Но Дэйн — хороший пловец.

— Нельзя, чтобы он погиб. Он знает, где сокровища, — заметил Лакамба.

Бабалачи саркастически хрюкнул. Попытки раскрыть секрет белого капитана и пронюхать, где лежит золото, оказались слабым местом советника Самбира, единственным провалом его в целом блестящей карьеры.

Буйство грозы сменилось безмятежной тишиной. Лишь запоздалые облака, догонявшие тучу, уже беззвучно сверкавшую где-то вдали, брызгали мелким дождем, мирно стучащим по крыше из банановых листьев.

Лакамба стряхнул апатию с видом человека,

наконец-то овладевшего ситуацией.

— Бабалачи! — воскликнул он, слегка пихнув советника.

— Да, туан! Слушаю!

— Если голландцы заберут Олмейера в Батавию, чтобы судить за контрабанду пороха, что он сделает?

— Не знаю, туан.

— Ну и дурак! — оживленно отозвался раджа. — Он расскажет им, где сокровища, чтобы они его помиловали. Точно расскажет!

Бабалачи с изумлением посмотрел на хозяина и озадаченно кивнул. Об этом он до сих пор не думал. Очередная проблема.

— Олмейер должен умереть, — решительно продолжал Лакамба. — Чтобы не выдать секрета. И умереть тихо, Бабалачи. Как ты умеешь.

Бабалачи, не протестуя, поднялся на ноги:

— Завтра?

— Да, до того, как явятся голландцы. Он пьет много кофе, — с кажущейся нелогичностью добавил раджа.

Бабалачи зевнул, потянулся, но Лакамба, осознав, какую запутанную проблему сейчас решил совершенно самостоятельно, наоборот, пришел в возбуждение.

— Бабалачи, — скомандовал он усталому советнику, — тащи-ка музыкальный ящик, подарок белого капитана. Мне все равно не уснуть.

Лицо Бабалачи выразило глубокое уныние. Он нехотя уполз за штору, вернулся с небольшой шарманкой и с гримасой глубокого отвращения поставил ее на стол. Лакамба поудобнее устроился в кресле и пробормотал, смеживая веки:

— Крути, Бабалачи, крути.

Бабалачи со всей силой отчаяния ухватился за ручку и завертел. Мрачность его сменилась безысходной покорностью. Через открытые заслонки звуки музыки Верди летели над затихшими рекой и лесом. Лакамба слушал — с закрытыми глазами и довольной улыбкой; Бабалачи крутил, время от времени задремывая и покачиваясь, а затем, испуганно встрепенувшись, с удвоенной скоростью. Природа спала, приходя в себя после жестокого урагана, пока под неверной рукой советника Самбира трубадур надрывно плакал, стонал и прощался со своей Леонорой — снова и снова, в надрывном кругу бесконечных повторов.

Глава 7

После штормовой ночи яркое солнце безмятежного погожего утра залило главную дорогу поселка, протянувшегося от нижней пристани на притоке Пантая до жилища Абдуллы. Нынешним утром она была пуста, и лежала — грязно-желтая, утоптанная множеством босых ног, — между рощицами пальм. Их высокие стволы бросали полосатые тени на дорогу, а густые макушки — еще дальше: на крыши прибрежных домов и даже на реку, легко и стремительно текущую мимо опустевших хижин. Ибо хижины опустели. На узкой полоске примятой травы между их дверями и дорогой тлели брошенные очаги, и тонкие струйки дыма в прохладном воздухе смешивались в легкую дымку над залитым светом, обезлюдевшим поселком.

Вылезший из гамака Олмейер сонно глазел на непривычно пустой Самбир, вяло гадая, куда же все подевались. В его собственном доме стояла тишина: ни голоса жены, ни шагов Нины в выходившей на веранду большой комнате, которую он в компании белых — желая изобразить, что по-прежнему пользуется всеми благами цивили-

зации, — величал гостиной. Там, однако, ни разу никто не гостил, потому что когда-то миссис Олмейер в припадке варварской хозяйственности порвала шторы на саронги для служанок и спалила изящную мебель в очаге, где готовился рис. Но сейчас мысли Олмейера были не о мебели. Он размышлял о возвращении Дэйна, о его ночной встрече с Лакамбой, о ее возможном влиянии на так долго зревшие планы, готовые воплотиться в жизнь. Тревожило, что Дэйн, обещавший явиться рано утром, так до сих пор и не пришел. «У парня было полно времени, чтобы переплыть реку, — думал Олмейер. — Ведь столько еще нужно сделать: уточнить детали завтрашнего отхода, спустить лодки, доделать тысячу и одну мелочь, чтобы экспедиция двинулась в путь без сучка без задоринки. Ничего не забыть, ничего не…».

И тут до него наконец-то дошло ощущение странного безлюдья. Олмейер поймал себя на том, что пытается уловить даже обычно ненавистный голос жены, чтобы разорвать гнетущую тишину, которую его встревоженная душа тут же сочла признаком какой-нибудь новой беды.

— Что происходит? — вполголоса пробормотал он, шаркая в слишком свободных шлепанцах к перилам веранды. — Заснули, что ли, все или

умерли?

Поселок был жив и вовсе не спал. Не спал с раннего утра, когда Махмат Банджер в приступе невиданной энергичности поднялся, взял топорик, переступил через двух спящих жен и, дрожа, зашагал к кромке воды удостовериться, что его строящийся дом ночью не унесло штормом.

Предприимчивый Махмат возводил дом на большом плоту, надежно пришвартованном к берегу. Это должно было уберечь его от плывущих бревен, которые каждый паводок выбрасывало на топкой площадке у слияния двух рукавов Пантая. Шагая по мокрой траве, он ежился и шепотом проклинал дела, погнавшие его из теплой постели в холод сырого утра. С первого взгляда он понял, что дом в порядке. Встающее солнце высветило неподалеку бесформенную кучу застрявших в иле, спутавшихся ветвями деревьев, которые мотались туда-сюда в водовороте, где сливались оба течения, и Махмат похвалил себя за предусмотрительность. Когда он подошел к воде, чтобы проверить ротанговые веревки, солнце высветило макушки деревьев на другом берегу. Склонившись над креплениями, он снова бросил взгляд на скопление бревен и заметил там то, что заставило его уронить шляпу и выпрямиться,

приложив ладонь козырьком к глазам. Между то сходящимися, то расходящимися стволами мелькало что-то красное. Сперва показалось — просто лоскут ткани. А через секунду Махмат рассмотрел, в чем дело, и поднял громкий крик.

— Эге-гей! Сюда! Тут человек среди обломков! — вопил Махмат, приложив ладони рупором ко рту и громко выкрикивая каждое слово, повернувшись лицом к поселку. — В реке чужак! Мертвый! Все сюда!

Женщины из ближнего дома уже суетились снаружи, разжигая очаги и луща рис на завтрак. Визгливыми голосами они подхватили зов, и он полетел от дома к дому, затихая вдали. Встревоженные мужчины молча сбегались к грязной воде, где беспощадные бревна с тупой настойчивостью крутили, вертели, кидали тело незнакомца. Женщины побросали дела и пустились за мужчинами. Радостно вереща от волнения, процессию замыкали дети.

Олмейер громко позвал жену и дочь и, не получив ответа, наконец-то прислушался. До него еле слышно донесся ропот толпы, подсказав, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Перед тем как спуститься, он кинул взгляд в сторону Пантая и увидел небольшое каноэ, плывущее с пристани

раджи. Одинокий гребец, в котором Олмейер тут же опознал Бабалачи, пересек реку чуть ниже его дома, по стоячей воде под откосом доплыл до пристани Лингарда, не спеша вылез и начал тщательно привязывать лодку, словно не торопился встретиться с соседом, которого заметил на веранде. Задержка дала Олмейеру возможность заметить и с удивлением оценить официальный вид Бабалачи. На советнике Самбира красовался костюм, достойный его высокой должности. Бедра обвивал саронг в ярчайшую клетку, из складок его выглядывала серебряная рукоять криса, видевшая свет только во время великих праздников или на официальных приемах. Через левое плечо и голую грудь пожилого дипломата тянулся лакированный кожаный ремень с медной бляхой, на которой красовался герб Нидерландов и надпись «Султан Самбира». Голову покрывал красный тюрбан, концы которого, болтаясь вдоль левой щеки и плеча, придавали его старческому лицу забавную бесшабашность. Бабалачи тщательно привязал лодку, выпрямился, расправил складки саронга и широкими шагами направился к дому Олмейера, помахивая посохом из черного дерева с золотым, украшенным драгоценными камнями набалдашником, который вспыхивал на солн-

це. Олмейер махнул рукой вправо, указывая на место происшествия, ему не видное, но хорошо просматривающееся от пристани.

— Эй, Бабалачи, эй! — крикнул он. — Что там случилось? Не видишь?

Бабалачи застыл на месте, пристально вглядываясь в толпу, и через секунду ошеломленный Олмейер увидел, как он свернул с тропы, подхватил рукой полы саронга и затрусил по траве к полузатопленному берегу. Олмейер, вне себя от любопытства, тоже сбежал с веранды. Теперь он ясно слышал гул мужских голосов и вопли женщин и, повернув за угол дома, увидел на низком мысу колыхавшуюся толпу, сгрудившуюся вокруг чего-то неясного. Послышался невнятный голос Бабалачи, люди расступились перед ним и тут же сомкнулись с возбужденным гудением, перешедшим в громкий крик.

Когда Олмейер подходил к толпе, от нее отделился человек и бросился мимо него к поселку, не обращая внимания на призыв остановиться и объяснить, что же все-таки случилось. Добравшись до места, Олмейер обнаружил, что не может пробиться к реке: никто не обращал внимания на легкие похлопывания, которыми он пытался расчистить себе путь.

На полпути он расслышал в самой гуще людей голос своей благоверной. Ее пронзительные вопли он не спутал бы ни с чем, однако слов не различил. Протолкавшись в середину, он попытался вызнать хоть что-нибудь у окружающих, когда воздух расколол пронзительный визг, заставивший умолкнуть всех, включая его собеседников. На секунду Олмейер окаменел от ужаса и неожиданности, потому что жена явно вопила по покойнику. Он припомнил непонятное отсутствие Нины и, в страхе за ее жизнь, начал слепо и яростно продираться вперед. Народ с криками изумления и боли разлетался в стороны от его тычков.

На свободном пятачке берега лежало тело незнакомца, только что вытащенного из мешанины бревен. Около него стоял Бабалачи, пристроив подбородок на набалдашник посоха, и пристально рассматривал одним глазом бесформенную массу переломанных конечностей, порванной плоти и сочащихся кровью тряпок. Когда Олмейер прорвался сквозь кольцо потрясенных соседей, миссис Олмейер накинула свое покрывало на лицо покойника и, присев на корточки, испустила еще один вопль, заставив вздрогнуть безмолвных зрителей.

У Олмейера от страха на миг потемнело в глазах, и поначалу слова окружающих до него не доходили. Усилием воли стряхнув оцепенение, он услышал голос Махмата.

— ...так и вышло, туан. Саронг зацепился за обломок ствола, голова застряла под водой. Когда я его увидел, сразу подумал: не нужен он нам! Хотел отцепить и пустить по реке. К чему хоронить чужака среди наших домов, чтобы его дух пугал женщин и детей? Нам своих тут мало?

Под одобрительный гул зевак Махмат бросил укоризненный взгляд на Бабалачи.

— Однако туан Бабалачи велел мне вытащить тело на берег, — оглядывая слушателей, но адресуясь только к Бабалачи, продолжал он. — Я и вытащил, за ногу, вот прямо тут тащил, по грязи, хотя в глубине души предпочел бы посмотреть, как он поплывет дальше по реке и, может быть, застрянет на мели у дома Буланги — чтоб его отец в могиле перевернулся!

По толпе пробежал смешок — давняя вражда Махмата и Буланги была всем известна, интерес к ней в Самбире никогда не утихал. Веселье прервал очередной вопль миссис Олмейер.

— О Аллах! Что за язва эта женщина! — рассерженно воскликнул Махмат. — В общем, схватив-

шись за труп, что приплыл неизвестно откуда, скорее всего, осквернил себя прямо перед завтраком. Сделал я это по приказу туана Бабалачи, чтобы угодить белому господину. Довольны вы, о туан Олмейер? И что я получу в награду? Туан Бабалачи обещал, что вы меня наградите! Так что, считайте, я осквернился, а если и не осквернился, на меня могло лечь проклятие. Гляньте-ка на его ножные браслеты! Кто-нибудь когда-нибудь видел утопленника, который приплыл бы ночью по реке в золотых браслетах? Колдовство, не иначе. Однако, — продолжал Махмат после задумчивой паузы, — я бы мог взять один браслет, если вы мне разрешите. Потому что у меня есть амулет от духов и я ничего не боюсь. Аллах велик!

Свежий взрыв горестных восклицаний миссис Олмейер прервал поток его красноречия. Сбитый с толку Олмейер перевел взгляд с жены на Махмата, с него — на Бабалачи, и наконец, уставился на искромсанное и переломанное тело, лежащее в грязи с прикрытым лицом. Рука трупа, выкрученная и истерзанная, с белыми костями, тут и там торчащими из рваной плоти, вытянулась в сторону, почти касаясь пальцами ног Олмейера.

— Ты знаешь, кто это? — негромко спросил он у Бабалачи.

Тот, глядя мимо него, почти беззвучно зашевелил губами, да и этот шепот, предназначенный только для ушей Олмейера, почти потонул в причитаниях его жены.

— Глядите сами, тут, у ваших ног. Кольцо на пальце, которое я хорошо знаю. Страшная судьба.

С этими словами Бабалачи решительно шагнул вперед, словно случайно наступив на руку утопленника и втоптав ее в грязь, и погрозил посохом толпе, которая вяло отшатнулась.

— Убирайтесь! — строго велел он. — Отправьте жен к очагам, которые нельзя было бросать, бегая вокруг утонувшего чужеземца. Это мужская забота. Я забираю тело именем раджи. Пускай тут останутся только слуги туана Олмейера. Вон!

Толпа начала неохотно расползаться. Сперва ушли женщины, таща за собой упиравшихся детей, которые озирались всю дорогу, повиснув на материнских руках. За ними тронулись мужчины — неровными группками, которые становились все меньше, по мере того как очередной хозяин, завидев свой дом, ускорял шаг и спешил к котлу с рисом, почувствовав, что проголодался. Только на взгорке, откуда хорошо просматривался мыс, стояло несколько человек — то ли друзей, то ли

врагов Махмата, — которые с любопытством глядели на тесный кружок оставшихся на речном берегу, возле тела.

— Не пойму, о каком кольце ты толкуешь, Бабалачи! — сказал Олмейер. — И кто бы ни был этот бедняга, ты ему руку втоптал в грязь! Открой лицо, — приказал он жене, которая, скорчившись у головы утопленника, раскачивалась взад-вперед, встряхивая седыми космами и бормоча себе под нос.

— Ха! — воскликнул Махмат, который тоже остался на берегу. — Послушайте, туан, бревна сошлись вот так, — он свел ладони, — и голова, похоже, застряла между ними, так что на лицо можно уже не глядеть. Никто теперь не поймет, где у него кожа, кости, нос, губы и даже глаза. Видно, когда он родился, предначертано было, что ни один человек в день смерти не сможет поглядеть на него и сказать: «Да, это лицо моего друга».

— Хватит, Махмат, замолчи, — велел Бабалачи, — и отведи глаза от браслета, ты, пожиратель свинины. Туан Олмейер, — продолжил он, понизив голос, — вы видели Дэйна нынешним утром?

Олмейер в тревоге вытаращил глаза.

— Нет, — быстро ответил он. — А вы? Разве он не у раджи? Я его жду. Почему он от вас не ушел?

Бабалачи печально покачал головой.

— Он ушел, туан. Прошлой ночью, в ужасный шторм и разъяренные волны. Ночь была совсем черной, но в душе Дэйна пылал огонь, который звал его к вашему дому, как будто вода тиха и спокойна, а бревна — не больше, чем соломинки. Ушел, а теперь лежит здесь.

И Бабалачи кивнул на тело.

— С чего ты взял? — воскликнул Олмейер, отталкивая жену. Он сорвал с лица покрывало и всмотрелся в изуродованную массу плоти, волос и засохшей грязи, в которую превратилось лицо покойника. — Как тут можно узнать?

Он пожал плечами и отвернулся.

Бабалачи встал на колени, счищая грязь с застывших пальцев вытянутой руки, поднялся на ноги, и перед глазами Олмейера сверкнуло золотое кольцо с большим зеленым камнем.

— Вы не можете его не помнить, — сказал он. — Оно никогда не покидало руки Дэйна. Пришлось повредить палец, чтобы снять его. Теперь узнаете?

Олмейер в отчаянии вскинул руки к голове и тут же бессильно уронил. Пристально наблюдавший за ним Бабалачи с изумлением заметил на его лице усмешку. Сраженного новым несчастьем

Олмейера посетило странное видение: словно день за днем, месяц за месяцем, год за годом он падал, падал, падал в глубокую черную гладкую яму, а вокруг тошнотворно-стремительно вырастали черные стены. Бешеный спуск, от которого, кажется, до сих пор звенит в голове, и сокрушительный удар, с которым он достиг дна, однако — вот чудо! — цел и невредим, а Дэйн погиб и лежит у его ног весь переломанный. Ну разве не смешно? Мертвый малаец. Сколько Олмейер их перевидал, и ни разу его это не трогало, а теперь он готов заплакать, но не над утопленником, а над судьбой белого человека — человека, который сорвался в пропасть и почему-то не разбился. Ему казалось, что настоящий Олмейер стоит где-то в стороне и пристально наблюдает за Олмейером, попавшим в беду. Бедняга, что за бедняга! Как он еще себе горло не перерезал? Хотелось подбодрить его, чтобы он не свалился тут же, мертвым, прямо на уже готового покойника. Одним разом покончил бы со всеми страданиями. Олмейер не заметил, как застонал вслух. Звук собственного голоса напугал его. Неужели он сходит с ума? Встревоженный этой идеей, он развернулся и побежал домой, повторяя про себя: «Я не свихнулся, нет, конечно же, нет, нет, нет!» Но даже для того,

чтобы удержать эту мысль в голове, приходилось прикладывать усилия.

Торопливо бормоча: «Я нормальный. Нормальный!» — как будто в этих словах заключалось его спасение, Олмейер, споткнувшись на ступеньках, взбежал на веранду. Увидел Нину, хотел сказать ей что-то, но не мог вспомнить, что именно. Сосредоточенно стараясь не забыть, что он нормален, о чем и продолжал напоминать себе вслух, Олмейер оббежал стол и врезался в кресло, куда в итоге упал, обессиленный. Дикими глазами глядел он на дочь, все еще уверяя себя в своем душевном здоровье и не понимая, почему девушка с округлившимися глазами отшатнулась от него. Да что это с ней? Таращится как дурочка. Олмейер шарахнул по столу кулаком и крикнул:

— Джину мне! Бегом!

И застыл в кресле, потрясенный собственной вспышкой, пока Нина бегала за выпивкой.

Нина принесла полстакана джина и увидела, что отец сидит, бессмысленно глядя перед собой. Олмейер как-то резко устал, будто проделал долгий путь: шел милю за милей все утро, и теперь мечтал только о том, чтобы отдохнуть. Трясущейся рукой он принял стакан — зубы застучали по стеклу, — выпил джин, медленно поднял глаза

на стоявшую рядом дочь и твердо сказал:

— Все кончено, Нина. Он мертв, и мне остается только сжечь лодки.

Он даже гордился тем, как спокойно разговаривает. Разумеется, он не сходит с ума. Ободренный этой мыслью, он начал рассказ о том, как нашли тело, с удовольствием ловя звук собственного голоса. Нина слушала, положив руки отцу на плечи, с недрогнувшим лицом, но каждая ее черта, сама ее осанка выдавали напряженное внимание.

— Значит, Дэйн погиб, — бесстрастно подытожила она, когда отец замолчал.

Фальшивое спокойствие Олмейера тут же сменилось взрывом гнева.

— Тебе как будто и дела нет, стоишь тут как бревно! Да, Дэйн погиб! Ясно? Погиб! Можно подумать, тебя это тронуло — да тебя ничего не трогает! Никогда! Смотришь, как я из кожи вон лезу, пашу как проклятый — и хоть бы что! Глазом не моргнешь в ответ на все мои мучения. Сердца у тебя нет! И головы, видимо, тоже, раз ты не замечаешь, что все это для тебя, для твоего счастья! Я мечтал разбогатеть! Мечтал уехать отсюда. Мечтал, чтобы белые мужчины склонялись в почтении перед твоей красотой и богатством. Собирался в старости перебраться в

неведомые для себя земли, к цивилизации, и там насладиться твоим триумфом, твоей победой, твоим счастьем. Для этого я безропотно нес бремя тяжелой работы, разочарований, унижений от здешних дикарей, и богатство было почти у меня в руках!

Он посмотрел дочери в лицо и вскочил, опрокинув кресло.

— Ты меня вообще слышишь? Было рядом — только руку протяни!

Он запнулся, пытаясь справиться с гневом, и не смог.

— Бесчувственная! Знаешь, что такое жить без надежды?

Молчание Нины бесило Олмейера, голос его зазвенел, хоть он и пытался обуздать свои чувства.

— Готова прожить в нищете всю жизнь и сдохнуть в этой жалкой дыре? Ответь мне хоть что-нибудь, Нина! Жалости у тебя нет! Для отца, который так тебя любит!

Не дождавшись ни слова, он потряс кулаком перед лицом дочери.

— Идиотка, честное слово! — прорычал он, огляделся в поисках кресла, поднял его и неуклюже уселся.

Гнев в душе утихал, Олмейеру стало нелов-

ко за этот срыв, но, с другой стороны, он был даже рад, что раскрыл цель всей своей жизни. Захваченный эмоциями, он искренне верил в нее, не в силах оценить всю извилистость своих путей, утопичность целей, бессмысленность сожалений. И теперь в сердце его осталась лишь огромная нежность и любовь к дочери. Да, Олмейер переживал, что она не расстроилась и не разделила с ним его отчаяние, но это было обычное желание всех слабых натур найти участие у людей, невиновных в их беде. Если бы Нина тоже огорчилась, то поняла бы и утешила его, но дочь не нашла ни единого слова сочувствия и любви к отцу, оказавшемуся в кошмарных обстоятельствах. Его сердце с такой силой затопило чувство бесконечного одиночества, что он задрожал, покачнулся, упал лицом на стол, вытянув перед собой руки, и застыл. Нина кинулась было к нему и встала, глядя на седую голову и широкие плечи, трясущиеся от обуревавших его чувств, которые, наконец, прорвались в потоке слез и всхлипов.

Нина глубоко вздохнула и отошла от стола. Как только отец отвернулся, с лица ее пропало выражение каменного равнодушия. Когда Олмейер взывал к сочувствию и вымаливал хотя бы слово поддержки, Нина выглядела безучастной,

но на деле грудь ее разрывали противоречивые чувства, вызванные событиями, которых она не могла предвидеть или, по крайней мере, не ожидала так скоро. На самом деле горе отца глубоко взволновало Нину. Зная, что в ее власти одним словом прекратить его страдания, изнемогая от желания принести мир его истерзанному сердцу, она со страхом слышала внутри себя голос всепоглощающей любви, велевший ей хранить молчание. И она покорилась, после короткой жестокой борьбы своей прежней сути, с новым законом жизни. Полное молчание стало единственной защитой Нины от роковой ошибки. Ни вздохом, ни словом не позволила она себе выдать чувства, всколыхнувшие самые глубины ее души. Она словно обратилась в камень. Раздувающиеся ноздри и сверкающие глаза были единственными приметами бушующей внутри ее бури, но Олмейер не разглядел их, упиваясь жалостью к самому себе, своим гневом, своим отчаянием.

Если бы он взглянул на дочь, пока она стояла у перил веранды, то увидел бы, как маска безразличия уступила место гримасе боли, а та, в свою очередь, настороженной тревоге, омрачившей прекрасное лицо. Сама же Нина неотрывно смотрела на высокую траву на запущенном дворе,

стоявшую неподвижно и палимую полуденным солнцем.

От берега к дому приближался людской гомон и шарканье босых ног. Послышался голос Бабалачи, отдающего приказы слугам Олмейера, и сдавленные рыдания миссис Олмейер. Вот процессия с телом утопленника завернула за угол дома. В руке Бабалачи сверкал браслет, снятый с ноги покойного, следом за советником робко трусил Махмат в надежде на обещанную награду.

— Сюда кладите, — велел Бабалачи, указывая на груду сухих досок перед верандой, — этого сукина сына, кяфира, друга белых. Он пил огненную воду в доме голландца! — провозгласил он с преувеличенным ужасом. — Я сам видел.

Слуги уложили поровнее две доски, пристроили на них изломанное тело и разбрелись по двору, ища тенистые места, чтобы пробездельничать там остаток дня. Миссис Олмейер накрыла покойника куском белой ткани и, пошептавшись с Бабалачи, занялась наконец хозяйством. Бабалачи остался один у тела утопленника, лежавшего под лучами яркого солнца.

Нина спустилась по лестнице и подошла к нему. Бабалачи почтительно коснулся ладонями лба и присел на корточки.

— У вас был браслет, — сказала она, глядя сверху вниз на задранное лицо Бабалачи, в его единственный глаз.

— Да, мэм-пути, — подтвердил вежливый советник и, повернувшись к Махмату, поманил его поближе. — Подойди!

Поколебавшись, тот подошел. На Нину он старался не смотреть, зато не сводил глаз с Бабалачи.

— Теперь слушай, — сурово приказал тот. — Ты видел кольцо и браслет, и знаешь, что они принадлежат торговцу Дэйну, и больше никому. Он вернулся на каноэ вчера вечером. Поговорил с раджой и за полночь собрался на эту сторону реки, к дому белого. Поднялась буря, а нынче утром ты нашел его в воде.

— Вытянул за ногу, — пробубнил себе под нос Махмат и тут же взвыл: — Туан Бабалачи, вы обещали награду!

Бабалачи покачал перед глазами Махмата золотым браслетом.

— То, что я сказал тебе, Махмат, — для ушей всех на свете, а то, что даю тебе, — только для твоих глаз. Держи.

Махмат жадно схватил браслет и, спрятав в складках пояса, проворчал:

— Что я, дурак, показывать такую вещь в доме, где три женщины? Зато про Дэйна расскажу, а они разнесут дальше.

Он повернулся и пошел, ускоряя шаг по мере того, как удалялся от двора Олмейера.

Бабалачи следил за ним, пока тот не скрылся за кустами, и смиренно осведомился:

— Все ли я сделал правильно, мэм-пути?

— Да. Кольцо можешь оставить себе.

Бабалачи прикоснулся рукой к губам и лбу в знак благодарности и, с трудом поднявшись на ноги, посмотрел на Нину, будто ожидал, что она скажет что-то еще, но она отвернулась и начала подниматься по лестнице, взмахом руки отослав его прочь.

Бабалачи подобрал посох и собрался уходить. В такую жару даже думать не хотелось о долгой дороге назад, но нужно было отчитаться радже насчет последних событий, изменений в планах и собственных подозрений. Он спустился к пристани и взялся за ротанговый фалинь.

Перед ним раскинулись просторные низовья реки — сверкающая рябь, истыканная черными точками рыбацких каноэ. Рыбаки гребли довольно быстро. Бабалачи бросил отвязывать лодку и с интересом уставился на них. Тот, что вырвался

вперед, подплывая к Самбиру, бросил весла, встал в лодке и закричал:

— Шлюпки! Шлюпки! Военные шлюпки! Уже здесь!

Его крик снова всполошил поселок, люди бросились к воде. Мужчины начали отвязывать лодки, женщины стояли группками, вглядываясь в изгиб реки. Там, над кронами деревьев, появился небольшой клуб дыма — как черное пятно на бриллиантовом сиянии голубых небес.

Озадаченный Бабалачи застыл с фалинем в руке, посмотрел на речной изгиб, потом на дом Олмейера, снова на реку, как будто не мог решить, куда кидаться, в конце концов наскоро привязал каноэ обратно и поспешил к дому.

— Туан! Туан! — кричал он, карабкаясь по лестнице. — Шлюпки идут! Шлюпки с военных кораблей! Вам бы лучше быть начеку. Офицеры обязательно сюда заглянут.

Олмейер поднял голову со стола и тупо посмотрел на него.

— Мэм-пути! — воскликнул Бабалачи. — Поглядите на него — он ничего не слышит! Надо что-то делать!

Нина кивнула с неуверенной улыбкой и только хотела ответить, как резкий выстрел с носа паро-

хода, который только-только показался на реке, оборвал ее невысказанные слова. Улыбка слетела с ее лица и сменилась выражением тревожного внимания. С дальних холмов донеслось эхо, похожее на долгий печальный вздох, как будто сама земля ответила своим хозяевам.

Глава 8

Новость о том, чье тело лежит сейчас на дворе Олмейера, стремительно разнеслась по поселку. К полудню большинство обывателей собрались на длинной улице, обсуждая загадочное возвращение и неожиданную гибель человека, который именовал себя торговцем. Его приезд в сезон северо-восточных муссонов, долгое пребывание в поселке, неожиданное отплытие на бриге и, как заключительный аккорд, таинственное тело среди бревен стали главной темой для разговоров и обсуждались снова и снова с неослабевающим интересом. Махмат бродил от дома к дому, от толпы к толпе, везде готовый повторить свой рассказ: как увидел утопленника, зацепившегося саронгом за сучковатый ствол, как одной из первых на его крик прибежала миссис Олмейер и узнала покойника еще до того, как его вытащили из воды, и как Бабалачи велел оставить труп на берегу.

— Я его за ногу тяну, а у него головы почти что нет! — восклицал Махмат. — И как жена белого поняла, кто это? Ведьма она, ясное дело! А самого белого видели? Как узнал, кто утопленник, по-

скакал, что твой олень! — Тут Махмат, к большой радости зрителей, начинал изображать длинные прыжки Олмейера. — И за все старания ну буквально ничего не получил! Кольцо с зеленым камнем забрал туан Бабалачи. Ничего! Ничего! — Махмат сплевывал себе под ноги, выражая недовольство, и брел дальше в поисках свежих слушателей.

Новости распространялись по поселку все дальше и дальше, к самым окраинам, и, наконец, достигли ушей Абдуллы, который сидел в прохладной тиши склада и наблюдал за конторщиками-арабами и рабочими, грузившими и разгружавшими лодки. Решида, занятого на пристани, тут же вызвали к дяде, который, как обычно, выглядел очень спокойным, даже безмятежным, однако на самом деле пребывал в большом удивлении. Слухи о захвате, а может быть, даже уничтожении брига дошли до арабов три дня назад, от морских рыбаков и тех, кто жил ниже по реке. Они перелетали от соседа к соседу, пока Буланги, чьи поля были ближе всех к поселку, не принес их Абдулле, пытаясь снискать его расположение. Но тогда толковали о том, что Дэйн погиб в схватке на борту брига. А теперь весь поселок жужжит, что вчера он заглянул к

радже, а потом погиб на пути к Олмейеру, пересекая реку в темноте.

Ничего непонятно. Решид тоже нашел ситуацию очень странной — тревожащей и загадочной, но Абдулла из старческой нелюбви к разгадыванию загадок после первоначального замешательства махнул на нее рукой.

— Как бы там ни было, Дэйн теперь мертв и более не опасен, — сказал он. — Какой смысл размышлять над путями Провидения, особенно когда оно благосклонно к правоверным?

И, вознеся хвалу Аллаху, милосердному и всемилостивейшему, Абдулла счел случай на данный момент закрытым.

Но Решид думал иначе. Замешкавшись около дяди, задумчиво поглаживая аккуратно подстриженную бородку, он пробормотал:

— Тут слишком много лжи. Один раз он уже погиб, потом возродился — только лишь для того, чтобы снова умереть. Голландцы, которые скоро будут здесь, тоже идут за ним. Почему я должен верить не собственным глазам, а бабским сплетням да болтовне лодырей?

— Говорят, тело отнесли во двор к Олмейеру, — сказал Абдулла. — Если собираешься туда, нужно успеть до прихода голландцев. Ступай вечером.

Не нужно, чтобы пошли разговоры, будто нас недавно видели дома у белого.

Решид кивнул, соглашаясь с последним замечанием дяди, и отошел. Прислонившись к косяку открытой двери, он лениво оглядывал двор и открытые ворота, ведущие на главную дорогу поселка — пустую и прямую, залитую солнечным светом. В полуденной жаре гладкие стволы пальм, очертания хижин, крыша дома Олмейера, видневшаяся вдалеке над кустами на опушке леса, казалось, дрожали в знойном мареве, поднимавшемся от исходившей паром земли. Стайки желтых бабочек вспархивали, садились и снова взлетали перед полузакрытыми глазами Решида. Под ногами, в высокой траве, монотонно гудели насекомые. Хотелось спать.

С одной из боковых тропинок, вьющихся между домами, вынырнула девичья фигурка, прикрытая от солнца большим подносом на голове. Движение привлекло внимание Решида, который вынырнул из своего полусна и более-менее оживился. Он узнал Тамину, рабыню Буланги, продающую печенье: персону привычную и обыкновенно неинтересную, но теперь она направлялась к дому Олмейера и могла оказаться полезной. Решид встряхнулся и побежал к воро-

там, крича:

— Эй, Тамина!

Девушка, поколебавшись, повернула к нему. Решид нетерпеливо поманил ее поближе. Подойдя к нему, Тамина остановилась, опустив глаза.

— Ты к Олмейеру? — рассматривая ее, спросил Решид. — В поселке говорят, торговец Дэйн, которого сегодня вытащили из реки, лежит у белого в кампонге.

— Я тоже слышала, — прошелестела Тамина. — А утром, на берегу, видела тело. Не знаю, где оно сейчас.

— Видела? — оживленно переспросил Решид. — Так это Дэйн? Ты его часто встречала. Узнала бы наверняка.

У девушки задрожали губы, она часто задышала.

— Да, я встречала его не так давно, — наконец согласилась она. — Правду говорят, это он. Что вам нужно от меня, туан? Мне надо идти.

Выстрел с борта парохода заглушил ответ Решида. Бросив Тамину, он кинулся к складу и на полдороге встретил Абдуллу, спешившего к воротам.

— Оранг-бланда идут, — сообщил Решид. — Надеюсь, мы получим вознаграждение.

Абдулла задумчиво покачал головой:

— Белые не спешат раздавать награды. Они скоры на расправу и ленивы на благодарность. Посмотрим…

Он встал у ворот, поглаживая седую бороду и слушая приветственные крики на том конце поселка. Когда Тамина собралась уходить, Абдулла окликнул ее:

— Послушай-ка, девочка! У Олмейера будет много белых людей, моряков, и ты наверняка будешь торговать там печеньем. Все, что увидишь и услышишь, можешь рассказать мне. Приходи сюда перед закатом, и я подарю тебе синий носовой платок в красную крапинку. А теперь иди и не забудь вернуться.

И Абдулла подпихнул Тамину концом длинного посоха так, что она споткнулась.

— Эта рабыня еле ползает, — с неудовольствием пожаловался он племяннику.

Тамина двинулась прочь — глаза опущены, поднос на голове. Из открытых дверей слышались приветливые голоса соседей, желавших купить печенье, они зазывали ее внутрь, но она не откликалась, забыв про обязанности под гнетом нелегких мыслей. С самого раннего утра она успела услышать и увидеть очень много того,

что наполнило ее сердце радостью вперемешку с болью и страхом. Пока все спали, до рассвета, до того, как поплыть в Самбир, Тамина слушала из-за стены голоса. И теперь, после слов, сказанных в темноте, она несла в руках чужую жизнь, а в груди — огромную печаль. Но по ее упругим шагам, стройной осанке и лицу, прикрытому, как вуалью, обычным выражением сонного равнодушия, никто бы не догадался о двойном грузе, который лежал под грузом реальным — подносом с горой сладостей, испеченных руками хозяйственных жен Буланги.

В ее гибкой, прямой как стрела фигурке, в грациозной легкой походке, в кротких глазах, не выражавших ничего, кроме бесконечного смирения, спали чувства и страсти, страхи и надежды, проклятие жизни и утешение смерти, о которых не подозревала и сама Тамина. Она росла, как высокие пальмы, меж которых сейчас семенила: в поисках света, в стремлении к солнцу, в страхе перед ураганом и в равнодушии ко всему прочему. Служанка не питала надежд и не ждала перемен. Она не знала другого неба, другой воды, другого леса, другого мира и другой жизни; не имела никаких желаний, привязанностей, страхов, кроме ужаса перед бурей, и никаких

сильных чувств, кроме голода, и то лишь время от времени, поскольку в зажиточном доме Буланги, стоящем на дальней прогалине, рис никогда не переводился. В отсутствии боли и голода видела она свое счастье, а когда все-таки грустила, это означало только одно: что сегодня она больше обычного устала от повседневной работы. И потому в жаркие ночи юго-западных муссонов она безмятежно спала под яркими звездами на настиле, пристроенном к дому прямо над рекой. Внутри тоже спали: Буланги у двери, жены в глубине комнаты, дети — каждый со своей матерью. Тамина слышала их дыхание, сонное ворчание Буланги, иногда — вскрик ребенка, и вслед за ним — ласковое бормотание матери. И она закрывала глаза под плеск воды внизу и шепот теплого ветра над головой, не обращая внимания на бесконечную жизнь тропического леса, который тщетно окликал ее тысячами неясных голосов, шелестом прохладного ветра, витавшими вокруг густыми ароматами, белыми призраками утренней дымки, плывущими над ней в торжественном молчании всего сущего перед рассветом.

Такой была ее жизнь до появления брига с чужестранцами. Тамина хорошо помнила то время — взбудораженный поселок, нескончаемое удив-

ление, дни и ночи возбужденных разговоров. Помнила собственную робость перед нездешними людьми, пока бриг не встал на якорь у берега, сделавшись в какой-то мере частью поселка, и страх не улетучился, сменившись привычкой. Зов с борта брига вошел в ее повседневную жизнь. Она неуверенно взбиралась по шаткому трапу под подбадривающие крики и более-менее пристойные шутки моряков с фальшборта. Тамина продавала им печенье — этим людям, что говорили так громко и вели себя так вольно. На палубе царила толчея, все бегали туда-сюда, окликали друг друга, отдавали и выполняли команды. Грохотали блоки, посвистывали тросы. Она садилась в тени навеса, так, чтобы никому не мешать, ставила перед собой поднос и хорошенько закрывала лицо покрывалом, чувствуя себя неловко среди толпы мужчин. Отпуская товар, всем улыбалась, но ни с кем не говорила, а шутки упорно пропускала мимо ушей. А кругом звучали истории о дальних странах, о невероятных обычаях и еще более невероятных событиях. Моряки были храбры, но даже самый храбрый из них с опаской отзывался о своем хозяине. Человек этот часто проходил мимо Тамины — прямой и безразличный, юный и гордый, в богатой одежде

и сверкающих золотых украшениях, — в то время как остальные стояли навытяжку и ловили каждое его слово, готовые выполнить приказ. И тогда вся жизнь служанки словно сосредоточивалась в одних только глазах: она следила за ним из-под покрывала, очарованная, и боялась привлечь к себе его внимание. Однажды он все-таки заметил ее и спросил:

— А это кто такая?

— Рабыня, туан! Печеньем торгует! — ответили ему сразу дюжина голосов.

Тамина подскочила в страхе, готовая сбежать на пристань, но он подозвал ее, и пока она стояла перед ним, дрожа и опустив голову, успокоил ласковыми словами, приподнял лицо за подбородок, заглянул в глаза и сказал с улыбкой:

— Не бойся!

Потом кто-то окликнул его с берега, он повернулся, ответил и больше уже никогда не разговаривал с Таминой, забыв о ее существовании. А она увидела на берегу Олмейера и Нину. Услышала веселый голос, от которого лицо Дэйна засияло, и он мигом спрыгнул на пристань. С тех пор она возненавидела этот голос.

Тамина перестала приходить к Олмейерам и проводила полуденные часы в тени парусов бри-

га. Следила за Дэйном, и чем ближе он подходил, тем чаще колотилось ее сердце в диком смятении незнакомых чувств — восторга, надежды, страха, — которые увядали по мере того, как удалялся его силуэт, оставив ее обессиленной, как после схватки, сидящей долгие часы в дремотной истоме. Потом она не спеша плыла домой, часто пуская каноэ по течению ленивых струй реки. Весло бесцельно свисало в воду, пока Тамина сидела на корме, подперев рукой подбородок, широко раскрыв глаза и внимательно слушая шепот своего сердца, переполненного невероятным блаженством. Под песню сердца она лущила дома рис, песня заглушала визгливые ссоры и сердитые замечания жен Буланги. Когда солнце клонилось к закату, Тамина слушала ее, пока шла мыться к реке, где, стоя на низком берегу, поросшем мягкой травой, сбрасывала платье и рассматривала свое отражение в зеркальной воде. Под эту песню она не спеша возвращалась домой, рассыпав по плечам мокрые волосы, и ложилась спать под яркими звездами, закрывая глаза под журчание воды внизу и шепот теплого ветра над головой, под бесконечную жизнь тропического леса, который окликал ее тысячами неясных голосов, и под музыку своего сердца.

Тамина слушала их, не понимая, просто упиваясь сказочным счастьем новой жизни, не думая о ее смысле и возможном конце, пока полное осознание бытия не пришло к ней через муки и гнев. Как-то раз, увидев медленно дрейфующее мимо спящего дома Буланги каноэ Нины, несущее влюбленную пару в белой дымке над величавой рекой, она впервые испытала страдание. Ревность и злость слились в такой приступ физической боли, что девушка повалилась на берег, тяжело дыша, в тупой агонии, как раненый зверь. И все-таки встала и задвигалась по заколдованному кругу своего рабства, день за днем выполняя привычные дела, невзирая на тяжесть в груди, которую она не могла выразить даже для себя самой. Она шарахалась от Нины, как от лезвия ножа, вонзающегося в ее плоть, но продолжала приходить на бриг, подпитывая немую, наивную душу плодами отчаяния. Там она часто встречала Дэйна. Он не смотрел на нее, не заговаривал с ней. Неужто его глаза видели только одну женщину? Уши слышали только ее голос? Он никогда больше не замечал Тамину. Ни разу.

А потом он уехал. Последний раз Тамина видела их с Ниной тем утром, когда Бабалачи,

проверяя рыбные садки, проверил заодно свои подозрения о романе дочки белого с Дэйном. Потом Дэйн исчез, и сердце Тамины, куда бесполезно и бесплодно упали семена любви и ненависти, жертвенности и страсти, забыло и радость, и страдание, лишившись источника чувств. Ее полудикий ум, бывший в рабстве у тела — так же как само тело было в рабстве у чужой воли, — забыл призрачный образ, который рос своими корнями из естественных порывов ее первобытной натуры. Она соскользнула обратно в апатию прежней жизни и нашла успокоение — может быть, даже какое-то подобие счастья — в мысли, что Нина с Дэйном теперь в разлуке и, возможно, навсегда. Он забудет ее. Эта мысль смягчила последние уколы издыхающей ревности, которой больше не на чем было кормиться, и Тамина обрела покой, подобный безотрадной невозмутимости пустыни, где царит мир, потому что отсутствует жизнь.

И вот Дэйн вернулся. Тамина узнала его голос, когда он громко звал Буланги среди ночи. Она тихо выползла следом за хозяином, поближе к источнику сладкой отравы. Дэйн сидел в лодке, и тут у девушки перехватило дыхание, потому что оттуда раздался второй голос. Безумная радость,

чуть не разорвавшая неистово заколотившееся сердце, увяла, оставив ее содрогаться в забытом уже приступе боли, которую она всегда ощущала при виде Дэйна и Нины. Нина то командовала, то умоляла, Буланги спорил, возражал, но в конце концов согласился и пошел за веслом, которые кучей были свалены за дверью. Голоса в лодке зашептались уже друг с другом, иногда слышались отдельные слова. Тамина поняла, что Дэйн скрылся от белых, что он в беде и ищет укрытия. Но, кроме того, до нее донеслись фразы, всколыхнувшие яростную ревность, так долго спавшую в душе. Скорчившись в грязи между сваями, она слышала шепот, который мог озарить тяжкий труд, лишения, опасности здешней жизни, если ответом ему были быстрые объятия, взгляд глаза в глаза, легкое дыхание и касание мягких губ. Именно так говорил Дэйн, пока ждал Буланги, сидя в каноэ и держа Нину за руку. Тамине же, которая пряталась за осклизлой сваей, казалось, будто невероятный груз тащит ее вниз, вниз, прямо в черную маслянистую воду под ногами. Ей хотелось завопить в голос, кинуться на них, разорвать в клочья их темные силуэты, швырнуть соперницу в тихую заводь, вцепиться в нее и уволочь на дно, где Дэйн никогда бы ее не нашел,

но она не могла заплакать, не могла двинуться с места. По бамбуковому настилу над ее головой прозвучали шаги. Она увидела, как Буланги сел в маленькое каноэ и двинулся вперед, за ним — Дэйн и Нина. Под тихий плеск весел, аккуратно погружаемых в воду, их размытые фигуры проплыли мимо измученных глаз рабыни и исчезли в темноте притока.

Тамина осталась одна, в темноте и холоде, не в силах двинуться, еле дыша под тяжестью, которую прихотливая рука судьбы зачем-то возложила на ее хрупкие плечи. И несмотря на дрожь, в душе ее вновь занялся жаркий огонь, топливом для которого служила, казалось, вся ее жизнь. Когда зарождающийся день протянул бледно-золотистую ленту над черным контуром леса, она подхватила поднос и отправилась в поселок — машинально, просто выполняя привычные обязанности. Добравшись до Самбира, она заметила всеобщее оживление и с удивлением узнала, что в реке нашли тело Дэйна, что, разумеется, не могло быть правдой, это Тамина хорошо понимала. И жалела, что Дэйн жив. Лучше бы он умер, тогда смерть навсегда разлучила бы его с другой женщиной — со всеми женщинами. Ей вдруг очень захотелось увидеть Нину. Тамина

ненавидела белокожую девушку и боялась ее, но ее нестерпимо тянуло к дому Олмейера. Хотелось посмотреть на его дочь — взглянуть ей в глаза, услышать голос, ради которого Дэйн готов был рискнуть свободой и даже жизнью. Тамина видела и слышала ее тысячу раз, несколько лет подряд. Что в ней особенного, такого, что мужчина начинает говорить, как Дэйн прошлой ночью, становится слеп ко всем другим лицам, глух ко всем остальным голосам?

Она отошла от толпы на берегу и бесцельно побрела между пустыми домами, стараясь подавить желание завернуть к Олмейерам, чтобы отыскать в глазах Нины источник своих страданий. Солнце поднималось выше, укорачивая тени и заливая Тамину потоками лучей и удушающего зноя, пока та семенила со света в тень, а из тени обратно на свет, среди домов, кустарника, высоких деревьев, словно пыталась убежать от собственной боли. Ей было так плохо, что она не находила слов, чтобы молить об облегчении, не находила небес, куда взлетела бы ее молитва, и только перебирала усталыми ногами, отупело удивляясь несправедливости мук, выпавших ей безо всякого повода и безо всякого смысла.

Короткий разговор с Решидом и предложение

Абдуллы немного взбодрили девушку и заставили ее мысли повернуть в новом направлении. Как она поняла ночью, Дэйн в опасности, скрывается от голландцев. Все думают, что он утонул. А Тамина знает, что он жив, и знает, где прячется. Что же арабы хотят узнать про белых? А что белые хотят от Дэйна? Убить его? Тамина может рассказать им все. Нет, конечно, она ничего не скажет, а вместо этого ночью отправится к нему и продаст ему его собственную жизнь — за улыбку, доброе слово, даже за взмах руки — и станет его рабыней в дальних краях, там, где не будет Нины. Но кругом опасность. Одноглазый Бабалачи, который знает все, и та ведьма, жена белого. Может быть, они и так уже проговорились. Надо поспешить и посмотреть, что там творится.

В нетерпении свернув с тропинки, она побежала к жилищу Олмейера по подлеску между пальмами, вынырнула из леса со стороны заднего двора, где от реки ответвлялась небольшая протока, полная стоячей воды и отделявшая владения Олмейера от остального поселка. Густые кусты на ее берегу скрывали от глаз Тамины большой двор с кухней. Над ним стояли узкие столбы дыма, а гул чужих голосов откуда-то издали подсказал ей, что военные моряки уже

высадились и расположились между протокой и домом. Слева от Тамины одна из молоденьких рабынь Олмейера, нагнувшись над сверкающей водой, мыла котелок. Справа торчащие из кустов верхушки банановых пальм тряслись и раскачивались — невидимые отсюда руки собирали плоды. На тихой воде несколько лодок, пришвартованных к толстому столбу, столпились, почти перегородив протоку у места, где стояла Тамина. Голоса во дворе иногда взрывались криками и смехом, а потом стихали, чтобы снова смениться гомоном. То тут, то там тонкий синеватый дымок становился гуще и чернее и волной перелетал через протоку, окутывая Тамину удушливым облаком. Затем, когда в костер подкидывали свежих дров, дым таял в солнечном воздухе, и от очага с подветренной стороны разносился лишь легкий древесный аромат.

Тамина поставила поднос на пень и застыла, глядя на дом, крыша и беленые стены которого возвышались над кустами. Рабыня домыла котелок и, с любопытством поглядев на нее, отправилась обратно сквозь густые заросли. Оставшись в одиночестве, Тамина бросилась на землю и закрыла лицо руками. Нина так близко, а у нее не хватает храбрости ее увидеть. Когда со

двора доносились голоса, она вздрагивала, боясь расслышать среди них Нинин. В конце концов, Тамина решила остаться тут до вечера, а в темноте отправиться прямо туда, где прячется Дэйн. Со своего места она могла видеть передвижения белых, Нины, всех друзей и врагов Дэйна. И тех и других она ненавидела одинаково, ведь и те и другие собирались увезти Дэйна туда, где Тамина никогда его не найдет. Она спряталась в высокой траве и с замиранием сердца стала ждать заката солнца, которое, как назло, никак не хотело садиться.

На том берегу, за кустами, у ярких костров, матросы с фрегата стали лагерем, пользуясь гостеприимством Олмейера. Сам он, очнувшись от апатии под нажимом Нины, которая теребила и подбадривала его, сумел вовремя спуститься к пристани и встретить офицеров, когда те пристали к берегу. Командовавший ими лейтенант принял приглашение, заметив, что у них в любом случае есть к Олмейеру вопросы, которые ему, скорее всего, не понравятся. Но тот его почти не слышал. Рассеянно пожал всем руки и пригласил в дом. По дороге несколько раз забывал про то, что уже вежливо поприветствовал прибывших, и повторял приветствия снова и снова, стараясь

держаться запросто. Возбуждение хозяина не укрылось от глаз моряков, и командир вполголоса поделился с помощником своими сомнениями в его трезвости. Совсем юный младший лейтенант фыркнул и шепотом выразил надежду, что Олмейер не настольно пьян, чтобы не предложить и им прохладиться.

— Во всяком случае, опасным старикан не кажется, — добавил он, шагая по ступеням лестницы на веранду.

— Нет, я слышал о нем. Он скорее простофиля, чем мошенник, — отозвался командир.

Все уселись вокруг стола. Олмейер трясущимися руками мешал коктейли для гостей, не забывая и о себе, и с каждым глотком чувствовал, как становится сильнее, увереннее и уже почти готов встретить все грядущие трудности. Не зная о судьбе брига, он не подозревал об истинной причине появления военных. В общем и целом догадывался, конечно, про утечку информации о торговле порохом, но полагал, что в итоге все сведется к мелким неприятностям. Он осушил стакан и повел непринужденную беседу, откинувшись в кресле и небрежно перебросив ногу через подлокотник. Лейтенант, с тлеющей сигарой в уголке рта оседлав стул, слушал Олмейера,

скрывая усмешку в клубах дыма, вырывавшихся из сжатых губ. Младший лейтенант, поставив локти на стол и подперев голову руками, сонно таращился на них, размягченный выпивкой и усталостью. А Олмейер не унимался:

— Как приятно видеть белые лица! Много лет торчу тут в одиночестве. Малайцы, сами знаете, не компания для европейца, они не просто нас не понимают — они нас не любят. Страшные негодяи. Подозреваю, я — единственный белый, постоянно живущий на восточном побережье. Иногда к нам наезжают из Макасара или Сингапура — торговцы, агенты, исследователи, — но очень редко. Около года назад побывал ученый. Жил у меня в доме, пил с утра до вечера. Несколько месяцев развлекался напропалую. Как все выпил — так и уехал в Батавию с отчетом о том, что остров, мол, богат минералами. Ха-ха-ха! Неплохо, да?

Он вдруг осекся и уставился на гостей бессмысленным взглядом. Смех его увял, он вспомнил, что Дэйн погиб, планы рухнули, надеждам конец. Сердце у Олмейера упало, на него накатила тошнотворная слабость.

— Да уж, неплохо! — согласились оба офицера.

Олмейер стряхнул уныние и снова ударился в

разговоры:

— Да, а как насчет обеда? С вами кок? Отлично. На заднем дворе есть кухня. Я могу предложить вам гуся. Видели моих гусей? Наверное, единственные на восточном побережье. Это кок? Китаец? Замечательно. Али, покажи ему кухню и попроси миссис Олмейер освободить место. Жена моя, господа, не выходит к гостям. Дочь может. Выпейте еще. Сегодня жарко.

Лейтенант вытащил изо рта сигару, критически осмотрел столбик пепла, стряхнул его и повернулся к Олмейеру.

— Вообще-то мы к вам с неприятным разговором, — уточнил он.

— Жаль, — отозвался тот. — Но я уверен, что это какие-нибудь мелочи.

— Ну, если вы считаете, что попытка взорвать не менее сорока человек — это мелочи, вам трудно будет найти единомышленников, — сухо ответствовал офицер.

— Взорвать? Как? Я ничего об этом не слышал! — воскликнул Олмейер. — Кто же это сделал или пытался сделать?

— Человек, с которым вы вели дела, — ответил лейтенант. — Он известен здесь под именем Дэйна Марулы. Вы снабдили его порохом, который

мы и нашли на бриге, взятом нами в плен.

— Откуда вы знаете про бриг? — удивился Олмейер. — И не снабжал я никого порохом.

— Здешний арабский торговец доложил в Батавию о ваших махинациях несколько месяцев назад. Мы ждали бриг со стороны моря, но он проскочил мимо нас устьем реки, и пришлось гнаться за ним, пока он уходил к югу. Когда нас заметили с брига, он ушел в рифы и встал там на якорь. Команда пересела в шлюпки до того, как мы успели до него добраться. Когда наши лодки добрались до судна, раздался страшный взрыв, одна из шлюпок, оказавшаяся слишком близко, перевернулась. Два человека утонули — вот результат ваших спекуляций, мистер Олмейер. Так что мы преследуем Дэйна и у нас есть серьезные основания полагать, что он прячется в Самбире. Вы знаете, где именно? Вам стоит всячески содействовать властям и начать с того, чтобы отвечать предельно честно. Где сейчас Дэйн?

Олмейер встал и подошел к перилам. Казалось, он не обратил внимания на вопросы офицера. Он смотрел на закостеневший труп, лежавший под белой простыней прямо на солнце, которое клонилось на запад, отливая краснотой. Лейтенант ждал ответа, попыхивая сигарой. За их

спинами Али бесшумно накрывал на стол, торжественно раскладывая разномастные облезлые приборы — оловянные ложки, вилки с отломанными зубцами, ножи с зазубренными лезвиями и разболтанными ручками. Он почти забыл, как сервировать стол для белых, и обижался, что мэм Нина не стала ему помогать. Отступив на шаг, он с гордостью полюбовался на свою работу. Вроде бы все правильно, а если потом хозяин будет злиться и ругаться, тем хуже для мэм Нины. Что ж она не помогла? И Али отправился за едой.

— Итак, мистер Олмейер, ответите ли вы на мой вопрос так же прямо, как он был задан? — спросил лейтенант после долгой паузы.

Олмейер повернулся и внимательно уставился на собеседника.

— Если вы поймаете Дэйна, что ему грозит?

— Это не ответ! — вспыхнул офицер.

— И что грозит мне? — продолжал Олмейер, не обращая внимания на его злость.

— Вы что, намерены торговаться? — прорычал офицер. — Очень зря, уверяю вас. Пока у меня нет никаких приказов на ваш счет, но мы ожидали вашего содействия в поимке малайца.

— Ах вот оно что! — перебил его Олмейер. — Без меня вам не справиться, только я хорошо знаю

этого человека и могу помочь.

— Именно, — подтвердил офицер. — Вы нарушили закон, мистер Олмейер, и вам придется это как-то компенсировать.

— Чтобы спасти себя?

— Да, в какой-то мере. Разумеется, жизни вашей ничего не грозит, — коротко хохотнув, заверил лейтенант.

— Хорошо, — решился Олмейер. — Я выдам вам того, кого ищете.

Оба офицера вскочили на ноги, руки их дернулись за оружием. Олмейер невесело рассмеялся:

— Спокойно, джентльмены: в положенное время, после обеда и на моих условиях вы его получите.

— Что за чушь! — рассердился лейтенант. — Мистер Олмейер, мы тут не шутки шутим. Этот человек — преступник и заслуживает виселицы. Пока мы обедаем, он может сбежать, слухи о нашем прибытии…

Олмейер вернулся к столу.

— Даю вам слово чести, джентльмены, он не сбежит. Он у меня в руках.

— Нужно схватить его до темноты, — заметил юный помощник.

— В случае неудачи отвечать будете вы. Мы

готовы действовать, но без вас бессильны, — добавил старший с видимым раздражением.

— Слово чести, — кивая, рассеянно повторил Олмейер. — А теперь давайте обедать.

Вошла Нина и придержала занавеску для Али и пожилой малайки, вносивших блюда, затем подошла к столу.

— Позвольте представить вам мою дочь, — сказал Олмейер. — Нина, эти джентльмены, флотские офицеры, оказали нам честь, приняв мое приглашение.

Нина ответила на поклоны гостей неспешным кивком и заняла свое место напротив отца. Рулевой парохода внес несколько бутылок вина.

— Вы ведь не против? — уточнил лейтенант у Олмейера.

— Нет, конечно! Вино! Вы очень любезны. У меня самого ни бутылки не осталось. Трудные времена…

Последние слова Олмейер произнес упавшим голосом. Мысль о гибели Дэйна обрушилась на него с новой силой, будто невидимая рука сдавила горло. Он потянулся к бутылке джина, пока гости откупоривали вино, и сделал большой глоток. Лейтенант, говоривший с Ниной, бросил на него быстрый взгляд. Юный помощник стряхнул

оторопь, вызванную неожиданным появлением Нины и ее красотой. «Прекрасна и величественна, — подумал он, — но все-таки полукровка». Эта мысль придала ему смелости, и он даже стал краем глаза поглядывать на нее. Нина же, не теряя обычного спокойствия, негромким ровным голосом отвечала на учтивые расспросы старшего офицера о стране и укладе их жизни. Олмейер к еде не притронулся — только мрачно тянул привезенное гостями вино.

Глава 9

— Быть не может! Какие-то бабские выдумки! Сказки у костра перед сном!

— К чему мне обманывать вас, о раджа? — отвечал Бабалачи. — Я без вас — никто. Много лет я живу в безопасности под вашим крылом! Нет, я верю, что все так и было. Нынче не время для подозрений, опасность слишком велика. Нужно все обсудить и что-то вместе предпринять, пока не село солнце.

— Верно, верно… — задумчиво пробормотал Лакамба.

Уже около часа они сидели вдвоем в приемной дома раджи. Проследив за высадкой голландских офицеров, Бабалачи переплыл реку, чтобы доложить хозяину об утренних событиях и обсудить с ним линию поведения в изменившихся обстоятельствах. Оба были напуганы и сконфужены неожиданным поворотом событий. Раджа, скрестив ноги, сидел на стуле и тупо смотрел в пол. Бабалачи в глубоком унынии съежился рядом.

— И где, ты говоришь, он теперь прячется? — спросил Лакамба, нарушив, наконец, полную мрачных предчувствий тишину, которую оба так

долго хранили.

— На одном из наделов Буланги — самом дальнем. Отправился ночью, дочка голландца отвезла. Сама мне призналась, прямо в открытую, — она же наполовину белая, никакого стыда! Дожидалась его, пока он сидел тут, у нас, а под утро он наконец добрался до нее и упал к ее ногам, как мертвый. Ей пришлось дышать ему рот в рот, чтобы привести в чувство. Рассказывала мне об этом — как я вам рассказываю, совсем бессовестная!

Он даже прервался, глубоко задетый воспоминаниями.

— И что дальше? — кивая, поторопил Лакамба.

— Они позвали старуху, — продолжал Бабалачи, — и Дэйн рассказал все — про бриг, про взрыв, которым он пытался уложить множество людей. Он знал, что оранг-бланда очень близко, хотя нам об этом не сказал, и понимал, что ему грозит опасность. Думал, что убил много народу, но на самом деле погибли только двое — я подслушал разговор моряков, приплывших на военных шлюпках.

— А кого же тогда вытащили из реки? — перебил Лакамба.

— Одного из гребцов Дэйна. Во время шторма каноэ перевернулось, все свалились в воду, и

гребца сильно зашибло плывущими бревнами. Дэйн смог выплыть и вытащить раненого. Но когда он кинулся в дом Олмейера, оставив того в кустах, а потом вернулся к нему вместе с женщинами, оказалось, что сердце его уже не бьется. Старуха тут же выдумала план, который поддержал Дэйн. Он разомкнул и стащил с ноги браслет, нацепил его на умершего, а на палец ему надел свое кольцо. Снял саронг и с помощью женщин одел того, кто уже не нуждался в одежде. И все это — чтобы заморочить жителей деревни, и те подтвердили бы то, чего не было на самом деле, и у пришедших потом белых не возникло никаких сомнений. Затем Дэйн с белой девчонкой уплыли к Буланги в поисках укрытия. А старуха осталась возле тела.

— Ха! А она неглупа! — воскликнул Лакамба.

— Да ей сам дьявол в ухо шепчет! — подтвердил Бабалачи. — Она своими руками, в одиночку да еще в темноте, отволокла труп туда, где к берегу прибило много бревен. С первыми лучами солнца разбила покойнику лицо тяжелым камнем, спихнула тело в воду и осталась там поджидать. На рассвете утопленника обнаружил Махмат Банджер. И все поверили! Даже я сперва обманулся, хоть и ненадолго. Белый точно поверил

— расстроился и убежал в дом. Когда все разошлись, меня одолели сомнения, я расспросил старуху, и она, убоявшись моего гнева и вашего могущества, открыла правду, попросив помощи в спасении Дэйна.

— Нельзя, чтобы он попал в руки белых, — сказал Лакамба. — Но почему бы ему не погибнуть, если мы сумеем провернуть все по-тихому?

— Ни в коем случае, туан! Здесь замешана женщина: наполовину белая, а значит, непокорная, — поднимет такой крик, что только держись! А тут еще военные. Они и так уже страшно злы. Дэйн должен сбежать, а мы должны ему помочь, ради собственной безопасности.

— А военные и впрямь так злы? — с интересом уточнил Лакамба.

— Очень. Их главный несколько раз выругался, когда говорил со мной, и это при том, что я приветствовал его от вашего имени! Не думаю, — взволнованно добавил Бабалачи после паузы, — что я раньше видел белого в таком гневе. Назвал нас бестолковыми или еще хуже. Сказал, что будет говорить только с раджой, а от меня никакого проку.

— Говорить с раджой… — задумчиво повторил Лакамба. — Слушай, Бабалачи, что-то мне не по

себе, не могу я с ними встречаться. Возвращайся-ка на тот берег и доложи им об этом.

— Хорошо, уже иду. А что насчет Дэйна?

— Помоги ему скрыться, как можно скорее. А то у меня тяжко на сердце, — вздохнул Лакамба.

— В устье реки, к югу, стоит одна из наших рыбацких прау, — с жаром заговорил Бабалачи, поднимаясь на ноги. — Голландский корабль северней, стережет главный выход. Вечером я отошлю туда Дэйна в каноэ, тайными протоками, пусть прау отвезет его в Ампанам. Отец Дэйна — великий правитель, и оценит наше благородство: вы будете прославлены и вознаграждены его дружбой. Олмейер, без сомнения, выдаст тело гребца офицерам, белые дурни обрадуются и скажут: «Вот и хорошо. Так тому и быть». И тяжесть уйдет из вашего сердца, раджа.

— Твоя правда! — подтвердил Лакамба.

— И все это будет устроено мной, вашим верным рабом, которого вы наверняка щедро наградите. Я уверен, Олмейер горюет по утерянному богатству, как все белые, что жадны до денег. Как только все уладится, мы попробуем заполучить с его помощью сокровище. Дэйн убежит, но голландец останется.

— Ступай, Бабалачи, ступай! — велел Лакамба,

сползая со стула. — Мне очень плохо, я должен принять лекарство. Передай это начальнику белых.

Но от Бабалачи не так-то просто было отделаться. Он знал, что хозяин, по привычке всех сильных мира сего, рад скинуть тяжелый и опасный груз на плечи своего верного слуги, однако в нынешних обстоятельствах раджа обязан исполнить свою партию. Он мог сказаться больным для белых людей — да для всего мира, если ему будет угодно, — лишь бы сыграл роль в тщательно продуманном плане советника. Бабалачи хотел, чтобы после заката к владениям Буланги отправилось каноэ с двенадцатью гребцами. Возможно, Дэйна придется увозить силой. «Влюбленный не всегда ясно может увидеть путь к спасению, если путь этот разлучает его с предметом страсти, — настаивал Бабалачи, — и в этом случае нелишним будет применить нажим. Может ли раджа выбрать двенадцать верных слуг? Разумеется, тайно. И не мешало бы радже лично присоединиться к экспедиции, чтобы повлиять на Дэйна силой авторитета, если тот заупрямится и начнет сопротивляться». Но раджа не стал связывать себя прямым обещанием и только торопил Бабалачи, опасаясь неожиданного визита

белых. Пожилой советник неохотно откланялся и вышел во двор.

Прежде чем вернуться в лодку, Бабалачи немного постоял на открытом участке двора, куда густолиственные деревья кидали темные заплатки теней. Они словно плыли в потоке ровного яркого света, заливавшего дома, частокол и спуск к воде, где он разбивался на тысячи сверкающих волн, превращая реку в ленту, сотканную из золота и лазури и отороченную бриллиантовой зеленью лесов, покрывающих оба берега Пантая. Природа замерла в преддверии вечернего бриза, и зубчатая линия леса оставалась недвижима, будто проведенная неверной рукой на чистой синеве жаркого неба. Во дворе, обнесенном высоким забором, стоял аромат увядающих где-то в лесу цветов и легкий душок вялящейся рыбы. Время от времени к этим запахам примешивался едкий дым от очагов, который клубами вырывался из-под густых веток и лениво тянулся по выгоревшей траве.

Бабалачи поднял глаза на флагшток, возвышающийся над купой невысоких деревьев в центре двора. Голландский триколор на нем слегка шевельнулся — впервые с тех пор, как был поднят сегодня утром в честь прибытия

военных шлюпок. С тихим шелестом листьев легкими порывами налетел бриз, игриво шевеля этот символ власти и одновременно подчинения Лакамбы. Бриз крепчал, превращался в устойчивый ветер, и флаг поднялся над деревьями ровно и устойчиво. Реку пересекла темная тень, гася искры солнечного света: большое белое облако проплыло по темнеющему небу и зависло на западе, словно дожидаясь уходящего солнца, чтобы исчезнуть вместе. Люди и вещи стряхивали оцепенение жаркого дня и пробуждались к жизни под освежающим морским бризом.

Бабалачи заторопился к затвору, но прежде чем пройти сквозь ворота, остановился и оглядел двор с его светом и тенью, с веселыми огнями, вокруг которых собрались воины и слуги Лакамбы. Среди окруженных частоколом домов возвышался и его собственный, и советник Самбира с тоской подумал, когда же он сможет туда вернуться. Ему предстояло одолеть человека более опасного, чем дикий зверь, — гордого и своевольного, привыкшего повелевать, да вдобавок влюбленного. И такого человека он должен попытаться переубедить разумными, холодными словами. Что может быть отвратительней? А если человек этот углядит в его речах какую-нибудь выдуманную обиду

или угрозу своей чести и впадет в амок? Мудрый советник наверняка окажется первой жертвой, и наградой за усердие ему станет смерть.

Дело усугубляется вмешательством назойливых белых глупцов. Призрак бесславной ссылки куда-нибудь на Мадуру встал перед Бабалачи в полный рост. Да разве это не хуже смерти? А тут еще полукровка со странным, пугающим взглядом. Как можно рассчитать, что будет и чего не будет делать столь непостижимое существо? Она так много знает, что теперь Дэйна и убить-то нельзя. «А жаль, ведь острый, зазубренный крис — верный и молчаливый друг», — думал Бабалачи, с любовью оглаживая свой кинжал и со вздохом пряча его обратно в ножны перед тем, как забраться в каноэ. Он отвязал фалинь, отошел от берега и взялся за весло, думая о том, как неудобно, когда в решении серьезного вопроса замешаны женщины. Молодые, разумеется. Потому что к зрелой мудрости и крепнущему с годами женскому хитроумию миссис Олмейер он питал величайшее уважение.

Бабалачи лениво шевелил веслом, пустив каноэ по течению. Солнце стояло еще высоко, торопиться было некуда. К таким делам приступать можно только после заката. Миновав пристань

Лингарда, он описал полукруг и завернул в протоку позади Олмейерова дома. Там сгрудилось множество каноэ, привязанных к одному колышку, носами друг к другу. Бабалачи загнал между ними свою лодчонку и ступил на берег. На другом берегу ручья что-то шевельнулось в траве.

— Кто там? — крикнул Бабалачи. — Выходи, поговорим!

Никто не ответил. Бабалачи пересек протоку, перескакивая с лодки на лодку и проверяя посохом подозрительные места. Из травы с писком вынырнула Тамина.

— Что ты тут делаешь? — изумленно воскликнул советник. — Я чуть не наступил на твой поднос. Я что, даяк, что ты от меня прячешься?

— Я устала и… заснула, — смущенно прошептала Тамина.

— Заснула! Вижу, ты ничего еще не продала; гляди, побьют тебя, когда вернешься!

Тамина молча, сконфуженно стояла перед ним. Бабалачи с удовольствием оглядел ее. Нравится ему эта девчонка. Пожалуй, придется добавить за нее еще пятьдесят долларов этому жулику Буланги.

— Ступай домой, уже поздно — сурово приказал он. — Скажешь Буланги, что в полночь я буду

около вашего дома и жду, что он приготовит все для дальней поездки. Поняла? Дальней поездки к югу. Ты должна успеть до заката, да не забудь мои слова.

Тамина жестом показала, что все поняла, и проводила Бабалачи взглядом — через протоку и в кусты, окружавшие владения Олмейера, — прошла чуть выше по течению и снова, дрожа от отчаяния, повалилась в траву лицом вниз.

Бабалачи направился прямо к кухне, высматривая миссис Олмейер. Во дворе царила неразбериха. Какой-то странный китаец командовал около очага и требовал выдать ему другую сковороду. Свои приказы он выкрикивал то на кантонском диалекте китайского, то на плохом малайском. Это и пугало, и смешило рабынь, которые сгрудились чуть поодаль вместо того, чтобы их выполнять. От костров, вокруг которых сидели моряки с фрегата, неслись подбадривающие возгласы, хохот и насмешки. Наконец в этой суматохе Бабалачи сумел перехватить Али с пустым блюдом в руках.

— Где белые? — спросил Бабалачи.

— Сидят на центральной веранде, — ответил тот. — Не задерживайте меня, туан. Я очень занят: подаю господам обед.

— А где мэм Олмейер?

— В коридоре. Подслушивает, — ухмыльнулся Али и исчез.

Бабалачи поднялся на заднюю веранду и поманил к себе хозяйку. Из-за красной занавески в конце длинного коридора доносился голос ее мужа, прерывающий беседу резкими возгласами, заставлявшими миссис Олмейер со значением поглядывать на Бабалачи.

— Слышишь? Много выпил, — сказала она.

— Слышу. Сегодня заснет как убитый, — прошептал Бабалачи.

— Иногда бес крепкого джина, наоборот, не дает ему уснуть, — возразила миссис Олмейер со знанием дела, приобретенным за двадцать с лишком лет семейной жизни. — Тогда он всю ночь вышагивает по веранде и проклинает все на свете, а мы стараемся держаться подальше.

— Ну, в таком случае он все равно ничего не услышит и не поймет, а руки его ослабнут. Нам ведь это и нужно нынешней ночью.

— Конечно, — подтвердила миссис Олмейер вполголоса, но с жаром. — Если услышит, может и убить.

Бабалачи недоверчиво взглянул на нее:

— Эй, туан, можешь мне поверить! Разве не

прожила я столько лет с этим мужчиной? Разве не видела смерть в его глазах несколько раз, когда я была моложе и он кое о чем догадывался? Будь он из моего народа, я бы не пережила такой взгляд дважды, но этот…

Она презрительно махнула рукой при мысли о слабости Олмейера, помешавшей ему совершить кровопролитие.

— Если он хочет, но не может, чего нам бояться? — спросил Бабалачи после недолгого молчания, во время которого они вслушивались в громкие возгласы Олмейера, постепенно сменившиеся размеренным ходом беседы. — Чего же?

— Чтобы удержать дочь, которую он любит, он без колебаний выстрелит в сердце и тебе, и мне, — ответила миссис Олмейер. — А когда Нина сбежит, может превратиться в настоящего дьявола.

— Я уже старик и не боюсь смерти, — с притворным равнодушием ответил Бабалачи. — А ты?

— Я уже старуха и хочу жить, — парировала миссис Олмейер. — Это и моя дочь. Я собираюсь искать спасения у ног нашего раджи, во имя тех дней, когда мы были молоды, и…

Бабалачи предостерегающе поднял руку.

— Хватит. Ты получишь защиту.

И снова до них донесся голос Олмейера, и снова они, прервав разговор, вслушивались в неразборчивые, но громкие реплики, выкрикнутые с внезапной силой. Реплики перемежались неожиданными паузами и занудными повторами, которые, однако, позволяли ясно разобрать отдельные слова и предложения среди бессмысленной в остальном мешанины возбужденных воплей, сопровождаемых стуком кулака, от которого дребезжали составленные вместе стаканы. В наступавшей затем тишине жалобное позвякивание постепенно стихало, пока очередной виток разговора не вызывал нового взрыва эмоций и новых ударов по столу. В конце концов скандальные выкрики поутихли, и вместе с ними смолкли и тонкоголосые жалобы потревоженного стекла.

Бабалачи и миссис Олмейер подслушивали старательно, вытягивая шеи и настораживая уши. При каждом громком крике они кивали друг другу с преувеличенным выражением оскорбленной благопристойности и сохраняли такой настрой еще некоторое время после того, как шум утихал.

— Джин — вместилище дьявола, — прошептала миссис Олмейер. — Обычно муж говорит такое, только когда его никто не слышит.

— А что, что он говорит? — пристал к ней Бабалачи. — Ты должна понимать.

— Я почти забыла их язык. Разобрала совсем немного. Он без всякого уважения говорил о белом правителе в Батавии, о поддержке, о том, что тот был не прав. Повторил несколько раз. Остальное неясно. Слушай! Опять говорит!

— Тц! Тц! Тц! — поцокал Бабалачи, стараясь выглядеть потрясенным, но иронически прищурив единственный глаз. — Похоже, белые не придут к согласию. Обойду-ка я дом да погляжу. А ты скажи дочери, что ее ждет внезапное и долгое путешествие к славе и роскоши. И передай, что Дэйн должен уехать или умереть, и что он не согласится уплыть в одиночку.

— Не согласится уплыть в одиночку — медленно и задумчиво повторила миссис Олмейер, проводив глазами повернувшего за угол Бабалачи и ныряя в коридор.

Снедаемый любопытством советник Самбира перебежал к главному входу, медленно и бесшумно, шаг за шагом, поднялся по лестнице и тихо присел на верхней ступеньке, готовый испариться в любую секунду, если кто-то выразит недовольство его присутствием. Тут он чувствовал себя в безопасности. Стол стоял узким концом

к лестнице, и Бабалачи видел спину Олмейера, профили обоих офицеров и лицо Нины, сидевшей напротив отца. Из четырех присутствующих только она и молодой помощник заметили его бесшумное появление. Нина моргнула в знак того, что видит советника, и тут же обратилась к юнцу, который с готовностью повернулся к ней. Смотрела она, однако, на Олмейера, который вновь разбушевался.

— Нелояльность? Беспринципность? А что вы, собственно, сделали, чтобы я был лоялен? У вас нет никакой власти над страной! Мне приходилось в одиночку разгребать все свои проблемы, а стоило попросить поддержки, как в ответ понеслись только презрение и угрозы. Да мне в лицо швырнули клевету арабов. Мне! Белому человеку!

— Хватит бушевать, Олмейер, — попытался утихомирить его лейтенант. — Тем более вы все это уже рассказывали.

— Тогда к чему толковать мне о совести? Мне нужны были деньги, в обмен я отдал порох. Откуда я знал, что кто-то взорвет ваших бестолковых матросов? Совесть! Пф!

Трясущейся рукой он начал перебирать бутылки на столе, недовольно ворча себе под нос:

— Вино кончилось…

— Вам уже хватит, Олмейер, — сказал лейтенант, закуривая. — И не пора ли выдать нам вашего арестанта? Потому что, как я понял, вы держите Дэйна Марулу в надежном месте, откуда он не может сбежать. И все-таки пришел час закончить это дело, а потом, если хотите, продолжим наши посиделки. Эй! Не смотрите на меня так!

Олмейер уставился на него пустыми глазами, его дрожащие пальцы потянулись к шее.

— Золото. Меня просто взяли за горло, — с трудом проговорил он. — Уверен, я заслуживаю прощения. В смысле — что я там получил? Всего-то горсть золота за горсть пороха.

— Знаю, знаю, — умиротворяюще согласился лейтенант.

— Ничего вы не знаете! И никто у вас там не знает! — вдруг снова взорвался криком Олмейер. — В правительстве одни дурни, говорю я вам! Горы золота! Я про них знаю! Я! И еще один человек. Но он уже не расскажет. Он…

С кривой улыбкой Олмейер осекся и попытался похлопать офицера по плечу, но промахнулся и перевернул пару пустых бутылок.

— Ты-то неплохой парень, — отечески выгово-

рил он с неожиданной четкостью.

Голова его упала на грудь, и он остался сидеть неподвижно, что-то бормоча себе под нос.

Два офицера беспомощно переглянулись.

— Нет, так не пойдет, — сказал старший. — Спускайся во двор, собирай команду, а я попытаюсь привести его в чувство. Эй! Олмейер! Просыпайтесь-ка, дружище! Пора выполнять обещание. Вы ведь дали слово. Слово чести, помните?

Хозяин недовольно оттолкнул его руку, но его раздражение испарилось, когда он поднял глаза на офицера. Поднеся палец к переносице, Олмейер наставительно проговорил:

— Вы просто слишком молоды. Всему свое время.

Лейтенант повернулся к Нине, которая, откинувшись в кресле, неотрывно наблюдала за отцом.

— Поверьте, я очень огорчен, что вам приходится на все это смотреть, — извиняющимся тоном начал он. — Не знаю, есть ли у меня право просить вас о чем-то, кроме как удалиться, чтобы не наблюдать эту грустную сцену, но мне кажется, что я должен — ради вашего отца… Я имею в виду, если у вас есть на него какое-то влияние, вам стоит употребить его сейчас, чтобы побудить

его сдержать слово, которое он дал мне до того, как… впал в такое состояние.

Нина, казалось, не слышала его слов и сидела не шелохнувшись, с полузакрытыми глазами.

— Я полагаю… — растерянно продолжил лейтенант.

— О каком слове вы говорите? — резко перебила его Нина, вставая и подходя к отцу.

— Ни о чем бесчестном или несправедливом. Ваш отец обещал выдать нам человека, который в мирное время лишил жизни невинных людей, чтобы избежать наказания, которое заслужил, преступив закон. И планировал уничтожить гораздо больше. Не его вина, что его план провалился. Разумеется, вы слышали о нем, это Дэйн Марула. Ваш отец, как я понял, сумел поймать его, когда он сбежал от нас сюда, вверх по реке. Возможно, вы…

— И убил он белых людей! — перебила Нина.

— Приходится признать, что да. Двое белых людей лишились жизни из-за выходки этого негодяя.

— Двое! Всего-то! — воскликнула девушка.

Офицер с изумлением взглянул на нее и недоуменно забормотал:

— Отчего… Отчего вы…

— Оттого что могло быть и больше, — отрезала Нина. — И когда получите этого… негодяя, вы уедете?

Потерявший дар речи лейтенант молча кивнул.

— Тогда я помогу вам, даже если придется выдернуть его из огня, — решительно сказала она. — Я ненавижу вашу белую кожу и вежливые голоса. Вам все равно, перед каким смазливым личиком рассыпать комплименты. Я слышала их и раньше. И хотела скрыться здесь, чтобы не видеть больше ни одного белого лица, кроме вот этого, — добавила она гораздо мягче, касаясь щеки Олмейера.

Тот перестал бормотать, приоткрыл глаза и, почувствовав на щеке руку дочери, прижал ее к лицу, пока Нина второй рукой приглаживала его взъерошенную седую шевелюру, вызывающе глядя поверх отцовской головы на офицера, который уже взял себя в руки и отвечал ей холодным, сдержанным взглядом. Внизу, у выхода с веранды, слышался топот матросов, собиравшихся там по приказу помощника. Сам он уже бежал вверх по лестнице мимо Бабалачи, который взволнованно топтался на ступеньке, прижимая палец к губам и стараясь перехватить взгляд Нины.

— Моя девочка, — рассеянно пробормотал Олмейер, роняя руку дочери.

— Папа! Папа! — взмолилась Нина, склонившись над отцом. — Видишь этих людей? Отошли их прочь! Я больше не могу их терпеть. Прогони их! Сделай то, что они хотят, и пусть убираются!

Она наконец поймала взгляд Бабалачи и резко умолкла, только нога ее продолжала выбивать по полу нервную дробь. Офицеры с изумлением смотрели на эту сцену.

— Что тут творится? Что случилось? — прошептал младший.

— Понятия не имею, — беззвучно ответил старший. — Одна с ума сходит, второй напился. Хотя, может, не так уж и напился. Странно все это. Гляди!

Олмейер сумел встать, опираясь на руку дочери. Отпустил ее и прошел, покачиваясь, несколько шагов. Взял себя в руки, выпрямился, тяжело дыша, и недовольно огляделся вокруг.

— Все в сборе? — спросил лейтенант.

— Да, сэр.

— Тогда ведите нас, мистер Олмейер.

Олмейер уставился на него так, будто видел впервые.

— Тут люди, — хрипло возвестил он. Слова

стоили ему таких усилий, что он потерял равновесие, закачался взад-вперед и вынужден был затоптаться на месте, чтобы не упасть. — Белые люди, — с трудом повторил он. — Люди в форме. Достойные люди. Я бы сказал — люди чести. Да? Вы ведь такие?

— Довольно! — нетерпеливо рявкнул офицер. — Подавайте уже вашего дружка!

— За кого вы меня принимаете? — злобно осведомился Олмейер.

— За пьяного, однако, не настолько, чтобы не понимать, что он творит. Хватит уже этого балагана, или мне придется посадить вас под арест в вашем собственном доме!

— Арест! — грубо хохотнул Олмейер. — Ха-ха-ха! Арест! Да я двадцать лет пытался выбраться из этого проклятого места — и не смог! Слышите, дружище? Не смог, и никогда уже не смогу! Никогда!

Крики Олмейера перешли во всхлипы, и он неуверенно зашагал вниз по лестнице. Во дворе лейтенант догнал его и взял под локоть. Помощник и Бабалачи шли позади.

— Вот и хорошо, — приговаривал лейтенант. — Но куда это мы пришли? Тут одни доски. Эй! — Он легонько потряс Олмейера. — Нам что, нужны

лодки?

— Нет, вам нужна могила, — злобно ответил Олмейер.

— Что? Опять понес околесицу. Да придите же в себя!

— Могила! — проревел Олмейер, вырываясь из рук лейтенанта. — Такая яма в земле! Что неясно? Или вы напились? Пустите меня! Пустите, говорю!

Он наконец вывернулся и качнулся в сторону досок, где под белым покрывалом лежал покойник, быстро оглядел полукруг заинтересованных лиц. Солнце стремительно ныряло за горизонт, дома и деревья отбрасывали длинные тени, но на воде, по которой все плыли бревна, казавшиеся в красноватом свете заката очень четкими и черными, еще играли лучи. Стволы деревьев на восточном берегу уже погрузились в тень, в то время как их кроны еще раскачивались под солнцем. Над рекой легкими порывами пролетал бриз, воздух казался холодным и тяжелым.

Олмейер передернулся, пытаясь заговорить, и опять неверным жестом словно сбросил с горла чью-то невидимую руку. Его налитые кровью глаза бесцельно блуждали с лица на лицо.

— Все собрались? — спросил он наконец. — Точ-

но все? Это ведь такой опасный человек!

И он с такой злобной силой сдернул покрывало, что тело скатилось с досок к его ногам, застывшее и беспомощное.

— Холодный. Совсем холодный, — сказал Олмейер, с тоскливой улыбкой оглядывая собравшихся. — Простите, но лучше ничего не припас. Его даже повесить затруднительно. Сами видите, джентльмены, — мрачно добавил он, — тут нет головы и почти нет шеи.

Последние лучи солнца соскользнули с верхушек деревьев, река вмиг потемнела, и в наступившей тишине плеск волн, казалось, целиком заполнил огромную чашу опустившейся на землю темноты.

— Вот вам и Дэйн, — сказал Олмейер застывшим в молчании спутникам. — Я сдержал свое слово. Сперва одна надежда, потом другая, а эта была последней. Ничего не осталось. Вы думаете, тут один мертвец? Ошибаетесь. Я еще более мертв, чем Дэйн. Почему бы вам не повесить меня? — вдруг дружелюбно предложил он лейтенанту. — Уверяю, уверяю вас: это будет вплне… вполне плноцен… полноценная замена.

Последние слова Олмейер пробормотал уже себе под нос и зигзагами двинулся к дому.

— Пошел вон! — рявкнул он на Али, который было робко сунулся к нему с помощью. Встревоженные соседи издалека наблюдали его извилистый путь. Хватаясь за перила, он втащил себя на веранду и тяжело упал в кресло, посидел несколько минут, шумно сопя от усилий и злости и озираясь по сторонам в поисках Нины, потом, погрозив кулаком в ту сторону, откуда слышался голос Бабалачи, пнул ногой стол. Тот перевернулся, оглушительно зазвенела разбитая посуда. Олмейер пробормотал себе под нос что-то угрожающее, голова его упала на грудь, глаза закрылись, и с глубоким вздохом он погрузился в сон.

В ту ночь — первый раз в жизни — мирный и цветущий Самбир наблюдал свет, который шел от «Каприза Олмейера». Сияли корабельные фонари, подвешенные матросами под потолком веранды, где оба офицера проводили расследование, чтобы понять, насколько правдив рассказ, представленный им Бабалачи. А тот, вновь преисполнившись важности, был красноречив и убедителен, призывал землю и небеса в свидетели того, что он говорит чистую правду. Махмат Банджер и другие соседи подверглись тщательному допросу, затянувшемуся до ночи. Послали и за Абдуллой, но тот отговорился почтенным

возрастом и прислал вместо себя Решида. Махмату пришлось показать ножной браслет, и он с обидой и негодованием проводил его глазами, когда лейтенант сунул украшение в карман как одну из улик, доказывающих гибель Дэйна, чтобы потом приложить его к официальному рапорту. У Бабалачи с той же целью изъяли кольцо, но многоопытный советник с самого начала почти не надеялся сохранить трофей. Пусть забирают, лишь бы поверили. А вот поверят ли — это вопрос, и его Бабалачи задавал сам себе, когда одним из последних уходил домой после окончания процедуры. Да нет, скорее всего, засомневаются. Однако, если удастся заморочить белых хотя бы на одну ночь, он успеет отправить Дэйна туда, где они его уже не достанут, и наконец-то вздохнет спокойно. Бабалачи быстро зашагал прочь, время от времени оглядываясь через плечо, словно боясь погони, но сзади было пусто и тихо.

— Десять вечера, — сказал лейтенант, глядя на часы и зевая. — Представляю, как нас похвалит капитан, когда мы вернемся. Мерзкое дельце.

— Думаете, они сказали правду? — спросил младший.

— Да откуда же я знаю? Это всего лишь версия. Но даже если она ложная, что мы можем сделать?

Была бы у нас дюжина шлюпок, разослали бы их по притокам, и то, скорее всего, без толку. Старый пьяница прав — нет у нас никакой власти над побережьем. Делают что хотят. Нам уже повесили гамаки?

— Да, я приказал рулевому, — отозвался младший лейтенант и, махнув рукой в сторону дома Олмейера, добавил: — Странная они, однако, парочка.

— Хм! Странная — это еще мягко сказано. О чем ты с ней говорил? Я-то больше общался с отцом.

— Уверяю вас, я был предельно вежлив, — встрепенулся помощник.

— Да я тебя не упрекаю. Похоже, вежливость ей не по нутру. Убежден, что ты не перешел границ. Мы же на службе.

— Несомненно. Всегда об этом помню. Безупречно и официально — только так.

Оба хохотнули и, пока не желая спать, начали прогуливаться взад-вперед по веранде. Из-за деревьев будто украдкой выкатилась луна и тут же превратила реку в поток сверкающего серебра. Вдоль берегов из темноты выступил мрачный, задумчивый лес. Ветер стих, наступило полное спокойствие.

По моряцкой привычке они молча вышагивали

туда-сюда словно по палубе. Расшатанные половицы сопровождали шаги неприятным сухим потрескиванием, громко разносящимся в ночной тишине. Вдруг младший насторожился:

— Вы слышали?

— Нет. Что именно? — ответил старший.

— Мне показалось, кто-то кричал. Слабый такой вскрик. Голос вроде бы женский. В том, втором доме. О! Опять! Слышали?

— Нет, — немного послушав, ответил лейтенант. — Вам, молодым, вечно везде чудятся женские голоса. Если хочешь сегодня успеть выспаться, пора залезать в гамак. Спокойной ночи.

Луна поднялась еще выше, и теплые тени съежились и отступили, будто прячась от холодного беспощадного света.

Глава 10

— Зашло наконец, — сказала Нина матери, показывая на холмы, за которые нырнуло солнце. — Мама, мне пора, и если я никогда не вернусь…

Она осеклась, и сомнение на миг затуманило пламя сдерживаемого трепета, что сияло в ее глазах и озаряло притворную невозмутимость лучами нетерпения весь этот долгий, полный волнения день — день радости и тревоги, надежды и страха, тайной вины и грядущего счастья. Пока солнце лило потоки ослепительного света, под которым любовь Нины родилась и росла, пока не заполнила все ее существо, она была уверена и непоколебима в своем желании, наполнявшем сердце нетерпеливым ожиданием заката, который ознаменует конец опасностей и борьбы, начало счастья, торжества любви, полноценности жизни. И вот солнце село! Короткие тропические сумерки кончились раньше, чем Нина успела облегченно вздохнуть, и внезапно опустившуюся на мир тьму словно заполнили возбужденные голоса, торопившие ее сломя голову ринуться навстречу неизведанному, дать наконец волю своему порыву, той страсти, кото-

рую она вызвала и разделила. Он ждет! В глуши, на укромной поляне, в просторном лесном безмолвии ждет в одиночку беглец, рискующий жизнью. Невзирая на опасности, ждет только ее. Лишь ради нее он вернулся, и теперь, когда пришло его время получить награду, Нина с тревогой спрашивала себя: что за леденящие сомнения одолевают ее волю и любовь? С трудом стряхнула она пугающую слабость. Дэйн должен быть вознагражден. Ее любовь и гордость одолеют тошнотворную нерешительность перед туманным будущим, ждущим ее на темных берегах реки.

— Не вернешься, — с пророческим видом согласилась миссис Олмейер. — Без тебя он не уедет, а стоит ему остаться и… — Она махнула рукой в сторону огней, горящих в «Капризе Олмейера», а конец фразы перешел в угрожающее бормотание.

Мать и дочь, встретившись за домом, брели к протоке, где были пришвартованы каноэ. У кромки кустов обе, не сговариваясь, остановились, и миссис Олмейер, положив ладонь на руку Нины, тщетно попыталась заглянуть в ее опущенное лицо. Хотела что-то произнести, и вдруг слова утонули в сдавленном всхлипе, неожиданном для женщины, что из всех человеческих чувств

знала, казалось, только ярость и злость.

— Ты станешь великой рани, — сказала она, наконец справившись с голосом, — и если не сглупишь, обретешь большую власть, которая продлится много дней, до самой старости. Кто я такая? Рабыня, всю жизнь варившая рис для мужчины без храбрости и ума. Ха! Капитан и воитель отдал меня в подарок человеку, который за всю жизнь так никем и не стал. Ха! Ха!

Она тихо всхлипывала себе под нос, оплакивая утерянное в юности право наслаждаться грабежом и убийством, которые стали бы ее судьбой, будь она помолвлена с правильным человеком. Нина наклонилась над ней и при свете звезд, наблюдающих с черного неба за этим странным прощанием, внимательно изучала иссохшие черты, заглядывала в глубоко запавшие глаза, которые видели сквозь тьму ее собственное будущее при свете давнего и болезненного опыта. И снова она, как когда-то, почувствовала странное очарование возбужденным настроем матери и уверенными, как у оракула, суждениями, которые, вкупе с ее природной жестокостью, снискали ей в поселке репутацию ведьмы.

— Я была рабыней, а ты станешь госпожой, — продолжала миссис Олмейер, глядя прямо перед

собой. — Но помни, в чем сила мужчины и в чем его слабость. Трепещи, когда он в гневе, чтобы он видел твой страх при свете дня, но в душе можешь смеяться, потому что после заката он — твой раб.

— Раб? Да он хозяин жизни! Ты просто не знаешь его, мама!

— Слова белой дурочки! — снисходительно хмыкнула миссис Олмейер. — Что ты знаешь о мужском гневе и мужской любви? Видела ли ты, как спят мужчины после смертельного боя? Чувствовала ли на себе руку, которая легко ударит кинжалом в бьющееся сердце? Ты — белая, и не мешало бы тебе помолиться нашей, женской богине.

— Зачем ты так? Я долго слушала твои слова и совсем забыла прошлую жизнь. Будь я белой, стояла бы я тут сейчас, готовая уплыть? Только вот последний раз зайду в дом, взгляну на отца.

— Нет! — вскинулась миссис Олмейер. — Он напился джина и спит. Зайдешь — разбудишь! Помнишь, когда тот ужасный старик увозил тебя, совсем малышку…

— Это было так давно… — промямлила Нина.

— А я помню, — злобно хмыкнула мать. — Я хотела взглянуть на тебя еще раз, но твой отец

сказал: «Нет!» Я услышала плач и прыгнула в реку. Тогда ты была его дочерью, но теперь ты моя. Никогда ты не вернешься в этот дом, никогда не пройдешь по двору. Нет! Нет!

Она почти кричала. На другом берегу протоки зашуршала трава. Обе осеклись и встревоженно прислушались.

— Нет, вернусь. Что мне до твоей ненависти и мести? — тихо, но упрямо прошептала Нина.

Она двинулась в сторону дома, но миссис Олмейер вцепилась в нее и попыталась оттащить назад.

— Стой, не ходи! — взмолилась она.

Нина нетерпеливо оттолкнула мать и подхватила юбки, чтобы пуститься бегом, но та обогнула ее и встала напротив, вытянув руки.

— Сделай только шаг, — пригрозила она, часто дыша, — и я закричу в голос! Вон огни в большом доме, там сидят двое белых, злых оттого, что им не досталось крови твоего любимого. А в тех темных домах, — она махнула в сторону поселка, — мой голос поднимет людей, что с удовольствием поведут оранг-бланда к тому, кто так верно тебя ждет.

Она не могла разглядеть лица дочери, но ее белеющая в темноте фигура остановилась, слов-

но бы колеблясь, и миссис Олмейер усилила нажим.

— Брось свою старую жизнь! Забудь ее! — заклинала она. — Забудь, что когда-то глядела в белые лица, забудь их слова и думы. Они без конца лгут. Лгут даже в мыслях и презирают нас, хотя мы лучше их, пусть и не так сильны. Забудь их дружбу и их вражду, забудь их многочисленных богов. Девочка, зачем тебе цепляться за прошлое, когда воин и владыка готов отдать сотни жизней — включая собственную — за одну твою улыбку?

Она говорила — и легонько подталкивала дочь к лодке, пряча свои собственные тревоги и сомнения в потоке страстных слов, чтобы не дать Нине времени и возможности обдумать их и запротестовать, даже если бы той захотелось. Но та и сама уже передумала. Под желанием забежать домой и увидеть отца не крылось серьезной причины. Нина не чувствовала вины и раскаяния за то, что так внезапно бросает человека, чью привязанность к себе она не то что понять — разглядеть-то толком не могла. Просто инстинктивно цеплялась за прошлую жизнь и привычные лица — в ней пробудился тот самый страх новизны, который так присущ людям и не дал свершиться стольким подвигам и стольким

злодеяниям.

Годами она стояла между матерью, такой сильной в своей слабости, и отцом, таким слабым там, где требовалось мужество, между столь несхожими, практически противоположными людьми. Сердце Нины молчало, а в глубине души она сетовала и удивлялась, зачем вообще родилась на свет. Когда ей пришлось вернуться в поселок, она почувствовала себя униженной и ненужной. День пролетал за днем — без надежд, без желаний, без цели, что могли бы придать смысл жизни, которую она вынуждена была влачить, выматываясь день ото дня все больше и больше. Нина не верила отцовским мечтам, не разделяла их, а вот мрачные причитания матери тронули какую-то струну в тайных глубинах ее жаждущего чего-то нового сердца, и она погрузилась уже в собственные грезы с упорством арестанта, мечтающего о свободе в стенах тюрьмы. С приходом Дэйна ей открылся путь на волю — стоило лишь последовать зову собственных желаний, — и в глазах его Нина с изумленной радостью видела ответ на свои многочисленные вопросы. Теперь она обрела смысл и цель жизни и с этим потрясающим открытием отбросила прочь все, что связывало ее с прошлым, с его тоскливыми мыс-

лями, унылыми чувствами и привязанностями, которые теперь казались очень слабыми, почти полумертвыми по сравнению с ее новой пылающей страстью.

Миссис Олмейер отвязала каноэ Нины.

— Быстрее, — с трудом разогнувшись, скомандовала она. — Пока луна не встала и на реке темно. Я опасаюсь шпионов Абдуллы. Они часто шастают в ночи и могут заметить тебя и увязаться следом. В каноэ два весла.

Нина подошла к матери и неуверенно коснулась губами ее морщинистого лба. Миссис Олмейер презрительно фыркнула в знак протеста против нежности, хотя на самом деле боялась размякнуть в ответ.

— А тебя я когда-нибудь увижу, мама? — шепнула Нина.

— Нет, — после короткой паузы отрезала миссис Олмейер. — Зачем тебе возвращаться сюда, где мне суждено умереть? Ты будешь жить вдали, в роскоши и могуществе. Когда я услышу, что белых погнали с наших островов, тогда буду знать, что ты жива и помнишь мои слова.

— Я никогда их не забуду! — горячо пообещала Нина. — Но в чем же моя сила, что я могу сделать?

— Не позволяй Дэйну слишком долго смотреть в твои глаза или лежать у тебя на коленях и чаще напоминай о том, что мужчина воюет, прежде чем отдохнуть. А если он будет медлить, сама вложи крис ему в руку и поторопи его, как должно делать жене великого властителя, когда враг близко. Позволь ему одолеть белых, которые явились к нам торговать с молитвой на устах и оружием в руке. Ах, — со вздохом закончила она, — они на каждом море и каждой пристани, очень уж их много!

Она развернула нос лодки к реке, но не отпустила ее, застыв в глубокой задумчивости.

Нина коснулась веслом берега, готовая оттолкнуться и пуститься по течению.

— Что такое, мама? Ты что-то слышишь? — спросила она, понизив голос.

— Нет, — рассеянно ответила миссис Олмейер. — Слушай, Нина, пройдут годы, и у Дэйна появятся другие женщины…

Сдавленный всхлип из лодки прервал ее, грохнуло весло, видимо, выпав из рук, которые Нина вскинула протестуя. Миссис Олмейер упала на колени и перегнулась через борт, чтобы приблизить лицо к лицу дочери.

— Другие женщины, — просто повторила

она. — Я толкую тебе об этом, потому что ты наполовину белая и можешь забыть, что он — великий воин и так заведено. Скрывай свой гнев, не позволяй Дэйну видеть на твоем лице боль, которая будет грызть тебе сердце. Встречай его с радостью в глазах и мудростью на устах, потому что именно к тебе он придет с печалью или сомнением. Пока он глядит на разных женщин, твоя власть велика. Но если появится одна-единственная, та, с которой он может забыть тебя, тогда…

— Мне незачем будет жить! — воскликнула Нина, закрыв лицо руками. — Не говори так, мама, этого не случится!

— Тогда рази без пощады, — спокойно продолжала миссис Олмейер.

Она развернула каноэ за борт и держалась за него обеими руками.

— Ты что, плачешь? — жестко осведомилась она у дочери, которая так и сидела, прижимая ладони к лицу. — Вставай и берись за весло, Дэйн уже и так заждался. И помни, Нина: никакой пощады. Придется бить — бей твердой рукой.

Собрав силы, она всем телом оттолкнула легкую лодку на середину потока. Отдышавшись, попыталась разглядеть ее, но та, казалось, растворилась в белесой дымке, плывущей над пе-

регретой водой Пантая. Стоя на коленях, миссис Олмейер внимательно вслушивалась в тишину, потом, разогнувшись с глубоким вздохом, вытерла прядью седых волос две неожиданных слезы, скатившихся по иссохшим щекам. Она стерла их резко, словно стесняясь самой себя, но не смогла сдержать еще одного громкого вздоха, ибо на сердце у нее было тяжело и оно сильно страдало, непривычное к нежным чувствам. И в этот миг ей послышался какой-то слабый звук, точно эхо ее собственного вздоха. Она застыла на месте, насторожив уши, ловя малейшие шорохи и внимательно вглядываясь в ближние кусты.

— Кто тут? — неуверенно спросила она, в то время как воображение ее уже населяло прибрежную пустоту образами духов и привидений. — Кто?

Ответа не было, только голос реки, бормочущей свой унылый напев под белой вуалью мглы, будто бы усилился на миг и тут же снова стих до негромкого журчания прибрежных водоворотов.

Миссис Олмейер тряхнула головой, словно бы в ответ собственным мыслям, и быстро двинулась прочь от кустов, поглядывая по сторонам. Подойдя к кухне, она машинально отметила, что угли мерцают ярче, чем обычно, как будто кто-то подкидывал свежих дров в течение вечера. Нав-

стречу ей поднялся Бабалачи, притаившийся в уголке у теплого очага.

— Отчалила? — с тревогой осведомился он.

— Да. Что поделывают белые? Давно вы разошлись?

— Надеюсь, уже спят. И лучше б никогда не просыпались! — свирепо воскликнул советник. — Развели беседы вокруг этого несчастного трупа, черти проклятущие! Их начальник дважды угрожал вздернуть меня на дереве. На дереве! Меня!

— А ты кланялся и просил пощады, — насмешливо хмыкнула миссис Олмейер. — Мужчины с оружием на боку вели себя иначе в дни моей юности.

— И где они теперь, мужчины твоей юности, взбалмошная ты старуха? — рявкнул Бабалачи. — Убиты голландцами, ага! А я все живу, мороча им головы. Мудрый знает, когда стоит драться, а когда — искусно лавировать. Ты бы тоже знала, будь ты мужчиной.

Но миссис Олмейер уже не обращала на него внимания. Наклонившись и указывая куда-то рукой, она вслушивалась в шорохи за кухней.

— Какой странный звук… — прошептала она. — Я слышала горестные вздохи, вроде стонов или

всхлипов, там, у реки. И вот снова…

— Где? Какие именно? — сдавленным голосом спросил Бабалачи.

— Совсем близко. Как будто кто-то долго задерживал дыхание. Надо было окурить тело хотя бы жженой бумажкой до того, как его закопали.

— Надо было, — согласился Бабалачи. — Но белые тут же его зарыли. А вообще покойник нашел смерть в реке, — бодро добавил он, — и его дух должен преследовать лодки и не трогать тех, кто на суше.

Миссис Олмейер, тянувшая шею, чтобы заглянуть за угол кухни, выпрямилась.

— Никого там нет, — успокоенно заключила она. — Не пора ли лодкам раджи пуститься в путь?

— Я как раз ждал их здесь, потому что мне и самому пора отправляться, — объяснил Бабалачи. — Пожалуй, пойду посмотрю, что их задержало. Когда ты явишься к нам? Раджа обещал тебе вознаграждение.

— Приплыву на рассвете. Я свои деньги тут не брошу, — пробормотала миссис Олмейер.

Они разошлись. Бабалачи вернулся на берег, к своему каноэ, а миссис Олмейер медленно двинулась к дому, прошла по деревянному тро-

туару к задней веранде и прежде, чем нырнуть в коридор, оглядела двор, пустой и тихий, уже залитый светом встающей луны. И лишь когда она исчезла, из-за банановых стволов показался размытый силуэт, метнулся через освещенное луной пространство и, снова оказавшись в темноте, пропал у подножия веранды. Его можно было бы принять за тень одинокого облачка, бесшумного и стремительного, если бы не потревоженные метелки травы, качавшиеся в лунном свете до тех пор, пока снова не встали ровно и неподвижно, словно вышивка серебряной нитью на черном фоне.

Миссис Олмейер зажгла кокосовую лампу, подняла красную занавеску и, прикрыв свет ладонью, вгляделась в мужа.

Олмейер съежился в кресле, одна рука свисала вниз, другая закрывала нижнюю часть лица, словно защищаясь от невидимого врага. Раскинув ноги, он забылся тяжелым сном, не подозревая о том, с каким презрением мерят его сейчас злые глаза. У его ног, в осколках битой посуды, валялся перевернутый стол. Сходство со сценой отчаянной потасовки усугубляли разбросанные по веранде стулья, лежащие на полу, точно беспомощно повалившиеся там и сям

пьяные. Только большое кресло-качалка Нины непоколебимо стояло на высоких полозьях, темное и неподвижное, возвышаясь над униженной мебелью гордо и спокойно, будто в ожидании своей привычной ноши.

Бросив на спящего последний ехидный взгляд, миссис Олмейер ушла за занавеску в свою комнату. Парочка летучих мышей, воодушевленных темнотой и безмятежностью обстановки, ныряла в воздухе над головой Олмейера, и долгое время ничто не нарушало глубокой тишины дома, кроме тяжелого дыхания спящего да тихого позвякивания серебра в руках его готовой бежать жены. В растущем свете луны, уже поднявшейся над ночным туманом, все вещи на веранде обрели четкие тени и стали похожими на обведенные темной краской. И разбросанные предметы, и карикатурный силуэт спящего Олмейера отразились на посеревшей побелке стены в гротескно увеличенном виде, раздувшись до гигантских размеров. Разочарованные мыши улетели в поисках более укромных мест, на смену им выскочила ящерица. Короткими опасливыми перебежками она добралась до привлекшей ее белой скатерти и застыла так неподвижно, что ее можно было бы принять за мертвую, если бы не мелодичное

попискивание, которым она обменивалась с менее смелыми сородичами, что прятались между досками во дворе. Вдруг в коридоре скрипнули половицы, ящерка исчезла, Олмейер тревожно встрепенулся и завздыхал.

Медленно и тяжело он начал возвращаться в реальность, алкогольное отупение сменилось беспокойным сном. Голова моталась от плеча к плечу, во сне на него тяжелой мантией опустились небеса и распростерли вокруг свои усеянные звездами складки. Звезды над головой, звезды вокруг, а от тех, что сияли под ногами, доносился шепот, полный всхлипов и угроз, и печальные лица летали среди искр света, наполнявшего пространство. Куда же ему скрыться от жалобных стонов и пристальных, тоскливых взглядов этих лиц, которые смыкались вокруг него все ближе и ближе, пока он, со всхлипом втягивая воздух, не забился под невероятной тяжестью миров, обрушившихся на его ноющие плечи. Бежать! Но как? Если он сделает хотя бы шаг, то рухнет в никуда и погибнет вместе с мирами, которые держатся только лишь на нем одном. А о чем причитают голоса? Требуют шевелиться? Зачем? Чтобы все разрушить? Быть того не может! Абсурдность их требований не вызывала в нем ничего, кроме

злости. Он изо всех сил напрягал мускулы, удерживая всю вселенную. В нечеловеческом труде пролетали века: в кружении галактик, в унылом причитании плачущих голосов, призывающих его бросить все, пока не стало слишком поздно — пока мистическая сила, возложившая на его плечи столь непомерный груз, не разрушила его окончательно. С ужасом чувствовал он настойчивую руку, трясущую его за плечо, в то время как хор голосов все громче и громче призывал его бежать — бежать немедленно, пока у него есть еще время. Олмейер чувствовал, как скользит, теряет равновесие, как что-то тяжелое тянет его за ноги вниз, вниз, куда он и рухнул с тихим вскриком, — из тоски гибнущих миров в мутную явь, все еще находясь под властью сновидений.

— А? Что? — сонно забормотал Олмейер, не открывая глаз. У него не хватало дерзости поднять веки, голова по-прежнему была тяжелой, в ушах зудел какой-то требовательный шепот. — Я что, не сплю? А откуда тогда голоса? — недовольно и не слишком внятно допытывался он сам у себя. — Приснится же такая жуть… Пожалуй, слишком много выпил. Да кто меня трясет? Нет, я точно еще сплю, надо открыть глаза и прогнать этот кошмар. Видимо, только наполовину проснулся.

Олмейер с усилием попытался стряхнуть с себя сонный ступор и совсем близко увидел лицо, смотревшее на него горящими глазами. Он испуганно зажмурился и сел очень прямо, дрожа все телом. Это еще что за явление? Наверняка причуды его фантазии. Минувший день здорово помотал ему нервы — а вечером еще и попойка. Оно наверняка исчезнет, если он осмелится взглянуть еще раз. Надо собрать силы. Итак. Вперед.

Олмейер открыл глаза. Женская фигура, стоявшая в стылом свете луны на дальнем конце веранды, умоляющим жестом тянула к нему руки, а все пространство между ними было заполнено плывущими к нему словами. Они обрушивались на него смутными болезненными фразами, смысл которых ускользал от всех попыток его сознания хоть что-то осмыслить. Что это за женщина? Отчего говорит с ним по-малайски? Убежал? Кто убежал? Почему слишком поздно? Поздно для чего? Что значат эти слова любви и ненависти, и как они связаны с постоянно повторяющимися именами: Нина и Дэйн, Дэйн и Нина? Дэйн погиб, а Нина спит у себя в комнате, не ведая о жутких событиях, которые творятся с отцом прямо сейчас. Неужели теперь его будут терзать вечно, спит он или бодрствует, день на

улице или ночь? Что вообще происходит?

Последний вопрос он проорал вслух. Призрачная фигура вздрогнула и, взвизгнув, откачнулась в сторону двери. Разозленный нелепостью новой загадки, Олмейер кинулся к видению, которое ускользнуло от его рук и тяжело ударилось в стену. Быстро, как молния, он развернулся и начал яростно преследовать незваную гостью, с визгом ускользавшую от него, что лишь подогревало пламя его злобы. Через опрокинутые стулья, вокруг перевернутого стола — и вот наконец он зажал ее в угол за креслом Нины. Они метались то влево, то вправо, между ними бешено качалось кресло, гостья отвечала визгом на каждое новое движение, а Олмейер рычал невразумительные угрозы сквозь плотно стиснутые зубы. Ох уж это пронзительное верещание, от которого у него перехватывает дух и раскалывается голова! Оно сейчас добьет его! Его надо как-нибудь заткнуть! Безумное желание любым способом заглушить визг заставило Олмейера броситься на незнакомку поверх кресла, сграбастать ее и повалиться вместе с ней в облаке пыли на щелястый пол. Последний писк затих прямо под ним, превратившись в сдавленное бульканье, и он смог наконец насладиться благословенной тишиной.

И только тогда посмотрел в лицо подмятой им противнице. Да это просто девушка! И — надо же, какая неожиданность! — знакомая! Тамина! Олмейер подскочил, уже стыдясь своего гнева, и озадаченно стоял, утирая лоб. Рабыня с трудом села на колени и согнулась, обхватив их руками, в молчаливой мольбе о пощаде.

— Не бойся, — поднимая ее, сказал Олмейер. — Я тебя не обижу. Зачем ты пришла ко мне ночью? И если уж пришла, то почему сюда, а не туда, за занавеску, где спят женщины?

— Потому что за занавеской пусто! — взвыла Тамина, переводя дыхание после каждого слова. — В вашем доме нет больше женщин, туан! Я видела, как пожилая мэм отчаливала, прежде чем я разбудила вас. И мне не нужны ваши женщины, мне нужны вы!

— Пожилая мэм? — повторил Олмейер. — Ты имеешь в виду мою жену?

Тамина кивнула.

— Но дочери-то моей ты не боишься? — спросил Олмейер.

— Вы что, меня не слышите? — воскликнула девушка. — Разве не говорила я с вами, пока вы лежали тут, полуоткрыв глаза? Дочь тоже уплыла.

— Я же спал. Ты что, не различаешь, когда человек спит, а когда бодрствует?

— Иногда, — тихо объяснила Тамина, — дух бродит рядом со спящим телом и может все услыхать. Перед тем, как дотронуться до вас, я говорила долго и тихо, чтобы резкий звук не спугнул его и вы не остались спящим навсегда. И потрясла вас за плечо, только когда вы забормотали непонятные слова. Так что же, вы ничего не слышали и ничего не знаете?

— Ничего из того, что ты сказала. В чем дело? Расскажи заново, если хочешь, чтобы я тебя понял.

Олмейер взял Тамину за плечо и вывел на середину веранды, к свету. Она заломила руки в жесте такого отчаяния, что он всерьез забеспокоился.

— Говори, — приказал он. — Ты подняла шум, способный разбудить и мертвого. Но на него не явился никто из живых, — добавил он себе под нос недовольным шепотом. — Да онемела ты, что ли? Говори!

Поток слов, с трудом вырвавшийся из дрожащих губ, содержал историю Нининой любви и Тамининой ревности. Несколько раз Олмейер зло всматривался в глаза девушки и приказывал ей замолчать, но не в его силах было остановить

звуки, которые, как ему казалось, лились из кипящего источника, закручивались водоворотами у его ног и жгучими волнами плескались вокруг — выше, выше, выше, затапливая сердце, расплавленным свинцом добираясь до губ, затуманивая взор горячим паром и, беспощадно и убийственно, смыкаясь над головой. Когда Тамина дошла до инсценировки смерти Дэйна, жертвой которой пал буквально в этот день, Олмейер опять прожег ее жутким взглядом, заставив на секунду замолчать, но тут же отвернулся и уставился на реку пустыми глазами и с каменным лицом. Ах, эта река — его старинный друг и враг, год за годом бежавший мимо и бормотавший одним и тем же голосом, приносивший богатство и разочарование, счастье и боль, с изменчивым, но не меняющимся лицом, сложенным из сверкающих струй и крутящихся водоворотов! Сколько лет он слушал монотонную бесстрастную скороговорку, которая звучала то песней надежды, то гимном триумфа, а чаще всего — шепотом утешения, который уверял, что лучшие дни придут. Столько лет! Столько лет! А теперь, под аккомпанемент этого журчания, Олмейер вслушивался в болезненный стук собственного сердца. Вслушивался внимательно, удивляясь размеренности. Он даже

механически начал считать. Один. Два. К чему счет? Все равно на следующем ударе оно должно замолчать. Ни одно сердце не может так страдать и при этом биться так долго и ровно. Эти мерные, точно приглушенный молот, удары, что стучат у него в ушах, наверняка скоро утихнут. Странно — всё бьют и бьют, жестокие и беспощадные. Невыносимо! Который же станет последним? Этот? Или следующий? Сколько еще терпеть, господи, сколько? Рука Олмейера отяжелела, надавила Тамине на плечо, и девушка закончила рассказ у его ног, заливаясь слезами боли, стыда и злости. Или ее подкосила собственная мстительность? Этот белый стоит как бесчувственный камень. Поздно! Слишком поздно!

— И ты видела, как она отплывала? — раздался над головой Тамины севший голос Олмейера.

— Разве я не сказала вам? — всхлипнула та, пытаясь потихоньку вывернуться из-под его тяжелой ладони. — Разве не описывала, как ведьма своими руками оттолкнула каноэ? Я лежала в траве и слышала каждое слово. Та, которую мы зовем белой мэм, хотела сбегать домой, чтобы взглянуть на вас, но ведьма ее не пустила и…

Под нажимом руки Тамина сползла еще ниже, оперлась на локоть, поглядела на Олмейера снизу

вверх злыми глазами и, полуплача-полусмеясь от боли, прокричала:

— ...и она послушалась! Пустите, туан! К чему вам злиться на меня? Поспешите, а то не успеете обрушить свой гнев на лживую дочь!

Олмейер рывком вздернул девушку на ноги и всмотрелся в лицо, которое она все пыталась отвернуть от его дикого взора.

— Кто послал тебя терзать меня? — яростно спросил он. — Я тебе не верю! Ты врешь!

Неожиданно он толкнул рабыню через всю веранду к двери, где она и упала, оставшись лежать ничком, неподвижная и безмолвная, похожая на темный ворох тряпья, как будто жизнь ее осталась у него в кулаке.

— О Нина! Я не могу поверить... — прошептал Олмейер, и в голосе его укор и любовь смешались в интонацию болезненной нежности.

Легкий ветерок с реки пробежал по двору, всколыхнул траву и, добравшись до веранды, дохнул прохладой на лоб Олмейера — будто пожалел. Занавеска в дверном проеме вздулась и беспомощно опала. Олмейер уставился на трепещущую ткань и взревел:

— Нина! Где же ты, Нина?

Ветер с прерывистым вздохом покинул пустой

дом, и в нем воцарилась тишина.

Олмейер спрятал было лицо в ладони, словно заметил что-то отвратительное, но, услышав какой-то шелест, открыл глаза и увидел, что темный ворох у двери исчез.

Глава 11

В центре залитой лунным светом прогалины, сплошь засаженной блестящими под луной рисовыми ростками, торчала на высоких подпорках небольшая хижина. Рядом громоздилась куча хвороста и светились угли костра, около которого лежал человек, выглядевший слишком маленьким, будто потерянным на ярком зеленом ковре поляны. По трем ее сторонам большие, сплетенные между собой разнообразными ползучими лианами деревья, казавшиеся очень далекими в неверном свете костра, взирали на молодую поросль у своих корней с мрачной покорностью гигантов, утерявших веру в собственные силы. А беспощадные лианы вили в самой их гуще похожие на мотки каната петли, переползали со ствола на ствол, колючими фестонами свисали с нижних ветвей и тончайшими побегами цеплялись все выше и выше за самые крошечные ветки и несли своим жертвам смерть в ликующем буйстве безмолвного разрушения.

По четвертой стороне, которая повторяла изгибы берега здешнего рукава Пантая и откуда только и можно было попасть на поляну, тянулась

темная полоска молодых деревьев, кустарника и густой травы, нетронутая за исключением прорубленного в одном месте прохода. Через него змеилась узкая тропинка, ведущая от кромки воды к травяной хижине, где ночевали сторожа, когда поспевающий урожай нужно было защищать от диких свиней. Тропинка кончалась у свай, упираясь в вытоптанный кружок земли, покрытый золой и остатками обгорелых деревяшек. Там, около тусклого костерка, и лежал Дэйн.

С нетерпеливым вздохом он повернулся на бок и, подперев голову локтем, уставился на потухающий огонь. Кучка тлеющих углей красноватыми отблесками озаряла его широко открытые глаза, с каждым выдохом у полураскрытых губ вставало облачко нежного белого пепла, чтобы тут же отлететь от умирающего костра и затанцевать под лунными лучами. И если тело Дэйна было утомлено недавними усилиями, то сознание его еще сильнее томилось монотонным ожиданием того, как же решится его судьба. Никогда раньше он не чувствовал себя настолько беспомощным. Он слышал выстрелы с борта парохода и понимал, что его жизнь в ненадежных руках, а враги уже совсем близко. Весь этот долгий день он то слонялся у кромки леса, то, прячась в кустах, тре-

вожно наблюдал за рекой в ожидании опасности. Смерти он не боялся и все-таки отчаянно хотел жить, чтобы провести эту жизнь с Ниной. Она обещала прийти, обещала последовать за ним, чтобы разделить с ним горе и радость. Но вместе с ней он не боялся горя, а без нее не было и не могло быть никакой радости.

Свернувшись калачиком в своем сумеречном укрытии, Дэйн закрыл глаза, пытаясь мысленным взором оживить изящную и чарующую фигуру, которая для него стала началом и концом жизни. С крепко зажмуренными веками и стиснутыми зубами он изо всех сил старался вызвать в воображении силуэт любимой. Тщетно! На сердце его легла тяжесть, когда прекрасный образ растаял и его заслонили другие — злые лица вооруженных людей, блеск стволов, радостный гомон, когда его обнаружат. Встревоженный яркостью видения, Дэйн открыл глаза и, вскочив, выбежал на свет, где возобновил свои выматывающие блуждания по поляне. Снова и снова проходя кромкой леса, он поглядывал в его тенистую чащу — такую манящую в своей обманчивой прохладе и такую отталкивающую из-за густого мрака, где, поваленные и гниющие, лежали поколения стволов, над которыми скорбно возвышались зеленые

кроны, беспомощно ожидающие своего часа. Живыми тут казались только лианы, которые, извиваясь, рвались к солнечному свету и паразитировали как на умирающих, так и на уже мертвых деревьях. Они венчали свои жертвы коронами из голубых и розовых цветов, которые светились нелепо яркими красками среди темных ветвей, пронзительно и насмешливо оттеняя торжественную гармонию обреченных деревьев.

«А вот тут, наверное, можно спрятаться», — думал Дэйн, подходя к месту, где разрыв в лианах образовывал что-то вроде арки, от которой вполне могла вести какая-то тропа. Наклонившись, чтобы заглянуть туда, он услышал злобное хрюканье, и стадо диких свиней рванулось от него прочь, ломая кустарник. От едкого запаха сырой земли и гниющих листьев у него перехватило дыхание, и Дэйн отшатнулся с исказившимся лицом, будто его коснулось дыхание самой смерти. Даже воздух тут казался мертвенным — тяжелый, застоявшийся, отравленный разложением, длившимся бессчетные годы.

Спотыкаясь, Дэйн двинулся дальше, подгоняемый лихорадочным беспокойством, которое хоть и изматывало его, но не позволяло даже подумать о том, чтобы остановиться и отдохнуть. Он что,

дикарь, чтобы прятаться в лесу и, возможно, быть убитым здесь, в чащобе, где и дышать-то нечем? Нет, он выйдет на свет и дождется врагов там, где сможет видеть небо и ощущать ветер. И, если придется, погибнет, как настоящий малайский вождь. Мрачная и отчаянная ярость, столь характерная для его расы, овладела им, и он бросил взбешенный взгляд через всю поляну к проходу в кустах, ведущему на речной берег. Если за ним придут, то придут оттуда. Воображение тут же нарисовало ему врагов: бородатые лица, белые кители офицеров, начищенные до блеска стволы винтовок. Чего стоит храбрость даже самого грозного воина перед огнестрельным оружием в руке раба? Можно выйти им навстречу, с улыбкой подняв руки, будто он сдается, наговорить дружелюбных слов, подходя все ближе и ближе… так близко, чтобы они могли дотронуться до него руками. Тут-то они их и протянут, чтобы схватить его. И тогда он с криком прыгнет в самую их гущу с крисом в руке и будет бить, бить, бить, пока сам не погибнет, слушая стоны врагов и глядя, как брызжет перед его глазами их горячая кровь.

Воодушевленный этими мыслями, Дэйн нащупал в складках саронга кинжал, глубоко вздохнув, бросился вперед, ударил им в воздух

и упал лицом вниз. Некоторое время он лежал, ошарашенный собственной выходкой, вызванной перевозбуждением, и думал о том, что, если ему и суждена славная гибель, то лучше сейчас, пока не пришла Нина. Если он снова увидит ее, умирать будет слишком тяжело. Эти колебания напугали его, сына раджи, наследника великих завоевателей. Желание жить вызывало муки стыда. Дэйн лежал, не в силах пошевелиться. Он потерял веру в себя, ничего не осталось в нем, что делает мужчину мужчиной, — только страх да еще страдание, потому что оно живет в человеке до самого последнего вздоха. В смущении вглядывался он в глубины своей невероятной любви, и сила ее, и слабость пугали его одинаково.

Тени деревьев с западной стороны леса протянулись по поляне, накрывая прохладной мантией обгоревшие плечи Дэйна, и тут же поспешили дальше, чтобы смешаться с тенями с востока. Солнце садилось не торопясь, помедлило в ажурном переплетении высокого кустарника, точно не желая бросать в одиночестве человека, простертого на изумрудном рисовом поле. Освеженный вечерней прохладой, Дэйн сел и огляделся. Солнце мигом нырнуло за горизонт, словно застеснявшись, что его заподозрили в

сочувствии, и прогалина, напоминавшая днем одно большое светлое пятно, тотчас же превратилась в пятно темное, на котором, подобно зрачку, мерцал огонь.

Дэйн медленно подошел к реке и, стащив с себя изодранный саронг — единственное свое одеяние, — осторожно вошел в воду. Весь день он ничего не ел и даже боялся выйти на берег при свете, чтобы попить, и теперь, неторопливо плавая, жадно сделал несколько глотков воды, плескавшейся возле губ. Ему сразу стало лучше, и к костру Дэйн возвращался с большей верой в себя и других. Ведь если бы Лакамба предал его, все уже было бы кончено. Разведя пламя посильнее, Дэйн обсушился у огня и снова улегся возле углей. Спать он не мог, но его охватила невероятная усталость. Беспокойство прошло, он был готов лежать сколько угодно, разглядывая засиявшие над лесом звезды. А те светили все сильнее, словно их раздувал легкий ветерок, который поднялся под безоблачным небом. Дэйн снова и снова сонно убеждал себя, что Нина обязательно придет, до тех пор пока в сердце не поселилась уверенность, наполнив его миром и покоем. Да, к исходу ночи они будут вместе, на просторах бескрайнего синего моря, которое похоже на саму жизнь в

отличие от леса, напоминающего смерть. С тихой улыбкой он бормотал ее имя — оно, казалось, разбивало чары лесной тишины, и издалека, от реки, словно в ответ громко квакнула лягушка. Из топи вдоль берега ей тут же отозвался целый хор заунывных голосов. Дэйн от души рассмеялся — без сомнений, он слушал лягушачью песню любви, и этот неожиданный всплеск шумной жизни неподалеку его порадовал.

Когда луна выглянула из-за верхушек деревьев, им вновь овладело беспокойство. Почему Нины нет так долго? Конечно, добраться сюда одной, в маленькой лодочке не так-то просто. С какой же силой и ловкостью управляют тяжелым веслом ее маленькие руки! Поверить трудно, что это те самые нежные пальцы, которые умеют коснуться его щеки легче, чем крыло бабочки. Поразительно! Пока Дэйн растроганно обдумывал эту потрясающую загадку, луна успела подняться над кронами деревьев еще на ладонь. Придет? Не придет? Он заставлял себя лежать неподвижно, подавляя желание снова вскочить и ринуться в забег вокруг прогалины, ворочался с боку на бок, наконец улегся на спину, но даже со звезд на него словно бы взглянуло лицо Нины.

Пение лягушек внезапно смолкло. С насторо-

женностью гонимого беглеца Дэйн сел, тревожно прислушиваясь, и услыхал несколько шлепков по воде — лягушки торопливо прыгали в реку. Он понял: что-то их спугнуло — и вскочил на ноги, весь внимание. Еле слышный скрип, потом глухой звук, будто две деревяшки стукнулись друг о друга. Кто-то готов причалить к берегу! Дэйн зачерпнул пригоршню лесной трухи и, занеся руку над углями костра, застыл, не отрывая глаз от тропы. Среди кустов что-то мелькнуло, светлый силуэт показался из темноты и как будто поплыл к нему в бледном сиянии луны. Сердце его екнуло и остановилось, но только для того, чтобы тут же бешено заколотиться вновь. Труха просыпалась на тлеющие угли. Дэйн хотел окликнуть Нину, рвануться к ней, но лишь застыл, безмолвный и неподвижный, как бронзовая статуя, под лунным светом, лившимся на его открытые плечи. Пока он стоял, пытаясь совладать со своим дыханием, Нина приблизилась к нему быстрыми уверенными шагами и с решимостью человека, готового прыгнуть с невероятной высоты, обвила руками его шею. Легкий огонек голубоватой змейкой побежал по сухим сучьям, и тихий треск возрожденного костра стал единственным звуком, под который они всматривались друг в друга в

миг безмолвной встречи. Потом дрова занялись, из них вырвался высокий, вровень с головами людей, жаркий язык пламени, при свете которого они наконец-то смогли взглянуть друг другу в глаза.

Оба молчали. Дэйн слегка дрожал от волнения и никак не мог справиться с чувствами — дрожь поднималась по его напряженному телу, пока у него не затряслись губы. Нина откинула голову и внимательно посмотрела на него долгим взглядом, главным оружием женщины, — взглядом, что волнует больше, чем любое прикосновение, и ранит сильнее, чем удар кинжала, ибо отсекает душу от тела, оставляя его живым и беспомощным перед капризными бурями желаний и страстей; взглядом, что окутывает целиком и проникает в самые сокровенные глубины; взглядом, несущим сокрушительное поражение в, казалось бы, уже выигранной битве; взглядом, который значит одно и то же как для мужчин леса или моря, так и для тех, кто топчет куда более опасные тропы среди улиц и высоких домов. Те, у кого в груди подобный взгляд поднял бурю чувств, начинают жить одним днем, который кажется им раем. Что им до дня вчерашнего, который весь был — страдание? Что до завтрашнего, который

может кончиться катастрофой? Им хотелось бы ловить этот взгляд — взгляд женщины, которая сдается, — вечно.

Осознав это, Дэйн словно сбросил невидимые путы, с криком радости упал у ног Нины, обнял ее колени и, спрятав лицо в складках платья, забормотал бессвязные слова любви и благодарности. Никогда раньше он не испытывал такой гордости, как сейчас, у ног девушки, наполовину принадлежавшей к его врагам. Пальцы Нины рассеянно бродили в его волосах, пока она стояла, пытаясь осмыслить происходящее. Вот оно как. Выходит, мать была права. Мужчина действительно может стать твоим рабом. Поглядев сверху вниз на коленопреклоненную фигуру, Нина почувствовала болезненную нежность к человеку, которого — хоть и про себя — звала, бывало, владыкой самой жизни. Она подняла глаза и с тоской вгляделась в южную часть неба, под которым лежала дорога их судьбы — ее и мужчины у ее ног. Разве не признавался Дэйн, что она — его свет? Она и впрямь станет светом и мудростью, величием и силой, однако вдали от людских глаз будет, кроме того, и единственной его слабостью. С чисто женским тщеславием Нина уже обдумывала, как слепит бога из глины, что простерлась у ее ног, бога, ко-

торому станут поклоняться все остальные. А она будет наслаждаться тем, как Дэйн вздрагивает даже от легчайшего прикосновения ее пальцев. И хотя глаза ее грустно смотрели на южные звезды, на губах играла слабая улыбка. Кто мог бы точно сказать, что это за улыбка, увидев ее в неровном свете костра? Улыбка триумфа? Осознания своей силы? Нежного покровительства? А может, просто любви?

Нина что-то тихо сказала Дэйну, он поднялся на ноги и со спокойной уверенностью обнял девушку. Она склонила голову ему на плечо, чувствуя, что под защитой его руки готова бросить вызов всему миру. Это ее Дэйн, со всеми достоинствами и недостатками. Его сила и храбрость, дерзость и безрассудство, врожденная мудрость и природная смекалка — все теперь принадлежит ей. Когда они вышли из круга красноватых отблесков костра под серебристые лунные лучи, Дэйн склонил голову, и Нина увидела в его глазах мечтательное опьянение, бескрайнее блаженство от того, что к нему приник ее стройный стан. Так, бок о бок, прошествовали они подальше от света, к тенистой опушке леса, готовой сберечь их счастье под сенью своей царственной неподвижности. Их силуэты растаяли в игре света и тени у корней

огромных деревьев, но нежный шепот еще долго плыл через пустоту поляны, становясь все тише, тише, пока не замолк совсем. Стих полночный бриз, издав последний, полный безмерной скорби, вздох, и в наступившей тишине земля и небо внезапно замерли в грустном раздумье о слепоте людской любви.

Медленно вернулись они к огню. Дэйн соорудил для Нины подстилку из сухих ветвей, усадил, а сам, устроившись рядом, положил голову ей на колени и блаженно коротал пролетающие часы. Их голоса взлетали ввысь и стихали, то ласковые, то оживленные, пока они обсуждали свою любовь и свое будущее. Время от времени Нина парой искусных фраз задавала тон мыслям Дэйна, и его счастье рвалось наружу потоком слов — страстных и нежных, задумчивых и грозных — в зависимости от настроения, которое она вызывала. Он рассказывал ей про свой родной остров, где не знали ни мрачных лесов, ни илистых рек; вспоминал спускавшиеся уступами поля, чистые журчащие ручьи со сверкающей водой, бежавшие со склонов огромных гор и несшие жизнь посевам и радость земледельцам, острый пик, одиноко стоящий над опоясывающими его деревьями и знающий все секреты проплывавших

облаков и живущего на нем таинственного бога, покровителя семьи Дэйна; описывал просторные горизонты, расчищенные яростным ветром, который свистел над сверкающими вершинами; рассказывал про своих предков, в незапамятные времена завоевавших остров, правителем которого он когда-нибудь станет.

Когда Нина, захваченная рассказом, наклонялась к Дэйну, он, проводя пальцами по длинным прядям ее волос, внезапно менял тему и начинал говорить про море, которое так любил: про его неумолчный голос, в который вслушивался с самого детства, пытаясь разгадать загадки, которые не раскрывал еще никто и никогда; про заманчивый блеск волн; про беспощадный и капризный нрав; изменчивый, но всегда привлекательный лик; неизменные глубины — холодные, жестокие, наполненные мудростью канувшей туда жизни. Рассказывал о том, как те, кто любит море, становятся его рабами на всю жизнь, а оно, невзирая на преданность, глотает их, злясь на неумение постич тайну, которая не открывается никому, даже самым горячо в него влюбленным. Лицо Нины тем временем склонялось все ниже, ниже, пока почти не коснулось лица Дэйна. Ее волосы закрыли ему глаза, дыхание овевало лоб,

руки обнимали за плечи. Быть еще ближе было уже просто невозможно, и все же она скорее прочувствовала, чем поняла, последние слова, которые он выдохнул после легкого колебания, тихим шепотом, истаявшим в глубокой и многозначительной тишине:

— Море — как женское сердце, о Нина…

В ответ Нина закрыла ему губы поцелуем, а затем твердо произнесла:

— Но бесстрашных моряков, о господин моей жизни, море не подводит никогда.

Над их головами переплетение темных нитевидных облаков, похожее на дрейфующую между звездами гигантскую паутину, предвещало скорую грозу. С невидимых холмов пришел первый дальний раскат грома и, прогулявшись от вершины к вершине, затих в лесу на берегу Пантая. Дэйн и Нина вскочили на ноги и беспокойно взглянули на небо.

— Уже за полночь, пора бы Бабалачи явиться, — заметил Дэйн. — Дорога впереди долгая, а пуля движется быстрее любого каноэ.

— Он будет тут раньше, чем луна спрячется за тучи, — уверила его Нина. — Кстати, я слышу плеск воды. А ты?

— Крокодил, — коротко бросил Дэйн, небрежно

глянув в сторону реки. — Чем темнее ночь, тем короче будет наш путь, ведь мы сможем плыть по течению главного русла. Но если будет светло — даже так, как сейчас, — придется пробираться протоками, где вода стоит и ничем не поможет нашим веслам.

— Дэйн, это не крокодил. Я слышу, как трещат кусты у причала.

— Да, — прислушавшись, согласился Дэйн. — И это не Бабалачи: тот явится на больших боевых каноэ и в открытую, — а здесь кто-то явно старается не шуметь. Но ты его услышала, а теперь и я увидел, — быстро добавил он. — Хорошо, что он один. Спрячься мне за спину. Если это друг, ничего страшного, а если враг, ты увидишь, как он умрет.

Дэйн положил ладонь на рукоять криса в ожидании незваного гостя. Костер горел еле-еле, по небу, торопливо пересекая диск луны, бежали тучи — предвестники грозы — и бросали на поляну тени, так что Дэйн не мог разглядеть незнакомца. Он напряженно всматривался в высокого человека, тяжелой поступью шагающего по тропинке, а потом криком велел ему остановиться. Тот послушался. Дэйн ждал, когда незнакомец заговорит, но он лишь тяжело дышал. Внезапно облака на

миг разошлись, и поляну осветила луна. Прежде чем они сомкнулись снова, Дэйн увидел в руке гостя что-то блестящее, услышал, как Нина вскрикнула: «Отец!» — и тут же мгновенным прыжком оказалась между женихом и револьвером Олмейера. Крик повторило эхо, и все трое застыли, будто дожидаясь возвращения тишины, чтобы выразить обуревающие их чувства. При виде Нины Олмейер уронил руку с оружием и шагнул вперед. Дэйн мягко задвинул девушку себе за спину.

— Разве я дикий зверь, что вы хотите убить меня исподтишка, в темноте, туан Олмейер? — нарушил он молчание и попросил Нину: — Подкинь веток в огонь, моя радость. Пока я хорошо вижу моего белого приятеля, он ничего не сможет нам сделать!

Олмейер скрипнул зубами и снова поднял руку. Неуловимым прыжком Дэйн оказался возле него. После короткой борьбы, в ходе которой револьвер один раз пальнул в сторону, он выкрутил оружие из пальцев Олмейера и отшвырнул его в кусты. Противники застыли друг напротив друга, тяжело дыша. В круге света от возрожденного костра они видели перепуганное лицо Нины, тянувшей к ним руки.

— Дэйн! — предостерегающе крикнула она.

Он успокаивающе махнул в ее сторону рукой и, повернувшись к Олмейеру, с величайшей вежливостью продолжил:

— Вот теперь, туан, мы можем поговорить. Легко рассылать всюду смерть, но сможет ли ваша мудрость призвать сюда жизнь? Ведь вы могли ее поранить, — заметил он, указывая на Нину. — Ваша рука дрожит в отличие от моей.

— Нина! — взревел Олмейер. — Немедленно подойди ко мне! Что за нелепая выходка? Кто тебя так заморочил? Иди сюда, и забудем этот ночной кошмар!

Он раскрыл дочери объятия, уверенный, что через секунду прижмет ее к груди. Но Нина не двинулась с места. Когда до Олмейера дошло, что она не собирается повиноваться, сердце его сдавило мертвенным, ледяным холодом, он стиснул ладонями виски и с отчаянием уставился в землю. Дэйн взял Нину за руку, подвел к отцу и велел:

— Поговори с ним на языке его народа. Он страдает — да и кто бы не страдал, теряя тебя, мое сердце? Подари ему последние слова, которые он услышит от тебя, ибо твой голос сладок для него, но для меня он — вся моя жизнь.

Дэйн вышел из круга света и остановился в темноте, с интересом глядя на отца и дочь. Тучи над их головами озарил отсвет далекой пока молнии, сопровождаемый глухим ударом грома, который смешался с голосом Олмейера.

— Ты соображаешь, что делаешь? Знаешь, что тебя ждет, если ты уедешь с этим человеком? Пожалей себя! Сперва ты станешь его игрушкой, а потом — презренной рабыней, служанкой его следующих любовниц!

Нина подняла руку, чтобы прервать отца, и, медленно повернув голову, произнесла:

— Ты все слышал, Дэйн. Это правда?

— Клянусь всеми богами! — донесся голос из темноты. — Небесами и землей, собственной головой и твоей жизнью клянусь я: это ложь белого человека. Я отдал в твои руки свою душу, я дышу твоим дыханием, гляжу твоими глазами, мыслю твоими мыслями, и навсегда принял тебя в свое сердце.

— Ты вор! — завопил разозленный Олмейер.

На поляне наступила тишина, затем снова прозвучал голос Дэйна:

— Нет, туан, и это тоже неправда, — мягко возразил он. — Девушка явилась по своей воле. Я лишь признался ей в любви, как положено муж-

чине, она пришла на зов моего сердца, и выкуп за нее заплатил я той, кого вы зовете супругой.

Олмейер издал стон стыда и ярости. Нина легко прикоснулась к его плечу, и это касание, невесомое, как падение листка, казалось, успокоило его. Он быстро заговорил по-английски:

— Скажи мне, скажи, что они с тобой сделали — твоя мать и этот дикарь, — что ты решила отдаться в его руки? Ведь он дикарь, Нина! Между ним и тобой — стена, которою ничто не сможет разрушить. У тебя взгляд сумасшедшей, решившей покончить жизнь самоубийством. Ты свихнулась. Прекрати улыбаться! Это разбивает мне сердце. Если бы ты тонула на моих глазах, а у меня не было бы возможности тебя спасти, я и то не страдал бы больше. Как ты могла забыть все свое воспитание?

— Нет, — перебила Нина, — я его не забыла. И чем оно кончилось, тоже помню. Презрение за презрение, ненависть за ненависть. Я не принадлежу к твоей расе. Между белыми и мной та же стена, которую ничто не может разрушить. Ты спрашиваешь, почему я хочу уехать, а я спрошу: в честь чего я должна остаться?

Олмейер пошатнулся, будто от пощечины, но Нина быстрым, уверенным движением придер-

жала его за плечо.

— В честь чего ты должна остаться? — медленно, как во сне, повторил он и осекся, пораженный масштабом очередной катастрофы.

— Вчера ты упрекнул меня, — продолжала Нина, — что я не замечаю твоей любви. Да, это так. Но как мне было ее заметить? Два человека редко могут понять друг друга. Каждый из них слышит только свой голос. Ты хотел, чтобы я разделяла твои мечты, грезила твоими видениями, видениями жизни среди белых лиц, которые презрительно вышвырнули меня из своего мира, но пока ты говорил, я слушала свой внутренний голос, а когда пришел мой мужчина, замолкло все, кроме зова его любви. Ты зовешь его дикарем? А кто же тогда моя мать, твоя жена?

— Нина, не смотри мне в глаза! — простонал Олмейер.

Она послушно опустила взгляд, но продолжала почти шепотом:

— Настал миг, когда оба голоса, Дэйна и мой, слились в песню, понятную только нам двоим. Ты говорил о золоте, а мы пели о нашей любви и не слышали тебя. Потом я поняла, что мы смотрим глазами друг друга и видим то, чего не видит больше никто. Мы достигли земли, куда за нами

не мог последовать ни один человек, и меньше всего — ты. Только тогда я начала жить.

Нина перевела дух. Олмейер тяжко вздохнул. Не поднимая глаз, она заговорила снова:

— И я собираюсь жить дальше, следуя за Дэйном. Белые презрительно отринули меня, теперь я малайка! Дэйн протянул мне руки и кинул свою жизнь к моим ногам. Он отважен и когда-нибудь обретет власть, его храбрость и сила в моих руках, и я помогу ему стать великим. Его имя будет звучать еще долго после того, как оба наших тела лягут в землю. Я люблю тебя ничуть не меньше, чем раньше, но его я никогда не брошу, потому что только с ним начала жить.

— Представляю, как бы ему польстило, что ты собираешься использовать его как орудие для своих идиотских амбиций, если бы он понимал твои слова, — презрительно отозвался Олмейер. — Хватит, Нина. Или мы немедленно возвращаемся к реке, где Али ждет нас в лодке, или я велю ему вернуться в поселок и привести сюда погоню. Сбежать я вам не дам — просто отвяжу и пущу по течению твое каноэ. А когда голландцы схватят нашего героя, они его повесят, и это так же верно, как то, что я стою здесь. Так что пойдем.

Он шагнул к дочери и взял ее за плечо, другой

рукой указывая на тропинку к воде.

— Эй! Теперь это моя женщина! — воскликнул Дэйн.

Нина вырвалась и снова взглянула Олмейеру прямо в глаза.

— Я никуда не пойду! Умрет Дэйн — умру и я! — со всей силой отчаяния воскликнула она.

— Умрешь? — презрительно повторил Олмейер. — Да нет! Будешь жить, привирая и изворачиваясь, пока еще какой-нибудь бродяга не споет тебе… как ты это назвала? Песню любви? Все, давай-ка быстро домой. — Помолчав, он добавил со значением: — Или мне позвать Али?

— Зови, — ответила Нина по-малайски. — А сам-то ты честен со своими соотечественниками? Всего несколько дней назад ты продавал порох, который нес им смерть. А теперь готов кинуть на съедение человека, которого вчера называл своим другом. О Дэйн, — сказала она, поворачиваясь к неподвижной фигуре в темноте, — вместо жизни я принесла тебе смерть, потому что отец выдаст тебя белым, если я не вернусь домой!

Дэйн подошел к свету и, обняв Нину за шею, шепнул ей на ухо:

— Я могу убить его на месте прежде, чем хоть один звук сорвется с его губ. Да или нет? Уверен,

Бабалачи уже недалеко.

Он убрал руку и встал напротив Олмейера, который мерил их обоих злым взглядом.

— Нет! — заплакала Нина, испуганно вцепляясь в Дэйна. — Нет! Убей лучше меня! Тогда он, возможно, даст тебе уйти. Ты не знаешь, как мыслят белые! Ему проще видеть меня мертвой, чем твоей. Прости меня, твою верную рабу, но я говорю: нет! — Истерически всхлипывая, она упала у ног Дэйна, повторяя: — Убей меня! Меня!

— Мне проще видеть тебя живой, — со зловещим спокойствием произнес Олмейер тоже по-малайски. — Идем со мной, а то его повесят. Долго мне ждать?

Дэйн отодвинул Нину и, сделав неожиданный выпад, ударил Олмейера в грудь рукоятью кинжала, держа его острием к себе.

— Видите? Я запросто мог бы повернуть его другим концом, — объяснил он все тем же спокойным тоном и добавил с достоинством: — Ступайте, туан-пути. Я дарю вам вашу жизнь, мою жизнь и жизнь вашей дочери. Я раб этой женщины, а она решила именно так.

На небе к тому времени не осталось ни проблеска света, и верхушки деревьев были так же невидимы, как и стволы, потерявшись в тучах,

низко нависших над лесом, рекой и поляной, их очертания накрыла густая тьма, которая, казалось, поглотила все, кроме самого пространства. Только костер мерцал, как звезда, которую случайно пропустили, уничтожая все подряд. Стояла тишина, не нарушаемая ничем, кроме всхлипов Нины, которую Дэйн держал в объятиях, стоя на коленях около огня. Олмейер мрачно и задумчиво смотрел на них, но стоило ему открыть рот, как всех всполошил предупредительный оклик с реки, плеск множества весел и гул голосов.

— Бабалачи! — воскликнул Дэйн, поднимая Нину на ноги и вскакивая сам.

— Да-да! — донесся в ответ задыхающийся голос советника, который трусил по тропинке по направлению к ним. — Скорей в мое каноэ! — скомандовал он Дэйну, не обращая внимания на Олмейера. — Бегом! Надо уходить! Та девица подняла всех на ноги!

— Какая еще девица? — изумился Дэйн, глядя на Нину.

Для него в целом мире сейчас существовала только одна девушка.

— Да эта сукина дочь, семижды проклятая служанка Буланги! Вопила у ворот Абдуллы, пока весь Самбир не всполошила. Теперь они с Реши-

дом ведут сюда белых. Хочешь жить — хватит таращиться, поехали!

— Откуда ты все это знаешь? — спросил Олмейер.

— Ох, туан, да какая разница, откуда! У меня только один глаз, но я видел огни в доме и кампонге Абдуллы, когда мы проплывали мимо. У меня два уха, и когда мы шли вдоль берега, я слышал, как он посылал гонцов к вашему дому, к белым! Скорее! Скорее!

— Уедешь ли ты без этой женщины, моей дочери? — спросил Дэйна Олмейер.

— Нет. Эту женщину я не оставлю никому, — твердо ответил Дэйн.

— Тогда убей меня и спасайся сам! — снова зарыдала Нина.

Дэйн прижал ее к себе покрепче и ласково шепнул:

— Мы никогда не расстанемся, о Нина!

— Все, — сварливо заявил Бабалачи, — я больше не могу ждать, пока вы тут ерундой занимаетесь. Ни одна женщина не стоит жизни. Я старик, и я это точно знаю.

Он подхватил посох и развернулся к реке, посматривая на Дэйна, словно последний раз предлагая ему присоединиться, но тот спрятал

лицо в волосы Нины и не заметил его приглашающий взгляд.

Бабалачи растворился во тьме. Скоро они услышали, как от причала отплыло большое каноэ — свистнули в воздухе и слаженно ударили по воде весла. Почти в ту же минуту от реки прибежал Али с двумя веслами в руках.

— Я спрятал нашу лодку выше по течению, туан Олмейер, — сообщил он. — В густых кустах, где лес вплотную подходит к воде. Потому что гребцы Бабалачи сказали мне, что сюда идут белые.

— Ты прав, пусть побудет там. Возвращайся на берег, — приказал ему Олмейер.

Он молча подождал, пока не стихнут шаги Али, затем повернулся к Нине.

— Тебе меня совсем не жалко? — с горечью спросил он.

Ответа не последовало. Дочь даже не повернула лица, прижатого к груди Дэйна.

Олмейер повернулся было, чтобы уйти, но остановился. При свете затухающего костра он смотрел на две неподвижные фигуры. Нина стояла к нему спиной, по которой струились длинные темные волосы. Дэйн спокойно взирал на него поверх ее головы.

— Не могу… — прошептал Олмейер себе под

нос. Помолчав, он заговорил громче, но все так же неуверенно: — Какой позор. Я ведь белый человек. Да к тому же из приличной семьи. Очень приличной, — повторил он, горько всхлипнув. — Позор на все острова… Я, единственный белый на восточном побережье, нахожу мою дочь — поверить не в силах! — в объятиях малайца! Мою дочь!

Он попытался взять себя в руки и продолжил уже тверже:

— Я никогда не прощу тебя, Нина, никогда! Даже если бы ты сейчас вернулась, память об этой ночи отравила бы всю мою жизнь. Я постараюсь забыть тебя. Нет у меня дочери. Жила рядом какая-то полукровка, а теперь собралась в дорогу. Послушай, Дэйн, или как там тебя по-настоящему, я сам отвезу вас с этой девушкой на остров возле устья реки. Пойдемте.

Олмейер пошел впереди, держась вдоль берега и леса. Когда Али ответил на его зов, беглецы, продравшись сквозь кусты, вышли к каноэ, спрятанному в переплетении ветвей. Дэйн усадил Нину на дно лодки, сел сам и положил ее голову себе на колени. Олмейер и Али взяли по веслу, но только они собрались оттолкнуться от берега, Али зашипел, призывая к тишине. Все замерли.

В полном затишье, какое нередко бывает перед грозой, раздался ритмичный скрип весел в уключинах. Звук неуклонно приближался, и Дэйн сквозь переплетение веток разглядел силуэт большой белой шлюпки, из которой доносился взволнованный девичий голос:

— Вот тут вы можете высадить своих людей. Еще чуть выше… здесь!

В узком рукаве реки шлюпка подошла так близко, что ее длинные весла чуть не задели каноэ.

— Мы на месте! Приготовиться к высадке! Он один и без оружия, — тихо скомандовал мужской голос по-голландски.

— Вон там, среди леса, виден отблеск огня, — прошептал кто-то ему в ответ.

И шлюпка проскользнула мимо, растворившись в темноте.

— А теперь прочь отсюда, и как можно скорее, — шепнул Али.

Легкое каноэ скользнуло по течению, и, изо всех сил ударив веслами по воде, гребцы услышали рассерженный крик:

— У костра его нет! Все врассыпную, ищите его!

По всей поляне зажглись голубоватые огни, и пронзительный девичий голос с болью и яростью

крикнул:

— Слишком поздно! Ах вы, белые глупцы! Он сбежал!

Глава 12

— Вон туда, — сказал Дэйн, указывая веслом на островок милей выше по течению, — вон туда Бабалачи обещал прислать за мной лодку, когда встанет солнце. Там и будем ждать.

Сидевший у руля Олмейер молча кивнул и легким движением весла направил нос каноэ в нужную сторону.

Они только что вышли из южного рукава Пантая, который лежал за ними длинной и прямой полосой воды, сверкавшей между двумя стенами густой зелени, что сбегали вниз по реке, все ближе и ближе друг к другу, пока не смыкались где-то вдали. Солнце, встающее над тихими водами проливов, пустило по морю дорожку из лучей, скользивших в сторону реки, — торопливых гонцов, что несли жизнь и свет мрачным лесам побережья. По этой яркой дорожке темное каноэ держало путь к залитому светом песчаному островку, который золотым диском горел на отполированной стальной поверхности моря. К северу и югу от него радовали глаз яркими желто-зелеными красками другие острова, а на главном побережье мрачная линия мангровых зарослей

приводила к красноватым скалам Танджонг-Мирра и к морю, огромному и безмятежному под чистым светом раннего утра.

Дно лодки заскребло по песку, и легкое суденышко вылетело на берег. Али выскочил на землю и придержал его, пока Дэйн вылезал наружу с обессилевшей от переживаний и долгого ночного пути Ниной на руках. Последним вышел Олмейер и вместе с Али затащил каноэ поглубже на берег. Али, уставший от долгой гребли, улегся в тени каноэ и немедленно заснул. Олмейер сел у планширa, скрестив руки на груди, и уставился на море.

Поудобнее уложив Нину в тени кустов, растущих в глубине острова, Дэйн, растянувшись рядом с ней, озадаченно следил, как слезы стекают из-под ее закрытых век и исчезают в мягком песке, на котором они лежали лицом к лицу. И слезы, и сама ее грусть были для него непонятной и тревожной загадкой. К чему горевать теперь, когда опасность уже позади? Дэйн не сомневался в любви Нины, как не сомневался в своем собственном существовании, но лежа рядом с девушкой и трепетно вглядываясь ей в лицо, наблюдая слезы, полураскрытые губы, само ее дыхание, он с тревогой признавал, что понимает в ней далеко

не все. Несомненно, она обладала мудростью некоего высшего существа. Дэйн вздохнул. То невидимое, что встало между ними, допускало его в душу Нины лишь до определенного предела. Ни страсть, ни привязанность, ни усилие воли, ни долгая совместная жизнь не смогут развеять это смутное ощущение несходства. С благоговением и великой гордостью он заключил, что дело в несравненном совершенстве Нины. Это его женщина, и в то же время она как будто из другого мира. Его! Его! Дэйн ликовал при одной мысли об этом, но как же больно ранили ее слезы!

С неловкой нежностью и робким почтением он взял в руку прядь ее волос и попытался вытереть дрожавшие на ресницах капли. На долю секунды лицо Нины осветила мимолетная улыбка, но слезы тут же хлынули с новой силой, и Дэйн не выдержал — встал и пошел к Олмейеру, который все так же сидел, погруженный в созерцание моря. Немало лет прошло с тех пор, как он не видел ее — раскинувшейся во все стороны сини, которая приносит и забирает так много. Он почти забыл, зачем он тут, и вся его прошлая жизнь словно скользила перед его глазами по этой ровной безбрежной глади.

Рука Дэйна опустилась ему на плечо, внезапно

вырвав из далекой чудесной страны. Олмейер повернулся, но взгляд его уперся скорее в место, где стоял Дэйн, чем в него самого. Дэйну стало не по себе.

— В чем дело? — спросил Олмейер.

— Она плачет, — мягко объяснил Дэйн.

— Плачет? С чего бы? — равнодушно поинтересовался Олмейер.

— Я решил спросить у вас. Моя рани улыбается, когда смотрит на своего любимого. А сейчас в ней плачет белая женщина. Вы знаете, что с ней?

Олмейер пожал плечами и вновь повернулся к морю.

— Пойдемте, туан-пути, — гнул свое Дэйн. — Пойдемте к Нине. Ее слезы для меня страшнее гнева богов.

— Серьезно? Так ты еще не раз их увидишь, привыкай. И вообще, Нина сказала, что не может жить без тебя, — бесстрастно ответил Олмейер. — Так что беги к ней, а то вдруг найдешь ее мертвой.

Он разразился коротким безрадостным смехом, который заставил Дэйна взглянуть на него с опаской, однако оторвался от борта лодки и медленно пошел к дочери, по пути поглядывая на небо.

— Вы уедете, когда солнце встанет над голо-

вой?

— Да, туан. Тогда мы тронемся в путь, — подтвердил Дэйн.

— Значит, недолго осталось, — пробормотал Олмейер. — Мне очень важно увидеть, как вы отчалите. Оба. Очень важно, — повторил он, вдруг остановившись и наконец-то пристально взглянув на Дэйна.

Тот остался на месте, а Олмейер подошел к Нине и застыл, глядя на дочь. Услыхав шаги, она, не открывая глаз, всхлипнула:

— Дэйн…

Немного поколебавшись, Олмейер тяжело опустился на песок. Не услыхав ответа, не ощутив прикосновения, Нина открыла глаза и, увидев отца, с испугом села.

— Папа! — тихо проговорила она, одним словом выразив раскаяние, страх и робкую надежду.

— Я никогда не прощу тебя, Нина, — хладнокровно отозвался Олмейер. — Ты разбила мне сердце именно тогда, когда я грезил о твоем счастье. Ты предала меня. Я считал, что твоими глазами на меня взирает сама правда, а они лгали мне при каждом взгляде. Как долго? Тебе лучше знать. Ты гладила меня по щеке, а сама считала минуты до заката, который стал сигналом для

встречи с этим… малайцем!

Его голос сорвался. Они молча сидели бок о бок, не глядя друг на друга, уставившись прямо перед собой на морской простор. Слова Олмейера осушили Нинины слезы, ее взгляд отвердел и стал похож на голубую гладь перед ней — ясную, ровную, безмятежную, как само небо. Олмейер смотрел туда же, но его черты вдруг потеряли всякое выражение, жизнь словно покинула их. Лицо стало пустым, без единого признака эмоций, чувств, мыслей, словно он перестал осознавать себя. Ни желаний, ни горя, ни злобы, ни грусти — все исчезло, стертое рукой судьбы, будто этот, последний, удар подвел итог его жизни и больше не было нужды что-либо ощущать.

Те, кто встречал Олмейера в его последние дни, всегда поражались этому бесцветному лицу, по которому совершенно невозможно было сказать, что происходит у него в душе. Оно напоминало побеленную стену тюрьмы, скрывающую грехи, раскаяние, боль и зря растраченные жизни за холодным равнодушием камня и бетона.

— А что тут нужно прощать? — поинтересовалась Нина, адресуясь словно бы не отцу, а самой себе. — Разве не могу я прожить собственную жизнь, как ты прожил свою? Дорога, которую ты

хотел выбрать для меня, закрылась не по моей вине.

— Ты никогда не говорила об этом, — пробормотал Олмейер.

— А ты никогда не спрашивал, — парировала дочь. — Ты казался таким же, как все, тебе не было до меня никакого дела. Я в одиночку переживала свое унижение, и какой смысл был рассказывать о нем? Я же знала, что ты все равно за меня не отомстишь.

— А между тем я только об этом и думал! — перебил ее Олмейер. — Я хотел вознаградить тебя долгими годами счастья за краткие дни страданий. И искал к нему путь.

— Только это был не мой путь! — воскликнула Нина. — Как ты мог подарить мне счастье, не давая жизни? Жизни! — повторила она так исступленно, что слово зазвенело над морской гладью. — Воли и любви, — добавила она уже тише.

— А этот дал! — съязвил Олмейер, показывая на Дэйна, который стоял неподалеку, с любопытством глядя на них.

— Дал! — ответила Нина, посмотрев отцу прямо в глаза, и тихо вскрикнула, наконец-то заметив его неестественно застывшее лицо.

— Да я лучше удавил бы тебя своими собственными руками, — сказал Олмейер блеклым голосом, который настолько контрастировал с пожиравшим его отчаянием, что поразил его самого: он даже медленно огляделся вокруг, словно в поисках говорившего.

— Ты говоришь так, потому что просто не понимаешь меня, — горько заметила Нина. — Вы с матерью никогда не любили друг друга. Когда я вернулась в Самбир, то увидела, что наш дом, который, как я думала, станет для меня тихой гаванью, полон ненависти и взаимного презрения. Я слушала то тебя, то ее, пока не убедилась, что ты меня никогда не поймешь: ведь я тоже часть женщины, брака с которой ты стыдился и о котором жалел всю свою жизнь. Мне нужно было выбрать — я колебалась. Почему ты был так слеп и не видел, как я борюсь прямо у тебя перед глазами? Но стоило появиться Дэйну, и все сомнения испарились, я увидела только чистый и ясный небесный свет…

— Так ведь и я его увидел, когда явился этот тип, — прервал ее Олмейер. — Но среди ясного неба вдруг грянул гром, а потом только тишина да тьма перед глазами. Уже навсегда. Я никогда не прощу тебя, Нина, а завтра вообще забуду.

Никогда не прощу, — с механическим упорством повторял он, пока Нина сидела, опустив голову, словно боясь смотреть на отца.

Олмейеру казалось чрезвычайно важным убедить ее в своем решении. Всю жизнь верность дочери питала его надежды, поддерживала мужество, решимость жить и бороться. И выиграть — для нее. А теперь эта верность исчезла, канула во тьму, разрушенная ее собственными руками — жестоко, предательски — именно в тот миг, когда он почти добился успеха. И в полном крушении отцовской любви и всех прочих чувств, в невероятном хаосе мыслей, не говоря уже о почти физической боли, что, будто жалящий кнут, обвила тело от плеч до ступней, одна идея осталась ясной и четкой — не прощать Нину, одно желание страстным — забыть ее. И потому Олмейер раз за разом повторял дочери — и себе, — что это неизбежно. Таково было его представление о долге — долге белого человека перед уважаемыми им людьми, перед всем его миром, разрушенным и взорванным этой очередной катастрофой. Он видел свой долг ясно и четко и всегда считал себя сильным человеком, гордясь своей непоколебимой твердостью. И потому сейчас так испугался, оставшись наедине

с дочерью. Что, если его любовь к ней ослабит чувство собственного достоинства? Нина выросла в необыкновенную девушку: все лучшее, что было в его расе — и он свято в это верил, — воплотилось в ее стройной девичьей фигурке. Они могли бы добиться чего угодно! Если бы только у него получилось снова пустить ее в свою душу, забыть позор, боль, злобу и… последовать за ней! Раз уж он не может поменять цвет кожи, можно поменять свои чувства и не заставлять Нину разрываться между любимыми людьми, готовыми хранить ее от всех несчастий. Его сердце рвалось к дочери. Что, если сказать сейчас, что его любовь к ней сильнее, чем…

— Я никогда не прощу тебя, Нина! — крикнул Олмейер, вскакивая на ноги, в ужасе перед тем, куда его могли бы завести собственные мысли.

Это был последний раз, когда он повысил голос. С той минуты он всегда говорил монотонным шепотом, как музыкальный инструмент, на котором порвали все струны, кроме одной, в последнем, неистовом аккорде.

Нина поднялась на ноги и посмотрела на отца. Его вспышка доказала то, что она и так интуитивно поняла: его привязанность, остатки которой она словно прижала к груди с неразборчивой

жадностью женщины, которая отчаянно подбирает даже клочки и обрывки любви, какой угодно — чувства, которое по праву принадлежит ей, будучи самим дыханием ее жизни. Она положила ладони на плечи Олмейеру и, наполовину нежно, наполовину шутливо, сказала:

— Ты говоришь так, потому что любишь меня.

Олмейер покачал головой.

— Любишь, — повторила она мягко и, помолчав немного, добавила: — И не забудешь никогда.

Олмейер мелко задрожал. Нина не могла бы сказать ничего более жестокого.

— Лодка идет, — объявил Дэйн, указывая на черное пятнышко на воде между побережьем и островом.

Все трое следили за ним в молчании, пока небольшое каноэ не ткнулось в песок и выскочивший из него человек не направился к ним. Не дойдя нескольких шагов, он остановился заколебавшись.

— Что такое? — спросил Дэйн.

— Ночью я получил секретный приказ вывезти с острова мужчину и женщину. Женщину я вижу. Кто из вас тот самый мужчина?

— Пойдем, услада глаз моих, — позвал Дэйн Нину. — Пора ехать, и отныне твой голос станет

звучать только для меня. Ты уже сказала прощальные слова туану-пути, своему отцу. Пойдем же.

Нина помедлила, глядя на Олмейера, который упорно не сводил глаз с моря, затем запечатлела на его лбу долгий поцелуй, и одна из ее слезинок упала на его щеку и сбежала по недвижному лицу.

— Прощай, — прошептала она тихо и замерла, пока Олмейер не толкнул ее в руки Дэйна.

— Если тебе хоть чуть-чуть меня жаль, бери ее и убирайтесь! — пробормотал он, будто цитируя заученные строки.

Он стоял очень прямо, с расправленными плечами и высоко поднятой головой, и следил, как они, обнявшись, идут по берегу к лодке, оставляя за собой на песке цепочку следов. Их силуэты словно плыли в пронзительных лучах высоко стоящего солнца, в дрожащем и беспощадном свете, похожем на победное сияние медных труб. Олмейер смотрел на бронзовые плечи мужчины и алый саронг, обмотанный вокруг его талии, и на высокую, хрупкую, ослепительно белую фигуру рядом с ним, на белоснежное платье и льющийся по нему каскад длинных черных волос. Смотрел, как они садились в лодку и как та отплывала, ста-

новясь все меньше и меньше. Смотрел с яростью, отчаянием и тоской в сердце и такой безмятежностью на лице, словно изваянный из мрамора памятник забвению. Внутри он рвался на части, а проснувшийся Али, стоя рядом с хозяином, видел в его чертах спокойствие, присущее разве что безнадежно слепым.

Каноэ исчезло вдали, но Олмейер все стоял, не сводя глаз с кильватера. Али, приставив к глазам ладонь козырьком, с интересом вглядывался в побережье. Солнце начало клониться к закату, с севера подул бриз, и гладь воды подернулась рябью.

— Дапат! — радостно закричал Али. — Заметил их! Заметил прау! Не там, хозяин! Смотрите близко к Тана-Мирра. Ага, туда! Видите? Сейчас заметно. Нашли?

Сперва Олмейер безуспешно водил глазами за пальцем Али. И вдруг поймал взглядом ярко-желтый треугольник на фоне красноватых скал Танджонг-Мирра. Это был парус, попавший в полосу света и ярко выделявшийся на фоне красноватого мыса. Солнечный треугольник медленно перемещался от скалы к скале, пока окончательно не миновал землю и не замелькал ослепительной вспышкой в открытом море. За-

тем судно свернуло южнее, вошло в тень, и прау тут же пропало из виду, растворившись в тени скалистого мыса, сурово и молчаливо взиравшего на опустевшее море.

Олмейер не шевельнулся. Вокруг острова шумели растревоженные волны. Белые барашки налетали на берег с шумом, легкостью и весельем юности и тут же умирали — безропотно и красиво — белой пеной на желтом песке. По небу быстро, будто стремясь кого-то обогнать, бежали белые облака. Али встревожился.

— Хозяин, — робко позвал он. — Время ехать домой. Дорога долгая. Все готово, сэр.

— Погоди, — прошептал Олмейер.

Теперь, когда Нина уехала, главной его задачей стало забыть дочь. Почему-то казалось, что делать это надо последовательно и в определенном порядке. К великой тревоге Али, Олмейер плюхнулся на четвереньки и пополз по песку, тщательно стирая ладонью следы дочери. Он засыпáл их аккуратными горками песка, оставляя за собой ряд миниатюрных могилок, тянувшийся до самой воды. Похоронив последний отпечаток шлепанцев Нины, он выпрямился, посмотрел туда, где в последний раз мелькал парус, и попытался еще раз выкрикнуть свое незыблемое

решение никогда ее не прощать, но встревоженно следивший за ним Али увидел только, как шевельнулись губы хозяина, и не услышал ни звука. Олмейер еще и ногой топнул: он решительный человек, он тверд как скала — пусть уплывает. Не было у него дочери. Он забудет. Уже начал забывать…

Али снова подступил к хозяину с уговорами выезжать немедленно и на этот раз преуспел. Они двинулись к каноэ. Олмейер шагал впереди, с каждым шагом увязая в песке, и, несмотря на всю свою твердость, выглядел очень слабым и удрученным. А рядом с ним, невидимый для Али, крался тот демон, что вечно будит воспоминания людей, решивших во что бы то ни стало забыть о смысле собственной жизни, и щебетал ему в ухо давно забытым детским голосом. Олмейер, склонив голову набок, слушал невидимого спутника, но лицо его напоминало лицо человека, убитого ударом в спину: все чувства, само выражение его словно стерла рука внезапной смерти.

Ночевали они на реке, пришвартовав каноэ в кустах и улегшись вдвоем на дно, вымотанные до того, что не хотелось ни есть, ни пить, — все чувства перекрывало неодолимое желание усталых тел провалиться в сон, глубокий, как

сама смерть. Наутро они тронулись дальше и упорно боролись с течением, пока к полудню не добрались наконец до поселка, где уже быстро подогнали легкую лодку к пристани «Лингарда и К°». Олмейер зашагал к дому, Али, с веслами на плече, — за ним, размышляя, что не мешало бы чем-нибудь перекусить. Пересекая двор, они заметили царившую в доме заброшенность. Али кинул взгляд на жилища слуг — те были пусты. На заднем дворе тоже стояла тишина — ни движения, ни звука. Огонь в очаге погас, осталась лишь груда остывших углей.

Из банановых зарослей осторожно высунулся длинный тощий человек и, стремительно перебежав через двор, скрылся, оглядываясь через плечо вытаращенными от испуга глазами. Один из бесхозных бродяг, куча которых жила в поселке и считала Олмейера покровителем. Они шатались по двору в ожидании кормежки, зная, что максимум, что может им здесь грозить, — отчаянная ругань белого хозяина, если они попадутся ему на пути. Олмейера они любили и доверяли ему, что не мешало им отчаянно насмехаться над ним между собой.

В доме, куда Олмейер вошел через заднюю дверь, его встретила лишь ручная обезьянка.

Голодная и заброшенная на целых два дня, она жалобно запричитала на своем языке, едва увидев знакомое лицо. Олмейер ласково успокоил ее и велел Али принести бананов, а сам остался на веранде, обозревая перевернутую мебель. В конце концов он вернул на место стол и уселся на него, а обезьяна спустилась с балки, куда была прикована цепочкой, и вскарабкалась ему на плечо. Когда Али принес бананы, они позавтракали вдвоем — оба голодные, оба жадно жуя и кидая шкурки куда попало, обоюдно наслаждаясь дружеским молчанием. Али ушел, ворча, что придется теперь готовить самому, потому что все женщины испарились из дома невесть куда. Олмейер не слушал его: поев, некоторое время сидел на столе, болтая ногами и задумчиво глядя на реку, потом встал и направился к правой двери, за которой находилась контора «Лингард и К°».

Сюда он заходил очень редко. Торговля увяла, и комната стала ненужной. Дверь оказалась заперта, и Олмейер постоял перед ней, покусывая нижнюю губу и вспоминая, где могут быть ключи. Ну конечно: в женской комнате, на гвоздике! Он подошел к безжизненно свисавшей красной занавеске и заколебался, прежде чем отодвинуть ее плечом — будто тяжелый камень отвалил.

На полу лежал огромный квадрат света. Слева стоял тяжелый деревянный сундук миссис Олмейер — пустой, с откинутой крышкой. Рядом поблескивал медными застежками с большими инициалами Н.О. европейский чемодан Нины. С деревянных крючков свисали ее платья, словно застывшие в немой обиде на то, как их безжалостно бросили. Олмейер вспомнил, как сам строгал эти крючки, и отметил, что они замечательно держатся. Но где же ключи? Да вот же: висят совсем рядом, у двери! Порыжели от ржавчины. Это вдруг разозлило Олмейера, и он тут же удивился собственным чувствам. Какая теперь разница? Скоро не будет ни ключей, ни дверей — ничего. Зажав ключи в руке, он засомневался в своем решении и, вернувшись на веранду, постоял у стола. Обезьянка, спрыгнувшая на пол, деловито рвала банановую кожуру на полоски.

— Забыть! — пробормотал Олмейер, и перед ним сразу же выстроился четкий распорядок, шаг за шагом.

Теперь он точно знал, что делать. Сперва одно, потом другое, а там все и забудется. Очень даже просто. Им овладела идея-фикс: не успеет позабыть Нину до смерти — придется помнить ее и после жизни, целую вечность! Поэтому много

чего придется выбросить, убрать с глаз долой, разрушить, исключить. Страшась смерти и вечности, он погрузился в размышления, с тревогой перебирая все, что грозило напомнить ему о дочери.

— Вечность! — воскликнул он вслух, и звук собственного голоса вырвал его из раздумий.

Мартышка вздрогнула, выронила кожуру и радостно ухмыльнулась хозяину.

Олмейер прошел к двери конторы, с трудом отпер ее и вошел, в облаке пыли, которое взвилось из-под его ног.

Одни книги валялись на полу: рассыпанные, с вырванными страницами; другие — почерневшие и грязные — смотрелись так, как будто их ни разу не открывали. Бухгалтерские книги, в которых он собирался день за днем записывать растущую прибыль. Давно. Давным-давно. Много лет ему нечего было писать на разлинованных синим и красным страницах. Посреди комнаты массивный письменный стол со сломанной ножкой наклонился как корпус севшего на мель корабля, бóльшая часть ящиков выехала наружу, из них вывалились кипы пожелтевших от времени бумаг. Вращающийся стул стоял на месте, но когда Олмейер хотел крутнуть его, то обнаружил,

что механизм заело. Ну и ладно.

Взгляд Олмейера медленно скользил от предмета к предмету. Когда-то они стоили уйму денег. Стол, бумага, рваные книги, сломанные полки с толстым слоем пыли. Пыль, снова пыль и останки погибших, навсегда исчезнувших трудов. Он смотрел на вещи, покинутые после стольких лет работы, борьбы, усталости, разочарований и поражений. И ради чего? Олмейер с тоской перебирал в памяти прошедшие годы, когда вдруг над руинами, мусором и хламом ему ясно послышался звонкий детский голос. В страхе бросился он лихорадочно сгребать с пола бумаги, разламывать на куски стул, в щепки разбивать ящики, колотя их о стол, и сваливать все это кучей в одном из углов.

Выйдя из конторы, Олмейер с грохотом захлопнул за собой дверь, повернул ключ, выдернул его из скважины, подбежал к перилам веранды и, широко размахнувшись, зашвырнул в реку. Не спеша вернувшись к столу, он позвал обезьянку, отцепил от привязи, устроил у себя за пазухой, велев сидеть тихо, снова сел на стол и, напряженно прислушиваясь, уставился на дверь комнаты, откуда только что вышел. Вскоре послышался глухой шорох, резкое потрескивание

сухого дерева, шелест, словно от крыльев внезапно вспорхнувшей птицы, а потом из скважины поползла тонкая струйка дыма. Обезьянка завозилась за пазухой. Вбежал Али, глаза его чуть не выскакивали из орбит, и завопил:

— Хозяин! Дом горит!

Олмейер встал, опираясь на стол. По всему поселку зазвучали удивленные и тревожные крики. Али причитал в голос, заламывая руки.

— Замолчи, дурак! — спокойно велел ему Олмейер. — Бери мой гамак и одеяла и тащи в другой дом. Быстро!

Дым валил уже из каждой дверной щели, и Али, с гамаком в руках, одним прыжком преодолел лестницу с веранды.

— Хорошо занялось, — пробормотал себе под нос Олмейер и, почувствовав, что обезьянка отчаянно пытается вылезти наружу, добавил: — Тише, тише, Джек.

Дверь треснула сверху донизу, и языки дыма и пламени отогнали Олмейера от стола к перилам. Он оставался там, пока оглушительный рев огня откуда-то сверху не сообщил ему, что запылала крыша. Только тогда он сбежал по ступеням, кашляя от дыма, который голубоватыми спиралями завивался вокруг его головы.

На другом берегу протоки, отделяющей владения Олмейера от поселка, толпились самбирцы, собравшиеся поглазеть на горящий дом белого. В неподвижном воздухе языки пламени взметнулись очень высоко, на ярком солнце их бледный, кирпично-рыжий цвет венчался сиреневым ореолом. Тонкий столб дыма поднимался вверх прямо и неуклонно, теряясь в голубизне неба. А на широком пустыре между двумя домами зеваки разглядели высокую фигуру туана-пути, который шел, склонив голову и еле волоча ноги, прочь от пожара, под кров «Каприза Олмейера».

Вот так Олмейер наконец-то переехал в новый дом. Нынешняя разруха оказалась ничем не лучше старой, и, верный очередному капризу своего сердца, он начал ждать забвения, которое никак не приходило. Со своей стороны он сделал все, что мог: полностью уничтожил следы Нинино-го пребывания, и теперь с каждым рассветом спрашивал себя, явится ли долгожданный покой до заката, придет ли он раньше его смерти? Ему и жить-то хотелось лишь до того мига, когда забудет дочь, поэтому крепкая память расстраивала его — ведь смерть могла прийти раньше нужного, и тогда придется помнить Нину вечно! А еще Олмейер жаждал тишины. Ему постоянно

хотелось побыть одному, но не получалось. В рассеянном свете комнат с закрытыми ставнями, в ярком свете веранды, куда бы он ни шел, в какую бы сторону ни свернул — везде ему чудилась хрупкая фигурка маленькой девочки с красивым смуглым личиком и длинными черными волосами, в вечно сползавшем с узких плеч розовом платьице. Девочка смотрела на него большими глазами с трогательным доверием ребенка, уверенного, что он любим.

Али никого не видел, однако тоже был уверен в ее присутствии. По вечерам, в долгих беседах с близкими приятелями он рассказывал о странностях Олмейера и не исключал того, что хозяин на старости лет заделался колдуном. К примеру, вещал Али, когда он уходит спать, из его комнаты слышны разговоры. Туда является дух в виде ребенка. То, что это именно ребенок, Али понял по некоторым словам и фразам хозяина. Иногда Олмейер говорит по-малайски, но чаще по-английски, который Али тоже понимает. Сперва хозяин говорит с ребенком ласково, но потом начинает то плакать, то смеяться, ругает его, просит уйти и, наконец, проклинает. Дух этот вредный и очень упрямый. Али думает, что хозяин вызвал его по ошибке, а теперь не может загнать обрат-

но. Хозяин храбрый: не боится проклинать духа прямо в лицо, а однажды даже подрался с ним. Али слышал шум, топот и стоны. Стонал хозяин. Духи-то ведь не стонут. Да, хозяин храбрый, но глупый. Ведь духа невозможно пристукнуть. Али думал, что на следующее утро найдет хозяина мертвым, но тот вышел очень рано и выглядел постаревшим, гораздо старше, чем накануне. И весь день ничего не ел.

Такова была версия для поселка. С капитаном Фордом Али был более словоохотлив по той простой причине, что капитан Форд носил при себе кошелек и отдавал приказы. Раз в месяц, когда приходил пароход, Али должен был являться на борт и докладывать о состоянии дел в «Капризе Олмейера». В первый же визит в Самбир после бегства Нины Форд взял на себя заботу об имуществе Олмейера. Это оказалось нетрудно. Склады стояли пустые, лодки исчезли, присвоенные — главным образом ночью — соседями, внезапно ощутившими острую нехватку транспорта. Во время наводнения пристань «Лингарда и К°» унесло рекой, и она отправилась вниз по течению, не иначе как в поисках более дружелюбной местности. Даже стадо гусей — «единственных гусей на восточном побережье» — куда-то делось,

предпочтя неведомые опасности леса опустевшим окрестностям сгоревшего дома. Время шло, следы пожара заросли травой, и уже никто не нашел бы жилища, приютившего юношеские мечты Олмейера, глупые фантазии о блестящем будущем, а затем прозрение и провал.

Форд нечасто навещал Олмейера — теперь это стало довольно-таки безрадостной задачей. Первое время тот еще худо-бедно отвечал на шумные расспросы старого моряка о здоровье, даже пытался поддерживать разговор, спрашивая, что нового, тоном, не оставлявшим сомнений: никакие новости из внешнего мира его не интересуют. Со временем он становился все более молчаливым: не угрюмым, нет, а будто бы постепенно отучался говорить — и заимел привычку прятаться в самых темных углах, откуда Форду приходилось вытаскивать его, используя в качестве провожатого бежавшую впереди обезьянку. Вот кто всегда готов был встретить и поприветствовать капитана. Зверек, казалось, взял на себя присмотр за хозяином и, если считал, что тому пора выйти на веранду, настойчиво дергал его за рубашку, пока Олмейер послушно, но с явной неохотой не вылезал на свет.

Однажды утром Форд нашел его сидящим на

полу веранды, спиной к стене — ноги вытянуты, как деревянные, руки по швам. В этой застывшей позе, с безжизненным лицом и пустыми, вытаращенными глазами, Олмейер напоминал невероятных размеров куклу, сломанную и заброшенную с глаз долой. Услышав шаги капитана, он медленно повернул голову.

— Форд, я не могу забыть, — пробормотал Олмейер, не поднимаясь с пола.

— Не можешь? — с деланой бодростью переспросил Форд. — Ну тогда тебе можно только позавидовать! Сам я теряю память — годы, знаешь ли. Вот только недавно один мой товарищ…

Он замолчал, потому что Олмейер встал и тут же, споткнувшись, оперся о его руку.

— Ну-ка, ну-ка! Да ты сегодня молодцом! Скоро совсем в себя придешь! — провозгласил Форд, пытаясь скрыть безотчетный страх.

Олмейер отпустил его руку и выпрямился, подняв голову и расправив плечи, твердо глядя на тысячи солнц, играющих в волнах реки. Рубашка и брюки, свисающие с исхудавшего тела, затрепетали на ветру.

— Пусть плывет! — проскрипел он срывающимся голосом. — Пусть! Завтра я ее забуду. Я решительный человек… твердый как скала…

твердый…

Форд заглянул ему в глаза — и отшатнулся. Старый шкипер был не робкого десятка, это подтвердили бы все, кто с ним плавал, но при виде застывшего лица Олмейера даже ему стало не по себе.

Когда пароход пришел в Самбир в следующий раз, Али поднялся на борт в тревоге и начал жаловаться, что Чим Инг вторгся в дом Олмейера и уже месяц фактически там живет.

— И оба курят, — добавил он.

— Вот как! Опиум, я полагаю?

Али кивнул, и Форд погрузился в размышления.

— Бедняга, — пробормотал он, наконец, себе под нос. — Хотя теперь уж чем раньше, тем лучше.

В полдень капитан появился в доме Олмейера.

— Что ты здесь делаешь? — осведомился он у китайца, слонявшегося по веранде.

Чим Инг монотонным, равнодушным голосом заядлого курильщика опиума объяснил на дурном малайском, что его дом уже стар, крыша прохудилась, полы прогнили. Поэтому он, на правах старого-престарого друга, собрал свои деньги, опиум и две трубки и переселился к Олмейеру.

— Тут много комнат. Он курит, я живу. Он долго

не протянет, — заключил китаец.

— А где же он? — спросил Форд.

— В доме. Спит, — рассеянно ответил Чим Инг.

Форд заглянул в дверной проем и в тусклом освещении комнаты разглядел лежавшего на полу Олмейера. Голова — на деревянном подголовнике, длинная седая борода рассыпалась по груди, на пожелтевшем лице светятся только белки полуоткрытых глаз.

Форд вздрогнул и отвернулся. Уходя, он заметил длинную ленту выцветшего алого шелка, которую Чим Инг пристроил на одну из балок.

— Что это? — спросил он.

— Название дома, — все тем же бесцветным голосом ответил Чим Инг. — Как у моего старого. Это хорошее имя.

Форд посмотрел на него долгим взглядом и ушел. Он не знал, что скрывается за причудливыми иероглифами. А если бы поинтересовался, невозмутимый китаец с некоторой гордостью объяснил бы, что на ленте написано: «Дом небесных наслаждений».

Вечером того же дня капитана Форда позвал с палубы Бабалачи. Он уселся на верхней ступеньке лестницы в капитанскую каюту, в то время как Форд курил трубку внутри, лежа на кушетке.

— Прошлая луна принесла нам новости с Бали, — обронил Бабалачи. — У старого раджи родился внук. Все ликуют.

Форд заинтересованно приподнялся.

— Да, я сказал ему, — ответил Бабалачи на его взгляд. — Как раз после этого он начал курить.

— И чем дело кончилось? — спросил Форд.

— Я ушел живым, — с величайшей серьезностью отозвался Бабалачи. — Белый человек очень слаб: упал, когда пытался наброситься на меня, а вот она вне себя от радости, — добавил он после паузы.

— Ты имеешь в виду миссис Олмейер?

— Да, она живет в доме нашего раджи. И проживет еще долго. Такие рано не умирают, — сказал Бабалачи с легким оттенком сожаления. — У нее есть доллары. Она их закопала, но мы знаем где. Беда нам с этими людьми. Пришлось заплатить большой штраф и выслушать кучу угроз от белых, так что теперь приходится быть осторожными.

Он вздохнул и помолчал, затем добавил с неожиданным воодушевлением:

— Скоро будет большая битва! В воздухе носится дыхание войны. Доживу ли я?.. Ах, туан, какие раньше были времена! Даже я, бывало, ходил в море с пиратами и ночью, в тишине, брал

на абордаж корабли белых моряков. Это было еще до того, как английский раджа воцарился в Кучинге. С тех пор мы деремся только друг с другом, и тому рады. Если начнем воевать с вами — все погибнем!

Он встал, собираясь уходить, и напоследок добавил:

— Помните ту девушку, что подняла тогда большой шум? Рабыню Буланги?

— Да. И что с ней?

— Совсем исхудала и не смогла работать. Тогда этот пожиратель свинины и ворюга Буланги продал ее мне за пятьдесят долларов. Я поселил ее со своими женщинами: думал, они ее откормят, хотел услышать ее смех, но девушку, наверное, сглазили, и она умерла два дня назад. Нет, туан, к чему плохие слова? Я стар, это правда, но почему бы мне не желать, чтобы в моем доме мелькало юное лицо и звучал юный голос? — Он помолчал и с невеселым смешком добавил: — Что-то я прямо как белый — толкую тут о вещах, о которых не говорят между собой мужчины.

И с этими словами Бабалачи, очень грустный, ушел.

Толпа, стоявшая полукругом у лестницы «Каприза Олмейера», заколыхалась, пропуская

группу людей в белых одеждах и тюрбанах. Первым шел Абдулла в сопровождении Решида, за ними — все остальные арабы Самбира. Когда они подошли к неровной линии собравшихся, поднялся шум, в котором четко выделялось только одно слово: «мати». Абдулла остановился и огляделся.

— Мертв? — спросил он.

— Да продлятся ваши дни! — в один голос ответила толпа и затихла.

Абдулла сделал несколько шагов и в последний раз оказался лицом к лицу со старым противником. Кем бы ни был Олмейер раньше, сейчас он лежал, застывший и безмолвный, в неярком свете наступающего дня. Единственный белый на восточном побережье ушел, и его душа, освобожденная от уз земных капризов, предстала теперь перед Всевышним. Лицо его, безмятежное, как у любого, кто внезапно получил долгожданный отдых от боли и тоски, свидетельствовало перед безоблачным небом, что человеку, который лежит сейчас под равнодушными взглядами соседей, перед смертью наконец-то позволено было забыть.

Абдулла с грустью посмотрел на неверного, с которым боролся столько лет, раз за разом одер-

живая победу. Вот она — награда правоверному! И все-таки сердце старого араба дрогнуло, сожалея об этой потере. Скоро он тоже оставит позади дружбу и вражду, успехи и поражения — все, что составляет жизнь. Его ждет та же участь. Молитва — вот что должно скрасить его последние дни. Абдулла нащупал у пояса четки.

— Вот так и нашел его утром, — тихо и благоговейно доложил Али.

Абдулла еще раз холодно смерил взглядом кроткое лицо покойного.

— Идем, — велел он Решиду.

Проходя через расступающуюся толпу, Абдулла пощелкивал четками и благочестиво и торжественно шептал имя Аллаха: милосердного, всемилостивейшего.